



БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Иван Наживин

СТЕПАН РАЗИН

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Иван Наживин

**СТЕПАН
РАЗИН
(КАЗАКИ)**

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН


ИТРК
МОСКВА
2004

ББК 84-4

Н69

Наживин И. Ф.

Н69 Степан Разин (Казаки): Исторический роман.— М.: ИТРК, 2004.— 432 с. (Библиотека исторического романа).

Роман известного писателя Русского Зарубежья И. Ф. Наживина (1874–1940 гг.) «Степан Разин» («Казаки») является знаковым. В нем автор с огромной эпической силой показал трагические события, произошедшие во времена, когда конфликт между властью и подданными достиг апогея, создав яркий, правдивый образ Степана Разина, которому суждено было впервые в истории России зажечь пламя народного восстания против *существующей общественной системы*.

ISBN 5-88010-195-9

ББК 84-4

Н69

© И. Ф. Наживин, 2004

© ИТРК, 2004



I. НА ВЕРХУ У ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ

Шло лето от сотворения мира 7175-е, от Рождества Христова 1667-е, благополучного же царствования великого государя всея России Алексея Михайловича двадцать второе. На высокой колокольне Ивана Великого, возведённой ещё в годы народного бедствия и скудости заботливым царем Борисом Фёдоровичем Годуновым, пробило только четыре часа, а Москва златоглавая, вся в лучах восхода розовая, уже жила полною жизнью: как всегда, оглушительно шумели торги, купцы зазывали в свои лавки покупателей тароватых, с барабанным боем прошёл куда-то стрелецкий приказ, на страшное Козье болото, за реку, провезли на телеге на казнь каких-то воров, попы звонили к заутрене, по Москве-реке тянулись куда-то барки тяжёлые. И бесчисленные голуби, весело треща крыльями, носились над площадями...

Проснулся и кремлёвский дворец, прежний, старый, деревянный, в котором, не любя каменных хором, жил великий государь. Спальники, стольники, стряпчие, жильцы озабоченно носились туда и сюда по своим придворным делам; на Спальном крыльце уже томились просители; сменялся стрелецкий караул; сенные девушки, на половине царицы, с испуганными лицами бегали по дворцовым переходам со всякими нарядами для государыни и для царевен. Две успели уже поссориться, и боярыня-судия уже чинила над ними суд и расправу... А в опочивальне царской, низкой, душной ком-

нате, со стенами, покрытыми тёмной тиснёной кожей, и потолком сводчатым, расписанным травами, постельничий с помощью постельников и стряпчих одевал великого государя. Было Алексею Михайловичу об эту пору только под сорок, но он уже обложился жирком и было в этом круглом, опушённом небольшой тёмной и курчавой бородкой лице, в этих мягких и ясных глазах и во всей этой фигуре что-то мягкое, ласковое, бабье. Он умылся, старательно причесался и прошёл в соседнюю Крестовую палату, всю сияющую огнями, золотом и камнями драгоценными бесчисленных икон. Там уже ждал его духовник царский, или крестовый поп, крестовые дяки и несколько человек из ближних бояр. Поп благословил хорошо выспавшегося и потому благодушного царя, он приложился ко кресту и началась утренняя молитва. Алексей Михайлович истово повторял привычные, красивые, торжественные слова,— помолиться он любил,— а мягкие глаза его с удовольствием оглядывали привычную, милую его душе обстановку моленной.¹

Вот около иконостаса стоят золотые ковчежцы, а в них бережно хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи, которые сами собой зажглись в Иерусалиме от небесного огня в день Светлого Воскресения, зуб святого Антония, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, камень от столпа, около которого Христос был мучим, камень из Гефсимании, где Он молился, камень от Гроба Господня, песок иорданский, частица дуба мамврийского. Рядом с ковчежцами стояли чудотворные меда монастырские в баночках, восковой сосуд с водой Иордана и от разных чудотворных икон со всех концов России, которою крестовый поп кропил царя и его близких. А вот последняя икона знаменитого иконописца Семёна Ушакова «О Тебе радуется...»,— ах, и краснотрительно же пишет этот Ушаков!.. Такого иконописца, может, на всю Россию ещё нет...

¹Моленная — особая комната для молитвы

А молитва — она шла всего четверть часа — уже кончена, и царь, приняв благословение, вышел из очень жаркой от огней и молящихся моленной в прохладные сени и с удовольствием вздохнул.

— Ну-ка, ты, Соковнин, сбегай-ка в хоромы к царице— обратился он к одному из молодых приближённых,— Узнай, как она почивала...

Но царица Марья Ильинишна уже поджидала своего супруга в своей передней. Они ласково поздоровались, царь любовно оглядел свою молодёжь, и уже все вместе они отправились в домовую церковь, чтобы отстоять заутреню и раннюю обедню, причем молодые царевны все и царевичи стали в особенно укромном уголке, где их не мог видеть никто. Опять хорошо, со вкусом, помолились и все прошли в столовый покой, где подкрепились — кто сбитнем горячим с калачом, а кто взваром клюквенным или малиновым...

Между тем в передней царской уже собирались бояре, окольные и разные ближние люди ударить челом государю. И едва вышел он в переднюю, как все бывшие там, знатнейшие люди царства Московского, поклонились царю в землю. Те, которые благодарили за какую-нибудь особую милость, часто кланялись так по тридцати раз подряд. Но царь никогда и шапки «против их боярского поклонения» не снимал — он всегда, и в покаях, ходил в царской шапке... Довольные, что увидели пресветлые царские очи, бояре окружили царя: авось обласкает он кого и словом своим царским...

В эту минуту ко двору царскому на двенадцати аргамаках, увешанных цепями гремющими, в золотом украшенной карете, вокруг которой бежало до двухсот скороходов и слуг всяких, подкатил кто-то.

— А, боярыня Федосья Прокофьевна!..— улыбнулся Алексей Михайлович.— Никогда к поздней и минуты не опоздает...

Действительно, то была боярыня именитая Федосья Прокофьевна Морозова, самый близкий друг царицы Марьи Ильинишны, ещё молодая и чрезвычайно богатая

вдова. Каждое утро она ездила так во дворец, чтобы отстоять вместе с царицей позднюю обедню.

— Ну, значит, и нам пора...— сказал государь и снова вместе со всеми боярами направился в домовую церковь к обедне.

— А я опять грамотку от страдальца нашего получила...— поздоровавшись с царицей, проговорила боярыня Федосья Прокофьевна, полная, бойкая женщина с круглым, миловидным лицом, намазанным румянами и белилами по тогдашней моде так, что глаза резало.

Ей и самой претило это мазанье, но не подчиниться моде и у неё, женщины исключительного характера, не хватало силы: когда тоже знатная боярыня княгиня Черкасская вздумала было перестать краситься, в обществе московском поднялся такой шум, что должен был вмешаться в дело сам великий государь и принудить боярыню подчиниться обычаю.

— Что же он, родимый, пишет? — участливо спросила царица, невысокого роста, очень полная женщина, похожая уже скорее на перину.— Как-то ему там, в Пустозёрске-то?

Речь шла о недавно сосланном в Пустозёрск вожде раскола протопопе Аввакуме, горячими поклонниками которого были обе — и царица, и боярыня.

— Да о себе-то мало пишет он...— сказала боярыня.— Всё больше о вере поучает... Очень он осуждает эти наши новые иконы. Ему любо, чтобы писали по-старинному, смугло и темновидно... Да вот, прочитаю я тебе, послушай...— сказала она и, достав грамоту из кармана, отыскала нужное место и медленно, по складам, начала:

— Вот. «По попущению Божию умножились в нашей русской земле живописцы неподобнаго письма иконнаго. Пишут они Спасов образ Емануила, лицо одутловато, уста червонныя, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя, персты надутые, также и у ног бедра толстыя и весь яко немчин: только что сабли при бедре не написано...» Видишь, государыня...

— Ох, уж и не знаю как...— вздохнула простоватая Марья Ильинишна.— Кабыть не нашего бабьего ума дело...

— А тут у меня странный человек один был, так рассказывал, как его, протопопу, в ссылку-то гнали...— продолжала боярыня.— Господи, уж и мучили же человека!.. Идут, идут оба со старухой-то, упадут, а подняться-то силушки нету, так измучились. И взмолятся протопопица: долго ли мўка сея, протопоп, будет? А страдалец и отвечает: до самой смерти, Марковна... А она, слёзы глотая, говорит: добро, Петрович, ино ещё побредём...— На глазах боярыни выступили слёзы.— Что только делают за истинную-то веру!.. В темницах давят, в срубах жгут, языки режут... И все тот, сын диавол, Никон натворил... Помирать вот буду и то ему не прощу...

— Государь в храм прошёл...— сказала маленькая и бойкая Софья, средняя дочь царицы.— Пойдём, матушка...

И все снова пошли в свой тайничок, откуда им было молящихся видно, а их — никому.

— Благослови, владыко...— бархатными волнами понеслось по храму.

И обедня началась...

И её царь и все приближённые отстояли так же легко, как и всякую другую службу: так день их шёл всегда, привыкли.

После обедни начался деловой день великого государя. Бояре снова прошли в приемную и в ожидании государя тихонько переговаривались. Но вот два стольника внесли в покой резное кресло и поставили его в углу на возвышении из трёх ступенек, обитых красным сукном. За стольниками вышли стряпчие: один нёс круглый, шитый шелками бархатный ковёр, другой атласную подушку, а третий вынес на серебряном блюде расшитый царский убрус.¹ И все стали по бокам царского кресла. Минуту спустя вышел Алек-

¹Убрус — полотнище, нарядное, расшитое.

сей Михайлович, поддерживаемый под руки двумя боярами. В руках его был длинный чёрный посох. Едва появился он на пороге, как все бояре и чины ударили низкий поклон, царь ответил ласковым поклоном и сел на свое место.

— Здрав буди, великий государь...— снова били челом бояре.

— Здравы будьте и вы, бояре...— отвечал царь.

И снова бояре и все чины били ему челом.

Обыкновенно по пятницам происходило собрание Боярской Думы, но на дворе стоял уже весёлый месяц май — пришёл Пахом, понесло теплом,— и многие из бояр отпросились уже в свои поместья и вотчины, а другие — кто на крестины, кто на свадьбу, кто на родину: в мае всегда так бывало. И сам Алексей Михайлович жил бы уже, как всегда об эту пору, в Коломенском, если бы не царевны, которые все переболели за последнее время какою-то болью в горле. Да и дожди всё это время стояли. И дел больших на сей день не было, так что у царя не было с собой даже его обычной записочки, на которой он заботливо отмечал, «о чём говорить с бояры».

В дни заседаний Думы бояре все садились в некотором отдалении от государя, а когда, как на этот раз, Думы не было, то бояре обязаны были все стоять, а когда уставали они, то выходили посидеть в сени или же просто на крыльцо. Там нужно было вести себя с сугубою осторожностью: всякое непристойное слово, сказанное на дворе государевом,— а за непристойным словом русские люди никогда не стояли,— а тем более ссора или драка почитались нарушением чести государева двора и строго преследовались Уложением. Там так и сказано было: «...а буде кто в государевом дворе кого задерет и с дерзости ударит рукою, и такого же тут же изымать и, не отпуская его, про тот его бой сыскать, и, сыскав допряма, за честь государева двора посадить в тюрьму на месяц. А кого он ударит, и тому на нём управить безчестье».

И думный дьяк, с гусиным пером за ухом и чернильницей на шнуручке, читал государю:

— ...А которые, государь, были посадские люди, ещё остались на Беле-озере, то из тех многие ныне, как приехал на Бело-озеро из Москвы дворянин Петр Хомутов, и атаман, и есаулы, и казаки, ноугородские челобитчики, для твоих, государевых, хлебных денег, и они из достальных многие разбежались, дворяне и дети боярские, и бегают по лесам, а твоего государева указа не слушают, в осад (в город) сами не едут и крестьян своим ехать не велят...

— Не к делу ты это, дьяк, читаешь...— сказал Алексей Михайлович.— Это до Думы отложить подобало бы. Ну, да всё одно уж, читай...

Бояре внимательно слушали...

Был тут и старый именитый князь Никита Иванович Одоевский, равного которому по роду и заслугам не было здесь и нигде никого: это он лет пятнадцать тому назад, когда был он ещё казанским воеводой, Закамскую Черту¹ от ногаев да калмыков построил, а до того с князем С. В. Прозоровским, да окольным О. Ф. Волконским, да двумя дьяками Гаврилой Леонтьевым да Фёдором Грибоедовым, Уложение выработал, которое дало Московскому царству закон и порядок. И князь Юрий Алексеевич Долгорукий, плотный, крепкий, с точно железным взглядом, был тут. Он председательствовал на Земском соборе, принявшем это Уложение, и только недавно вернулся из польского похода, был ратным воеводой. Старенький Трубецкой, которому только недавно пожалована была вотчина предков его, город Трубчевск, выматривал хитренькими глазками своими, нельзя ли как

¹Чертой называлась укрепленная линия, отделявшая Русь от Степи: на Черте стояли сторожи, чтобы чужие воинские люди на русские деревни безвестно не прошли, и дурна какого не учинили, и уездных людей не повоевали, и не побили, и в полон не угнали... Острожки ставились и засеки, чтобы «от татар войну отнять» и теми новыми городами и крепостями во всех местах татарская война от приходов укреплена. Симбирская черта строилась шесть лет. Тысячи людей работали на ней. Другая Черта, Закамская, шла по-за Казанью к Уралу.

у великого государя выклянчить ещё чего. Величественно возвышался над всеми дородный князь Иван Алексеевич Голицын, по прозванию Большой Лоб, в голубых глазах которого сияла прямо детская невинность: князь до сорока лет даже грамоты никак одолеть не мог и, где нужно, вместо подписи ставил кресты. Но все чрезвычайно ценили его за эту вот представительность и за большую доброту: он никогда ни с кем не задираясь, не так, как этот вот князь Хованский, который за местничество во время войны был приговорён царём к смертной казни даже, но был помилован и сослан в свои вотчины, откуда только недавно вышло ему разрешение приехать в Москву.

Конечно, как всегда, тёрлись тут и те, которых народ злобно звал «владущими», вся эта родня царёва: старый, худенький, с бородкой клинышком и жадными глазами Милославский, тесть царёв, и свояк царёв Борис Иванович Морозов. Они боялись даже на минуту оставить государя одного: а вдруг кто-нибудь другой перехватит его милости? Очень они царю надоедали, и совсем недавно во время заседания Боярской Думы он собственноручно оттащал за бахвальство своего тестюшку, надавал ему пощёчин и вытолкал из палаты вон.

У окна задумчиво стоял Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин, недавно только подписавший с Польшей Андрусовский мир, невысокого роста, с смуглым, худощавым, иконописным лицом и прекрасными, большими, тёмными и немного печальными глазами. Родом он небольшой псковский дворянин, но был по своему времени человеком образованным, искусным дипломатом и за заслуги свои носил теперь титул «царственных дел сберегателя». Рядом с ним виднелся его большой друг Артамон Сергеевич Матвеев, человек худородный, — он был сыном дьяка, — но ставший очень близким царю, который дружески звал его просто Сергеичем. И. М. Языков, небольшой дворянин, но знавший хорошо языки и потому много раз езжавший в посольствах за границу,

слыл «человеком великой остроты и глубоким московских прежде площадных, потом же и дворских обхождений проникателем», и с ним всегда советовались, когда встречались какие затруднения в дворцовом этикете. Князь Ромодановский, с которым царь любил играть в шахматы, как всегда, сдерживал зевоту: он томился всегда во время этих приёмов и заседаний, потому что ничего не понимал он в делах государственных и не интересовался ими. И был тут старый князь Черкасский и друг его, тоже старый боярин, Никита Иванович Романов, любимец москвичей, и задира Пушкин, который тут недавно едва не подрался с Долгоруким из-за мест, и Шереметев, и Салтыков, и сокольничий Ртищев, словом, почти все те, в руках которых была вся власть над Русью исстари...

Но Алексей Михайлович всё более и более привыкал царствовать «без вопрошания всенародного множества людей», и все эти важные, именитые вельможи в золотых шитых кафтанах и высоких горлатных шапках были скорее пышной декорацией для царя, красивым обломком старины, чем действительными советниками и помощниками. Исключения были немногочисленны, и, по большей части, были они как раз не из именитых бояр, а из людей средних и даже худородных, как Ордын-Нащокин или Матвеев. И бояре примирились с этой ролью своей и говорили, что «великий и малый живёт лишь государевым жалованием». Они вершили в Думе лишь свои дела, и народ знал это и часто шла по Руси молва: боярам быть от земли побитым... И часто вспыхивали дикие народные мятежи, направленные против того или другого боярина-хищника, а в особенности часто против «владущих», родни царёвой, которые использовали свое высокое положение для бесстыдного и неслыханного обогащения...

Притомившийся царь сдержал зевоту. Начальник Челобитного приказа Репнин, крепыш с красным лицом, лихой охотник и не дурак выпить, с улыбкой приблизился к государю.

— Челом бью, великий государь...— сказал он.— Замаял меня в отделку воевода твой царицынский, Унковский: опять от него челобитная.

— Опять на жену? — сразу повеселел царь.

— Опять на жену...— сказал Репнин.— Дозволишь прочести?

— Читай... А вы все слушайте,— обратился царь шутя к боярам.— Пусть всем в науку будет: не женись на молодой... Ну?

— Вот, сейчас, великий государь...— сказал Репнин, пробегая глазами челобитную.— «...Кусала она, жена моя, тело моё на плечах зубом и шипками на руках тело моё щипала и бороду драла. Ещё в бытность мою на Москве, против моего челобитья дьяк в Мастерской палате поругательство жены моей и зубного ядения на теле досматривал и в том жене моей никакого указу не учинено. А она, жена моя, Пелагея, хотела меня, холопа твоего, топором срубить, и я от её топорowego сечения руками укрывался, и посекала у меня правую руку по запястью, и я от того её посечения с дворишка своего чуть жив ушёл и бил челом, и опять указу никакого не было, а от той посеченной руки я навеки увечен. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубийством и по твоему государеву указу посажена она за приставы. И она, сидя за приставы, хвалится и ныне на меня смертным убийством. Милосердый государь, пожалуй меня, вели в таком поругательстве и в похвальбе ей, жене моей, свой царский указ учинить и меня с нею развесть, чтобы мне от нея, жены своей, впредь напрасною смертью не умереть...» И это уж не ведаю, в какой раз... Прямо смертным боем бьются...

— Вперед наука: не женись на молодой...— повторил, смеясь любительно, Алексей Михайлович.— Ну, что ж... Препроводи грамоту на Патриарший двор и пусть там учинят по правилам святых апостол и святых отец, чего доведётся...

— Вот тут ещё челобитная от крестьян села Ширинги есть, великий государь...— сказал Репнин.— Они уж

и раньше на помещика своего челом били. Велишь про-
чести?

— Чти!

— М-м-м...— пробегая титулы и вступление, ко-
торые надоели царю от частого повторения, тянул
Репнин.— Вот. «А господин наш, князь Артемий Шей-
дяков, приехавши в пожалованное от тебя, государь,
село Ширингу, крестьянишек, что приходили к нему
по обычаю с хлебом на поклон, бил, мучил и на лед-
ник сажал. И, будучи женат, он, князь Артемий, брал
к себе на постелю татарок от нехрещёных татар, а за-
тем, взявши с нас, крестьянишек твоих, против тво-
его государева указу, сполна денежный оброк за год,
отписей в этом нам, крестьянам, не дал. Уехавши же
в Самарский город, князь Артемий все оброки и оде-
жу с себя пропил и проиграл весёлым жёнкам, пос-
ле чего опять съехал на Рождество в село Ширингу,
взявши с собой в деревню весёлых жёнок. Здесь он
стал мучить нас, крестьянишек, смертным правежом
в новых оброчных годовых деньгах и доправил с нас
сверх оброку 50 рублёв денег, да 40 вёдер вина, да
10 вар пива, да 10 пуд меду. А у которых крестьян были
нарочитыя¹ лошадёнки, тех лошадей он, князь Арте-
мий, взял на себя. А которые крестьянишки на кня-
зя Артемия тебе, государь, челом били об его насиль-
стве и неверном правеже, на тех похваляется он
смертным убийством, хочет их позекати своими ру-
ками. И мы, сироты твои, не претерпя его, князя
Артемия, немерного правежа и великой муки, разбре-
лись от него разно...»

— Прикажи воеводе самарскому розыск сде-
лать...— сказал царь.— И нам, государю, обо всём
отписать...

Доклады продолжались.

Князь Юрий Долгорукий осторожно мигнул Матве-
еву, и оба, выбрав минутку, вышли в сени.

¹Нарочитыя — отличные.

— А что, я слышал, на Дону опять не слава Богу?...— сказал князь.

— Неладно на Дону, князь...— отвечал Матвеев.

— А государю уже известно?

— Может, сегодня доложит Афанасий Лаврентьевич... Он гонца оттуда поджидает...

— На воскресенье великий государь соколиную потеху назначил,— сказал Долгорукий,— так дома меня не будет. А вот давайте-ка соберёмся, хоть у меня, что ли, в понедельник после вечерни побеседовать по этому делу. Афанасия Лаврентьевича я позову, ты приезжай, Ртищева позвать надо, Одоевского... Упустишь огонь, не потушишь. И посоветуемся... Мне сказывали, совсем негодные дела там затираются...

— И я уж думал, что посоветоваться надо бы...

— На людей пока выносить дело нечего...— сказал князь.— Только всего и будем: мы-ста да вы-ста да как великий государь укажет... А надо сперва накрепко помыслить про то дело промеж теми, кто работать хочет и умеет, а тогда уже и в Думе действовать... Так я тебе дам знать, когда и где соберёмся.

Было уже около полудня. Царь, наконец, поднялся и отпустил бояр по домам обедать, а потом, по обычаю христианскому, до вечера отдохнуть.

— А после вечера сегодня ко мне уж не ходите...— сказал царь.— Потому надо нам всем в Коломенское собираться, так распорядиться мне по дому надо, как и что...

Бояре били челом...

Боярыня Федосья Прокофьевна Морозова, распростившись с государыней, уселась в свою золочёную карету, аргамаки подхватили, огромная толпа скороходов и слуг бросилась за каретой, и народ останавливался и дивился:

— Сама Морозиха... Должно, сверху, от великого государя едет... Ну и живут!...

II. У СЕБЯ

Великий государь прошёл в соседнюю с передней комнату, которая так Комнатой и называлась: здесь Алексей Михайлович занимался, а часто и обедал, большею частью один, а то и с близкими боярами. Это был обширный, но уютный покой с небольшими оконцами, из которых открывался красивый вид на всё Заречье и на Стрелецкую слободу. В переднем углу стояло множество икон с расшитыми убрусами и золотыми лампадами. На почётном месте среди них, в дорогом окладе, стоял образ «Во гробе плотски» работы знаменитого Андрея Рублева. Под образами — рабочий стол, крытый алым сукном с золотой бахромой, а на столе прибор всякий: часы иноземные с переливчатым боем; чернильница серебряная; песочница и трубка, в которой перья мочат; серебряная свистелка, заменяющая звонок; зубочистка, уховёртка и несколько лебяжьих перьев. В другом углу стоит маленький шахматный столик. Вдоль стен тянутся низкие лавки, крытые бархатными расшитыми полавочниками, а между ними — поставцы разные, в которых хранятся любимые книги царя, бумаги разные, золотая и серебряная посуда, по большей части, любительные подарки от иноземных государей, и всякие затейливые фигурки из дорогих металлов и фарфора, маленькие сундучки, а в них вделаны: в одном — преступление Адама в раю, в другом — дом Давыдов и так далее. На одном из этих поставцов стояли большие, весьма хитрой работы заморские часы,— когда патриарх Никон был арестован, то князь Алексей Трубецкой с товарищи перебрал всю келейную рухлядь опального патриарха и все лучшее взял на себя великий государь, а в том числе и эти часы. Сто лет тому назад часы, или часомерье, возбуждали в москвичах великое удивление: «На всякий же час ударяет в колокол, не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако, створено есть человеческою хитростью, преимечтано и преухищрено». Но теперь просто часы уже не удив-

ляли, они встречались чуть не во всяком богатом доме, — теперь ценились лишь часы работы исключительно зательливой: со знамены небесными, с действии блудного сына, с планиды и святцы... По стенам висели картины фряжские, большею частью религиозного содержания, и «парсуны», то есть портреты государей, а между ними в тяжёлой золотой раме — Большой Чертёж Земли Русской, то есть карта России. В углу, около входа, стояла изразцовая, красиво расписанная травами, людьми, конями, зверями диковинными и всяким узорочьем печка с лежанкой. И весь пол был устлан мягкими персидскими коврами.

Библиотека Алексея Михайловича была по своему времени довольно значительна: царь любил почитать. Но так как на иноземные языки был он не горазд, то у него все книги были исключительно русские, большею частью духовного или исторического содержания. Вот «Вертоград Королевский» Папроцкого, «История вкратце о Бохоме, еже есть о Земле Чешской», вот «Позорище всея вселенныя или Атлас Новый, в нём же начертание и описания всех стран изданы суть», вот «Путешествие или похождение в Землю Святую пресветлосияющего господина, его милости Николая Христофа Радзивилла». Вот «Космография, сооружённая от древних философов, — описание государств и земель и островов во всех трёх частях света, где как живут люди и какие веры, и где родится и какая под которою земля данию и которое владение». Вот известный «Луцидариус, или Златый Бисер», в котором сведения из истории Ветхого Завета соединены со сведениями по географии, всеобщей истории, астрономии, ботанике, анатомии и богословию, тот Луцидарий, которого так не любил Максим Грек, звавший его Тенебрием, «еже есть темнитель, а не просветитель: во множайших лжёт и супротив пишет православным преданиям». «Зерцало Богословия» Кирилла Транквилиана Ставровецкого смело стоит в библиотеке царской, хотя и подверглось оно запрещению от властей духовных как книга папистиче-

ская и было постановлено её «на пожарах сжечь, чтобы та ересь и смута в мире не была». А рядом с ней стоит «Сокровище известных тайн экономии земской» и толстый том в кожаном переплете «Экономии Аристотелевой, сиречь Домостроения, с приданием книг двои, в которых учится всяк домостроитель, како имать управлять жену, чад, рабов и имения». Вот целый ряд переводов по вопросам религиозным: «Синтагма» Матвея Властаря, «Маргарит» Иоанна Златоуста, «Паренесис» Ефрема Сирина и многие другие, о которых часто можно было сказать словами неизвестного критика того времени: «Преведена необыкновенною славянщиною, паче же реши, эллинизмом, и затем о ней мнози недоумевают и отбегают». Вот несколько трудов по военному делу: «Художества огненная и разныя воинские орудия ко всяким городовым приступам и обороне приличныя», «Вины благополучия на брани», «О вопросах и ответах, ведению воинскому благопотребных», а рядом с ними «Книга, глаголемая по-гречески Арифметика, по-немецки Алгоризма, а по-русски Цифирная Счётная Мудрость», «Селенография, еже есть луны описание и прилежное крапин ея и подвижений различных зрительного сосуда помощью испытанных определение», «Проблемата, то есть вопрошения разныя списания великаго философа Аристотеля и иных мудрецов, яко прирожденные, тако и лекарския науки: о свойстве и о постановлении удов человеческих, а такожде и звериных». И были книги и для лёгкого чтения, как разные рыцарские романы или русская «Повесть зело предивная града Великаго Устюга купца Фомы Грудницына о сыне его Савве, как он даде на себе диаволу рукописание и как избавлен бысть милосердием Пресвятыя Богородицы».

Алексей Михайлович с удовольствием осмотрел эту свою привычную обстановку и, обратившись к ожидавшим его около накрытого посередине комнаты стола стольникам, проговорил:

— Ну, вот... А теперь с помощью Божией приступим...

Обернувшись к иконам, он внимательно, истово прочёл молитву и сел за своё столовое кушание. Оно было более чем незамысловато: кусок ржаного хлеба, тарелка с солёными груздями да какая-то жареная рыбка. Царь отличался удивительною умеренностью в пище, а в особенности во время постов, когда он ел только три раза в неделю и так, что обедавшие у него раз заезжие греческие монахи долго потом с ужасом рассказывали о тех муках голода, которые испытали они при дворе царя московского. Согласно исстари заведённому обычаю кравчие и чашники отведывали от всех блюд и напитков государевых, чтобы царь видел, что никакого зелья к его кушаньям не примешано. И, запив свою скромную трапезу чашей легкого пива с коричневым маслом, царь встал, снова усердно помолился и сказал добродушно:

— Ну, вот... Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, так не обидел...

Но тем не менее дворец царский поглощал ежедневно неимоверные количества всякого добра: повара царские готовили каждый день до трехсот кушаний, а Сытенный двор отпускал ежедневно же сто вёдер вина и до пятисот вёдер мёдов и пива. Целый ряд так называемых дворцовых волостей работал на царский двор и ежедневно гнал в Москву обозами хлеб в зерне, овёс, пшеницу, ячмень, просо, коноплю, баранов, свиней, кур, яиц, сыры, масло, хмель и даже вожжи, рогожи, лыко, хомуты, оглобли, дуги, дрова и сено. Ведь на конюшнях царских стояло в Москве около 40 000 лошадей, а челядинцев всяких при дворце были тысячи!.. На царский двор тратилась десятая часть всех доходов Московского царства, не считая того, что отписывал на себя великий государь со всяких проштрафившихся людей, начиная от патриарха Никона до последнего мазурика, а также и доходов и приношений со всех этих дворцовых сёл и деревень, промыслов рыбных, соляных, зверовых и всяких прочих...

Точно так же, если сам царь жил всего в четырёх «покоевых» комнатах, то дворец царский всё же зани-

мал очень много места в Кремле, так как в нём были такие же комнаты для царицы, для близких, для челяди, а кроме того, были и хоромы непокоевые, которые состояли из палат Грановитой, Ответной, Меньшей Золотой, Средней Золотой, Панафидной и других. Перед Средней Золотой было Красное крыльцо. В этих палатах стены и потолок были обтянуты холстом и расписаны: там было изображено, как Господь несёт крест на Голгофу, там Моисей-пророк или Авраам праведный, а то — звездочётное небесное движение. Пол был выстлан дубовым «кирпичом», то есть паркетом, а то расписан аспидом, то есть под мрамор. А над всеми палатами были устроены на сводах верховые, или висячие, сады...

Покончив со столовым кушаньем, великий государь прошёл в свою опочивальню и завалился отдохнуть до вечера, как это делали все его бояре, торговые люди, приказный народ, мужики серые, вся Русь. Ежели же кто благой обычай этот нарушал, — как, например, Дмитрий Самозванец, — он сразу становился подозрителен в глазах московских людей — как человек, потрясающий основы и обычаи старины.

Восстав, великий государь с удовольствием умывался холодной водой, пил добрую кружку забористого квасу, затем снова принимал бояр и сперва шёл со всеми ними к вечерне, а затем занимался опять делами. Но иногда вечерних заседаний этих не было, и тогда царь проводил вечерние часы в среде своей семьи и с близкими из бояр: играли в шахматы, в тавлеи, в саки, в бирки, смеялись на проделки шутов и карликов, иногда читали что-нибудь назидательное и душеспасительное, а то и куранты, которые завёл по примеру иноземцев до всего дотошный Афанасий Лаврентиевич Ордын-Нащокин. Куранты эти были рукописные и заключали в себе новости из жизни за рубежом: о войнах, союзах, о пожарах больших, о трясении земли, о рождении двухголового теленка и других примечательных событиях...

Куранты эти были данью той новой жизни, которая стучалась уже в двери, просачивалась во все щели быта и ломала потихоньку, незаметно сопротивление даже самых упорных «стародумов». Давно ли, кажется, купец Таракан выстроил близ Кремля первый на всю Россию каменный дом, на который москвичи сходились смотреть как на диковинку, а теперь в Кремле стоят уже каменные хоромы не только царя, но и именитых бояр. Давно ли этот гордый, неистовый Никон, патриарх, тайком выкрал у боярина Никиты Ивановича Ромашова иноземные ливреи, которые тот поделал для своих слуг, собственноручно изрезал их в куски, давно ли он самовластно сжигал у бояр вывезенные из заморских стран иконы и органы, а теперь уже во многих домах появились даже картины иноземные, даже зеркала, на которые десяток лет тому назад Церковь, а за ней и все благомыслящие люди смотрели как на дьявольское наваждение? Сто лет тому назад, при Грозном, дьяк Иван Висковатый восставал против росписи стен и указывал опасливо, что «в палате, в средней, государя нашего написан образ Спасов, да тоутож близко него написана жонка спустья рукава кабы пляшет, а подписано под нею блоужение, а иное ревность, а иное глоумление, а мне, государь, мнится, что то кроме божественно, о том смущаюсь». А теперь никого уже это не смущало, а наоборот, все любовались, дивились и у себя завести старались. Давно ли русские люди боялись воды, как — прости, Господи,— чёрт ладана, а теперь, по настоянию все того же неугомонного Ордын-Нащокина, иноземные мастера строили на Оке в Деднове первый русский корабль «Орёл», который вскоре по Каспию плавать будет, чтобы, в случае чего, чинить там промысел и над персами, и над черкесами, и над своими ворами...

Эта новая, немножко жуткая, но в то же время и веселящая душу жизнь просачивалась во все щели, но в то же время, казалось, незыблемо стояла та, старая жизнь, которую, по завету предков и святых отец, жили

люди государства Московского. Эта старая жизнь, размеренная и величаво-медлительная, была похожа на те торжественные шествия, которые по великим праздникам учинялись под звон всех сорока сороков московских царским двором, и все люди московские с великою жадностью смотрели на действо это и часто даже давили один другого до смерти, несмотря даже на цепи стрельцов, которые оберегали государское шествие от утеснения нижних чинов людей. И были дни этой старой, торжественно-размеренной жизни похожи на этих величавых бояр в кафтанах златотканых и высоких шапках горлатных, медлительных и важных...

Год открывался радостным днём 1 сентября, когда мужик уже обмолотился и обсеялся и всего на зиму заготовил по силе возможности, а на Москве царь в тот день осыпал верных слуг своих кого чином, кого казной золотой, кого поместьем или вотчиной. Вскоре начинался пост Рождественский и в Сочельник, раным рано поутру, царь тайно, в сопровождении только небольшого отряда стрельцов да нескольких подьячих из своего Тайного приказа, посещал, исполняя долг христианский, тюрьмы и богадельни и собственными руками раздавал милостыню тюремным сидельцам, пленным, богаделенным, увечным и всяким бедным людям, которые во множестве караулили прохождение милостивого царя на всех перекрёстках ещё темной Москвы. А там Рождество весёлое, толстотрапезное, румяное и необычайная пышность шествия царя на Иордань в день Богоявления Господня, на водосвятие, а там шумный мясоед с его свадьбами пьяными и всяким козлогласованием и речами присольными, а за мясоедом широкая масленица, когда и царь в своем Кремле златоглавом, и какой-нибудь волжский судовой ярыжка в куренной избёнке своей ели жирные блины и веселились, прощаясь с радостями жизни. В Прощёное Воскресенье все, от самого знатного боярина до последнего нищего, просили один у другого прощения в грехах вольных и невольных и этим покаанием всенародным открывали строгую череду чёрных

седмиц Великого поста, полных всяческих лишений добровольных, скорбных песнопений и тишины, которая пропитывала всю жизнь. В Вербное Воскресенье сам великий государь среди густых толп умиленного народа вёл за повод ослицу, на которой, знаменуя Христа, восседал патриарх. В Страстной четверг все — и во дворцах, и в лачугах — заготавливали четверговую соль благопотребную, выносили плащаницу святую в указанный день и час, а в полночь Великой субботы трепетно ждали светлой минуты торжественного Воскресения Христа, и христосовались братски, лобызались троекратно, и менялись алыми яичками, а в Радуницу светлую шли на могилки христосоваться со своими покойничками. В Троицын день вся Русь из края в край березками молодыми украшалась, на первый Спас мёдом душистым все разговлялись, на третий яблоками и так снова подходили к радостному дню 1 сентября, дню безмерной милости царской, которою живёт в государстве Московском всяк, от мала до велика, ибо всё Божье да государево...

Строгий и красивый, точно вековечный, чин жизни этой никем не был указан, никем не был записан и никогда, но всё же только разве самая отпетая голова какая-нибудь решила бы изменить хотя йоту в величавом течении этих дней медлительных и ярких, каждый по-своему. И Алексей Михайлович радостно подчинялся чину этой стародавней жизни, избавлявшему его от многих забот, и потому, когда пришёл час вечерней молитвы, снова охотно, хотя и позёывая, отправился он в свою Крестовую палату, где опять уже ждал его духовник и приближенные, и помолился истово, и, простившись ласково со всеми, направился, позёывая, в свою тихую опочивальню. Раньше, как помоложе он был, спал он, конечно дело, под теплым бочком лебёдушки своей белой, Марьи Ильинишны, но теперь, когда подрастали уже дочери, он почивал уже больше один. Да к тому же была сегодня пятница, день постный... Постельничий и спальники разули и раздели его, и один из спальников ложился тут же,

в опочивальне для всякого бережения. А кроме того, до сорока человек жильцов оберегали сон царский во дворце, не говоря уже о многочисленных наружных караулах стрелецких. Затихала сонная, тёмная Москва, затихали царские хоромы,— только по стенам да по башням кремлёвским слышна переключка дозорных.

— Славен город Москва...— тянет один из дозорных на Тайнинской башне, внизу.

— Славен город Киев...— подтягивает ему в тон другой, влево, подальше.

— Славен город Новгород...— подхватывает уже чуть слышно вдаль третий.

И так слава всего царства Русского обходит зубчатые стены Кремля в часы ночные. А там на башне Спасской куранты играть учнут и мерно пробьёт колокол часы. И за колоколом столько же раз ударят в свои колотушки сторожа ночные: не спим-де...

И в уютной, мягко осиянной лампадами опочивальне великого государя начинается новая, незримая, не комнатная, не выходная жизнь, а жизнь ночная, потаённая, иногда страшная и часто тоскливая.

И сегодня вот, не успел царь ещё и ещё раз окрестить изголовье, все углы и все окна и двери, не успел он утонуть в жарких перинах своих, как началась эта незримая, жуткая жизнь, от которой не избавлен ни единый смертный, кроме разве детей малых, неразумных. Гоже ли, в конце концов, что угнал он роскошного и властного патриарха Никона на Бело-озеро простым иноком? А может, то грех? Правда, озорной был человек, святого и того из терпенья вывести мог, а все же ведь патриарх всея России... Ладно, что Малороссию через Богдана опять с Великой Россией воссоединили, ладно, что почитай вся Русь уже под высокой рукой государей московских собралась, но вот всё бунтует там по украинам народ: режут тысячами жидов-нехристей, казаки-голота против кармазинных, самостоятельных казаков восстают, все полозят слухи о происках — там польских, там турецких, там крымских. Да, но как же

можно было Киев — мать городов русских — откудова вся Русская земля почала быть, в руках неверных оставить? Спасибо Ордыну, постарался, вернул... Вот закрепили опять же мужичонков к земле, сирот государевых, чтобы не бегали они от одного помещика к другому — кажется, и гоже бы, крепость, порядок, да, а они вот учили на Волгу бегать, на Дон, в Запорожье и всякие дикие украинные места да в разбойные и татинные дела вступать. Дело ли сделали?.. Не ошиблись грехом в чём? И тревога извечная шевелится: земно, аки бы Богу, кланяются ему все эти бояре: Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Хованские, Голицыны, Пронские, Салтыковы, Репнины, Троекуровы, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы, а кто знает, что у них в душе-то? Разве не Трубецкой, забыв честь и Бога, баламутил тогда с казаками под Москвой? Разве не Шаховской, засев в Путивле, проливал кровь православную без жалости? Да и сами Романовы, родичи-то его, предки-то, не они ли извели царевича Димитрия в Угличе? Кто опрокинул Годунова-заботника? Кто извёл умницу и работника Скопина-Шуйского? Везде измена, кровь и великая во всем неверность...

И Алексей Михайлович тяжело вздохнул и повернулся на другой бок.

И на этот вот случай и жили при дворце верховные богомольцы, все эти домрачеи, бахари-сказочники, слепцы старые, старину живо помнящие.

Услышав, что царь ворочается, очередной спальник, молодой Соковнин, приподнялся на лавке, где он лежал, и спросил тихонько:

— Не прикажешь ли, великий государь, кого из богомольцев твоих в опочивальню позвать? Али, может, устал от забот, так и без них започиваешь?

— Ништо... Позови какого-нито...— зевая, сказал царь,— Пушай...

— Тут от боярыни Федосьи Прокофьевны двое новых пришли...— сказал спальник.— Один старик, поп безместный, должно, а другой помоложе, просто стран-

ник. Больно, говорят, горазд старый-то всякое рассказывать...

— А ну, позови его...

Через короткое время в тихо сияющую лампадами и душную — окна все были закрыты — опочивальню царя впустили нового богомольца, худенького старичка в подряснике выцветшем, с поганенькой бородёнкой на постном морщинистом личике и живыми глазками, тихо светившимися в отблесках лампад.

Старичок разом, у порога, распростёрся на полу.

— Ну, ползи, ползи, старче...— ласково сказал царь, зевая.— Откелева ты будешь с дружкой твоим?

— Града настоящего не имама, но грядущего взыскуем...— проговорил так же ласково старичок.

— Вон как...— проговорил царь.— Какого же это града взыскуете вы, Божьи люди?

— А какой, батюшка царь, откроется, какой откроется...— отвечал старик.— Наперед нам это не открыто. Поглядит, поглядит Господь на смятения-то человеческие, смилосердится и откроет в своё время...

Царь зевнул. Это было любопытно, но напрягать усталую голову не хотелось.

— А как зовут тебя отец?

— Евдокимом крестили, батюшка, Евдокимом...

— Сказывают про тебя, что ты рассказываешь гоже...— проговорил царь, опять зевая.

— И-и, батюшка царь...— скромно заметил старик.— Всю ведь Русь исходил и вдоль, и поперёк, всего насмотрелся, всего наслушался. И нестроения всякого много видел, и благолепия, и премудрости, и пусторни всяческой... Порассказать есть чего, это что говорить... Чего тебе, батюшка царь, желательно: божественного ли али, может, посмешнее чего?..

Алексей Михайлович очень не прочь был посмеяться и присказки и прибаутки всякие любил, но раскрываться так ему, царю, перед старцем незнакомым было него-раздо, да и кроткое сияние лампад навевало на душу тихое, молитвенное созерцание, и потому он сказал:

— Нет, уж на сон грядущий лучше чего от божественного...

Старик подумал маленько.

— Вот расскажу я тебе старинное сказание про грешника одного,— сказал он.— В Киеве недавно слышал я его от одного чернеца... Только уж ты сделай милость, батюшка, повели сесть мне, а то ноги-то мои старые, натруженные плохо меня слушаться стали...— сказал он и, точно совершенно уверенный, что в этой милости царь не откажет ему, быстро опустился на пол и свернул под себя ноги калачиком.— Ну, вот...— вздохнул он и размеренным, ласковым, каким-то точно снотворным голосом настоящего бахаря начал древнее сказание о кровосмесителе...

Тихо было в опочивальне. Алексей Михайлович лежал с закрытыми глазами.

Стучали колотушки сторожей. Собаки заливались, лаяли. За Тайнинской башней, в кустах, над рекой запел соловей. А по чёрной зубчатой стене от времени до времени слышалось:

— Славен город Москва...

— Славен город Рязань...

— Славен город Володимер...

И Господь, среди звёзд, с удовольствием слушал о такой великой славе своего любимого, христоименитого, тишайшего царства Московского...

III. СОКОЛИНАЯ ПОТЕХА

Весело ликовало солнечное майское утро. Всё пело, всё сияло, всё цвело. Точно червонцами, засыпала весна зелёные луга золотыми одуванчиками да купальницей, в берёзовых перелесках распускался уже ландыш и, как невесты, разбрелись по широкой князьменской пойме белые черёмухи. Царь Алексей Михайлович, лениво опустившись в седле, с удовольствием оглядывал свои любимые, заповедные места и изредка бросал какое-ни-

будь замечание ехавшим вокруг него охотникам-боярам. Охотничий убор всякого делает подбористее, молодежее, мужественнее, но в фигуре царя и теперь, на коне, по-прежнему было что-то мягкое, бабье, простоватое. Рядом с ним ехал казанец Шиг Алей, смуглый крепыш с плоским татарским лицом и умными глазками. Князь В. В. Голицын, молодой, статный красавец с дерзкими глазами, ехал слева от царя с секирой из слоновой кости в руке, а другой, князь Пронский, маленький, чёрненький и ловкий, держал булаву царскую, шестопёр. Ратный воевода князь Юрий Долгорукий рядом с царём казался особенно крепко сбитым, и быстры и тверды были его чёрные бесстрашные глаза. Могутный боярин князь Иван Алексеевич Голицын, краса московских бояр, ехал на дорогом белом коне рядом с сокольничим царским Федором Михайловичем Ртищевым. Бояре беседовали о чём-то, но князю Ивану Алексеевичу мешала напавшая вдруг на него икота. Он икал, как младенец, и, дивясь, повторял: «Ишь ты, вот, опять!.. Беспременно кто-то поминает меня... Кто бы это? Нешто княгинюшка?..» Потупившись и ни на что не глядя, ехал князь Прозоровский, пожилой боярин со слегка оттопыренными ушами, которые придавали ему несколько глуповатый вид, и с вечно красным носом: он всегда страдал насморком. Соколиной потехи он совсем не любил, — беспокойство одно, а какая в ей корысть? — но любил быть поближе к царю. Хитрово смеялся чему-то с Урусовым. А сзади всех и стороной ехал молодой князь Сергей Сергеевич Одоевский, племянник Никиты Ивановича. И наряд его, и конь сверкали богатым убранством своим, но сумрачен был молодой князь, и чёрные глаза его горели тёмным огнем. Он недавно женился на княжне Воротынской. По роду и богатству княжна была ему почти что в версту, — если вообще кто-либо на Руси мог равняться знатностью породы с Одоевскими, — и не было в сватовстве никакого обманства, как часто в те времена случалось: он взял то, что хотел. Но не прошло и нескольких месяцев, как богатые хоромы его опротивели

ему из-за жены немилой. То на лежанке, зевая, целый день жарится, то на сенных девок пишит и по щекам их бьёт, то со своими шутихами, не покрывая зубов, ржёт, как кобыла на овёс. А слова человеческого какого и не жди от неё... А всё от воспитания дурьего. Вон у Артамона Сергеича Матвеева Наташа Нарышкина живет — хоть роду-то и непыратого, а поглядишь — царица... И сердце его вдруг согрелось...

А сзади бояр, поодаль, стремянные их ехали, сверкая роскошью нарядов и красотой и убранством коней...

— А вон и охота наша...— довольный, сказал Алексей Михайлович, когда они выехали из весёлого, полного весенней игры перелеска берёзового в заливные луга Клязьмы: в отдалении по-над берегом, на опушке рощи, стояла верхами в ожидании царя его охота, всего человек пятьдесят,— подсокольничий и все чины «сокольничья пути» — на прекрасных конях, в цветных, шитых золотом бархатных кафтанах.— Ну, вот и доехали, слава Богу...

И росистым лугом, наперекоски, царь с боярами направился к своей охоте. Сокольничий Ртищев на рысях опередил всех, чтобы посмотреть, всё ли в охоте в порядке...

Алексей Михайлович до страсти любил «полевую потеху» и «кречетью добычу» и не жалел на неё никаких денег. Ведал у него это дело приказ Тайных Дел, как ведал он и все другие личные дела царя: его безопасность, хозяйство, винокурение, откормку скота, будные станы, распространение богословских книг, благотворительность и даже государственную роспись. Церковь, наряду со всякими другими человеческими утехами, порицала и соколиную охоту, но тут набожный царь с её взглядами не считался и, посмеиваясь, говаривал: «Ну, ничего, отмолят попы как-нито грехи мои...»

«И для той его потехи учинён был под Москвою Потешный двор,— рассказывает современник,— и на том дворе летом и зимою днюют и ночуют около птицы до ста человек сокольников. А честью те сокольни-

ки равны жильцам и стремянным конюхам. Они пожалованы денежным жалованьем, и платьем погодно, и поместьями, и вотчинами, и, будучи у тех птиц, они пьют и едят царское. А будет у царя тех потешных птиц больше трёх тысяч, и корм, мясо говяжье и баранье, идёт тем птицам с царского двора. Да для ловли и для ученья тех птиц в Москве и по городам и в Сибири учинены кречетники и помощники, больше ста человек, люди пожалованные же. А ловят тех птиц под Москвою и в городах и в Сибири над озёрами и над большими реками на берегах по пескам и, наловя тех птиц, привозят к Москве больше двухсот на год. И посылаются те птицы в Персию с послами и куда случится, и персидский шах тех птиц принимает за великие подарки и ставит их ценою рублёв по сто, по двести, по пятьсот, по тысяче и больше, смотря по птице,— тогда как корова в царстве Московском стоит два рубля, а холоп пятьдесят рублёв. Да на корм тем птицам и для ловли берут они, кречетники и помощники их, голубей во всём Московском государстве, у кого бы ни были, и, взяв, привозят в Москву, а в Москве тем голубям устроен двор, и будет тех голубей больше ста тысяч гнёзд, а корм, ржанные и пшеничные высевки идут с Житенного двора...»

Царь с боярами подъехал к своей охоте. Старый Ртищев, сокольничий, в красном с золотом наряде, в щегольских жёлтых сапогах, поклонился царю до земли и по чину, ещё прадедами установленному, проговорил:

— Время ли, государь, веселью быть?

— Время, Федя, время...— ответил Алексей Михайлович.— Начинай давай веселье...

Сокольничий подал Алексею Михайловичу богатую, всю расшитую золотом рукавицу и, взяв у почтительно стоявшего сзади него подсокольничего крупного белого кречета Буревоя — птице просто цены не было,— в клобучке и колокольцах, посадил его государю на руку.

И, опять следуя старому-старому обычаю, сокольничий поклонился боярам и сказал:

— Честные и достохвальные охотники, забавляйтесь и утешайтесь славною, красною и премудрою охотою... Да исчезнут всякие печали, и да возрадуются сердца ваши... А вы, добрые и прилежные сокольники,— обратился он к своим подчинённым,— напускайте и добывайте!..

Царь улыбкой одобрил древний чин, и вся пёстрая толпа охотников в одиночку и небольшими группами поскакала по зелёным лугам в разные стороны: к болотцам, где держались утки и всякая другая водоплавающая дичина, к перелескам, где прятались тетерева и куропатки. Рядовые сокольники криком и длинными бичами торопили затаившуюся птицу на подъём, и охотники бросали вслед ей своих соколов, кречетов и ястребов.

— Что ты сегодня словно сумен маленько, князь? — проговорил мимоходом старый Ртищев, подъезжая к Долгорукому.— Али что?

— Да всё то же...— хмуро отвечал тот, оглянувшись на своего сокольника, который ехал вслед за ним.— Вчера опять в Успенском соборе подняли безымянную грамоту с печатью красного воска на Дон к атаманам и казакам. Призывают казаков на Москву, расправиться с боярами-лиходеями, московскими цариками... Я говорю, что нельзя медлить. Сухой соломы что-то уж очень много накопилось. Надо сговариваться...

— Слышал, слышал...— раздумчиво сказал Ртищев.— А царь знает?

— Афанасий Лаврентьевич с Дона гонца всё поджидает...— отвечал Долгорукий.— Нам надо потолковать сперва...— значительно добавил он.— Я уж говорил тебе. Только вот князя Никиту Иваныча видеть я ещё не удостоился. Я дам знать...

— Ладно. Я понимаю...

И они разъехались.

Федор Михайлович Ртищев, как и князь Ю. А. Долгорукий, «по запечью» сидеть не любил, а принимал деятельное участие в строении Московского царства. Он не жалел денег на выкуп пленных, помогал нуждаю-

щимся, устроил в Москве скудельницу и приют для убогих. Во время войны с Польшей он лечил раненых на свой счёт, а по выздоровлении помогал им. Он был большим любителем до богослужения и до священных книг. Он основал близ Воробьёвых гор на свой счёт Андроньевский монастырь, а при нём школу. Учителями поставил он тридцать киевских монахов, «изящных в учении грамматики словенской и греческой, даже до реторики и философии хотящим тому учению внимати». А во главе училища стоял известный в ту пору Иосиф Славинецкий... Но Москва не любила Ртищева: он был прежде всего виновником введения новых медных денег, которые вызвали вскоре такую дороговизну и расстройство всего и закончились страшным бунтом и гибелью многих тысяч человек.

Князь задумчиво ехал лугами, за ним, с его любимым кречетом Батыем на руке, ехал его сокольник Васька, ловкий, статный парень с золотистыми кудрями, мечтательными голубыми глазами и весёлыми зубами. Контуженному польским ядром в руку князю трудно было самому напускать птицу.

Из кустов, из камышей, с воды — отовсюду поднималась испуганная непривычным шумом и оживлением заливных лугов птица, и сокола, кречеты и ястреба били её. И любо было глядеть, когда соколы брали птицу в угон или наперехват, но ещё краше было видеть, когда сокол взмывал в бездонную синеву неба и там, сжавшись весь в стальной комок, камнем падал сверху на назначенную жертву: сокрушительный удар, облачко перьев пёстрых и птица падала в изумрудную траву, под ноги коней. И снова, полный дикой радости, взмывал прекрасный хищник с гордыми золотыми глазами под облака. Иногда, разгоревшись, сокола упрямили и не шли к охотнику — тогда он, махая куском красного сукна, похожего цветом на свежее мясо, или же отрезанными птичьими крыльями, «вабил», наманивал своеговольного разбойника. Другие сокола, в особенности молодёжь, разгоревшись, точно ослепнув от своей удали, теряли

глазомер и разбивались оземь насмерть. А над солнечной, расцвеченной землёй, над головами всех этих скачущих ярко-пёстрых всадников метались в ужасе и тяжёлые кряквы, и бойкие чирки, и краснобровые красавцы те-терева, и кулики длинноносые.

И вдруг из кустов, с лесного болотца, краем которого ехал великий государь, опасливо курлыкая, поднялся с разбегу тяжёлый серый журавль. Заполыхало охотничьим огнём сердце царя. Но нет, выдержать надо: пусть наберёт журавль высоты, тогда и потеха будет настоящая, охотничья. А так неровен час и кречета убьёшь...

Журавль уходил. И вот, выдержав, царь бросил своего Буревоя. Сразу пометив дорогу, но и небезопасную добычу, опытный кречет точно заколебался, соображая, а затем без всякого видимого усилия стрелой взмыл в солнечную высь. Сердце Алексея Михайловича замерло: вот-вот, сейчас!.. Буревой, едва видный, был уже под облаками, как вдруг из бездны неба наклонно полетел вниз, к журавлю, какой-то камень. Царь так и ахнул: другой!.. Но делать было нечего: чужой добытчик уже нёсся молнией к журавлю... Огромная серая птица в тоске смертной закинула назад свою длинную шею, чтобы встретить врага ударом своего сильного клюва, но тот сделал едва уловимое движение назад и — сразу влип в спину журавля между могучими крыльями. Журавль зашатался. Полетели и закружились перья. Ещё мгновение, и журавль, точно сломанный, закувыркался вниз, в луга. Кречет — то был Батый Долгорукого, — отлетел в сторону, но в это мгновение из-под облаков на него яростно ударил Буревой, и оба, сцепившись и нанося один другому удары острыми клювами и когтями, повалились в траву. Охотники с криками бросились к ним, разняли и надели колпачки.

— Хорош, хорош твой кречет, князь... — завистливо похвалил царь подскакавшего Долгорукого. — Нечего говорить — птица стоящая...

— Ничего, летает, великий государь... — небрежно отозвался воевода, восхищённо глядя на своего любимца.

— Хорош, хорош...— повторил ещё раз царь и ещё что-то хотел прибавить, как вдруг с зелёного болотца сорвался кряковый селезень.— Этого пусть уж Буревой возьмёт!..— крикнул он.— Не замай потешиться...

Царь, раздумавшийся, точно помолодевший, поскакал за селезнем, а князь шагом отъехал с Васькой в сторону. У Васьки в тороках уже висел, вытянув длинную шею и раскинув крылья, журавль. Батый, в колпачке, чувствуя вокруг себя эту горячую охотничью суету, поскок лошадей, полёт птиц, крики сокольников и поддатчиков, сердился, пронзительно кричал, перебирал нетерпеливо по рукавице ногами и махал крыльями. Ветром веяло от размаха сильных крыльев в лицо Васьки, и он жмурился и смеялся.

— Ну, ну, буде...— повторял он ласково, сияя своими белыми зубами.— Налетаешься ещё... Ну, ну... Ишь, тожа надумал: с царским кречетом схватился!.. Да ну, буде, говорю.

Князя волновал злой и нетерпеливый крик его любимой птицы. Он пометил матёрого черныша, метнувшегося в чашу, и направился к нему. Он принял от Васьки кречета, и сокольник с трудом вытоптал из кустов затаившегося в страхе линялого петуха. Сильный красавец, свистя крыльями, пошёл было низом наутёк. Освобождённый от своей шапочки, Батый снова взмыл вверх, но когда он бросился на косача,— у обоих охотников прямо дух захватило: того и гляди расшибётся!..— тот побочил сразу в чашу и скрылся. Раздосадованный и точно сконфуженный кречет снова взмыл в небо и стал носиться в лазури широкими кругами, никак не желая спуститься на рукавицу. Васька всячески наманивал его, но кречет, точно дразня, уходил всё дальше и дальше.

«Не ушёл бы...» — опасливо подумал князь, решивший поднести своего любимца государю.

— Васька, смотри в оба!..— строго крикнул он сокольнику, грозя ему издали плетью, и подъехал к скучливо ехавшему мимо князю Прозоровскому.

Васютка, всё вабя, старался не потерять из глаз Батя и скакал за ним сперва этим берегом серебряной Клязьмы, а потом перебрался вброд на ту сторону и поехал душистой поймой. За Батя он не тревожился: набесившись, налетавшись, умный старый кречет сам вернётся, как это было уже десятки раз. А конь вот уже притомился... И Васютка, нежась на солнышке, ехал все вперёд и вперёд, к Лосиному острову, который синей тучей затянул весь край земли на полдень... И вдруг, как это часто бывало с ним, в душе Васьки всплыло видение: будто степь зелёная, бескрайняя стелется перед ним и какая-то безлюдная путь-дороженька убегает по ней в даль безвестную, а при дороженьке стоит будто бы берёзка белая, молоденькая, одна-одинёшенька. Никогда Васька в степи не бывывал, никогда всего этого в действительности не видывал и потому всегда дивился: откуда это в нём? И всегда в таких случаях становилось сердцу его и сладко, и тепло, и тоскливо, и где-то в груди сами собой начинали складываться печальные и нарядные слова и — выливались в песне...

По размытой половодьем, в колдобинах, дороге, среди цветущей поймы шла к Сергию-Троице толпа богомольцев в одежде смиренной, в лапотках, с подождками. Все тела были под сумочками вперед наклонены, точно все они тянули за собой лямку какую-то незримую, и не видели эти глаза поймы цветущей, неба ясного, всей этой радости внешней, и дребезжащими, немного гнусавыми голосами, на старинный распев, в один тон, тянули они уныло, надрывно: «А-а-а... Госапади... Сапасе... а-а-а...» И стоял за ними тяжёлый дух: монастырским ладаном да воском, потом, онучами заношенными... Сзади всех шёл попик безместный, худенький старичок, отец Евдоким, что Алексею Михайловичу старое сказание о кровосмесителе рассказывал, а с ним рядом шагал дружок его постоянный, Пётр, чернявый жилистый мужик с чёрными, строгими глазами.

— Мир дорбóгой...— сказал Васька и так, от нечего делать, спросил: — А что, братцы, не видали вы кречета моего?

— Кречета? — поднял свою поганенькую бородёнку попик.— Как не видать, видали...

— Кое место?

— На Дону...— отвечал попик, и вдруг его постное, морщинистое личико растянулось в широкой, до ушей, ёрнической улыбке, обнаружившей жёлтые, редкие, изъеденные зубы.— Да, пожалуй, и не кречета, а самого орла...

Васька с недоумением посмотрел на него: не любил он людей, которые напрямки не говорят, а с вывертами.

— А ну тебя, с побасками-то твоими...— равнодушно отмахнулся он.— Его дело спрашивают, а он незнамо что городит...

— И я дело говорю, любезный...— сказал старичок.— Вот дай срок, прилетят сюда донские-то кречеты, не возрадуешься. Так пух и полетит... Ишь вырядился, ишь морду-то наел!..

— Да будет тебе, отец Евдоким!..— остановил его строгий спутник.— И что это у тебя за обычай такой нескладный со всеми не в путь говорить?..

А Васька, всё шаря глазами по поднебесью, уже ехал поймой дальше. Дон, словно сказал он. Да, это там, в степях. И опять степь бескрайняя раскинулась перед ним, и дороженька, неизвестно куда пролегающая, протянулась, и берёзка одинокая при ней... И опять запросилась из сердца песня — незнамо о чём...

А по зелёной, нарядной, как невеста, земле, забыв все заботы и огорчения, весело скакали, гомонили и кричали разноцветные, сверкающие золотом, серебром и камнями самоцветными охотники, сокольники и поддатни, и носилась дикая птица, и тешили сердца свои бесстрашные кречеты и соколы, и бездонно было небо, и бескрайна привольная, синими далями своими манящая Русская Земля...

Вдали чуть слышно умирало надрывное: «а-а-а... Го-сапади... Сапасе... а-а-а...».

IV. У КНЯЗЯ ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО

На ленивом изгибе серебряной Москвы-реки стоял, весь в зелени цветущих садов, огромный, обнесённый высоким тыном двор князя Юрия Долгорукого; посреди двора раскинулись большие деревянные хоромы, срубленные из толстых сосновых балок и изукрашенные сверху до низу резьбой причудливой, цветными стеклами, которые только при Алексее Михайловиче и в употребление входить стали, и пёстрою росписью по стенам, ставням и даже по крыше: были тут изображены и птицы вещие, и зверь-единорог, и всадники скачущие, и петушки, и травы, и всякие чудища. В нижнем этаже хором, в подклете с маленькими окнами за железными решётками помещались богатые кладовые князя и самые близкие слуги его. Над подклетом, как водится, была горница, разделённая перегородками на четыре покоя — передняя, комната, крестовая и опочивальня, — а над горницей светлица или терем был, где у красных окон косячатых и проводила дни многочисленная женская половина семьи княжеской, занимаясь вышиванием золотом и жемчугом и для храмов Божиих, и для собственного обиходу, и молодым княжнам в приданое. Вокруг терема балконы наложены были, которые гульбищами назывались, а над теремом башенки, или смотрильни, подымались... Внизу, соединённая с горницей светлым и тёплым переходом, была огромная столовая комната, где часто шумели пиры: хлебосолен и ласков был князь, и часто съезжались к нему приятели скоротать вечерок за чашей доброго вина. А сзади хором самого князя помещалась женская половина, княгинины хоромы, куда не имел доступа ни один мужчина, даже родственники, если это были ещё молодые люди...

Весь огромный, на несколько десятин, двор был застроен множеством построек: тут были и избы людские для многочисленных холопов, и тёплая мыльня, и кладовки, и повалуши всякие, и хлебня, и клетки для хранения добра всякого, и летняя поварня, и конюшни, и скотный и

птичий дворы. И старый сад, весь теперь в цвету, манил в свою душистую нарядную тень, а пониже, к реке, протянулись тучные огороды, только что, на Ирину-рассадницу, засеянные. Вдоль высокого тына пышно цвела черёмуха, и курчавилась резная красавица-рябина, и пышно разрослись густые кусты калины-ягоды. Посередине сада, как огромное зеркало, сиял пруд проточный, в котором водилось много всякой рыбы, и шла неустанная возня птицы домашней, уток и гусей с их выводками. Ни днём, ни ночью крепкие дубовые ворота не отпирались, а ночью, кроме того, старый Агапыч, живший в караульной избе,— воротнею называлась она,— спускал с цепи огромных, звероподобных собак с зелёными, от вечной ярости, глазами. Над воротами, как полагается, висел большой образ Нерукотворенного Спаса в золочёном киоте и с большой лампадой.

На Западе в средние века путник трепетал перед всяким замком, который он встречал на пути,— в Москве того времени для прохожего были опасны такие вот усадьбы: бесчисленная, часто дурно содержимая и всегда праздная дворня часто нападала на прохожих и грабила их. По Дмитровке, например, не было ни проходу, ни проезду от дворовых людей Стрешнева и князя Голицына. Иногда дармоеды эти не останавливались даже перед убийством. У богатых бояр, кроме того, живали, как и у польских богатых панов, многочисленные «знакомцы», которые всячески угождали своему «милостивцу». Юрий Долгорукий не терпел «бездельных», как он выражался, людей, и всё это у него было сведено до минимума, и дворню свою он и содержал хорошо, по-хозяйски, и держал в ежовых рукавицах.

Отдохнув после обеда, князь напился холодного мёду и вышел на высокое, изукрашенное всякой росписью и резьбой, крыльцо с пузатыми колонками. Одет он был в светло-лиловый зипун и нарядный терлик, а на бритой, по татарскому обычаю, круглой голове его была надета расшитая жемчугом тафья. Было время ехать к вечерне, но хотя князь и крепко придержи-

вался старинки, тем не менее простой, но здоровый ум его не давал ему возможности быть слепым рабом обычая: раз встречалось нужное дело, то вечерню можно и отложить. А дело было большое: негоже на Руси дела опять оборачивались. Надо было с кем поумнее совет держать, «помыслить к тому делу дать способ». И не только нужны были люди поумнее, одного ума тут было мало, а и такие, которые были бы поближе к царю, голос которых был бы на верху услышан. Большинство царедворцев были подобны тому придворному, о котором сказал Саади: «Если бы ты так боялся и почитал Бога, как своего государя, то ты был бы ангелом ещё при жизни». Этих вот ангелов князь не терпел, презрительно звал их трутнями и избегал всякого дела с ними. Он долго колебался, позвать ли Милославского и Морозова, но потом решил пока их не звать: хоть и влиятельны были они у царя по родству, но крепко не любил их народ. И царь, видимо, стал тяготиться ими всё больше и больше. Да и сам князь не любил этих хапуг, из-за которых было столько смуты в государстве. И вообще он решил идти вперёд поосторожнее и на первый случай позвал только князя А. И. Одоевского, который, однако, что-то занемог и приехать не обещался, окольного Ф. М. Ртищева, боярина Ордын-Нащокина да Матвеева, людей совсем другого лагеря, неименитых, но для которых ухо царя было всегда открыто и которым судьбы Родины были близки, как и ему.

Дожидаясь гостей, князь хотел было разгуляться в саду и уже стал спускаться с крыльца, как у ворот слышался стук железного кольца. Старый Агапыч выглянул в сторожевое оконце и, тотчас же широко распахнув ворота, с низким поклоном впустил во двор боярина Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина, Артамона Сергеевича Матвеева да нащокинского стремяного, крещёного татарина Андрейку, невысокого степняка с раскосыми глазами на смуглом лице. Хотя и наряд гостей, и убранство их коней были скромны, но

Агапыч принял лошадей с низкими поклонами: слух о силе двух друзей этих на верху, у государя, дошёл и до старика.

Князь не торопясь спустился с лестницы навстречу гостям, приветствовал их и рундуком повёл прямо в сени горницы, а оттуда в свою комнату, всю застланную пышными коврами. Весь передний угол был уставлен дорогими старинными иконами под расшитым убрусом и пеленами. Полавочники, прикрывавшие широкие лавки, были шёлковые, пышно расшитые золотом, а столешник на дубовом резном столе был тяжёлого малинового бархата, тоже по краям весь расшитый. В поставцах вдоль стен было много жалованных кубков и всяких других дорогих любительных подарков, но картин и зеркал по стенам ещё не было: Церковь всё ещё косилась на это, а князь супротивничать зря и выставляться не любил. Но вообще хормный наряд у него был богат, солиден и в глаза не лез — словом, такой, как по его положению на Москве и полагалось.

Не успели хозяин и гости, помолившись на иконы, ещё раз обменяться приветствиями и вежливо, неторопливо, степенно осведомиться друг у друга о здоровье, а потом о здоровье и благополучии семейных, как в сенях послышались бодрые, твёрдые шаги и дворецкий с низким поклоном впустил в комнату Ф. М. Ртищева. Широкий старик с упрямым лбом, крепко сжатыми челюстями и угрюмыми бровями, истово помолился и отвесил низкий поклон сперва хозяину, а потом и каждому из гостей. Опять начались неторопливые расспросы о здоровье всех чад и домочадцев.

— Ну, вот что, гости дорогие...— проговорил князь радушно.— По погоде надо чествовать вас в саду, в шатре. Там уже приготовлено всё. Милости просим, Фёдор Михайлович, Афанасий Лаврентьевич, Артамон Сергеевич... Жалуйте... Обида вот только, что князь Никита Иваныч занемог что-то: теперь вы, люди новые, совсем меня, стародума, заклюёте...

Медлительно, спокойно все спустились в цветущий сад, где среди вековых дубов был раскинут большой, белый, красиво расшитый и разубранный зелёный шатёр.

— Милости просим, дорогие гости...

Слуги, остриженные в кружок, в алых зипунах, перехваченных шитыми поясами, в чёрных бархатных кафтанах, в сафьянных, тоже расшитых, ичетыгах,¹ с низкими поклонами раскинули крылья палатки и пропустили гостей. Посередине палатки стоял небольшой стол, блистающий дорогими ендавами, кувшинами, кубками, чашами и ковшами. Перед княжеским местом стояла золотая жалованная чаша, по ободу которой золотой вязью было выписано: «Чаша добь человеку, пить из нея на здравие, хваля Бога про государево многолетнее здоровье». Были тут и знатные меда русские, которые так хвалили иноземцы, и золотое венгерское, и романея, русскими любимая, и ренское, и мальвазия — охотничий погреб князя славился на всю Москву. На золотых блюдах и торелях лежали пряники, коврижки всякие, пастила душистая, леденцы, а также фрукты в меду и в сахаре. Князь посмотрел умным, говорящим взглядом на лица гостей и, точно приняв какое-то решение, обратился к слугам:

— Мы управимся одни... Вы идите все. Я позову, когда нужно. И ты, Михей, иди тоже... — сказал он почтенному лысому с кругленьким брюшком дворецкому. — Пусть только будет где-нибудь поблизости Стигнеич...

С низким поклоном все слуги удалились.

— Может, лучше, князь, и Стигнеича твоего... того... — значительно двинул своими суровыми бровями Ртищев.

— Да он немой!.. Или ты забыл? — сказал князь, бережно разливая в кубки вино. — А кроме того, он на руках меня выносил... Ничего...

— Нынче всех опасайся... — сказал сокольничий. — Бережёного и Бог бережёт. Качается весь мир...

¹Ичетыги — полусапожки без подошв.

— Да, люди другие пошли...— согласился князь.— Вот намереди, как были на охоте соколиной, у моего сокольника Васьки кречет ушёл...

— Батый?!— ахнул Ртищев.

— Батый...— сказал князь.— Главное, не столько птицы мне жалко, а обидно: поднести государю кречета я хотел, очень он ему полюбился...

— Цены птице нет — это уж я тебе говорю!..

— Ну, вот... Вернулся Васька к ночи: нет птицы... И велел я с досады постегать его маленько на конюшне. А сёдни поутру и докладывают: убёг Васька и никаких следов не оставил. Правда твоя, боярин: закачался мир... Ну, однако, всё требует порядка...— грузно встал он и, подняв свою чашу, проговорил: — Во здравие великого государя...

Все поднялись, чокнулись и осушили чаши, как полагалось, до дна. Князь снова взялся за кувшин.

— Ну, однако, князь, меня ты не очень потчуй...— сказал Матвеев, подставляя свою чашу и глядя на хозяина своими мягкими голубыми глазами.— Ты знаешь, питух я плохой...

— Да и я не из хороших...— улыбнулся своей слабой улыбкой Ордын.— Ты уж не взыщи на нас, князь...

— Знаю, знаю...— засмеялся князь. Неволить не буду. Вы хоть пригубливайте помаленьку, чтобы нам вот с боярином Феодором Михайлычем стыдно не было... И в кого вы, новые, только пошли, погляжу я... Совсем жидкий народ... Ну, а между прочим, какие последние новости с Дона?

— Негоже на Дону...— сказал Ордын.— Атаман их, Корнила Яковлев, дал знать мне в Посольский приказ, что поднялись там все голутвенные люди и сперва хотели было в Чёрное море на разбой выйти, но поопасались азовских турок. И, погалдевши вдосталь, решили идти на Волгу и уже прогребли, как пишет Корнило, на своих стругах мимо Черкасского городка вверх. А позавчера пришла грамота от Унковского, воеводы царицынского, который пишет, что воровская ватага

всё ещё на Дону, выше Паншина-городка, меж рек Тишины и Ловли, стоит на буграх, а около тех бугров вода большая, и про них-де, подлинно проведать и сметать, сколько их человек, и у них стругов, и какие струги, не мочно, и языка у них поймать за большой водой нельзя... Но только всё это, должно, уж переменялось: грамота эта по случаю водополья шла почти семь недель, так что куда за это время передвинулся Разин, неведомо...

— Разин? — нахмурился князь.— Какой Разин?

— Атамана голутвенных зовут Разиным, Степаном, а кто он такое, не ведаю...

— Погодите...— сказал князь.— Как я с ляхами воевал, были у меня в войске и донцы со своим атаманом Иваном Разиным. Ну, да, так... Подошла осень, холода, и вот является ко мне Разин и говорит, что донцы требуют-де отпустить их по домам. Как так по домам, так твою и разэдак?!— грянул я.— На печь к бабе захотел? Эдак и все бы разошлись... Не сметь о том и думать!.. А он, Ивашка, эдак невежливо и говорит: мы-де казаки, проливаем кровь за его государское здоровье добровольно и удерживать нас ты, воевода, не можешь... Я скажу-де казакам, что ты ругаешься, а они там как хотят... Ну, ушёл... И вдруг к ночи прибегает ко мне жиловин один: казаки в ночь уходить своей волей собираются!.. Сейчас же я приказал рейтаров и драгун на всякий случай изготовить и следить людей поставить. А как только казачки зашевелились, я цап атамана да старшину да в оковы, а Разина тут же перед казаками за измену государеву делу повесить велел... Ну и повесили... Так это, значит, который-нито из его братьев — помню, что у него братья в войске были,— баламутит. Ну да Корнило Яковлев парень толковый и свое дело знает. Лет пять тому назад подняли было там бунт Ивашка да Петрушка какие-то и городок тоже свой под Паншиным же поставили, а приказали отсюда Черкасску покончить дело, и враз всё было покончено...

— Нет, князь, на этот раз дело обстоит хуже...— сказал Ордын.— Вот мимо Черкаска-то прогребли они всего на четырёх стругах только, а теперь, как идёт слух,— он скорее воеводских грамот доходит,— у Разина уже за тысячу человек перевалило, и со всех сторон тянется к нему голытьба. И как шли они Доном вверх, так всех хозяйственных казаков пограбили да повыжгли...

— И на Корнилу Яковлева рассчитывать особенно не приходится...— поглаживая свою красивую рыжеватую бороду, тихим, как всегда, голосом проговорил Матвеев.— Если вся эта голытьба очистила Дон, то это всё, что домовитым казакам требуется, и задерживать её они не станут. Голытьбы там за последнее время скопилось очень уж много, и народ прямо голодал: того царского жалованья, что посылает Москва Дону,— и хлеба, и одёжи, и воинского припасу,— на всех уже не хватает. Я думаю, что боярин Афанасий Лаврентьевич прав: дело там затирается не на шутку. И из Астрахани, и из Чёрного Яру, и из Саратова, и из Самары — отовсюду пришли от воевод грамоты, что на Волге неладно, а мы, известное дело, отписали им, чтобы жили воеводы с великим бережением, а где воровские казаки объявятся, посылали бы на них для промысла служилых людей... Тревоги много, а толку мало. Разин, бояре, не войском своим голым опасен, а тем, что чёрный народ и все молодшие люди на его стороне. И у Хмельницкого Богдана войска немного было, а стал народ на его сторону, и кто ведаёт, может, Польша никогда уж и не оправится от того удара, который нанёс ей Богдан....

— Ну, от этого удара и нам что-то всё неможется...— усмехнулся Ртищев.— Все тогда на Раде орали: водим под царя восточного, православного, а теперь опять вся эта Украина котлом кипит и, того гляди, опять всё загорится. Воистину, шатается весь мир...

— И, сказывают, Разин круто принял людей, которых послал к нему воевода царицынский...— сказал Ордын.— Он прямо потребовал, чтобы ратных людей против него не посылали, а то-де потерю всех их напрасно,

а Царицын город сожгу. Он распускает слух, что идёт он за Волгу против калмыков воевать, но это только отвод глаз один... Он слышит за собою силу и поднялся на большие дела. И там, на низу, если не все это понимают, то многие грозу сердцем чувствуют...

— И что любопытно, так это слух, что с Бела-озера прибежал...— сказал Ртищев.— Да и не слух — напрямую говорить надо: в приказ Тайных Дел донесли с Бела-озера, что туда, в Ферапонтов монастырь, к бывшему патриарху нашему Никону заходили трое людей каких-то,— будто, вишь, на богомолье в Соловки шли, а по пути и к Никону заглянули. И будто звали те люди Никона на Волгу для больших дел: был-де ране Никон патриарх всея Руси и собинный приятель царёв, а тепер-де простым чернецом стал, так, может, захочет-де свою обиду на боярах выместить... Ну, только Никон на ту воровскую прелесть не поддался,— хитёр старик...— на Волгу не пошёл, а стал говорить всем близким, что большие-де смятения и кровопролития на Руси будут скоро, что было-де ему от Господа в том видение...

И чтобы скрыть свою улыбку, Ртищев — он не любил Никона,— поднял чашу...

— Разбойный приказ завален грамотами о разбоях и татиных делах...— продолжал Матвеев.— Такого разбоя, как теперь, на Руси словно никогда ещё не было: жгут, грабят, убивают везде. И на Москве по ночам пошаливать стали крепко. Посылаем сыщиков наших дознаться обо всём, так от них города и деревни стонут хуже, чем от татей да разбойников. Пытают, жгут на огне, головы рубят, деньги вымучивают, а уедут, так там, где одна воровская шайка промышляла, начинают промышлять ещё две. Как можно вывести разбой, когда разбойничье дело для воеводы и приказных первое лакомство? Сколько раз пробовали передать его губным старостам — нет, воеводы ни за что из рук выпустить его не хотят...

— А губные старосты из другого теста деланы, что ли? — усмехнулся князь.— Тех же щей да пожиже влей...

Тем же воеводам часто царь наказывает при сборах денег народ от его выборных да от богатых мужиков-горланов охранять. Так вор вора и стережёт — ха-ха-ха!..

— Так то-то вот и есть...

— Вся беда в том, что нету в правительстве руки твёрдой...— сказал Долгорукий.— Вот сейчас завозились донцы — пошли туда ратную силу да ударь так, чтобы они об этих своих вольностях на веки вечные позабыли. А у нас государево жалованье посылают. И не совестно!.. Ведь это просто-напросто дань. И кому же? Беглым холопам!.. Вот я тогда повесил Ивашку Разина, и сразу хвосты поджали и воевать стали.

— А отрыгнулось вот теперь...— тихо вставил Ордын, глядя своими лучистыми глазами на узоры своей золочёной торели.— Кто знает, может, Степан за брата и поднялся?..

— И опять ударь, да так, чтобы только мокро осталось...— стукнул князь по столу своим жилистым волосатым кулаком.— Тут выбору нет: или меня на кол, или я его на верёвку...

Он вдруг поднял голову и прислушался, затем быстро встал, решительными шагами вышел из шатра и остолбенел: его старый Стигнеич, прислонившись к корявому стволу могучего дуба, сладко дремал, а у самого шатра тёрся, глядя по вершинам деревьев, татарин Андрейка, стремянный Ордына.

— Тебе что здесь надобно? — грозно крикнул князь.— А?

— А вон, бачка, кречет тут чья-то всё летает, бачка...— заулыбался всеми своими белыми зубами татарин.— Может, твоя, бачка, кречет. Вот сичас тут на дубу была, бачка.

— Так где же он?

— Не знаю, бачка... Сичас вот тут была, бачка...

Князь пристально посмотрел на него своими стальными глазами.

— Иди прочь!.. А ты, старая ж... чего спишь? — крикнул он на растерянного Стигнеича.

Красный и сердитый, он вошёл в шатёр.

— А ты, боярин, присматривал бы за своим малайкой...— садясь, сказал он Ордын-Нащокину.— Не по душе мне что-то морда его. Больно уж что-то ласков... Ну, за здоровье моих дорогих гостей...— поднял он чашу, а затем, вытирая густые усы, продолжал: — Что мир качается, это и слепые видят. Значит, нужна железная рука, чтобы качание это остановить и всё на своё место поставить.

— А не лучше ли сперва разобрать, отчего он качается, а затем, ежели то в силах человеческих, устранить то, что не дает ему покоя?...— задумчиво сказал Ордын.

— Не один ты так мыслишь...— усмехнулся князь.— И Артамон Сергеич вот с тобой, и Голицын Василий, и Черкасский, и Романов Никита... Толковый вы народ, но только там, где надо тушить пожар, вы будете год рассуждать, отчего загорелось...

— Не отчего загорелось, князь, а отчего всё загорается снова...— поправил Ордын.— Мы тушим, а огонь всё выбивает снова... Ведь вы подумайте: с самой смерти Годунова, больше полвека уж, народ покоя не знает... Не успел он и пяти лет процарствовать, как в северской стороне Хлопко Косолапый бунт поднял. Только его уладили, те, кому это нужно было, Дмитрия воскресшего подсунули, хотя Москва Борису Фёдорычу уже присягнула. Расправились с Дмитрием, посадили Шуйского, за ним Владислав полез, и шведский королевич, и тушинцы, а на Путивле Шаховской крутил, под Москвой Трубецкой баламутил. Управились, посадили Михайлу Фёдоровича — словно бы конец. Нет, по всей Волге казаки воруют, на северской стороне лесовчики громят, а шиши чуть не под самые стены Москвы подходят. В 1648-м году Москва, Устюг, Козлов, Сольвычегодск, Томск подымаются, в 1649-м на Москве закладчики шумят, в 1650-м Псков и Новгород, а там на Дону всё шум идёт, из-за Никона смута и шатание великое пошло, а там все эти бунты в Москве и в Коломенском. А война с Польшей, а мор этот страш-

ный, а шведы, а усмирение черемис да чуваша, а беспокойство постоянное от крымчаков да от степных людей?.. Не то диво, что трудно нам, а то диво, как ещё живы мы. И всего страшнее вот это внутреннее шатание наше...

— Вот...— стукнул князь по столу кулаком опять.— Вот с чем в первую голову управиться надо, а шведы, да поляки, да степь тогда страшны нам уж не будут...

— Да как нам с этим справиться, когда всё оно от нас и идёт!..— слегка зарумянившись, воскликнул Матвеев.— Крутить по-лисьи хвостом туды и сюды нечего: надо напрямки говорить. Народу-то ведь житья нет. Ведь всякий воевода-то для него страшнее Золотой Орды. Сам, чай, помнишь, князь, сколько смеху наделала челобитная князя Звенигородского, когда он на Белоозеро на воеводство просился: воевода-де там уж второй год сидит, так, чай, сыт-де. Теперь меня-де припустите подкормиться... Да что там воевода! С каким-нибудь захудалым приказным и то ничего не поделаешь! Суд? Сунься и уйдешь голый... Ведь надо и дьяков задарить, и подьячих, и сторожам на пироги да на квас дать, и всех холопов у дьяков оделить надо... Когда его сажают в приказ какой или там судьей, он целует крест с великим проклинательством, что по правде судить будет, а на другой день он всё это уж ни во что поставляет и руки свои ко взяткам спускает... А поборы с народа в казну? А что делают с мужиком иные вотчинники да помещики? Э, что там говорить!.. Всё это ты не хуже меня знаешь, князь...

— А что делать с этими поборами, когда в казне государственной денег нету? — сказал Ртищев.— И на ратное дело нужно, и на строение городов, и на приказы, всего и не сосчитаешь.

— С голого и десять латников рубахи не снимут, боярин...— сказал Матвеев.— Оттого и отчаялся народ. И разбегаются кто куды. Вот недавно говорил я с немцином неким, так дивился он, как скоро мы наши украинные, порубежные места, пустыни заселяем, какой

вы-де народ упорный да толковый. А я, вот истинное слово, чуть не засмеялся: того немчин не понял, что это мы все от Москвы, от самих себя, разбегаемся. Убежит он куда за Черту,— ни татар, ни ногаев, ни лихих людей не боится, только бы от нас уйти! — отдохнёт годок-другой, а там власть опять его нагоняет, и опять мытарства всякие да разорение начинается, и опять он бежит. А немчин дивуется: какие молодцы!.. Да, на Черте, и за Чертой, и на Дону, и в Запорожье, и в Сибири, за буграми, народ, а под Москвой деревни пусты стоят. И получается не жизнь государская, а одно плюгавство... И добро бы мужики одни бегали — дворяне и дети боярские и те от московской волокиты казаковать бегут!

— Твое здоровье, князь...— поднял чашу Ртищев, и, когда все выпили, он обратился к Ордыну и Матвееву и сказал: — Ну, так в одно слово говорите: что же, повашему, нужно, чтобы это шатание земли остановить?

— Закон нужен для всех один...— сказал Матвеев.

— И ученье...— прибавил Ордын тихо и как будто не очень твердо.

— А Уложение вам не закон?

— Закон теперь, что дышло: куда повернул, туда и вышло...— сказал Матвеев.— А надо, чтобы лутчие люди пример показали, как на законе стоять во всяком деле надо...

— О-хо-хо-хо...— вздохнул покрасневший от вина Долгорукий.— Чует моё сердце: не сносить нам головы!..

— Князь, мы не перечим тебе...— сказал Матвеев.— Мы не говорим, что воров по головке гладить надо. Но только одно мы говорим: одними виселицами да батогами крепости земле не дашь...

Солнце садилось. Вся земля залилась тихим золотистым сиянием. Вокруг пели зяблики, скворцы, пеночки, малиновки. С весёлым щебетанием носились по усадьбе ласточки. На реке слышались детские голоса... Заговорили о порядках иноземных. Князь сурово осуждал это чужebesие и говорил, что то, что для немца здорово,

то для русского смерть. Матвеев горячо, а Ордын спокойно и немножко точно печально защищали, что доброму везде учиться можно, и приводили целый ряд исторических примеров, которых так не любили стародумы: о том, как строил Иван III своими каменщиками Успенский собор, и как собор рухнул и пришлось звать из Венеции Аристотеля Фиораванти, о том, что Иван IV легко и много побеждал на Востоке, но всегда был бит — как и мы же — на Западе, о том, что сами иноземцы понимают, как им опасно дать Руси свободный ход на Запад: разве забыл князь письмо Сигизмунда польского к аглицкой королеве насчёт нарвской навигации?.. Но все чувствовали, что беседа в конце концов не привела, да, пожалуй, и не приведёт ни к чему, что говорят они на разных языках. И, выпив по последней чаше, гости стали прощаться и низкими поклонами благодарить хозяина за угощение. И когда закрылись за ними ворота, к князю подошёл старший сокольник его Ефрем Кашинец, сухой и горбоносый, сам похожий на старого сокола.

— Ну? — остановился строго князь: он думал, что-нибудь о Ваське.

— Батый вернулся, князь...— довольный, сказал старик.

— Когда?

— Ещё перед вечернями Ванька Шураль пымал его в пойме...

Князь вспомнил Андрейку-татарина и нахмурился: чего же он тут высматривал, татарская морда?

— Эй, Стигнеич...— крикнул он.— Кашинцу и Шуралю по доброй чарке водки... И смотри у меня!..— погрозил он Кашинцу.— Теперь ты мне за кречета ответчиком будешь... Понял?

И, твердо и энергично ступая по дубовым ступеням, он скрылся в хоромах. В саду, невидимая с улицы за высоким тыном, играла в горелки молодёжь. Слышался весёлый девичий смех и крики: «Чур, чур меня!.. А ну, догоняй!..»

V. ДВА ДРУГА

— Заедем повечерять ко мне, Афанасий Лаврентьевич...— проговорил, выехав за ворота, Матвеев.— Что-то все эти разговоры душу мне растревожили. И хуже всего то, что мы словно не договариваем до конца... Потолкуем...

— С радостью, Артамон Сергеевич...— отвечал Ордын.— И то давно я у тебя не был...

— Ну, вот и гоже...

Они ехали шагом берегом сияющей Москвы-реки. На той стороне пёстрое Заречье раскинулось, а справа, на холме, за его зубчатыми стенами, сияли соборы и хоромы царя и вельмож его, а над ними, как свеча воску ярого, высилась колокольня Ивана Великого. А вокруг Кремля безбрежное и беспорядочное море Москвы раскинулось: было в ней о ту пору до сорока тысяч усадеб, но как любили москвичи селиться широко, то казалась Москва значительно больше, чем она была на самом деле. Окружность её, однако, была всё же больше сорока вёрст. И было много зелени, и кое-где по холмам дремали мельницы-ветрянки, и всюду, куда ни глянешь, были церкви, церкви, церкви: их было в Москве, вместе с домовыми, до двух тысяч. Издали — говорили иноземцы — похожа была Москва на Иерусалим, а вблизи — на бедный Вифлеем: стройка была в ней серая, бедная. «А в домах своих они живут без великого устройства,— говорит современник.— И самым меньшим чинам домов своих построить добрых не можно, потому что говорят о них, что богатство многие имеют, и ежели построятся домом какой приказный человек, оболгут царю и многие кривды учинят, что будто он был взяточник и злоиматель, царской казны не берёт или казну воровски крал, и от того злого слова тому человеку и не во время будет болезнь и печаль. Или, ненавидя его, пошлют на иную царскую службу, которого дела ему исправить не можно, и наказ ему напишут такой, что он из него выразуметь не умеет, и

посему службою прослужится, и ему бывает наказание: дом, имущество и вотчины возьмут на царя и продадут тому, кто хочет купить. А если торговый человек или крестьянин построится добрым обычаем, и на него положат на всякий год податей больше. И оттого Московского государства люди домами своими живут негораздо устроенными, а города и слободы без устроения же».

— А я тебе не сказывал, Артамон Сергеич, новость-то — проговорил Ордын.— Наш Григорий Карпыч приказал долго жить...

— Котошихин?! — испуганно раскрыл глаза Матвеев.

— Да. В шведских курантах пропечатано...— сказал Ордын.— И негоже помер: казнили... У князя я нарочно не говорил, чтобы нам, новым людям, и это сейчас же на счёт не поставили. Ведь и он из наших был...

— За что? — поражённый, глядел на него во все глаза его друг.

— Жил, вишь, он там на фатере у шведа одного, и будто швед тот к жёнке своей Котошихина приревновал. Пришел он раз домой выпимши, это швед-то, затеялась ссора, Котошихин ножом его и ударь. Тот помер, а Григорию Карпычу голову сняли... О-хо-хо-хо...

Григорий Карпович Котошихин был дьяком Посольского приказа, которым управлял Ордын. Был он человеком по своему времени весьма начитанным и умным. За невинную описку в государевом титуле — надо было написать, как писалось исстари, «облаадатель», а он написал с одним «а», «обладатель»,— его наказали батогами нещадно. По возвращении домой из поездки для заключения Кардисского мира он узнал, что за его отсутствие у него отняли дом со всеми пожитками: его отец, казначей в одном монастыре, был обвинён в растрате, и хотя потом оказалось, что никакой растраты не было,— не хватило всего пяти алтын,— дом так и не возвратили. В 1664-м году он был в польском походе при князе Юрии Алексеевиче Долгоруком. Воеводы, как

всегда, ссорились. Долгорукий настаивал, чтобы подчиненный ему Котошихин, поддержал его донос на князя Якова Черкасского. Котошихин отказался и впал в немилость. И вскоре был уличён он в выдаче шведам тайных документов за сорок рублей и вынужден был бежать за рубеж, где, как рассказывал Ордын, и покончил свои дни под топором палача. Естественно, что вся эта история большой радости партии реформаторов доставить не могла.

— Да, негоже... — покачал головой и Матвеев. — Говорить нечего: негоже...

Они повернули направо, вверх от плавучего моста к Василию Блаженному. Тут стояли две большущих пушки, обращенные дулами на мост, откуда обыкновенно нападали на Москву татары. Ордын от времени до времени поколачивал в небольшой барабан, который был у всякого боярина, чтобы толпа пропустила его. Услыхав этот «боярский набат», все сторонились и кланялись боярину до земли... Стрельцы, болтавшиеся в толпе, низко кланялись Матвееву: он одно время начальствовал над московскими стрельцами. Тут, между кремлёвской стеной и Василием Блаженным, был Вшивый рынок, место стрижки для всех москвичей. Остриженные волосы устилали землю таким густым слоем, что не слышно было ни звука копыт, ни проезжающих телег и повозок. Они выехали на Красную площадь, где, как всегда, кипел оживлённый торг. Гвалт тут был невероятный: торговцы заманивали покупателей, божились, клялись на иконы, били по рукам, ругались и снова крестились на иконы, призывая Бога во свидетели своих мошенств. Безместные попы стояли, ожидая найма, у Василия Блаженного и развлекались от нечего делать кулачным боем и непристойно бранились. Бесчинства их были так велики, что церковное начальство прямо не знало, как их унять. И тут же, громко крича, предлагали они проходящим отслужить сейчас же, на месте, молебен: кто Марии Египетской, кто святому Науму, который, как известно, наставляет на ум, кто

Флору и Лавру, богам скотным, а кто Кирику и Улите. Торговцы блинами, пирогами и оладьями тут же жарили свой духовитый товар на особых жаровенках. Ныли нищие. Какой-то дюжий мужик возил в тележке обрубок человека: то был казнённый за воровские деньги. Прохожие, среди которых было немало простых празднолюбцев, с жалостью смотрели на обрубок этот и бросали ему, набожно крестясь, медяки. Торговцы луком и чесноком, — любимые овощи того времени, — квасом, белилами и румянами, калачами и крестиками оглушали всех своими заливистыми криками. И объезжие головы, и земские ярыжки в своих красных и зелёных кафтанах с вышитыми на груди буквами З. Я. с трудом поддерживали порядок в этом горластом море людском, а когда слышали крутую матерщину, то без разговора — по приказу самого царя — крушили ругателей по голове и по плечам здоровенными палками.

И вдруг в толпе произошло дикое смятение. Все с криками бросились врассыпную. Безногие обретали ноги, слепые прозревали, у расслабленных вдруг обнаруживались недюжинные силы, изувеченные бросали свои костыли, торговцы — свои товары, мужья — жён, родители — детей, и всё панически торопилось скрыться: на торгу появился небольшой отряд стрельцов, впереди которого шёл со связанными руками человек. На голову его был надет мешок с прорезями для глаз. Это был страшный «язык», обвинённый в страшном «слове и деле» государеве и теперь выведенный на торги и базары, чтобы обнаружить своих сообщников и предать их тут же в руки правосудия. И так как часто случалось, что такие «языки», чтобы отсрочить свою гибель, нарочно запутывали в дело совсем неповинных людей, то при появлении его и обращались все в паническое бегство...

Постукивая в свой набат, Ордын с трудом прокладывал дорогу среди густых толп, теснившихся меж торговых рядов. Были ряды пряничный, птичий, харчевой, калачный, крашенинный, суконный, сапожный, свечной, коробейный, медовый, соляной, до-

мерный, житный, охотный, зелейный и всякие другие. Мимо Аглицкого двора, что стоял у Максима Исповедника, оба выехали на Рыбный рынок, где всегда была такая вонь, что даже ко всему привычные москвичи не выдерживали и затыкали носы. Тут кончался славный Китай-город и начинался Белый город, не менее бойкий и шумный. Звонко цокотали подковы лошадей по деревянной настилке улиц. Вокруг всё та же вонь, пыль, крутая матерщина и пьяные песни. У одного большого кружала стоял на крыльце пьяный дьячок и, нелепо размахивая рукой, что-то громко и весело кричал глазающей на него толпе. Та гоготала, от удовольствия сплёвывала на сторону и, сядя матюгом, лезла всё вперед, чтобы лучше слышать весёлого дьячка. Андрейка, стремянный Ордына, ехавший сзади, пометил с краю толпы странников отца Евдокима и Петра и незаметно лукаво прищурил им глаз, но в это время его боярин что-то обернулся и подметил его смешок.

— Царский бахарь, бачка... — ослабился Андрейка. — Царю шибка сказка сказывал. И песня старинная шибко петь можит, бачка...

— А ты почему знаешь? — спросил Ордын.

— На царском дворе видал, бачка... У-у, тонкий народ, бачка, шибка тонкий!.. Все наскрозь понимать можит, бачка...

Справа показалась красивая церковь Николы на Столпах, приход Матвеева. Все трое сняли шапки и перекрестились.

— А не знаешь, как дело со Стрешневым-то порешили? — спросил Ордын.

На боярина Стрешнева, родственника царёва, было подброшено в Грановитую палату письмо, в котором его обвиняли в волшебстве. Царь, очень боявшийся колдовства, был чрезвычайно смущён и рассержен.

— Дела его плохи... — сказал Матвеев. — Великий государь сказывал, что снимет с него боярство и пошлет в Вологду... Вот что хочешь, то тут и думай...

Они подъехали к небольшой и невзрачной усадьбе Матвеева. Царь не раз и шутя, и серьёзно требовал, чтобы Матвеев построился получше, но тот всегда отговаривался, что ему, худородному человеку, со знатными боярами тягаться не след. Старый слуга Матвеева, Орлик, отворил на стук кольца ворота и принял коней. Это был серьёзный, набожный старик с какими-то особенно милыми, собачьими глазами. Ордын отпустил своего малайку домой: у Матвеева он всегда засиживался. Андрейка ослабился, вытянул коня плетью и, подымая по улице золотистую пыль, поскакал — к кружалу, около которого он только что видел царского бахаря. Он покрутился вокруг, искал их, но не нашёл и, снова вытянув своего степняка, поскакал домой...

— Ну, чем же мне потчевать тебя прикажешь? — идя к крыльцу, говорил Матвеев. — Вечерять, как будто, рано ещё. Может, выпьешь чего, горло от пыли московской промыть?..

— Брось, Артамон Сергеич... — сказал Ордын. — Ведь я знаю, что и ты не любишь безо время брюхо чем ни попадя набивать. Да и я бражничать не охотник...

— Ну, так тогда нам непошто и в горницу пока идти... Пойдем в саду посидим маленько... Ишь, благодать какая...

Друзья сели на низенькую скамейку под старой, точно молоком облитой, черёмухой. От пряного духа её слегка кружились головы и сладко щемило сердце нежною тоской по какому-то счастью, неведомому, но близкому, всегда возможному.

— Гоже у тебя тут, Артамон Сергеич... — похвалил Ордын. — Не скажешь, что и в Москве...

— Да, наша улица, слава Богу, тихая... — отозвался Матвеев. — Так и живём, ровно в скиту...

— По нынешним временам скит, пожалуй, самое лутчее место для человека... — задумчиво проговорил Ордын, глядя перед собой своими лучистыми, немного печальными глазами.

— Ну... Что ты это?..— пошутил Матвеев.— Ежели все так по скитам забьёмся, как же государство-то стоять будет?..

— Всё горе в том, что прямоты сердца в людях нету...— печально проговорил Ордын.— И во всякой лжи да глупости мы пропадем, как кутята слепые. Вот говорили мы о шатании людей. С некоторой поры в себе я это самое шатание подмечать стал, вот беда... То, что раньше вернее верного казалось, теперь вдруг точно... не знаю, как и сказать тебе... ну, точно вот всё завяло. Уж я ли не настаивал перед царём, чтобы Ригу нам занять и вообще к морю пробиться, а теперь лежишь и думаешь целыми ночами: да так ли это? Да поможет ли нам море? Вот тот же Котошихин вышел на моря-то, а кончил чем?.. Знамо, там словно повольнее жизнь-то, да это ли нам нужно? Ну, да это оставим. А тяжелее всего для меня то, что во всём какая-то гниль у нас заводится, все какими-то косыми да несправедливыми путями идёт. Вот давеча Годунова вспомнили и всё, что после него было. А разберись по совести: ведь все до единого, что за это время власть один у другого вырывали, только о своей мощи и заботились: как бы поскорее да побольше награть. Помнишь письмо Шереметева Фёдора Иваныча к Голицыну в Польшу, как они насчёт выбора Миши Романова сговаривались? «Миша-де молод, разумом недошёл, и нам будет поваден...» А о народе и думушки нет! Конечно, на словах-то поди-ка какими соловьями все разливаются, а посмотришь поближе: обман. Церковь опять возьми. Уж тут ли греху да обману быть, казалось бы: ведь самое святое для человека место! А помнишь, какие штуки Лигарид да и все эти другие бродяги на суде над Никоном выстраивали? Ведь совестно слушать было!.. Если зашло дело о том, какой власти, царёвой али духовной, на первом месте быть, так и решай это дело как по совести, по закону. А помнишь, как Лигарид махнул, что у такого царя, как Алексей Михайлыч злых наследников быть не может и потому подчинение Церкви царю ей вреда не принесёт? И всё это, чтобы выслужиться. И

своего добился: его проклял иерусалимский патриарх за латинство, а мы отсюда послали патриарху любительных подарков на тысячу рублёв и тот своё проклятие снял. Где же совесть-то? Где же правда-то? Или опять возьми правление наше. Верно, что трудно теперь одному за всеми непорядками угоняться, верно, что надо бы почаще собирать людей всего государства Московского для суждения о делах государственных, для совещания царя со всенародными человеки, как били о том челом гости и торговые люди лет пять тому назад. А стоит пойти на встречу, как начинается опять всякое мошенство, измена, нестроение. Помнишь, в 1651-м году из Крапивны на собор был какой-то боярский сын Федоска прислан, а потом посадские люди челом били царю, что такого воришку, составщика и пономаришку они не выбирали и что ему у великого государева дела быть нельзя.

— Так то всё воевода подстроил!..

— Всё равно, кто подстроил. И воевода такой же русский человек, как и мы. А как он на дело-то государственное смотрит?..

— Вон енисейский воевода Голохвостов надумал отдавать от себя на откуп зернь, и корчму, и безмужных жён,— нешто можно поклеп за это на всех класть?..

— И можно, и должно. Ежели ты себя за всех виноватым не чувствуешь, то несть нам спасения. Все мы — одно... Да. И требуем: собери людей, спроси совету, слушай земли. Соберут их, а они начинают: «В том во всем твоя государская воля, а нам о том советовать непригоже... Мы на службу готовы, где государь укажет быть». Только всего и мнения у него. Так зачем тогда их и собирать? Вон Крижанич всё печаловался, что не может русская власть средним путем ходить, что во всем она меры не знает, что всё по окраинам да пропастям блуждает. А разве это не от нас?

— Вся беда наша в том, что просвещения книжного в нас нету...— сказал Матвеев.— Царь Михайла Фёдорыч сам едва по складам читал, многие бояре высокие должности занимают, а имени своего подписать

не могут... А откуда его, просвещение-то, взять, когда училищ нету, а в чужие края и носу высунуть не смей? А помнишь, Олеария на Москву звали? Ты-де, и астроломию знаешь, и географус, и беги небесные, и нам-де, такие люди нужны, а потом и пяти лет не прошло, этот самый географус в ереси записали! А наши крутолобые-то ещё всё плачут, что больно мягко наше Уложение!.. Тут взвоешь, а им всё мало... А в тех училищах, которые и есть, чему учат, чем учителя похваляются? «Откроются им всякие книги печатные и письменные, и всякие дела и крепости, откуда вразумляются и вчиневаются и чем устроятся...» И всякий, кто знает грамматикию, уже философом слышит, учёным!..

— Просвещение книжное...— повторил тихо Ордын.— А Котошихин? А опять Морозова возьми: он ли не начинтан, он ли не умен? А в голове только одно: где бы чего урвать? Вот тебе и просвещение!.. Сердцевина у нас гнилая, сдается мне. Веры настоящей нету. Величаемся: мы-де, одни хранители истинной веры Христовой, а вокруг-де, все басурманы. А погляди ближе опять: и вера какая-то гнилая!.. Вон когда Никона всем миром валили, тот же Стрешнев свою собаку Никоном назвал и благословлять её по-патриаршьи выучил! А Никон его за это проклял. А сам Никон, патриарх всяя Руси, когда при нём нашего псковского святого Ефросина хвалить стали, саданул: «Какой он святой? Вор, бляди сын, Ефросин...» И пил хуже всякого ярыжки, и царь к покоем его во время запою стрелецкий караул ставил... И стоит над Москвой звон всех сорока сороков, а на улицах — матерщина, женщины носу показать нельзя. Говорят: из терема выпустить её надо. Да как же я её выпущу на такую страмоту?..

Матвеев, точно уже испугавшись чего-то, молчал. Из-за Николы на Столпах в сиреневых сумерках месяц подымался. Загорались редкие и бледные звёзды. Соловьи засвистели и зарокотали по садам.

— Думаю я, что от того в нас всех шатание такое, что нет в нашей вере ни ясности, ни твёрдости...— сказал

тихо Ордын, потупившись.— Вон какую бучу на весь православный мир Никон поднял, а разобрать, весь этот шум пошёл из-за пустяков. Мнится мне, что не букву исправить надо было, а то, что под буквой. Возьми хошь Нила преподобного, которого Иосиф Волоколамский заклевал. Ведь он нестяжанию учил, кротости, жизни братолюбной, а пастыри наши привыкли стоять высоко, ездить широко. Ведь о том же Никоне попы говорили, что лутче в Сибирь в ссылку идти, чем попасть к нему под начало: ведь он батогами их бил, на цепь сажал, в ссылку гнал невесть и сам куды, а сам тем временем, запершись, всё деньги свои да сибирские меха считал, а приняв от прежнего патриарха 10 000 крестьян, он после себя оставил 25 000 семей крестьянских, которые к Патриаршему двору приписаны были!.. Вот тебе и Нил преподобный!.. Как на духу тебе покаюсь, Артамон Сергеич...— прибавил он, и прекрасные глаза его засияли в сиреневых сумерках горячим огнём.— Боюсь я дум этих! Чувствую иногда, что прямо земля изпод ног уходит... Всю жизнь я царю да родине прямил, не жалея себя, а вот теперь думаю, что вся эта сутолока наша, все споры, все кровопролития — пустота одна... И чуёт душа моя одно: не мы делаем, а нами что-то Господь сделать хочет. Вот ты давеча у князя Юрия Алексеевича сказал, что разбегается-де Русь во все концы, куда глаза глядят... Правда, да только не вся...

— Как не вся?

— А так. Вот сидели мы, Русь, в Киеве, и одолевала нас Степь, и подались мы в леса, куда поглуше. И сюда стали доставать,— хошь не хошь, а воюй... Не один век смертным боем бились, уничтожили, наконец, Орду, Казань и Астрахань за собой закрепили. Может, и не следовало бы залезать так далеко, и не по силам бы нам это, да вот нас не спрашивали об этом. И опять с украин все нас щиплют и щиплют: и на Тереке, и из Крыма, и из-за Камы,— о ляхах и шведах я уж не говорю,— и нет нам никакого покою. И вот отбиваемся мы от вражьей силы, и всё лезем, отбиваясь, вперёд да вперёд,

пухнем, как тесто в квашне, и никак остановиться не можем: иди, бейся, не стой!.. Правда, что люди от Москвы бегут, но только и Москву кто-то погоняет. Судьба-злодейка? Господь? Вот и разбери тут...

— Да к чему ты это, Афанасий Лаврентьевич?

— А к тому, что кабыть не нашей волей всё это творится...— проникновенно и печально проговорил Ордын.— Верно, что тяжко мужику стало, как к земле его Уложением пришили. А и не пришить было нельзя, потому что надо же крепить за собой, для него же надо, те дикие места, куда нас гонит судьба... И как подумаешь обо всём этом покрепче, так одно только словно и остаётся: в скиту запереться. А там да будет воля Твоя.

В серебристом сиянии месяца, на щит червлёный похожего, тихо подошла к ним сзади какая-то стройная женская фигура, в пояс поклонилась и проговорила:

— Мир вашему гулянию...

Ордын встал и низко поклонился ей. То была Наташа, дочь его сослуживца, Кирилла Нарышкина, приёмыш Матвеева. В других домах все женщины и девушки были накрепко спрятаны от чужих глаз по теремам,— у Артамона Сергеевича, женатого на шотландке из Немецкой слободы, они открыто выходили к гостям и даже вместе с ними трапезовали.

— А ты всё хорошеешь, Наталья Кирилловна!..— ласково улыбнулся Ордын.

И он тепло посмотрел на стройную, высокую красавицу, на её прелестное, такое белое в сиянии месяца лицо с большими тёмными глазами и с густой косой, перекинутой наперёд через плечо. И вдруг стало ему понятно, о чём поют соловьи, о чём шепчут серебристые звёзды; о чём сладко плачет и тоскует в такие ночи сердце человеческое... И пронеслось душой облачко: и это уже ушло...

— Ужинать велели вас звать, время уж...— ласково сказала Наташа.— Милости просим, боярин, нашего хлеба-соли откусать...

И когда потом возвращался к себе Афанасий Лаврентьевич сонными улицами, замороженной луною Москвы, в душе его было тяжёлое чувство неудовлетворённости. Он чувствовал, что он точно уходит от Матвеева. Его друг представлялся ему каким-то точно прудом, в который не нырнёшь: в нём нет глубины. И великая печаль всё растущего в мире одиночества охватила душу одинокого всадника...

VI. ВОЛЬНИЦА

Светлая бездна лунного неба вверху, светлые, с резкими чёрными тенями холмы внизу и серебристая, широкая, движущаяся гладь Волги: ширина, дух захватывающая, воля дикая, никаких границ нигде и ни в чём... По холмам полыхают золотые костры, а вокруг костров гомонят и движутся угольно-чёрные тени,— оборванный, волосатый, сквернословящий, бряцающий оружием и пьяный воровской табор. Казаки варят себе ужин... И льётся их песня, широкая и немного печальная, как эта Волга бескрайная в пустынных берегах, как эта глухая, недавно зазеленевшая степь...

Казаков было в станице побольше тысячи. Тут были и сивые старики, и совсем почти мальчики, были великороссы, были черкассы-малороссы, были новокрещённые татары, и черемиса, и «чюваша», были бойцы со славного Запорожья, было несколько ляхов-хлопов и даже один уже седой чех, потомок таборитов, которые бурями религиозных войн были выкинуты сперва в Запорожье, а потом и на Дон, были ремесленники, были монахи, были просто не помнящие ни роду, ни племени, которые по кабакам завалились, испропились, но больше всего было крестьян, потерявших при тишайшем Алексее Михайловиче последнюю волю и всякое право...

— А как тебя занесло к нам, такую даль? — мешая в чёрном котле и отворачивая закоптелое лицо от дыма, спросил кашевар, обращаясь к одному из сидевших

вокруг огня казаков, парню лет за тридцать с шапкой густых каштановых волос, открытым загорелым лицом и вытекшим глазом.

— А ты попробовал бы панов наших, так, может, и дальше ещё подался бы...— лениво, с сильным хохлацким акцентом отвечал Серёжка Кривой.— Они едят на золоте да на серебре, при столе музыка всегда в трубы играет, все в шелку да в золоте ходят и шляхты этой, дармоедов, в ином доме до тысячи человек содержат... А с хлопов драли всё, что было только можно: от восхода солнечного до ночи гни на них спину без передышки на паншине, а придёт большой праздник какой, Пасха там, или Рождество, або Троица, вези пану осып: зерно, кур, гусей... Со скотинки всякой отдай ему десятину, с каждого вола плати рогатое, с каждого улья — очковое, захотел рыбки половить, плати ставщину, нужно скотину на степь выгнать, плати спаское, желудей свиньям в лесу набрать хочешь, плати желудное, а на мельницу поехал, отдавай сухомельщину... Напридумывали!..

— Ано!..— дымя трубкой, усмехнулся чех.

— Да... Это у вас ловко паны придумали!..— засмеялся чернявый казак с вырванными ноздрями: бив его батоги нещадно, ему вырвали их за нюханье табака, запретного бесовского зелья.— Пожалуй, почище наших будут...

— Так хибя то усе? — усмехнулся Серёжка, точно гордясь изворотливостью своих панов...— Сами-то паны редко по поместьям живут, а землю всё больше жидам в аренду сдают. Так жид ещё своё придумал: нужно тебе дитя окрестить, плати ему дудка, сына женить задумал, неси ему поземщину, а не хочешь платить, дитя останется нехрещёным, а молодёжь живёт невенчанной, как тии басурманы. И если баба или дивчина какая жиду приглянется, он своё возьмёт, пархатый. Та що: ежели человек какой проштрафится, то жид своей властью может и пеню на него наложить какую вздумает, а то и смертью казнить...

— Рассказывай!..— недоверчиво протянул закоптелый кашевар.

— Ось тобі й росказывай!..— повторил Серёжка.— Жиды и церкви наши у панов все позабирали. Потому паны всё католики больше, им и лестно православным-то в борщ наплевать, чтобы скорее мы поляками да католиками поделались. И вот жид забирает себе ключи от церкви и за каждую службу берёт с православных деньги да ещё, пархатый, над попом всячески измывается. А убежит, не вытерпит поп, сичас церковь униатам передают а вся сватыня жиду идет...

— Так чего ж вы терпели такую дьявольщину?..— сверкнул золотыми от огня глазами чернявый с рваными ноздрями.

— Да, терпели...— усмехнулся Серёжка.— Не дуже терпели, когда сила была!.. Как при Богдане поднялся народ, так, помню,— я тогда совсем зелёным хлопцем был,— осадили мы с запорожцами замок один богатый. Взять приступом силы не хватало — ну, стали голодом панов морить. И запросили паны пощады. Ну, добре, говорим, время нам с вами терять не можно, так вы, ляхи, выходите и убирайтесь к чёрту на рога, ну а жиды чтобы все нам головой выданы были. А их в городке до 3000 было. Ну, паны это обрадовались, выгнали жидов из замка, и тут и пошло!.. Чего-чего только над пархатыми не делали!..

— А паны? — спросил сиплый голос из темноты.

— А паны?..— усмехнулся Серёжка.— Панов нам трогать было не можно по уговору, так мы другим казакам дали знать. Казаки нагнали их и всех покروшили. И вот тут вы все про Каспий толкуете — наплюйте на Каспий, давайте к запорожцам двинем, весь народ по Днепру подыдем да к ляхам в гости... Это вот дело!.. За землю русскую, за веру хрестьянскую встать, народ ослобонить православный... И ляхов, и жидовню эту всю нужно раз навсегда под метёлочку вымести, чтобы и не пахло больше. А добычи и там не меньше заберёте, а может, и больше: богаты паны которые, сукины сыны...

— За что же ты нас-то под метёлочку выметать будешь? — сказал с сильным польским акцентом долговязый, белокурый лях.— И мы от панов да шляхты не меньше твоего терпели.

Все глаза оборотились на Серёжку, но он уклончиво молчал и, видимо, оставался при каком-то особом мнении.

— Не торопись, брат...— сказал из темноты сильный, уверенный голос.— Дай срок здесь с делами маленько поуправиться, а там и к панам твоим в гости побываем: дорога знакомая, хаживали... Вера это, ребятушки, дело поповское, а вот с панами поговорить это дело казачье...

Казаки оглянулись и в дрожащем, красно-голубом от луны и огней сумраке увидали рослую, широкоплечую фигуру своего атамана, Степана Разина. Его грубое рябое лицо, с небольшой чёрной бородой, было правильно и красиво какою-то особою степной, дикой, звериной красотой, и карие глаза смотрели строго и повелительно. Чували в нём казаки присутствие какой-то силы тёмной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им...

— Один чёрт везде...— громко сказал от соседнего костра есаул Степана, Ивашка Черноярец, плотный, точно весь железный молодец с красивым и дерзким лицом и всегда готовым кошунством и невероятной матерщиной на языке.— Везде нашего брата сосут, что только ох да батюшки. Ну, погодите: придёт и наше время!..

Родом он был из посадских Чёрного Яра, но, горячий и буйный, он не поладил со своим ндравным стариком и вместе с молодой женой Устей и годовалым Ванькой он ушел от отца в Надеинское Усолье, что на Самарской луке стоит, богатое имение, которое подарил царь своему любимому монастырю Саввы Сторожевского. Там Ивашка, парень дельный и энергичный,— хотя часом и зашибался он водчонкой,— быстро стал было на ноги, но тут случилась с ним новая беда. Хо-

зьяйством монастыря в Усолье ведал соборный старец Леонтий Маренцов, выжига и сутяга, каких и свет не видал, а кроме того, и до баб охотник большой: почи-тай всех не только девок, но и мужних жён на Усолье перепортил. Усольцы писали на него не раз грамоты и патриарху, и царю, и самарскому воеводе, но, как говорится, до Бога высоко, до царя далеко, толков никаких от их слезниц не получалось, и старец продолжал колобродить. И раз, когда Ивашка на долгое время отлучился на бобровые гоны, старик обманом завладел его Устей, та, баба в отца, ндравная, бросилась с ребёнком в реку, а Ивашка, затаив в душе всё, сидел вот пока что у костра воровской станицы.

— Что верно, то верно...— сказал Мишка Телятя, маленький, весь серый, с выкатившимся кадыком, большими сердитыми глазами и глухим кашлем, с большим Б («Беглый»), выжженным на впалой щеке.— Твои ляхи ещё так, потому они хоть веры не нашей,— нет, ты бы на наших бояр посмотрел, что они выделявают!..— он густо и скверно выругался.— А особенно эта чёртова роденька царёва: Милославский да Морозов, да Матюшкин... И вот терпел, терпел народ московский все эти охальства их да на конец того поднялся да к царю и шась... А царь о ту пору в Коломенском селе жил, под Москвой... Ну, подошли мы это к хоромам его — так огнём и горят, чисто вот жар-птица какая... Ну, подошли, зашумели, вытребовали это к себе царя, а он в церкви был, за обедней, по случаю рождения дочери, что ли. А бабы его, потом сказывали, со страху все спрятались... Вышел это он к нам, а мы все в один голос: подавай нам лиходеев наших: Милославского, Морозова, Ртищева бояр да гостя Шорина Ваську!.. Ну, почал он уговаривать нас: я-де, братцы, ничего про то не ведал, а теперь, знамо, расправлюсь с супостатами по-свойски. И я, я сам, вот этой самой рукой на глазах у всего народа православного — а нас подошли тысячи: работные люди, стрельцы, солдаты, попы...— по рукам с царём ударил, что возьмёт он лиходеев наших

за приставы и народ во всём удоблетворит. Ну, поблагодарили мы его и назад пошли весёлым обычаем, и вдруг глядь, навстречу нам ещё народушка валит. Мы было обсказывать, что обещал-де царь всё дело обладить, а те не верят: довольно нам в уши-то напевали, ты нам-де дело подавай!.. И двинули опять все в Коломенское,— прямо вот чистое Чёрное море, вся Москва поднялась! И вдруг заместо царя — стрельцы... Да кы-ык из пищалей в народ саданут!.. И пошло... А у нас на всех хошь бы ножик какой один... Ну, бросились все бежать, а конные солдаты ловить нас давай да вязать и сичас же скорым обычаем человек до двухсот по деревьям вокруг дворца развешали, не меньше ночью в реке утопили, а других пытали, жгли, руки и ноги рубили, калёным железом прижигали: вот гляди на эти буки-то...— указал он на щеку.— По-ихаму, выходит, значит, бунтовщик... И всего извели они народу тысяч до семи, а тысяч пятнадцать в ссылку на Волгу послали: кого в Казань, кого в Астрахань, кого куда... А бояре-лиходеи и по сю пору здравствуют, роденька-то царёва...

— Ну, теперь уж недолго им здравствовать!..— засмеялся Ивашка Чернойрец и крикнул: — Ну, ребяташки, подваливай к котлам!.. Готово...

Весь стан пришёл в движение. Казаки подбирались по своим десяткам и, ножки калачиком, усаживались вокруг огней. Появились десятские с бочонками водки: то Степан у царского воеводы в Царицыне вытребовал. Пили по очереди большими чарками, крикали, плевались от удовольствия, похваливали.

— Хорошо у воеводы вино...— помотал головой кашевар.— Надо бы захватить побольше...

— А вот баба у его ещё лутче...— засмеялся рослый молодец, блестя розовыми от огня зубами.— Вот кабы тую захватить!..

— В Царицыне сказывали, бьёт она воеводу-то...

— И гоже!..— захохотали казаки.— И мы их бить будем...

И все с аппетитом взялись за душистую похлебку с говядиной, но накрошенного в неё мяса никто до сиг-

нала тронуть не смел. И когда выбрали похлебку почти до дна, тогда старшой постучал ложкой о край котла и все стали таскать и говядину. А потом был палящий кандер с салом. Припасы были все ещё с Дона, у богатеев взяты, и казаки наелись до отвала, что с ними случалось далеко не всегда. У одного костра сидел загорелый, сухой, весь покрытый боевыми шрамами, с длинными усами и чубом полковник Ерик, пришедший к Степану со своими запорожцами. Все запорожцы были в лохмотьях, но лохмотья эти были и шёлковые, и бархатные, и даже парчовые,— всё это было добыто по кладовым польских панов и турецких пашей в Малой Азии. К ним, старым воякам, казаки относились с особым уважением и некоторой завистью к их прошлой широкой, разгульной жизни, и они держались с достоинством и немножко презирали всех этих «Иванов». Промежду казаков ходили слухи, что Степан списывался с Дорошенко и с Серком, которые от Москвы опять отложились, и что они сговаривались, в каком урочище сойтись вместе. Но Дорошенко всё что-то крутил туда и сюда и больше держался к салтану турецкому, чего многие казаки, однако, не одобряли: басурман он басурман и есть...

Наелись, отвалились и, помолившись,— а кто и так,— задымили трубками. И кто-то затянул в ночи песню казацкую:

Эх, что пропились, ребятушки, промотались,
Во косточки да в карты проигрались,—
На что же мы, ребятушки, понадеемся?
Понадеемся мы, ребятушки, на сине-море,
Что на синее море, на Хвалынское...

— А смена в дозор пошла? — своим сильным голосом крикнул Степан по-над берегом.

— Собираются...— отозвался Чернорец.

— Чтобы не дремали там!.. Весенний караван должен быть совсем близко...

— Не упустим!..

Тихон Бридун, старый, толстый, как бочка, запорожец, весь из лица багровый, с белыми висячими усами, залысив грязную шапку на затылок, из облака пахучего дыма своей люльки рассказывал сиплым баском о том, как, бывало, запорожцы в море «гулять» ходили, как шарили они по турецким берегам на своих чайках, как бились с турецкими галерами в море, как уцелевшие с песнями возвращались на Сечь, перегруженные парчой и шелками, и оружием драгоценным, и коврами, и арабскими цехинами, и испанскими реалами, и камнями самоцветными...

— Ну, тильки у нас у Сичи зовсим инши порядки були...— сипло басил он, покашливая и пуская клубы дыма.— У нас сувористь у всим була, що твий монастырь, тильки що монахи Бога молять, а мы саблюю та рушницею орудуем... А то зовсим монахи — даже и пьянствовали немов монахи...— затрясся он в беззвучном хохоте.— Но усе те тильки до похода. А коли котрый, взяв та на походи напився, без усяких розговорив у воду. Коли украв — смерть, кошевый не писля закону в чим поступив — смерть, бабу в курени привив — смерть. Або коли котрый постив не соблюдае або в церковь до причастия не ходить — ого-го-го-го!..

— А по-моему, ни к чему все эти строгости-то ваши...— заметил Филька-мижгородец, жидкий, худой оборванец с лицом замученной клячи.— Довольно строгости-то повидали мы и прежде, а теперь одно: гуляй, казак, душа нараспашку...

И казаки, одобрявшие до того Тихона Бридуна, одобрили и Фильку: в сам деле, на кой пёс эти вериги-то на себя одевать? Сегодня жив, а завтра помер...

У другого костра, над самым обрывом, слышался смех: там, по своему обыкновению, молол что-то Трошка Балала, щуплый мужичонка с маленькой, глупой головёнкой на тонкой и длинной шее, худощавым и румяным личиком и хитрыми глазками. Трошка был враль совершенно необыкновенный, и, по словам казаков, вся станица вместе за год не врала столько, сколько мог наврать

Трошка за один вечер. Над ним смеялись в глаза, открыто презирали пустобреха, но не слушать не могли: до того занятно гнул он всякие небылицы и до того нелепы и ярки были все эти его похабные прибаутки.

В сторонке какой-то дьячок надтреснутым голосом пьянчужки рассказывал внимательным слушателям о том, как судили и мучили в Москве непокорного протопопы Аввакума:

— И вот восточные патриархи рекли к ему, к Аввакуму: «Что-де ты упрямишься? Вся-де наша Палестина, и волохи, и римляне, и ляхи трема персты крестятся, один-де ты стоишь на своем и крестишься пятию персты... Так, сыне, не подобает...» А он им в ответ бесстрашно: «Вселенстии учителя, Рим ваш давно упал и лежит несклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша христианом... А у вас православие пёстро стало от турецкого салтана Махмета, да и дивить на вас нельзя: немощны есте стали... И впредь,— говорит,— приезжайте к нам учиться: у нас, Божию благодатию, самодержество. До Никона-де, отступника на Руси у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и Церковь немятежна...» Ну, и заперли в Угрешский монастырь... А потом...

У другого, уже потухающего, костра слышалась тихая речь:

— А я тогда конюхом царским был... И вот возьми она, стерва, да и донеси начальным людям, что Митька-де, муж мой, царских лошадей всех отравить хочет... Вот что стерва придумала!.. Ну, те за меня: им кого бы ни драть, абы драть. Ну, и Маринку сгребли тоже и, как полагается, на правёж первой поставили, пытать стали. И до чего баба расстервенилась: стоит на своём и делу конец!.. И приговорили меня в Сибирь послать, а Маринка стала половину моего жалованья получать от казны, как полагается у их по закону. С дороги я было убёг и хотел было на Москву воротиться да пришибить стерву, а потом раздумался и на низ сюда подался: стоит ещё с дерьмом связываться...

На самом обрыве, свесив ноги вниз, в темноту, и глядя на тихо плывущую внизу широкую гладь Волги, сидел сам атаман с несколькими казаками, которые постарше. И говорил атаман:

— Ни черта сделать они с нами не могут!.. Народ старой воли ещё не забыл и расстаться с ней не захочет... Как они ни крути, как ни лютуй, а народ всё не унимается. Не успели тогда с Заруцким в Астрахани управиться, сичас же под самую Москву Баловень с товарищи подкатил. Повесил его боярин Лыков на Калуже,— Колбак со своей станицей появился и давай царствовать тут над всем Каспием. Никогда народ не покорится им!.. И очень уж низко они о казаке понимать стали... Когда турки поляков нажали, не пришли разве казаки под Хотин помочь против неверных? Сами пришли, доброй волей, без кнута... И не полтора человека, а целых двадцать тысяч подошло... А кто Сибирское царство царям дал? Казаки!.. Ермак... Только службу-то казацкую они забывают скоро, а чуть пошालят где казаки, крик подымут, словно светопреставление начинается... Кабы смелы, давным-давно они и Дон, и Запорожье прикончили бы, а вот не трогают да ещё царские гостинцы казакам кажний год посылают: это-де, государь великий вас жалует... А донцов и всего-то каких двадцать тысяч наберётся...

— Царь-то, он, знамо, всей душой рад бы народу облегчение сделать... Это всё бояре да приказные баламутят...— попыхивая трубочкой, сказал кто-то тихо.

В самом деле, царские грамоты, в которых, по обычаю, выражалась забота о чёрных людях, создавали у наивного народа представление, что вся беда в том, что жалует царь да не жалует псарь...

Степан бросил на него боковой взгляд.

— А и дурень ты, как я посмотрю!..— сказал он сквозь зубы.— Царь... А слышал, что сегодня москвитин-то про коломенскую гиль рассказывал?.. Ца-арь... Вся и беда в том, что таких вот дураков в народе ещё много...

И он, досадуя, что в сердцах высказал больше, чем следовало бы, встал, энергично сплюнул и исчез в темноте.

— Была бы, знать, шея, а хомут наденут...— вздохнул кто-то.

— Царь...— проговорил другой, сипя трубкой.— Не радеет он о чёрном народе нисколько. Он смолоду привык в рот боярам смотреть. А те себе не вороги... Нет, братцы, видно, от царя нам ждать нечего...

— От кого же ждать, как не от царя? Только вот лиходеев-то изничтожить надо, а уж он, государь, своих сирот не оставит...

— Говори вот с дураком!.. А кто же, как не царь, в неволю-то нас боярам да дворянам отдал? Ну? Не тронься с места, точно пришитый, дохнуть не смей и плати ему, чем он только тебя изоброчит, гни на него спину-то... Вот был у нас помещик: мы со светком на работу, а он только спать ложится после гульбы ночной. И дотла весь проигрался: ни в казну ничего не платит, ни долгов соседям. Не платит-то господин, а на правёж ставят его мужиков... Ну, и разбежались мужичишки кто куды... А ты: ца-арь!.. Ему, брат, в хоромах-то не дуёт...

— А у нас вот тоже случай какой вышел...— лёжа на земле, сказал другой из-под дырявого охабня.— Как повели это Закамскую-то Черту против ногаев, стали скликать со всех концов народ: собирайся на Черту, православные, угодыя — лучше требовать не надо, земли много, в оброках на первые годы льготы всякие. Наши-то деды сперва на Мижгородской уkraine поселились было, близко черемисы,— ну, земля это повыпахалась маленько, да и приказные черемису очень уж донимали, а по пути и нас. Ногаев, конечно, побаивались, ну, думали, что ратные люди в обиду своих не дадут. И пошли... И осели на самой Черте, коло Ерыклинского городка. И что же вы думаете, братцы? Не успели и изб как следоваит поставить, ворвались это ночью ногаи, а кто говорил, новые какие-то, калмыки, что ли, пёс

их знает, всё разорили, всё пожгли, кого побили, а кого в полон угнали и, может, продают теперь православных, как скот какой, азиатам или турецким людям... И остался я яко наг, яко благ, яко нет ничего: старика со старухой в избе сожгли, а молодуху мою с двумя ребятами в степи угнали...

Огни погасли. Стан понемногу затихал. Только у запорожцев становилось всё шумнее, всё веселее. Раздавались взрывы хохота, крики какие-то. Вот зауркали и застучали, и зазвенели бубны. Кто-то песню плясовую зачастил ядовито:

Ходит ляшок по базару, шабельку стискае,
Козак ляшка не боиться, шапки не снимае.
Як кинется лях до шабли, а козак до дрюка:
От тут тоби, вражий ляше, з душою розлука!..

Как огонь, разгоралось веселье. И вот уже расступился широкий круг смеющихся лиц, а в середине его, то совсем чёрные, то огненно-красные от огня, дружно стучали подковами и, выкидывая ноги, неслись вприсядку чубатые запорожцы. В сторонке лежал, завернувшись в лохмотья, больной донец. Исхудалое лицо его пылало у скул румянцем, кашель рвал больную грудь, и весь он был в горячем поту, но и он поднялся исхудалой головой и смотрел на плясунов огромными страшными глазами, и исхудалые синие губы его невольно морщились в уже непривычной улыбке. Урк... урк... урк...— задорно подхрипывали бубны, и стучали руки в тёмную кожу их мерно, и ядовито подзванивали бубенцы. «Ах, так... так... так...— притоptyвали казаки, скаля розовые зубы.— И вот эдак, и вот так...» И толстый, багровый Тихон Бридун, сопя и обливаясь потом, со строгим лицом легко выделял вприсядку, и буйною метелицей вихрилась и рассыпалась вокруг него живая молодёжь. «Ах... ах... ах...— ядовито задорили плясунов казаки.— Вот так... так... так...»

Бридун задохнулся. Снял шапку, вытер с чубатой головы пот, выругался круто.

— А ну вас к бису!.. Замучився... Духу нема...

...Поодаль от стана, на чёрном крутом обрыве, над серебряной гладью тихой Волги, стоял кто-то из дозорных. И вспоминались ему прежние, уже сгоревшие дни, и чуть слышно фистулой напевал он унывно:

Снега белые, пушистые принакрыли все поля,—
Одно поле не накрыто — горя лютого мово...

Посреди этой светлой бездны неба и степи, в эти лунные, одинокие часы он казался себе маленьким-маленьким, и все — и радости, и страдания — было ничтожно, и на все было ему от души наплевать. И он пел, тоскуя:

В этом поле есть кусточек, одинёшенек стоит...

VII. «САРЫНЬ НА КИЧКУ!..»

Стан засыпал вокруг догорающих костров... Как ни привычны были все эти люди ко всяческим лишениям, но холод и сырость от реки донимали их. Они ворочались с боку на бок, натягивали на себя кафтаны, поджимали под себя ноги, вздыхали, бормотали всякие ругательства, вставляли, чтобы подбросить в огонь топлива, и опять сон валил их на холодную, ещё непросохшую с весны землю. И некоторые тосковали втайне о привычной, хотя бы и скудной и тяжёлой жизни, о покинутых углах, о близких, и тяготило их тёмное сознание, что эта их игра головами до добра, в конце концов, не доведёт. Но просто было некуда податься...

Не спал и Степан. Сумрачный, он неподвижно сидел один над кручей и только то потухающий, то вновь разгорающийся огонёк его трубки говорил, что атаман бодрствует и думает какую-то большую думу. Высказать её вслух, эту думу, он не смог бы: бесформенные, тяжёлые, угрюмые, как осенние тучи, мысли клубились в его

голове и давили душу. Его казакам казалось, что он, ведун, знает всё, знает, куда ведёт их, но теперь, наедине с самим собой, он знал, чувствовал только одно, то, что он игрушка какой-то огромной и тёмной силы, но куда эта сила бросит его, этого он не знал даже приблизительно. Да, вот они поднялись, от тесноты на Дону, с голодухи, «горою и водою», «за зипунами», как говорили они на своём воровском языке. Это было делом очень обычным: побродить, пограбить, попойнствовать, пошуметь, отдохнуть. Дальше завтрашнего дня вся эта орда не смотрела. Но для Степана это было пустяком, подготовкой разве. Смущённой душой чуял он всё яснее и яснее, что его путь лежит не на полдень, а на полночь, не на Хвалынское море, а на Москву... И он всё просматривал свою жизнь, точно для того, чтобы понять, когда тёмная сила эта завладела им...

Степан не был голутвенным казаком, из голоты,— его отец, Тимофей Разя, и вся его родня были самостоятельными, зажиточными низовыми казаками, которые, избежав в своё время от московского утеснения на Дон босыми и раздетыми, скоро здесь оперились, крепко стали на ноги и стали считать себя как бы аристократией и хозяевами Дона и презрительно, свысока, но и с тревогой смотрели на ту новую голоту, которая продолжала бежать из Московского царства,— и в последнее время всё больше, всё гуще. И так как низовые места были заняты прежними, теперь разбогатевшими казаками, то селилась она больше по верхнему Дону или нищенствовала и батрачила на низу. Развертистый, толковый, храбрый и видный собою, Степан скоро выдвинулся среди своих сверстников настолько, что в 1659 году он в числе других 20—30 почтенных казаков был выбран в «зимовую» станицу, которая ежегодно зимой отправлялась в Москву, чтобы бить челом царю. И Степан, как и все станичники, ходил по богатой Москве, по торгам, по приказам, и смотрел, и слушал, и старался понять. Через два года Дон оказал ему новую честь, отправив его с атаманом к кочевым калмыкам для заклю-

чения с ними мирного договора, чтобы не чинить друг другу никаких обид и воровства. Управившись с этим делом, в том же году, вместе с одним дружкой своим, тоже значным казаком, Степан отправился по давно, ещё при покойном отце, данному обету в Соловки, к святым угодникам Зосиме и Савватию, которых казаки очень уважали за скоропослушничество в деле исцеления ран. И так увидел Степан почитай всю Русь, из края в край, увидел страшное разорение и утеснение простого народа, безграничный произвол и часто даже простое озорство больших бояр, воевод и приказных и почуял, как тихо, но неудержимо разгораются в народе какие-то страшные огни. А ведь в ту пору ещё свежи были по всей Руси недавние предания о подвигах Димитрия на Москве, и тушинского вора, и Заруцкого с Маринкой... Богомолье не принесло мира его душе — напротив, и в Москве, и у Сергия Троицы, и в Соловках он увидел пьянство и разврат заживевших и обнаглевших монахов и попов, и он зашатался в вере: они учат людей, а сами первые не исполняют то, чему учат других. И Никон проклял о ту пору всех оставшихся при двуперстном сложении — то есть огромное большинство русского народа, а следовательно, проклял он и всех прежних святителей и даже самого Христа, который на старых иконах изображался всегда с перстами, сложенными по старому, древнему обычаю. Так, стало быть, святители прежние сами не знали, чему учили они народ?! Так кто же может поручиться, что Никон лучше их знает? Может, через пять лет явится ещё какой и проклянёт и его? Нет никакой твёрдости ни в чём, а во всём неверность и шатание... И когда на людях, то Господи помилуй, а с глазу на глаз, да в особенности за штофом, такое иногда отцы духовные гнут, что волос дыбом становится. Взять хоть бы благоприятеля его, Аронку, казначея монастырского в Царицыне,— такое иногда соврёт, что и смех, и страшно...

И вдруг жизньхватила со всего размаху и по самому Степану. Были казаки с воеводой князем Юрием

Долгоруким в походе против ляхов, и брат его, Иван, атаманом походным был. И ляхи, и московские люди, и казаки вымотались вчистую, лошадёнки с ног сбились, во всем нехватка была, и мор так и косил народ: были деревни, которые совсем опустели, и города многие обезлюдели больше чем на три четверти. И вот казаки запросились домой, на Дон. Воевода не пустил и накричал неподобное. Казаки решили идти домой самовольно, но их окружили ратной силой, заставили остаться, а атамана, Ивана, на глазах всех повесили — не по закону, не по правде, потому вольный Дон хочет служить — служит, а не хочет — его воля. И замутилась злобой душа Степана, тем более замутилась, что открылась ему тут ещё одна сторона жизни, о которой люди помалкивают: когда было что пограбить, кричали казаки про государское здоровье, а награбили, разорили край, вымотались — о вольностях Дона вспомнили! И кто знает, что сам воевода запел бы, ежели бы ему воевать пришлось не воеводой, а простым рейтаром или казаком? У всех на словах одно, а под словами — другое...

И во время скитаний этих яснее, твёрже, настойчивее встала в его душе та мысль, которая зародилась в нём ещё среди московского раздолья: почему одни властвуют, а другие в грязи пресмыкаются? Почему одни в золоте купаются, а другие и корку чёрствую не всегда видят? Что они за благодетели такие? За что им дано всего не только в изобилии, но в излишестве даже? Ничего такого особенного не дали и не дают они людям; только беззаконие, жесточь, притеснения всякие да обиды, вот и все их дары. А силёнки-то у них, ежели поближе посмотреть, ух как не много — только тряхни, так и посыплются!

Наступил 1666-й год. В народе напряжённо бродили тёмные силы. По всей Руси ползали всякие жуткие, зловещие слухи о близком появлении антихриста и светопреставлении... А на Дону вдруг появился Васька Ус, забубённая головушка, который, не заботясь о скором

светопреставлении, набрав с собою пятьсот конных казаков, вдруг нагрянул с ними на город Воронеж и заявил, что пришли казаки на государеву службу, где великий государь укажет быть. Воевода ответил им, что на службу пока ехать некуда и не для чего, и велел им вернуться по домам. Казаки, однако, не послушались и, выбрав от себя станицу к великому государю, снова двинулись в поход, но не на Дон, а на Москву. По пути они подговаривали с собой крестьян, которые и присоединялись к ним, унося с собой всё, что было в силах. По городам приставали к ним служилая мелкота, драгуны, казаки, городовые стрельцы и солдаты Белгородского полка. И так докатился Ус до реки Упы, на которой город Тула стоит. И скопилось в той Туле великое множество дворянства и помещиков, которые бежали от казацкого страха и разорения: много усадеб пожгли и пограбили казаки. Тут встретились они со своей станицей, которая возвращалась из Москвы с царской грамотой: царь приказывал им возвратиться на Дон. Но с пустыми руками домой возвращаться не хотелось, и вот Васька Ус с тринадцатью казаками смело направился к Москве бить челом о «жалованье, чтобы им в свои казачьи городки доехать». Жалованья им не дали, но Васька с товарищи, пограбив, что можно, по пути, вернулся домой совершенно безнаказанно и только потом, при дележе обычного ежегодного царского жалованья, их всех лишили части: не самовольничай!.. Весь этот поход круг казачий представил, однако, Москве лишь как излишнее служебное усердие...

Многие казацкие головы призадумались: если можно было с пятьюстами казаками, громя всё, дойти до Москвы и вернуться в полном благополучии, то... И не раз, и не два в бессонные ночи возвращался к этой думке и Степан. И хотя теперь путь их и лежал на Хвалынское море, по исстари протоптанной голодой дороге, то всё же сердце его тянуло вверх по этой смутно светящейся в ночной мгле реке, к Москве... Вывезет ли? Дурак ещё народ... Может, и не вывезет, но тряхнуть жирной Москвой и Бог велел...

По крайней мере, хошь потешиться... Всплыло воспоминание о Мотре, жене, о ребятах. Тревога шевельнулась в сердце. Э, чего там!.. А может, удача?.. Что, не сидела Маринка со своим Митрием в хоромах царских?.. Да, но чем кончила? Всё одно: двум смертям не бывать, а одной не миновать. И его уже захватило,— чувствовал он,— и понесло, и возврата нет...

За сизой, холодной Волгой, за чуть засеревшейся степью бескрайней черкнула зеленоватая полоска зари. Между бугров и над рекой туман зашевелился. Было холодно, тихо и жутко.

— Атаман, гляди-ка!..

Степан вздрогнул. Один из дозорных, москвитин, холоп Тренка Замарай, весь от сырости синий, подбежал к нему и показал рукой вверх по Волге: вдали, из-за мыса выплывал весенний караван. Вот он, наконец!

Степан разом встал: это судьба его идёт...

И всякие колебания разом разлетелись.

— Беги в станицу и подымай всех...— строго сказал он.— И живо все к стругам... А запорожцы с полковником Ериком пусть на конях вон на тот мыс заскачут и там поджидают... Живо!..

По кустам раздался позывный свист, и дозорные бесшумными теньями побежали подымать казаков.

Суда казались на свинцовой воде угольно-чёрными, и не было слышно на них ни единого звука. Если удалось каравану благополучно пройти всегда опасные Жигули, то это никак ещё не значило, что путина сошла благополучно. И потому шли судовщики со всяким бережением, и на каждом насаде¹ стояли дозоры, а на головном был даже отряд стрельцов под начальством стрелецкого головы: в караване были суда патриаршие, казённые и разных торговых людей. Большое судно гостя Василия Шорина везло казённый хлеб для астраханцев, а на другом, что плыло за ним, везли ссыльных.

¹Насад — речное судно с набоями, насадами, с поднятыми бортами.

Вокруг потухших костров засуетились иззябшие, плохо выпавшиеся люди. Хмурые, переругиваясь сиплыми голосами, они быстро разобрали воинский припас свой и один за другим узким, крутым ущельем сбегали к воде, где в кустах были припрятаны их струги и где атаман сурово отдавал последние распоряжения. Все ходило перед ним по ниточке: в такие минуты его опасались пуще огня.

Зелёная полоска за рекой сперва зазолотилась, а потом проалела, и пошёл от неё по дымящейся воде и по пойме раздольной на луговой стороне свет розовый, проснулись соловьи, один, другой, третий, и огромный чёрный сом тяжело бултыхнулся в тёмном омуте, под кручею. Круги пошли от него к берегу, заплескала тихонько вода на бичевнике, и перепуганные кулички, трепеща крылышками и серебристо пересвистываясь, стали перелетать вдоль берега.

— Ну, ребятушки, бословясь...

И первый струг, до отказа набитый вооружёнными оборванцами, отделился от берега и, весь розовый, ходко пошел на стрежень, наперерез каравану. На судах — они были от зари все розовые и от тумана казались висящими в воздухе, над водой, — сразу поместили вольницу и тревожно засуетились. Блеснуло оружие... А от берега летел уже на стрежень другой струг, третий, четвёртый, пятый, десятый, и все, повернув носами против воды, лёгкими ударами вёсел удерживались на одном месте, поджидая. И видно было, как по нагорному берегу заскакали запорожцы со своим горбоносым, сухим, изрубленным Ериком, чтобы занять мыс, куда в случае схватки прибил бы караван. Насады, до того шедшие гусем, беспорядочно сгрудились...

Все ближе и ближе наплывал алый караван на затаившиеся струги, и вот вдруг один из челнов ударил в вёсла и разом надвинулся на головное судно. На носу струга выросла большая, широкая фигура атамана с обнажённой, теперь точно огненной саблей в руке. Он

поднял саблю, и дико и страшно со всех стругов по розовой, точно кровавой, взбудораженной реке грянуло:

— Сарынь на кичку!..

Страшный старинный клич этот понизовой вольницы сразу точно сковал всех на караване. Начальные люди, бледные, растерянные, засуетились было по судам, уговаривая стрельцов и судовых ярыжек к сопротивлению, но хмурые лица неподвижных команд сразу сказали им, что дело, и не начинаясь, было уже кончено. Струг атамана тупо ткнулся в деревянный борт стрелецкого судна и через минуту — атаман первым — казаки были уже на тихой, как кладбище, палубе. Степан, с горящей огнём саблей в руке, выпрямился во весь свой высокий рост.

— Слушайте все!..— прокатилось над беспорядочно сбившимися в кучу, окованными страхом судами.— Казаки не тронут чёрного народа, которые не будут супротивничать. Мы расправимся только с начальниками, с лиходеями вашими. Ну!..— указал он своей пылающей красным огнём саблей на стрелецкого голову, сильного, статного молодца с чёрными кудрями и открытым, смелым лицом.— Живо!..

Засверкали красным и золотым огнем сабли, и стрелецкий голова, весь в крови, рухнул на палубу.

— Здравствуй, батюшка наш, атаман вольнай!..— закричали со всех сторон стрельцы и ярыжки.— Веди нас в огонь и в воду — куды хошь, за тобой идём!..

Степан махнул саблей другим стругам и указал им на остальные суда, и враз казачьи толпы залили богатый караван. Там прилаживали петлю на шее позеленевшего от ужаса приказчика Шорина, чистяка, похожего на скопца, который одеревеневшими, синими губами творил, путаясь, молитвы, там с криком рубили целовальников, ехавших при казенном хлебе, там жгли их огнём, пытая, где спрятана казна, а сам Степан, перебив одним ударом руку монаху-надзорщику, угрюмому рыжему устюжанину, велел троих работников

монастырских — по-тогдашнему детёнышев — повесить на мачте. И через несколько мгновений длинные тела их, все розовые, уже содрогались последними судорогами над водой. На купеческих судах хозяев казаки то вешали по высоким мачтам, на которых весело вились разноцветные флажки, то просто, ограбив, сбрасывали их в розовую, подёрнутую лёгким парком воду. Розовые чайки мягко носились на своих острых крыльях вокруг смятенного каравана и тревожно кричали хрипылыми голосами.

— Здесь что? — строго спросил Степан позеленевшего от ужаса приказного, губастого, с выпученными серыми глазами.

— Ссылные... В Астрахань везли...— едва выговорил тот.

— Открывай!..

Грубые дощатые двери с визгом раскинулись. В лицо ударила нестерпимая вонь. Бритые, синие и бледные головы, клеймёные, исхудалые лица, грязные, вонючие тела, прикрытые всяким лохмотьем, переливчатый звон цепей...

— Все выходи!..— крикнул Степан.— Нам ваши вины неведомы,— куды хотите, туды и идите... А ежели кому почище одеться охота, выбирай на судах, что по душе, и бери, никого не спрашивая...

— Батюшка... Отец... Дай Господи тебе много лет здравствовать...— загалдели ссылные.— Пошли тебе Господи!.. Из могилы поднял...

И, недолго думая, они бросились терзать и избивать, кого не успели ещё убить казаки, и грабить животы.

— А этого,— указал казакам Степан на губастого,— раздевай донага...

— Батюшка, помилуй...— рухнулся тот в ноги.— Чем же повинен я? Смилуйся, отец!..

— Раздевай!..

В одну минуту он был раздет,— дрожащий, нелепый, безобразный, страшный и смешной в одно и то же время.

— А казна царская у тебя где? Сколько? Неси всю сюда...

Через несколько минут губастый, стыдясь своей наготы, уже стоял перед атаманом с потёртым кожаным кошельком в руках.

— Так. Эй, казаки!..— засмеялся Степан.— Так вот, с кошельком, и отвезите его на берег, на песочек. И пушай там посиживает...

Губастый ничего не понимал и от смятения не мог выговорить ни слова. И струг быстро понёс его на луговую сторону. Казаки высадили приказного с его казной на песок и быстро вернулись на караван, который, беспорядочно крутясь, медленно наплывал на мыс, где виднелись запорожцы. И одно за другим тяжёлые суда тыкались в мокрый песок неглубокого тут дна.

— Чистый вот пеликан сидит...— смеялись казаки, все оглядываясь на голого приказного.— Вот солнышко повыше подымется, ничего, тепло будет...

— Всех ли лиходеев покончили? — кричал Степан с одного судна на другое.

— Всех, батюшка!..— кричали с судов ярыжки и стрельцы.— Всех, Степан Тимофеевич...

— Слушай, ребята, все!..— крикнул Степан.— Всем вам объявляю волю. Идите себе, куда хотите: и рабочий народ, и стрельцы, и колодники... Силой никого не принуждаю оставаться со мной, а кто хочет идти с нами, тот будет вольный казак. Я пришёл бить только бояр да богатеев, а с бедными и простыми людьми я готов, как брат, всем поделиться...

— Все идем за тобой!.. Все!.. Батюшка, орёл ты наш...— кричали со всех судов.— Все за тобой!..

Солнце ярко играло по широкой, взбудораженной, полной огней Волге. Казаки, стрельцы и ссыльные дуванили богатую добычу. Вдали на песчаной отмели растерянно сидел губастый приказный. На высоких мачтах тихо покачивались удушенники, чёрные и длинные. Москвитин Тренка Замарай ходил бледный, с большими глазами: нет, от такого унеси только, Господи!..

VIII. В ЦАРИЦЫНЕ

Жребий был брошен, теперь ничего другого не оставалось, как продолжать...

Воеводой в Царицыне был о ту пору Андрей Унковский. Это был среднего роста, плотный и смуглый человек с живыми чёрными глазами и маленькой, уже седеющей бородкой, один из тех многочисленных тогда на Руси воевод, которые потрясали молодое царство Московское до самого основания лучше, чем все вору взятые вместе. Девизом Унковского раньше — перед Царицыном он княжил и владел в Старой Руссе — было: у себя на воеводстве я Бог и царь. В смысле «вымучивания» у населения денег он был изобретателен необычайно: так, он часто устраивал у себя пиры и звал всех своих подчинённых и богатых торговых. Так те за такую честь должны были подносить ему «поклонное», кто уклонялся от чести, за тем посылал он приставов и даже сажал в тюрьму, от которой надо было откупаться. По городу он ходил постоянно с толстым подогом и бил им всякого, кто подвёртывался под руку, приговаривая сердито: «Я воевода государев, Унковский... Всех исподтиха выведу, а на кого руку наложу, ему от меня света не видать и из тюрьмы не бывать...» Уже месяц спустя после его воцарения в Старой Руссе посадские люди били челом великому государю: «Будучи у нас воеводой, почал он нам, сиротам государевым, посадским людям, чинить тесноту и налогу большую и напрасные продажи и убытки. Бьёт он всех без вины и без сыску сажает в тюрьму для своей корысти, бьёт батогами до полусмерти, без дела и без вины». Его вызвали в Москву, но он толково поделился добычей с приказными и не только вышел сух из воды, но был назначен в Царицын, место весьма кормное.

Приехав сюда, он собрал своих подчинённых и посадских людей покрупнее и сказал им небольшую речь, в которой он всячески хулил управление своего предшественника и заявлял, что теперь всё пойдет уж по-

новому, по-хорошему. Но никто не верил ему ни в едином слове: это же говорил и его предшественник, и предшественник предшественника,— таков уж у всех воевод обычай на Руси установился... Он и здесь повёл было прежнюю политику свою, но очень скоро осёкся: под влиянием близости вольных казаков здесь население иногда умело и огрызаться. Воевода тона сбавил, но всё же с неукротимым нравом своим справиться не мог и часто срывался. Взятки он тоже скоро отменил начисто: у него все просители должны были только класть кто что может к иконам — Богу на свечку...

Но ещё неукротимее был нрав супруги его, Пелагеи Мироновны, что было тем более досадно, что она обладала всеми телесными совершенствами: собою была дородна — по крайности, есть за что подержаться, говорили знатоки,— черноброва, рот имела сердечком, а носик — пипочкой. А посередине подбородка её была родинка, от которой у всякого прямо в глазах темнело. Но её язык к воеводе был языком василиска, и с самого первого дня между супругами началось такое нелюбие, что воеводе иногда небо в овчинку казалось. Он был много старше её, а — по её словам — рыло у него было, что у твоего цыгана. И он пил горькую чашу ежедневно, а когда уж сил не хватало, писал на жену чепухи и то сажал её в холодную на цепь, то в крапиву в подполье, а она вслух сладострастно мечтала, как изведёт она его каким-то зелием.

В воеводских хоромах шёл обычный смертный бой: Пелагея Мироновна, в нарядном летнике и кике, раскрасневшаяся, с ухватом в руке, дерзко наступала на воеводу, а тот ловко парировал удары ухвата столцом, то есть табуретом. И старая нянька боярыни, Степанида, с подозрительно красным носиком и слезящимися глазками, ахала в раскрытую дверь:

— Боярыня... матушка... До чего разгасилась!.. Господи...

От злости, что никак она ухватом своего воеводу не достанет, боярыня вдруг сорвала с себя убрус и кину и с бешенством швырнула её в «цыганскую морду». Это

было страшным позором не только для неё самой, но и для воеводы: видеть простоволосую бабу почиталось в те времена чрезвычайно оскорбительным. Воевода швырнул свой щит и, получив удар ухватом в спину, торопливо выскочил в сени, а затем, поотдышавшись, спустился на двор и прошел в Приказную избу.

Сенька, молодой, ещё невёрстаный подьячий, с глупыми соломенными вихрами над веснушчатым лицом, задумался над приходорасходной книгой по кабацкому делу: большая путаница была в приходе!.. И он, склонив голову набок, усердно вывел по странице прихода: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...» И, склонив на другую сторону вихрастую голову свою, он залюбовался своим почерком.

Хлопнула дверь, вошёл грозный воевода. Сенька быстро спрятал свои каллиграфические упражнения под какой-то грамотой и низко поклонился воеводе. Тот едва мотнул ему головой и прошёл в свою комнату, где на столе уже ждали его заготовленные приказными всякие бумаги. Воевода, уже вполне овладевший собой и наслаждающийся чувством безопасности, погрузился в просмотр их, а прочитав, подписывал внизу: «Чтена. В столп». Одна бумага, о помещике Волкодавове, который придерживал немало беглых мужичишек, — это было чрезвычайно выгодно, так как за беглых, конечно, подати не платились, — остановила его внимание особенно: в ней чувствовалась возможность получить «Богу на свечи», и даже на очень многие свечи. И потому воевода отложил её в сторону...

С делами государскими воевода покончил довольно быстро и стал читать грамотку, которую он получил надясь от своего дружка, самарского воеводы, которого он запрашивал, нет ли у него там какой продажной земельки поспособнее. И самарский воевода отписывал ему: «Земля продается с орловым и ястребцовым гнездом, и со пнем, и с лежачей колодой, и со стоячим деревом, и с бортною долею, и с пчелами старыми и молодыми, и с луги, и с озёры, и с малыми текучими речками, и с липяги,

и с дубровами, и с рыбной и бобровою ловлею, и со всяким станowym зверем, с лосем, с козою и свиньёю, и с болотом клюковым...»

— Батюшки, казаки!..— раздался вдруг на дворе не то испуганный, не то радостный крик.

Воевода оторопел. Приказные зашептались тревожно. Он вышел на крыльцо, глянул на Волгу и увидел, как из-за мыса выплывает казацкая армада. Вверху, в тереме, стояла у косящата оконца Пелагея Мироновна и смотрела на реку. Она казаков не боялась нисколько: всё, что угодно, только бы не постылый муж этот, не эта жизнь теремная, тошная, докучливая!..

Казаки гребли прямо на город,— сразу было видно, что они хотят пригрязнуть. Городские ворота были уже заперты, и на стенах и башнях уже шевелились стрельцы и пушкари. Воевода, из смуглого сделавшийся каким-то серым, поднялся на стену.

— Уж вы постоите, ребяташки, за великого государя и за дом Пресвятыя Богородицы...— неуверенным языком говорил он.— Не выдайте нас вора́м и безбожникам...

— Что ты?..— говорили стрельцы и пушкари.— Как можно?..

Но за его спиной они лукаво подмигивали один другому и усмехались...

Улицы городка были похожи на встревоженный муравейник. Кто-то испуганно причитал. Многие откровенно грозили кулаком воеводским хоромам и бахвалились:

— Ну, погоди теперь!..

Струги ткнулись носами в мокрый песок. Казаки, звеня оружием, быстро выскакивали один за другим на берег. Пушкари навели на воровские струги свои пушки и затинные пищали. У всех дух захватило. Но — жалко пшикнул порох в затравках, и ни одна пушка не выстрелила. И зашептало тревожно и радостно по толпам: «И пушки говорил атаман!.. Не берёт порох против ведуна...»

— Какое там ведовство?..— хмуро заметил воеводе тяжёлый и рыжий, густо пахнущий потом протопоп,

соборный отец Гаврила.— Ты на рожи-то у стрельцов погляди...

— Знамо дело, измена...— сказал Иван Бакулин, вож.— На...али в затравки, сукины сыны, только всех и делов... Пойдет теперь потеха!..

И посадские широко открыли перед казаками городские ворота: жалуйте, гости дорогие!..

Но Степан был осторожен. Хотя он отлично знал об очень ему дружественных настроениях царицынцев — тайные дружки его подготовили их,— но всё же бережёного и Бог бережёт! И он подозвал к себе своего есаула, Ивашку Черноярца.

— Вот что, Ваня...— сказал он, глядя ему в глаза.— Возьми-ка ты с собой двух-трех казаков поскладнее да сходи-ка с ними на воеводский двор и потребуй у воеводы для казаков молот да наковальню, да мехи и весь кузнечный припас... Нам в пути пригодится... Ну, а между прочим погляди там, как и что. Раскусил?

— Раскусил...— тряхнул кудрями молодцеватый, подбористый есаул.

— Та вважай у воеводиши-то не забарись...— заколыхался своим толстым брюхом Тихон Бридун.— Лучше, в рази чого, у станицю веде, на одну ничку можна...

— Ладно, ладно...— скалил белые зубы Ивашка...— Сам с усам...

Казаки хлопотали около стругов, готовясь к далекому походу за зипунами, а посадские люди усеяли весь берег, кто с тайным недоброжелательством, а кто и со жгучей завистью глядя на этих вольных людей, смело страхнувших с себя цепи обыденщины. А Ивашка Черноярца тем временем, вырядившись, форсисто прошел с двумя казаками на воеводский двор. Холопы и стрельцы сочувственно смотрели на молодчину казака. Сверху, из косящата окошка, смотрела на послов Пелагея Мироновна. Один из казаков, заметив ее, легонько толкнул локтем Ивашку и повёл глазами на терем. Ивашка приосанился. Воевода с посеревшим лицом вышел на крыльцо. Он совсем растерялся и не знал, как держать

себя. За ним сумрачно прятал свою рыжую, волосатую тушу протопоп.

— Здрав буди, боярин...— развязно сказал Ивашка.— Как живёшь, поживаешь, людей прижимаешь?

— Ну, ну, ну...— сказал Унковский.— В чём дело?

— У нас, добрых молодцев, одно дело: вынул нож из-за голенища да в тело...

Воеводу пошатнуло.

— А между прочим, приказывает тебе наш атаман весь снаряд кузнечный дать нам: молот, наковальню, мехи и всё, что полагается...— сказал Ивашка.— Потому без снасти, говорят, и вошь не убьёшь. А у нас поход дальний...

— Где же тебе я его возьму?... Я не кузнец...

— А уж это твоя забота...— сказал Ивашка.— На то ты и воевода. А потом гоже бы казакам и водчонки выкатить... Казаки они с водки добреют...

— Ну, ладно, ладно... Скажи, что-де, привезут... Да смотрите, в городе обиды и порухи никому не чините: собрались в поход и идите... А мне разговаривать с тобой недосуг...

— И нам тоже не до сук, хоша кобели промежду нас есть, и порядочные...— сказал Ивашка, скаля белые зубы.— А ты смотри там не мешкай...

По лицам холопов пробежала улыбка: ловко этот с воеводой-то обходится! За словом в карман не лазит... А старая Степанида, нянька боярыни, недоверчиво, с опаской смотрела на есаула, как бы ожидая, что вот он сейчас петухом запоёт или сделает другое что неподобающее.

Воевода с притворной озабоченностью ушёл в хоромы. Протопоп, сопя, заколыхался за ним.

— А узнают на Москве, нагорит тебе...— раздумчиво сказал протопоп.

— А что я буду делать? — развёл тот руками.— Вон их, чертей, и пищали не берут... Ведовством своим они своё-то войско сберегут, а нам... Видел, как наши-то зубы скалят на шуточки его?... Вот и правь тут с этим народом!.. Они отца с матерью за копейку продадут да ещё сдачи попросят...

Ивашка украдкой лукаво подмигнул раскрасавице Пелагее Мироновне, и она, засмеявшись, спряталась. «Ишь, ржёт что твоя кобыла...— заговорила дворня.— И стыдобушки нету... Им что: наелся да и набок... Вот кровь-то и играет... А говорить нечего: хорош товар!..» А Ивашка уже шёл с казаками по узким, кривым и жарким улочкам серого городка, полным пыли и нестерпимой вони. Вокруг дружеские лица, все льстиво заговаривают с ним, а у царёва кабака так чуть не на руки подняли... Нет, опасаться нечего. Казаки повернули к стругам и обо всём доложили атаману.

— Ну, братцы, коли кому после трудов праведных разгуляться охота, вали в город...— крикнул Степан по стругам, вдоль берега.— Ну только уговор лутче денег: гуляй да знай меру. На зорьке отвал...

Казачня не заставила просить себя, быстро смешалась с толпой празднолюбцев, и все, галдя, группами двинулись в город — к кружалам. Остались только немногие, одни по наряду для охраны, а другие, постарше, так, по лени: Ивашка сказал, что воевода водки пришлёт на струги, так какого же чёрта и шататься зря? И они лежали на брюхе на тёплом песке, от нечего делать курили, сквернословили, поплёвывали...

— Гляди-ка: что это за судёнышко сверху бежит?

Все насторожились: в самом деле, сверху плыла большая завозня под парусом. Ещё немного, и она спустила парус, повернула носом к берегу и стала рядом с казацкими стругами. Степан окинул глазами приехавших — их было человек пятнадцать, и все голота.

— Ба, и сам отец Евдоким, праведный человек!..

— Здрав буди, славный атаман...— приветствовал его попик.

— И ты, отче, не хворай...— отвечал атаман.— Петруха, здравствуй...

— Здравствуй, Степан Тимофеевич...— отвечал ещё более загоревший Пётр просто.

— А это кто? Лицо что-то знакомое...

— А это, атаман, крестник твой...— сказал отец Евдоким, и сразу лицо его сделалось ёрническим, бесстыжим, точно совсем от другого человека приставленным.— Бежали мы Волгой, смотрим: сидит на песке голый человек и нас что-то кличет. Мы хошь и торопились догнать тебя, а всё же нельзя дать погибнуть душе христианской...— Ну, подгреблись: по какому такому случаю обнажён еси? А это ты его, атаман, раздел да на берегу с куликами оставил. Ну, денег он нам посулил, ежели приоденем его да с собой возьмём... Мы согласились. Откопал он тогда из песку казну свою — хитёр, сукин кот!..— обделил всех нас, а мы его вишь как раздели: хошь сейчас под венец...

— Ну, пёс с ним...— засмеялся Степан.— Значит, его счастье... Пущай идёт куда хочет... А вы за мной, ребята? — крикнул он к вновь прибывшей голытьбе.

— За тобой, Степан Тимофеевич!..

— У нас, ребята, не спрашивают: кто, откуда, зачем?...— сказал атаман.— Приехал, садись за общий котёл с казаками, и вся недолга... Устраивайтесь, кто как хочет...

Васька, сокольник Долгорукого, загорелый и оборвавшийся, тряхнул своими золотыми кудрями и просиял улыбкой: важно!.. И новоприбывшие смешались с казаками...

— Ну, а мы отойдем маленько в сторону...— сказал Степан отцу Евдокиму и Петру.— Рассказывайте, что видели, что слышали... А там — он поглядел из-под ладони на солнышко — скоро и обед варить казаки будут... Ну, что подумывают на Москве? — присев на старую опрокинутую лодку, спросил он.— Садитесь-ка вот рядом — песок-то мокрый.

— Скушно живёт народ везде, атаман...— сказал отец Евдоким.— Все ропшут: и мужики, и стрельцы, и посадские... Теперь только и живётся, что купчине какому, да боярам, да нашим церковным властителям... А то всё одна видимость только, что живу-де...

— Значит, не лутчает?

— Какое там лутчает!..— махнул рукой попик.— Одно слово: хны... Так белым ключом злоба-то в народе и

бьёт... Вот в Самаре-городке баяли нам наши, что ты на Хвалынское море за зипуном собрался. Пустое это дело совсем. В Москве зипуны шьют не хуже... Вверх надо идти...

— Знамо дело, вверх...— коротко проговорил Пётр.

— Всему будет своё время...— задумчиво сказал Степан.— Придёт час, и Москвой тряхнёт. А пока решено на море погулять... Я вас с весенним караваном поджидал было...— прибавил он.

— Только сутки одне не захватили его в Нижним...— сказал отец Евдоким...— И то гнали во всю головушку... А между прочим, на Бело-озеро в Ферапонтов монастырь заходили, просвирочку отцу нашему святейшему патриарху Никону будто с Соловков занесли...— осклабился отец Евдоким.— Ничего, здравствует во славу Божию, вперевалочку, не торопясь... Да, вот она судьба-то человеческая...— вздохнул он с прискорбием, и лицо его опять постным сделалось.— Вчерась великий государь, патриарх всеа Руси, собинный дружок царёв, а наутро смиренный Никон, инок в подрясничке поганеньком... Так-то вот и все мы...

— Ну, отче, со мной оставь воздыхания-то эти...— нетерпеливо перебил его Степан.— Со мной дело говори. О чем с Никоном говорил?

— Да всё о том же...— смеясь хитренькими глазками, отвечал отец Евдоким.— Плакаться стал я ему на тесноту его да на скудость, причитать всякое, а у него глаза-то и-и-и... как у волка разгорелись... Думаю так, что ошибся святой отец: ему не патриархом бы быть, а атаманом воровским на Волге-реке. Одной он породы с тобой, Степан Тимофеич... И что тебе, говорю, святой отче, в такой тесноте тут сидеть,— ты бы, мол, на Волгу, к нам шёл. Воздух у нас там лёгкий, житьё привольное, а мы бы, твои богомольцы, тебе радели бы. Сперва он эдак насторожился было, а потом не стерпело его сердце — у-у, и ндравный же старик!...— и говорит, что на Волгу ходить ему непошто, а коли того похочу, и здесь народ постоять за меня против бояр

супротивных найдется... Вестимо, многого он не сказал, ну только так понял я, что из глаз его нам выпускать неподобаёт: крепко обиду свою помнит старик, и большое в нём дерзновение есть. Да и то сказать: авчёрась сиял, аки солнце, а нынеча, будем говорить, аки Иов на вретище и...

— Ну, ну, не заводи своей волынки...— опять нетерпеливо оборвал его Степан.— А в Москве что? Которые из бояр в силе теперь?

Ивашка, приняв от воеводских служителей кузню и водку и позубоскалив с ними, направился было к атаману послушать, что говорят приезжие, как вдруг кто-то остановил его легонько за рукав. Оглянулся — старуха с красненьким носиком и слезящимися глазками. Вспомнил, что на воеводском дворе видел.

— Ты что, бабка? Говори скорее...

— Ну, не торопись, Борис: смелешь и уедешь...— отрезала старуха.— Ишь, приткий какой!.. Ты обхождение со старым человеком иметь должен, а не то чтобы как срыву да с бацу... И ничем горячку-то пороть, ты бы баушку Степаниду пожалел бы да пожертвовал ей что на её старость, а она, гляди, весточку какую тебе, молодцу, принесла бы хорошую...

— Вот погоди, с моря вернёмся, так я тебя, может, в шелка да в бархат одену...— блеснул белыми зубами Ивашка.— А пока одним подарить могу: казачьей плетью промежду лопаток.

— Тьфу. Вот охальник-то так охальник...— сказала старуха.— Ну, да ладно, такому молодцу и в долг поверить можно... А покедова велели мне передать тебе, что одна лебёдушка белая больно по тебе стосковалась. И послала она меня сказать тебе, чтобы приходил ты к нам сёдни в ночь соловьёв с ней послушать... У вас, на Дону, говорят, гожи соловьи-то, ну, и наши, вольские (Вольские — Волжские, *прим. сост.*), тоже вашим не уступят...

Ивашка пристально посмотрел на старую.

— Эдак я, пожалуй, для тебя и до похода чего найду, старица Божья...— сказал он, блестя зубами.— Воль-

ских соловьёв слушать я охотник — я и сам чернойорский... Только как мне к ним в ночи путь-то найти?..

И старуха, понизив голос, стала рассказывать ему, где и как пройти к соловьям...

А воевода царский тем временем, отдышавшись от первого страху, уже постукивал костылём своим по хоромам и так вот и тянуло его по улицам пройтись да людей приструнить как следует: ишь, тоже волю взяли!.. Но по-за тыном везде шумели уже крепко загулявшие казаки, и потому воевода не торопился...

IX. ВОЛЬНОДУМЦЫ

— А-а...— густо пробасил отец Арон, казначей Троицкого монастыря, тяжело поднимая свою залитую салом, бородастую и неопрятную тушу навстречу Степану.— Се жених грядёт во полнощи и блажен раб, его же обрящет б...— он сказал непристойность и раскати-сто захохотал.— Доброго здравия, славный атаман... Преподобный отче Евдокиме, великого света смотритель, православных учитель, добро пожаловать!.. Спасибо, что не забываете нас, нищих и убогих...

Степан шагнул с порога в его слабо освещенную, неопрятную и полную какой-то густой вони келию с неприбранной постелью, липким от грязи столом и запылённым окном за чугунной решёткой. В переднем углу, затканные густой паутиной и покрытые толстым слоем пыли, стояли старые, чёрные образа, а около них, на полке, тоже едва под пылью видные, лежали старые книги в кожаных переплётах с прозеленевшими медными застёжками.

— Ну, садитесь вот на лавку, под образа, за почестный пир...— гудел утробно отец Арон, сильно окая: он был родом из Суздальской земли.— Сичас вина достанем и пожевать чего-нито... За милую душу... Рад, рад дорогим гостям...

— Как здоров, отец Арон? — спросил Степан, садясь и глядя на увальня смеющимися глазами.— Всё распирает тебя... Не лопни смотри...

— И то, Степан Тимофеич, и то...— застонал отец Арон.— За грехи карает, должно, Господь Вседержитель... Едва хожу...

Он достал из-под кровати только что початый штоф вина и, задыхаясь, поставил его на стол, потом с полки снял каравай хлеба, соли серой в грязной деревянной солонке и три помятых оловянных чарки, а потом опять нагнулся и, всё задыхаясь, достал глиняный горшочек с солёными, сверху тронутыми зеленоватой плесенью, рыжиками. Затем тяжело вышел он из келий и скоро, шумно дыша, вернулся с куском копчёной свинины.

— Ну-ка, со свиданием...— сказал он, дрожащей рукой разливая и расплёскивая водку.— Во славу Божию... Не взыщите, отцы и милостивцы, на убогом угощении моём: плох я хозяин стал, остарел, одышка замучила... Да у меня и скус весь к еде пропал, вот истинное слово! Раньше любил я, грешный, поесть, а теперь абы водка да закусить чего солёненького... Уж не взыщите...

— Да нешто мы к тебе за телесной пищей пришли? — широко осклабился своей улыбкой отец Евдоким.— Ты вот лучше мёдом душевным-то нас напитай...

Отец Арон погрозил ему толстым грязным пальцем.

— Смотри ты у меня, попик непутный!..— сказал он.— Тебе, по иерейскому сану твоему, полагается смирение, а ты как бы всё подковырнуть человека. Впрочем, ты, чай, в бегах давно забыл, что ты иерей,— только одни волосёнки от всего иерейства и остались... Ты, чай, и не знаешь, атаман, какого аспида пригреваешь ты на груди своей? Ведь он всем рассказывает, что за правду пострадал, а я тебе скажу, как всё дело было и почему теперь он по всей Руси колесит как неприкаянный. Он попом в Шуге-посаде был, и всё священство там, правду сказать, спилось начисто. И по указу архи-

ерея суздальского был на посаде розыск, и все шуяне показали, что дьякон Ларивон из кабака не выходит. А пономарь всё пьян ли валяется? — спрашивают. Да, мёртвую пьёт и пономарь. А поп Евдоким в беседах напивается ли и озорничает ли? И поп, бают, всё по улицам валяется и, приходя пьяный к собору, в колокола бьёт и градом всем возмущает и всякою скаредною бранью мужской и женский пол лаает... Ну, и разогнали рабов Божиих всех, кого куды... Ну, здравы будьте, милостивцы, гости дорогие...

Все чокнулись, выпили, закусили свининкой. И отец Арон тотчас же снова взялся своей мохнатой лапой за штоф.

— Э, ну тебя!..— воскликнул Степан.— Всё мимо зыришь... Дай-ка сюды!

И он, отняв у хозяина штоф, ловко налил чарки.

— Вот так-то сидели мы в Москве раз в кружале...— сказал отец Евдоким.— И стали мои москвичи жалиться на скудость. А я и говорю им: заблуждаетесь, чада, ибо не знаете Писания. Не сказано ли вам, маловерным, что не заботьтесь-де, о дне завтрашнем, а живите-де, как птицы небесные, яже не сеют, не жнут и в житницы не собирают, а Отец ваш небесный питает их... А один из москвитян и говорит: ну, какая это-де, батька, жизнь птичья?.. Летают по дорогам да г... клюют...

Все захохотали.

— Они, москвитяне, на язык-то куда как остры...— сказал отец Арон, перебирая изъеденной деревянной ложкой зелёные рыжики и, наконец, бросая их.— Нет, задумались мои рыжики вчистую!.. Не годится... Давай, будя, вот свининки пожужём...

— Да ты монах...— подзудил отец Евдоким.

— Заблуждаешься, попик непутный, не ведая Писания...— отпаривовал отец Арон.— Ибо не сказано ли: не то оскверняет человека, что входит в уста, но то, что из уст?.. Ну-ка, во славу Божию, осквернимся...

— Ну, а в бытие Божие всё ещё не уверовал? — не унимался отец Евдоким.

- Всё не уверовал, отче... И не уверую...
- Всё, значит, по-прежнему «рече безумец в сердце своём: несть Бог»?
- Всё по-прежнему: несть Бог...
- Слышишь, атаман?
- Слышу....
- Ну, вот... А ты его ещё своим воровским патриархом поставить хочешь!..
- Ну-ка, ещё по чарочке...— угощал хозяин и, хлопнув, погладил себя по брюху и проговорил: — Пошла душа в рай, хвостиком завиляла!.. Хорошу царь водку делает, это говорить нечего...
- А коли Бога, по-твоему, нету, откуда же всё пошло? — допытывался захмелевший отец Евдоким.
- Всё самобытно...
- Так и стоит испокон веков?
- Так и стоит...— твёрдо сказал отец Арон.— Ты по степям нашим хаживал? Каменных стуканов этих видал?
- Видал.
- Кто их поставил? Зачем?
- Не знаю.
- И никто не знает... Стало быть, жили в наших местах какие-то народы, от которых и следу никакого не осталось, только вот стуканы эти самые. А до тех народов, может, другие народы были, а до тех ещё другие, и так всегда, ныне и присно и во веки веков...
- Хульная глаголеши... Зри: Бытие, глава I и последующие...
- Долго над ними, отче, я голову ломал...— сказал отец Арон.— И так и не понял, кому это было нужно все эти сплетки сплетать. И всё мне думается, что какой-то озорник на смех всё это написал, чтобы над людьми посмеяться... Наплёл чепухи всякой и говорит: всё это, ребята, слово Божие. И все поверили. Человек дурак, он во всё поверить может: и в то, что баба-яга ночью на помеле ездит, и что Марья от голубя родила. Только говори потвёрже да костром припугни, и не посоля всё проглотят...

— На словах-то ты ерой, что твой Ермак Тимофеевич...— подзудил опять отец Евдоким.— А давай-ка вот я тебя испытывать буду...

— Испытывай... Только смотри, водка в чарках не прокисла бы,— выпьем сперва... Ну, вот... А теперь испытывай...

— Бога нет?

— Нет.

— А енто што? — указал отец Евдоким на иконы.

— Доски покрашенные.

— А коли доски, плюнь в лик — вот хошь Ему...

Он указал на чёрный, прокоптелый лик Нерукотворного Спаса.

Отец Арон, не говоря ни слова, сопя, потянулся к божнице, снял крайний образ — над столом задымилось нежное облачко пыли,— и харкнул на икону.

— Ещё чего, говори...— спокойно обратился он к отцу Евдокиму.

— А ну расколи его теперь...

Степан сделал было невольное движение, как бы желая остановить его.

— Что? — густо засмеялся отец Арон.— Али боишься, что Боженька громом убьёт? Ни хрена не будет: испробовано! Я и не эдакое дельвал...

Он тяжело поднялся, подошёл к печке, пошарил за ней и, вытащив оттуда тяжёлый ржавый косарь, поставил икону на лавку, несколькими ударами косаря расколол её на несколько частей и бросил к печи.

— Только и всего. Лучина... Ну-ка, наливай...

— Видал? — спросил Степана отец Евдоким.

— Видал...— отвечал тот медленно.

Он внимательно следил за беседой священнослужителей.

— Мы их, мнихов этих самых, непогребенными мертвецами все зовём...— сказал отец Евдоким.— А они вон какие ерои!..

— Это ты, отче, заячьей породы, а у меня душа крепень...— сказал отец Арон, прожёвывая вязкую, как

ремень, свинину.— Помню, как я на тебя ещё в Москве дивился: стоит за обедней, лик это благообразный и все обличье совсем как человечье. А поглядишь на ухмылку эту твою, чистый ты вот окаянный какой... У тебя две личины и две души. То ты словеса хульные глаголеши, а чуть что, вериги наденешь, и слезу покаяния источишь, и в перси себя бить будешь...

— Это верно. И дерзости во мне много, и боюсь я всего...

— Ну, вот. И таких, как ты, на Руси у нас тьмы тем. А я весь единый.

— Так. А что же ты, коли так, богами-то весь угол заставил? Пословица говорится: годится — молиться, а то так горшки крыть...

— А это прибежище моё от дураков...— сказал отец Арон.— Выскажи я всё это им в глаза, сичас же меня в сруб посадят и сожгут. А я помирать не хочу, хоша, по совести, пора. Потому ещё вот водочку уважаю, в бане париться люблю... Раньше девок любил, да теперь по этой части совсем ослаб: когда-когда разве разок удасться... Ежели покой в жизни от дураков иметь хочешь, так ты глупости их во всем потакай.

— А помрёшь, что будет?

— Червяки съедят.

— И всё?

— И всё. Аминь... Был отец Евдоким, а теперь и вонито его не осталось...

— Тьфу! Типун тебе на язык...

— А, не любишь! Ха-ха-ха... Ну, выпьем ещё по чарочке — тогда смелее будешь...

Выпили, пожевали. Степан внимательно слушал.

— И как это ты до всего этого дошёл?...— спросил отец Евдоким.— Ньюжи своим умом?..

— Нет, промыслом Божиим...— улыбнулся отец Арон.— Дело, голуби вы мои, вышло так. О ту пору я на Москве ещё жил. И вот раз постом пошел я на рыбный торг рыбки себе на пропитание купить, и торговый человек селёдки эти, гляжу, в грамоту какую-то за-

вернул. Глянул я на грамоту, а на ней, смотрю, рукописание старинное, с титлами, и сама грамота по краям вроде как обожжена маленько, пригорела. А я всегда до всего любопытен был. Ну, пришёл это я домой к себе, развернул рыбу и за грамоту. И вдруг читаю: «Богу единому подобает быти, а не многим, и что Ему всхотети вплотиться и како же Ему в чреве лежати женstem? И како сиа достойно будет Богу в месте таком калне лежати и таким проходом пройти?..» Меня — вот истинное слово — точно молонья обожгла!.. Бросил я все дела свои и сичас же к тому торговому человеку ходом. Прибегаю: кажи мне бумаги, в которые ты рыбу твою покупателям завёртываешь!.. Он сперва было перепугался, отнекиваться стал, как полагается, ну, а я не отстаю: кажи и никаких, а то беды такой наживёшь, что и не вылезешь... Живьём-де, в срубе сожгут... Ну, отдал он мне все те бумаги, а я домой опять. Разобрал: судное дело о Феодосии Косом, о Феодорите, что лопарским апостолом зовут, и о других, иже с ними. Многих листов уже не хватало, но всё же понять кое-что можно было. И понял я так, что когда на Москве пожар большой был, лет сорок, чай, тому назад будет, так тогда все приказы горели и многое, как и полагается, с пожара растащили. Вот и эти листы, надо полагать, с пожара украдены были и попали торговым в дело. И сел я с великим прилежанием разбирать их, и у меня, можно сказать, глаза впервые на всё открылись. Вот смелый народ был, вот головы!.. — восторженно покрутил отец Арон кудлатой вшивой головой. — Это тебе не пестрообразная никонианская ересь, эти в самую глубь брали и резали прямиком...

— Ну? — очень заинтересовался отец Евдоким. — Чего ж ты там вычитал?

— А вычитал всю веру их... Как они на суде говорили... — отвечал отец Арон. — Они опровергали всё на чисто. Говорили они, что не подобает человекам наименовать отцом никого же, кроме Бога, а кресты и иконы хотели они сокрушить, и не велели святых на

помощь призывать, и в церковь не ходити, и книг церковных учителей и жития святых не читати, и молитвы их не требовати, и не каятися, и не причащаться, и темианом не кадити, и на погребение от попов не отпеваться, и по смерти не поминаться... А об образах прямо говорили, что идолы-де, то бездушные и в подпор себе из книги Премудрости Соломоновой некий места подбирали. И многое такое говорили, чего, по совести, отговорить им никак не можно. А отцы наши духовные, что по повелению царскому судили их, только одно и твердили им: «Это ты говоришь, чадо, не гораздо!.. Это ты говоришь развратно и хульно... Это тебе вина...»

— И что же сделали с ими? — спросил отец Евдоким жадно.

— Да Матвей-то ещё на суде от страху ума решил-ся...— отвечал отец Арон.— «Богопустным гневом,— пишут, обличён бысть, бесу предан и, язык извеса, непотребная и нестройная глаголаша на многие часы...» Ну, а других, известно, осудили неисходным в темнице быти, да не сеют злобы своя роду человеческому... Так всех, сказывают, и погубили. И как рвали их отцы духовные — ну, ровно вот твои псы!.. А особенно против Феодорита лютовали... А потом и оказалось, что вся лютость-то их оттого была, что он своих мнихов — он игуменом суздальского Евфимьевского монастыря был,— держал строго больно и не токмо-де, жён, а скота единого отнюдь женского полу в обитель не пропускал... Вот и распались монашки... Ну, а там дальше да больше, и я опроверг всё и даже престол Господень опрокинул. Потому, если бы вера правая, истинная была, то была бы она одна для всех, а ежели истинных вер таких много, значит, брешут всё. Всякий врёт по-своему, только всех и делов...

Помолчали. За окном, на улице, шумели пьяные казаки. Соборный колокол скучливо отбил ещё час жизни.

— А много, много вас таких на Руси развелось!..— задумчиво проговорил отец Евдоким.— Вот недавно в Мижгородском углу черемиса против приказных поднялась. Знамо дело, сичас же к ней холопи всякие пристали и гулящий народ, и пошла писать. И первым делом, братец ты мой, взялись все церкви сквернить... Диковинное дело!..

— Ничего диковинного нету...— сказал раздумчиво отец Арон.— Всякому хотца хошь на часок один ослобониться да на всей своей волюшке пожить. Навсегда-то ослобониться силёнки нету, кишка не позволяет, ну а дерзнуть на часок — вроде тебя вот,— это можно...

— А что ежели такой народ да размножится?..— покачал головой отец Евдоким.— Вот делов наделают!..

— Ничего особенного не будет...— сказал отец Арон твердо.— Всё то же будет... Ты думаешь, это чему мешает, что поклоны-то они бьют да про аз спорят? Всё это дым один. Помолится, а там и за ножик. Только бы вот в понедельник не оскоромиться да с бабой под праздник не согрешить. Недаром про волгарей наших говорят, что они, не помолясь, и отца родного не зарежут... Да и зарежет — наплевать: снес попу алтын какой и опять чист будет... Ну-ка, ещё по чарочке... Вы её не жалеите — у меня под постелью ещё есть. Ну-ка, со свиданьем...

— Куда ж ты те попалённые листы подевал? — спросил отец Евдоким.— Гоже почитать бы...

— Я их ещё в Москве боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордын-Ношочкину отдал...— сказал отец Арон.— Впрочем, тогда он и боярином ещё не был... Он тоже до всего дотошный такой... А я к нему вхож был...

Через некоторое время в чадной келье отца Арона стоял пьяный гомон и хохот как на базаре: отец Евдоким славился своим умением рассказывать похабные истории, а в особенности про попов, и его собеседники прямо животики надрывали...

Х. ВАСЬКИНА ПЕСНЯ

На зорьке отплыть не удалось: всё было пьяно и храпело на все лады под заборами, в канавах, на берегу, в крапиве, кто куда попал. Степан, стиснув зубы, бешеными и с перепоя красными глазами смотрел на это поле битвы и был бессилён что-нибудь сделать. Отвалить утром или отвалить вечером разницы большой в том не было, но страдал авторитет его, вожака, страдала воинская дисциплина. И когда, наконец, рать его пробудилась, поднялась, лохматая, воспалённая, вонючая, он собрал всех на берегу, у стругов, и крикнул:

— Ребята... У запорожцев, вы знаете, есть обычай: кто на походе напьётся — смерть. В нашей станице так не повелось: нечего зря вериги на себя надевать. Но только вот ежели ещё какой сукин сын у меня на походе насосётся до риз положения, так, что в дело годен не будет,— в куль и в воду...

— Эдак кулей не напасёшься...— сверкнул своими зубами Ивашка Чернорец.— Можно и без куля...

— Можно и без куля...— согласился атаман.— Поняли? — крикнул он строго.— Идти за собой я никого не неволю, а ежели который пошёл, так помни, что атаманом — я...

Пьяная орда невольно подтянулась.

— А теперь — за дело... И живо у меня поворачивайся!..

Казаки, которые умывшись, а которые и выкупавшись, живо взялись за приготовления к отъезду.

— А я к тебе, атаман...

Степан обернулся: перед ним — Серёжка Кривой.

— Ну?

— Не пойду я на море за зипунами...— сказал Серёжка утрюмо.— Зипунов и у ляхов много, и ещё почище твоих персидских будут... Казакам надо теперь на Сечу держаться, а оттуда — к ляхам в гости, чтобы начисто ослобонить мир православный и от ляха, и от жиды... Я ворукаюсь на Дон, соберу там молодцев и айда...

— А мне чёрт с тобой...— равнодушно сказал Степан.— Как хошь, так и делай. А мы пока что на Яик. Ежели скоро в Сечи будешь, передай атаману Серку, что на Яик-де пошли казаки... Ну?..— крикнул он на струги.— Скоро ли?

— Готово!.. Все готовы...— раздалось со всех сторон.— Можно плыть...

Степан небрежно кивнул головой Серёжке и пошёл к отцу Евдокиму и Петру, которые с казаками не шли.

— Ну,— проговорил он,— мы в путь, и вы тут долго не чинитесь, а идите по своим делам... Вот,— достал он из-за голенища какую-то грамоту,— передайте это там кому нужно... Да смотри не всыпаться...

— Передадим, ладно...— сказал отец Евдоким.— А вы не забывайте там нас, грешных, а ежели случай будет, поминки пошлите нам какие поскладнее... А мы тут за вас Бога помолим...— широко осклабился он.

— Ну, ну, ну...— сердито оборвал его атаман.— А ежели услышите, что назад идём,— тише прибавил он,— не зевайте... Иной раз языком можно сделать больше, чем саблей...

— Ну, учёного учить только портить...— подмигнул отец Евдоким.

— А всё же опять скажу: не на низ нужно бежать тебе, атаман, а наверх...— проговорил Пётр с сияющими глазами.— Зря время теряешь...

— С колокольни оно виднее...— отвечал Степан.— Я за руки тебя не держу: собирай всю ватагу и иди наверх...

— Ну, это толков не будет, если все мы в разные стороны потянем...— угрюмо ответил Пётр.— Я, будя, подожду лутче...

— Посмотрю, что яицкие казаки надумали...— сказал Степан.— Федька Сукнин давно уж всё письмами зовет туда... Ну, однако, долгие проводы — лишние слёзы... Прощайте покедова...

Он прыгнул в свой струг.

— А где же Замарай? — нахмурился он, заметив, что на месте Тренки Замарая на вёслах сидит беглый чувашин Ягайка, широкоплечий, волосатый парень с лицом каменной бабы и звериными глазками.— Или в кабаке за бочкой завалился?

— Замарай отказался начисто...— засмеялся один из гребцов.— Я его ночью ещё повстречал, как мы со стрельцами пили. Нет, грит, на такое душегубство я, грит, не ходок, тады, грит, я лутче назад, на Москву подамся, грит... Совсем перепугался парень...

— А, ну, чёрт с ним...— бросил Степан.— Отваливай!.. Выходи на стрежень...

И атаманский струг бойко пошёл широкой блещущей рекой. За ним выровнялись ещё стругов тридцать. Пограбленные насады были брошены. Вдоль берега стояли царицынцы и криками провожали добрых молодцев в далекий путь, и не одно сердце затуманилось думкой: эх, что и я не решился всё бросить и последовать за удалыми?! И Ивашка Черноярец не раз украдкой оборачивался на хоромы воеводы,— там, у теремного окна, белелось что-то, и было в этом светлом, тающем вдали пятне много сладкой грусти-тоски. И Пелагея Мироновна всё стояла, всё смотрела, всё не могла уйти и не обращала никакого внимания она на то, что совсем уже оживший воевода её всё по сеничкам подожком постукивает: уж доберусь-де, я до вас, дайте срок!..

Васька-сокольник блаженно шурился в солнечные шири. То, что он вокруг себя видел, не было похоже на его давнее, так его манившее представление о степи вольной,— зелёная ширь бескрайняя, неизвестно куда убегающая путь-дороженька и одинокая, тоскующая берёзка белая при ней,— но и это было очень хорошо. И в его широко раскрывшейся душе как-то сама собой песня складывалась. Много он песен сложил так — сложит и позабудет...

Казаки, точно желая загладить ночную гульбу и беспорядок, усердно пенили вёслами широкую Волгу, и радостно вдыхали эти обнажённые, мохнатые, как у зве-

рей груди, свежий, пахнувший солнцем, водой да далью ветер, и теплились их сердца смутной думкой о предстоящих подвигах воинских, о добыче богатой, о вольной волюшке... А на переднем, головном струге, на носу, сидел, глядя вперёд, атаман, и странное свершалось в его горячей и сумрачной душе: все эти сотни людей — всего в станице было до тысячи трёхсот казаков — были уверены, что он их ведёт, а он смутно, но несомненно чувствовал опять, что его самого ведёт какая-то глухая сила, которой он не может сопротивляться. Большею частью, в минуты шума и всяческой суеты, и он чувствовал себя вожаком, что-то решающим, что-то приказывающим, но стоило ему, как теперь вот, затихнуть на некоторое время, как снова появлялось это глухое ощущение какой-то руководящей, гонящей его в неизвестное силы, как гонит верховой ветер эти его струги с надувшимися парусами: со стороны смотреть — струг везёт казаков, а на самом деле сам струг увлекается вперёд сильным течением стрежня и ветром, который неизвестно откуда и почему приходит и куда и зачем уходит... И это вот ощущение зависимости от чего-то тайного, но несомненного и заставляло атамана хмуриться, и недоумевать, и испытывать неясное, жуткое чувство обречённости...

И казаки дружно отбивали версту за верстой, и было вокруг всё одно и то же: тёплое, блестящее небо, сверкающая ширь Волги и пустынные, куда только хватает глаз, берега. Проплывший этими местами лет за тридцать перед этим голштинiec Олеарий не мог не отметить в своих записках безбрежности этих дух захватывающих пространств: от самой Самарской луки до Астрахани и они, голштинцы, почти не видели жилья человеческого, и только редкие развалины татарских и болгарских селений печально напоминали им, что и здесь пытался было некогда укрепиться человек. И в то же время было в этих бездонных горизонтах что-то окрыляющее, пьянящее, что чувствовали все эти с бору да с сосенки слушаем собранные люди: и донцы, и ляхи, и запорожцы,

и чех-таборит, и великороссы, и, кажется, даже этот звероподобный, ко всему равнодушный чувашин Ягайка, с его плоским каменным лицом и бездумными звериными глазками... Лишь изредка появлялись на правом берегу верховые ногаи или слева, тоже верхом, калмыки, совсем новый народ, который появился из глубин Азии всего лет тридцать тому назад и потеснил ногаев на правый берег. И долго стоят эти маленькие, чёрненькие в отдалении всадники и неподвижно смотрят вслед убегающей вдаль станице. И опять никого и ничего на десятки вёрст...

К ночи струги пригрянули к широкой песчаной отмели, казаки развели огни, выпили по чарке воеводской водки, до отвала наелись и повалились спать. А на зорьке все, бодрые, весёлые, уже снова пенили вёслами Волгу-матушку... Вот справа, на крутом берегу, выплыл серенький Черный Яр, по стенам и башням забегали маленькие стрельцы и пушкари, но Степан приказал грести мимо. И крепостца пропустила воровскую станицу без единого выстрела, и не одно стрелецкое и посадское сердце и тут понеслось вслед убегающим стругам...

А на другой день атаман приказал с главного русла волжского свернуть в Бузан, в один из боковых протоков реки, который отделяется от главного русла верстах в пятидесяти выше Астрахани и выходит в море под Красным Яром.

— Гляди-ка, атаман... А ведь это против нас вышли, вот истинный Господь!..

Степан вострепнулся.

Навстречу казацким стругам плыли с Астрахани четыре других струга. Перевес силы был до такой степени велик на казацкой стороне, что голытьба со смехом и шутками смело пошла на астраханцев. Заблестело оружие, стали ясно видны стрелецкие кафтаны, а в головном струге и начальные люди...

— Стой!..— скомандовал Степан, стоя во весь рост на носу своего струга.

Все гребцы подняли вёсла, и в полном молчании воровские челны наплывали на стрелецкие струги. На головном судне поднялся стрелецкий голова, ражий детина с красным лицом. Разыгравшийся верховой ветер сбивал его седеющую бороду на сторону и трепал полами его синего кафтана.

— Что за люди? — крикнул он звучно.

— Вольные казаки с Дона за зипунами на Каспий идут... — смело отвечал Степан. — А вы кто такие будете?

— Астраханский воевода, боярин князь Иван Андреевич Хилков, выслал меня к вам, чтобы велеть вам то ваше воровское дело оставить и воротиться по домам, чтобы не навлечь на себя опалы великого государя... — крикнул голова. — Вы хотите промысел чинить во владениях шаха, а шах — любительный приятель великого государя, и великий государь на воровство ваше соизволения своего не даёт...

— А ты что, обедал, что ли, вчера с великим государем-то? — засмеялся Степан и вдруг крикнул астраханским стрельцам: — Да вы что, ребята, уши-то развесили? Переходи все ко мне и айда за зипуном...

Положение стрельцов по всей Руси — за исключением разве только самой Москвы, где за ними правительство несколько ухаживало, — было везде бедственное: жизнь была беспокойная, начальство несправедливое и самовластное, а жалованьишко горевое. Особенно же невесело жилось им в Астрахани, где хлеб был дорог, водка ещё дороже, а служба особенно тяжела. Здесь стрельцы были не только силой воинской, но и силой рабочей: они ездили степями и морем для оберегания с персидскими, бухарскими и юргенчскими (хивинскими) послами, часто посылались на стругах простыми гребцами, стояли караулами на дворцовых учугах (рыбные промысла), посылались с вестями и для разведки по татарским улусам, «годовали» на Тереке и в Яицком городке... И много было среди них стрельцов штрафованных, сосланных сюда, на низ, за провинности в других гарнизонах.

— Ну, ребята, что призадумались?..— крикнул весело Степан.— Али не хотите вольными казаками быть?..

Стрельцы загалдели, поднялись, зазвенело оружие, и голова был связан по рукам и по ногам.

— Нет, ребята, голову оставьте...— крикнул Степан.— Пушай плывет в Астрахань и сvezёт наш поклон князю-воеводе. Разве вот только ж... постегать ему маленько...

Вмиг дюжие руки взялись за голову. Здоровый, как бык, он вздумал было сопротивляться, но удар чеканом по руке привел его к покорности. Его заголили, привязали к мачте и — засвистела узловатая верёвка. Голова, впившись зубами в белую руку, только глухо стонал. Его стрельцы и казаки острили и хохотали. Показалась кровь...

— Ну и довольно!..— весело крикнул Степан.— Хорошего помаленьку, говорится. А теперь пушай плывёт в Астрахань и скажет там воеводе, чтобы он нам, казакам, помехи никакой не чинил бы, а то, скажи, и ему то же будет... А вы,— обратился он к стрельцам,— кто хочет за головой в Астрахань, пусть идет за головой, а кто за мной — милости просим...

При голове осталось только с десяток пожилых семейных стрельцов. И, повернув, тихо и точно смущённо их струг поплыл к Астрахани. Степан поднес новым казакам — тут же, на воде,— по чарке водки, и, совсем довольный, поплыл к Красному Яру. На стругах вольницы стоял весёлый галдёж и смех... «Они, знать, воеводят, пока мы спину гнём, а цыкни как следует, он и хвост поджал... Га-га-га-га... А ну, приударь, ребята, в вёсла-то...»

Море!..

У-у, да какое оно!.. Индо дух захватывает...

Дикой радостью залило казацкие сердца: вот она, страна обетованная!.. Не трогая, обошли они стороной крепостцу Красный Яр и между бесчисленных песчаных островов, где по густым камышам кишмя кишела

всякая птица — утки, гуси, кулики, пеликаны, цапли, гагары... — качаясь на морской волне, они пошли прямо на восток... И опять к ночи выбрались на пустынный берег, разложили огни, наварили себе похлёбки с тут же набитой дичиной и на радостях, с выходом в море, атаман опять поднёс молодцам по чарке водки. Над всем табором стояло праздничное, немножко пьяное оживление: море, море, — вон оно, славное море Хвалынское, рай казачий!.. Какая даль!.. Какая ширь!..

У одного из костров было что-то особенно оживлённо. Слышались обрывки какой-то никак не налаживающейся песни, спор, ругань, смех, опять налаживание песни, опять ругань и смех, и опять песня, уже более уверенная. И, наконец, кто-то загорланил:

— Подваливай сюда, ребятушки!.. У нас Васька-сокольник песню новую сложил... Да какую!.. Собирайся все до кучи...

Казачи, кому не лень, подтянулись к огромному яркому костру, — жгли сухие камыши, — вокруг которого слаживалась песня.

— Нехай Васька запевае, а мы потихоньку приставать будем... — весело командовал кто-то. — Ну, Васька!..

И вот на краю бездонных песчаных пустынь, за которыми вставала бледная и огромная луна, над спящим морем, среди красно-золотых дворцов огня, полился чистый, звенящий тенор Васьки:

А у нас то было, братцы, на тихом Дону...

Ивашка Черноярец — он всю дорогу был что-то скупчен — строго поднял обе руки и ещё не совсем уверенно вступил хор:

Породился удал добрый молодец
По имени Стенька Разин, Тимофеевич...

И когда вслушалась гольтьба как следует в простой и широкий напев новорожденной песни, всё больше и

больше стало вступать в хор голосов. И разрослась песня, и полилась, и заворожила:

Во казачий круг Степанушка не хаживал,
Со старыми казаками думы не думывал.
Ходил-гулял Степанушка во царёв кабак,
Он думал крепку думушку с голытьбою:
Судари вы, братцы, голь кабацкая,
Поедем мы, братцы, на сине море гулять,
Разобьём, братцы, басурмански кораблики,
Заберём мы казны сколько хочется!..

— Ай-да Васяга!.. Молодца...— слышались довольные голоса.— А ну, еще раз, ребятушки, чтоб покрепче затвердить... Зачинай опять, Васька.

— Стой!..— остановил вдруг певцов атаман.— За такую песню надо попотчевать... Удружил Васька...

Он выступил к костру с бочонком водки под мышкой и, налив чарку, сам поднёс её Ваське, первому. Тот был смущён и доволен и, хватив чарку, молодцевато сплюнул в сторону, тряхнул золотыми кудрями и проговорил:

— Вот благодарим покорно...

Среди шуток и смеха чарка пошла по кругу.

— А ну, Васька, запевай...

И снова над воровским табором, на грани пустыни и моря, залился, зазвенел удивительный Васькин тенор:

А у нас то было, братцы, на тихом Дону...

Степан, потупившись, слушал. Песня эта была для него откровением: она впервые сказала ему о его же большой силе. В эти мгновения он горделиво чувствовал, что не его несут волны судьбы, а он ведёт за собой этих людей, всю их жизнь, он куёт их и свою судьбу, что он сам — судьба... И было горделиво на душе, и был он слегка растроган и чуть слышно, но с большим чувством он подтягивал:

Уж вы, судари мои, братцы, голь кабацкая...

XI. ПЕРВЫЕ ШАГИ

В поход выступили поздно, с таким расчётом, чтобы подойти к Яицкому городку — он лежал у самого моря, на правом берегу Яика,— затемно. Степан приказал своей флотилии спрятаться поглуше в камышах, а сам, когда ободняло, с тремя казаками подошёл к городским воротам. Крепостца с её маленьким, в чetyреста человек, гарнизоном жила с великим береженьем, всегда начеку: вокруг по степи кочевали враждебные калмыки и всегда угрожала опасность от какой-нибудь заблудившейся шайки воров, которые на Каспии никогда не переводились.

— Что за люди? Что вам надобно? — спросил казак со стены стрелецкий голова Иван Яцын, опалённый степными ветрами, рослый мужчина с рассечённой ударом сабли щекой.

— Посадские мы, из Астрахани... — отозвался Степан. — На учугах митрополичьих работаем... Помолиться в церкви Божией хотели у вас...

Стрелецкий голова подумал, а потом велел впустить и опять запереть ворота.

Казаки зашли в единственную церковку городка, постояли немного, потолкались на торгу, и Степан отыскал Федьку Сукнина, своего сослуживца по польскому походу, окаянного сорвиголову. Федька очень ценил Степана и, сходяв разок-другой в море за зипунами, все посылал на Дон к Степану грамоты: «Собирайся к нам, Стенька, возьми Яик-городок, учуги разори и людей побей... Засядем в нашем городке, а потом пойдём вместе промышлять на море». Ещё с Волги степью послал к нему Степан гонца, чтобы тот всё подготавливал: иду... Они сделали вид, что совсем не знают друг друга — вокруг были «бездельные» люди,— и, только улучив удобную минутку, Федька шепнул:

— Неужели только вчетвером? Эх, ты, горе-атаман...

Степан только усмехнулся, а когда стемнело, Федька с заранее подговоренными стрельцами отворил ворота,

и вся Степанова станица быстро вошла в город. Со стены бухнула вдруг пушка: раз... два... три... четыре... — то был казачий ясак, весть, что город взят... Стрелецкий голова Яцын защищаться даже и не пытался: он знал о настроенных стрельцов.

— Вот теперь и столица у нас своя есть... — грохотали казаки и стрельцы, пьянствуя вокруг костров по случаю победы. — Ну-ка, теперь достань нас!..

А чуть поднялось из-за песчаных бурханов степное жаркое солнце и слепящими огнями заиграло синее море, как новая власть вступила в свои права. Степан в это утро был зол с перепоя — он пил часто и помногу, — и, почуяв вчера в песне силу свою, точно захотел он теперь её испытать и одновременно утвердить.

За крепостными воротами посадские уже вырыли в песках глубокую яму. Двое стрельцов подвели к ней связанного Ивана Яцына.

— Эй, Чикмаз!..

— Я за него!.. — грубо ответил приземистый, рябой, с синими губами астраханский стрелец Чикмаз, славившийся своей жестокостью.

— А ну, отправь-ка голову в Царство Небесное...

— Можно... — обнажая саблю, деловито отвечал Чикмаз.

— Ребята, да за что? — едва выговорил побелевший голова.

— А старое за новое зашло!.. — засмеялся Чикмаз. — Становись, сукин сын, на колени.

— Ребята, вот как перед Истинным...

— А... Он будет ещё разговаривать...

Стрельцы повалили голову и поставили его на колени на краю ямы... Остро сверкнула татарская сабля Чикмаза, брызнула кровь, пятная тёплый песок, и плотное, здоровое тело Ивана Яцына, нелепо дрыгая, тяжело, точно куль с мукой, повалилось в яму.

— Есть!.. — крикнул Чикмаз, бахвалясь. — Ещё кого?..

И одного за другим подводили казаки к яме связанных начальных людей, стрелецких и городских, и Чик-

маз, хвастаясь своей ловкостью и бесстрашием, лихо орудовал своей залитой кровью саблей. Потом подошла очередь и простых стрельцов, которых оговорил Федька Сукнин, из тех, которые были постарше, поспокойнее... И чем полнее становилась яма мёртвыми телами, тем покорнее становились казнимые — точно вид всей этой крови, всей этой безнаказанности совершавшегося внушал им мысль, что всё это, несомненно, так и быть должно и что всякое сопротивление тут неуместно. А вокруг, вдоль стен и по стенам, по крышам и по бурханам стояли посадские люди, — женщины, казаки, дети, попы, стрельцы, девушки, — ужасались, ахали, отворачивались, закрывали глаза, но не уходили, и, когда смотрели они на разрядившегося Степана, в глазах их был и ужас, и подобострастие...

— Сто семьдесят... — всё бахвалясь, крикнул Чикмаз, отирая пот и уже не раз сменив саблю. — Ещё кого?

— Довольно... — громко сказал Степан. — Будет!..

И в самом тоне его все услышали полную уверенность, что, действительно, надо было порубить сто семьдесят человек, не больше и не меньше...

— Ну... — обратился Степан к яицким стрельцам, которые тупым и безвольным стадом стояли за воротами. — И вам, как и всем, скажу: кто хочет быть вольным казаком, с нами оставайся, а кому мы не милы, так хоть сейчас в Астрахань иди... А теперь, ребяташки, и пообедать время... Как там наши кухаря-то?..

Степан чувствовал, что сегодня он точно гвоздь в свою судьбу вбил и что теперь назад хода уже нет, а только всё вперёд по избранному пути, в неизвестное. Первый шаг был недалёк: в стрелецкую избу, вокруг которой дымилась на длинных деревянных столах благоуханная жирная похлебка с янтарными стерлядями и жирной осетриной, и приветливо зелёным огнём сияли штофы с водкой, а на кухне дожаривались на вертелах вкусные степные барашки. Степан вошёл к обедающим, хлопнул чарку водки перед ними — с победой — и пошел обедать под белые акации, где уже ждали его Федька

Сукнин, вороватый шакал степной с плотоядными глазками, Ивашка Чернойрец и всегда молчаливый полковник Ерик: за обедом надо было пораскинуть умом, как и что делать в только что на крови заложенной державе Яицкой. Голоте всё это казалось чрезвычайно просто потому, что она всю жизнь жила за чужим умом, но Степан был домовитым казаком и понимал, что, если хозяйский глазок нужен даже для небольшого домашнего хозяйства, тем более нужен он для более сложного хозяйства городского и войскового. Надо было послать гонцов вверх по Яику с грамотой к казакам, надо было попытаться войти в соглашение с кочевыми калмыками, надо было послать весть на Дон, чтобы дружки его собирали там новые ватаги и торопились бы на Яик, надо было с первых же шагов незаметно, но основательно осадить Фёдку Сукнина, который держал себя что-то уж очень хозяином, и надо было городу порядок дать: круг казачий собрать, выбрать сотников, десятских, городского атамана, позаботиться о продовольствии, о суде и расправе, без которых люди не живут...

Красные, отяжелевшие, с головами в тумане, казацкая старшина встала из-за стола. Фёдка заметно поджал хвост, но косился, как попавшийся в ловушку волчонок. Ивашка был что-то задумчив.

— Ну, а стрельцов покормили, новых товарищей наших? — благодушно спросил Степан.

— Накормили... — отвечали услужливые голоса. — Да их почитай половина на Астрахань пошла...

— Как на Астрахань?! — сразу налился какою-то дикой силой Степан.

— Да ты сам же сказал, что которые охочие в Астрахань, так те бы шли... Вот они и пошли...

Степан почувствовал, что его точно кто по лицу при всех ударил. Ежели так дело начинать, так это, пожалуй, храмины-то и не соберешь. Мало, значит, этот чёрт Чикмаз своей саблей их учил!..

— Эй, есаул!.. — строго крикнул он Ивашке, который стоял в стороне с Ериком. — Сейчас же наряди

конную погоню за стрельцами, которые в Астрахань пошли. И чтобы доставить их мне сюда живыми или мёртвыми... Живо!..

И всем показалось, что атаман в своем росте прибавился. Ивашка подтянулся и, придерживая саблю, скрылся куда-то. И не прошло и четверти часа, как в воротную башню вынеслась на вертлявых и злых лохматых степных лошадёнках погоня.

— Айда, братцы!..

И с гиком и посвистом разбойным запыхали казаки по Астраханской дороге.

У Раковой косы они нагнали стрельцов. Хмурые, те сидели у камышей, отдыхая и подкрепляясь хлебом и воблой сушёной.

— Нагулялись? — крикнул нагло Трошка Балала, в душе очень трусивший отпора.— Ну, а теперь поворачивай оглобли назад, распротак и распереэдак... Ишь, как коней из-за вас заморили!..

— А какое твоё дело ворочать нас, ежели сам атаман нас отпустил? — отозвались хмурые голоса.— Ишь, тожа какой Еруслан Лазаревич выискался!..

— Это вас, дураков, атаман пытал, кто чего на душе таит...— засмеялись казаки.— Н-но, поворачивайся, олухи царя небесного!.. Растабаривать ещё будут...

— Не пойдём, и крышка...— раздражённо отвечал высокий и сухой стрелец с белесыми глазами и клокастой бородой.— Коли атаман...

— Ну, что ж ты вот тут с чертями делать будешь, а?...— развел руками Трошка.

— А-а...— захрипел вдруг Ягайка.— Пошла твоя или не пошла?..

И он грязно и смешно выругался.

— Ах ты, неумытое рыло!..— загрохотали казаки.— Ай да Ягайка!.. Быть ему атаманом беспрременно...

Он выхватил саблю и бросился на стрельцов. Казаки за ним. В невообразимом смятении стрельцы бросились врассыпную: одни падали под ударами сабель под ноги шарахающихся и взмывающих вверх коней, другие сразу

сдавались, а третьим удалось уйти в густые камыши, где тысячами гнездовала всякая птица и целыми стадами водились кабаны. Обобрав убитых, казаки повели пленных обратно. Они всячески бахвалились один перед другим и чертыхались. Стрельцы были бледны и угрюмы...

Степан принял их высокомерно, но помиловал и приказал служить. Уже через три дня один из них, желая подслужиться к новому начальству, шепнул ему тихонько, что среди возвращённых с Раковой косы составилась шайка в четырнадцать человек, которая задумала тайно бежать в Астрахань. Степан в бешенстве приказал схватить всех их. Запылали яркие и жаркие костры. Казаки сперва на глазах у всего населения городка долго жарили их на огне, а потом, опалённых, с вытекшими глазами, едва живых, добили саблями и дрючками.

Так крепила себя молодая казачья власть...

Голота всё порывалась в море за зипунами, но Степан был точно связан по рукам и по ногам теми делами и заботами, которые выпали теперь на его долю и которые не только не уменьшались по мере того, как он делал их, но, наоборот, всё увеличивались. В первый же день казаки разгромили Приказную избу и все бумаги, к которым они питали неодолимую ненависть, пожгли, но уже через неделю оказалось, что без приказных и без бумаги нельзя было вести городскую жизнь, нельзя обходиться без суда, нельзя не собирать налогов, что все те вольности, которые так чаровали их в воображении, в соприкосновении с жизнью действительной оказывались красивой сказкой, миражом, который ладен в песнях, но неладен в той жизни, в которой люди едят, пьют, ссорятся, рождаются, помирают, строятся, ловят рыбу, покупают, продают и прочее. И приказные перья уже скрипели в душных покоях избы, и бумаги быстро накапливались снова. И то и дело собирался и часами шумел казачий круг, и всё чаще и чаще подмечали наблюдательные умы, что сколько он ни шумел, в конце концов он всё же как-то незаметно, невольно сворачивал на старые, избитые пути жизни, той жизни, которую

казаки пришли разрушить до основания. Новая жизнь никак не давалась, точно Жар-птица какая!..

И степью, и морем со всех концов России стекались к Степану гонцы, и все они говорили только одно: в народе все ярче и ярче разгораются какие-то бешеные, пока скрытые огни, всё слышнее делаются раскаты грома, всё ближе и ближе подходит великий день освобождения,— так какая же там Персия, какие зипуны?.. Какая корысть в том, чтобы ограбить какой-нибудь городок у тезиков (персов) или взять в полон судно какого-нибудь купчины, когда можно сделать дело неслыханное ещё? Ведь была полька Марина со своим выблядком царицей московской!.. Правда, шею ей в конце концов свернули. Но раз свернули, два свернули, а на третий раз, может, и не удастся... Кто смел, тот только и съел...

И Степан колебался, высматривал, выслушивал, взвешивал и откладывал всякие решения потому, что если он лучше других знал слабость Москвы и весь развал государства, то он лучше других знал и силу московскую, эти её новые полки, построенные на иноземный лад, во главе которых стояли почти исключительно офицеры-иноземцы. Ведь их, сказывают, до двадцати пяти полков конных будет — рейтаров, да драгун, да копейщиков, да полков тридцать пеших... Что же может тут гольтьба его сделать?

А с другой стороны, если пособрать сюда силы побольше да ударить по тезикам, тоже игру можно сыграть большую: давно ли Ермак-то Тимофеич со своей голотой Сибирь забрал да челом ей бил царю московскому? Князем Сибирским сделал ведь его Грозный... Можно попробовать разыграть то же и в Персии...

А кроме того, и в казаках полного единодушия нету. Вон, пишут с Дона, Серёжке Кривому очень скоро удалось составить себе хорошую станицу и совсем было собрались они выступить в Сечь, как вдруг казаки его закинулись и стали требовать, чтобы Серёжка вёл их по следам Степановым за зипунами... Неверный народ... Сам путём не знает, чего хочет, и крутит и так, и эдак...

И в этом устроении власти и этих колебаниях прошёл и месяц, и другой, и среди казаков уже слышался открытый ропот: скоро осень, бури начнутся, морской поход будет невозможен — чего же спит атаман? И чтобы разрядить эти опасные настроения, Степан не раз собирал казачий круг, будто бы посоветоваться, что делать и как быть, но на самом деле на кругу работала небольшая, но сплочённая кучка его ближайших дружков и то ловко подсказывала кругу нужное решение, а то просто брала криком. И казаки, скребя в затылках, подчинялись и продолжали ворчать. В конце концов Степан решил побаловать ребятишек и, просидев в Яике три месяца, в сентябре объявил морской поход к изливу Волги. Там, по островам дельты, жили едисанские татары с их князем Алеем. Это были кочевники-магометане, люди совершенно исключительного безобразия: небольшого роста, с жёлтыми, морщинистыми, старообразными лицами, с отвислым брюхом, они в довершение всего отличались крайней неопрятностью и круглый год ходили в своих бараньих вонючих балахонах. Летом занимались они скотоводством, охотой, рыбной ловлей, а зимой подтягивались к Астрахани и жили в шалашах под городом. И были они в непрестанной и жгучей вражде с калмыками, вытеснившими их из левобережных степей...

И вдруг точно шквал с моря налетел на их улус у Емансуги: в треске и дыму пищалей, в блеске и лязге сабель на них обрушились казаки. Они разграбили всё, что можно,— главным образом, их прельщали высокие головные уборы татарок, украшенные русскими серебряными монетами,— и взяли большой полон, чтобы продать потом татарву в неволю. Потом обошли они все учуги и, загуляв, на учуге богатого промышленника Ивана Турченина оставили на столе записку: «От атамана Степана Тимофеевича и всего войска донского и яицкого. Были атаманы молодцы на твоём учуге, а на учуге ничего нет. И приказали атаманы молодцы выслать им пятьдесят вёдер вина, десять пудов патоки,

пятьдесят мехов пшеничной муки да опоки, что серебро льют. А вышли всё на Четыре Бугра. А буде не вышлешь, атаманы молодцы хотят оба учуга твои выжечь да и насадам твоим по Волге не ходить. А буде ты, Иван, станешь бить челом воеводе, и ты на нас не пеняй». И с хохотом погрузились и вышли в море и, пограбив какого-то турецкого купчину, весело воротились в Яик зимовать... А на разорённом улусе князя Алея несколько ночей подряд скулили татарки... Потом всё стихло...

Калмыки, прослышав, что казаки разбили и пограбили их давних врагов, племя Алея, послали к Степану послов, чтобы завязать с ним дружеские сношения. Степан принял их дружелюбно, но с достоинством.

— Мы, казаки, люди вольные, и вы, калмыки, тоже люди вольные...— через толмача говорил он им.— Нам надо поддерживать один другого...

И старый тайджа, начальник калмыков, весь в морщинках, точно пергаментный, уверил его, что калмыки об этом только и мечтают.

И был шумный пир, на котором казаки пили водку, а калмыки кумыс, и пели песни, и подрались, и устроили в степи весёлую байгу, и расстались совсем приятелями на вечные времена. И скоро под стены Яика подкочевала одна из калмыцких орд и взамен на награбленное казаками добро снабжала их мясом и молоком от своих стад...

Тем временем астраханский воевода князь Иван Андреевич Хилков не раз высылал из Астрахани воинские отряды промышлять над Степаном, но так как среди стрельцов шло открытое «шатание», то они возвращались из степей, ничего не сделав и лишившись нескольких человек, которые перебегали к Степану. Москва начала тревожиться и сердиться на медленность и апатию астраханского воеводы и Дона, где на глазах у всех формировались всё новые и новые отряды голытьбы. Домовитые казаки, как всегда, снабжали их необходимыми средствами с тем, чтобы потом добытые зипуны разделить исполу. Под давлением Москвы в декабре прибыл

с Дона в Астрахань Леонтий Терентьев с товарищи: они везли Степану увещательную царскую грамоту.

Степан принял послов Дона на кругу с большим почётом: ссориться с Доном в его расчёты не входило...

Леонтий с важностью прочитал кругу царскую грамоту, а затем, разгладив свои длинные чумацкие усы, проговорил:

— А опричь того боярин и воевода князь Иван Андреевич Хилков велел вам говорить, чтобы вы отпустили астраханских стрельцов, яицких годовалыщиков, и тех, что вы в степи и по камышам захватили. А также и улусных князь Алея людей, что вы в полон взяли...

Степан посоветовался для вида с кругом и отвечал:

— Когда придёт милостивая великого государя ко мне грамота, тогда мы вину свою принесём великому государю и стрельцов отпустим, а теперь не пустим никого...

Леонтий опешил: какая милостивая грамота? Ведь он только что передал её атаману. Недоумевая, он смотрел на Степана. Тот, подбоченившись, смотрел на него дерзкими глазами. Леонтий понял, что его слова только пустая увёртка, что толков из дела не будет и сразу отстал: он свое поручение исполнил, а там не его дело. А Москве, чтобы не очень зазнавалась, подсолить маленько хвост никогда не мешает...

Москва окончательно прогневалась на князя И. А. Хилкова, и воеводой в Астрахань был назначен князь И. С. Прозоровский, а в помощники ему даны были брат его Михайла да князь Семён Иванович Львов. Они отправились в дальний путь — в те времена дорога из Москвы в Астрахань в лучшем случае продолжалась месяц, — а князь Хилков тем временем опять послал против Степана ратную силу под начальством Якова Безобразова. Безобразов, послав калмыцким старшинам добрые поминки, легко уговорил их стать на его сторону, и те, забыв о недавно заключённом со Степаном союзе, осадили Яик. Но стоять под стенами было скучно. Получив хорошие поминки и от Степана, калмыки ушли в степи. Тогда Безобразов послал к Степану двух стрелецких голов, чтобы

уговорить его прекратить воровство и не гневать больше великого государя. Степан повесил их обоих и, выйдя из городка, наголову разбил Безобразова.

Казаки подняли голову выше. Степью побежал на Дон гонец Степана, чтобы донцы скорее подтягивались к нему. И между прочим нёс этот гонец и грамотку от Ивана Черноярца сладкой зазнобушке его, Пелагее Мироновне, в Царицын, и грамотка эта начиналась так: «Свету-пересвету, тайному совету, яблочку наливному, цветику золотому...», а кончалась уверениями, что целует он, Ивашка Черноярца, сахарные уста Пелагеи Мироновны несчётно раз...

Ивашка потёрся-таки на людях и тонкое обращение знал...

ХП. ОТЕЦ И СЫН

Лето этого года было нестерпимо жаркое и сухое. Горели города, деревни, леса, болота. В деревянной Москве, которая горела чуть не ежегодно и часто сгорала дотла, было очень тревожно. И земским ярыжкам, и огневицам было строжайше предписано неусыпно следить за выполнением всеми жителями постановлений о пользовании огнём. И мало того: ежедневно бояре вместе с дьяками и решёточными приказчиками производили объезд города, заставляя гасить огни тотчас по изготовлении кушанья, не позволяя топить мыльни, проверяя, везде ли выставлены по крышам шайки с водой. И если где замечали они какое упущение, то земские ярыжки тут же опечатывали у провинившегося домохозяина поварню или мыльню земскою печатью...

Было воскресенье. Зной томил всех с утра. Даже птицы и те все попрятались. Иногда где-то далеко рокотал гром. Глаза невольно устремлялись туда, но ничего не было видно, кроме раскалённого белого неба, дрожания воздуха над изнемогающей землёй да местами зловещих столбов дыма от горящих лесов.

Боярин Афанасий Лаврентьевич сидел у себя в комнате и что-то писал. Комната была убрана богато, но без той вызывающей роскоши, которой другие бояре стремились перещеголять один другого. Окна были прикрыты ради прохлады резными ставнями, и в прорезы их, сделанные в виде сердца, рвались солнечные лучи и, крутясь, золотилась в них нежная пыль.

В больших поставцах теснились многочисленные «мёртвые советники», книги. Их было даже больше, чем у Алексея Михайловича, может быть, отчасти и потому, что многие книги строились как раз Посольским приказом, во главе которого был Ордын. И много было книг и на иных языках: на польском, латинском, немецком... Больше всего было книг исторических и религиозных и совсем не было книг лёгкого чтения, всех этих рыцарских рассказов, «прикладов» и смехотворных повестей, которые начали о ту пору проникать в Москву через Польшу. Много было «хронографов», в которых рассказы из истории Рима и Греции смешивались с рассказами о римских папах, открытии Америки, южных славянах, о морях, реках, горах и о дивах разнобываемых. И на столе Ордына лежала последняя книга, построенная на Москве, дьяка Грибоедова «История сиречь повесть или сказание вкратце о благочестно державствующих и святопочивших боговещаных царях и великих князьях, иже в Россиистей Земли богоугодно державствующих»...

Не один поставец был занят старыми рукописаниями. Тут стояла и опалённая рукопись, которую передал ему Арон, пьянчуга, но неглупый монах, который куда-то исчез из Москвы, и труд Авраамия Палицына: «История в память сущим предыдущим родом, да незабвенна будут благодеяния, еже показа нам мати слова Божия, всегда от всея твари благословенная приснодева Мария, и како соверши обещание к преподобному Сергию яко неотступно буду от обители твоея. И ныне всяк возраст да разумеет и всяк да приложит ухо слышать, киих ради грех попусти Господь Бог наш праведное свое наказание

и от конец до конец всей России, и како весь словенский язык возмутися и вся места по России огнём и мечом поядена быша». А рядом со сказанием Авраамия стояла толстая пожелтевшая рукопись князя Ивана Андреевича Хворостинина, который «многоя укоризненные слова на вирш» против русских писал, утверждая, что они засевают землю свою рожью, а живут — ложью. Труд его назывался «Словеса дней и царей и святителей московских, еже есть в России. Списано вкратце, предложение историческо, написано бе к исправлению и ко прочитанию благочестие любящих, составлено Иваном дуксом. Сие князь Иванова слогу Андреевича Хворостинина». А рядом с этим историческим трудом князя — он умер еще в 1625 году,— стоял сборник и его стихотворений, в которых он говорит то о своей тяжёлой судьбе:

Но и рабы мои быша мне сопостаты,
Разрушили души моей палаты,
Крепость и ограждение отьяша
И оклеветание на мя совещаща,
Пушчали на мя свои яды,
Творили изменные ряды,
Вопче на мя приносили
И злочестием меня обносили...

то обличает папу римского, что он за деньги продаёт спасение:

О, прегордый папо, откинь свои блуды,
Ниже являй те свои всему миру студы.
Где же Пётр повеле паствы раззоряти
И с благочестивыми злочестных породняти?
Почто ж от блудниц дани собираешь
И им блудитися явно повелеваешь?
Чего ради праздники празднуешь с жидами,
Христоубийцами, Божьими врагами?
Клятва апостолов тебе погубит
И святыми их заповедми будешь убит,
И еуангельского речения чего ради не прочитаешь?..

И рядом лежала связка писем от сербенина Юрия Крижанича, который был лет шесть назад сослан в Тобольск:

горячий панславист, он вздумал было на Москве обличать «крутое владание» царей и «злое законоставие» приказных и их «глуподерзие и людодерство».

Афанасий Лаврентьевич, потирая сухой рукой свой большой, выпуклый лоб, перечитал ещё раз то, что написал он по повелению великого государя на Дон:

«...Вы не новокрещены, но искони служите Великому Государю и всему Московскому государству. А ныне что так отменно в вашем войсковом совете учинилось и нерадение на весь свет показали? Удивлению такое бесстрашие надлежит... И на Волгу к воеводам нашим не пишете, и за теми ворами не посылаете, и злого их совету не разоряете...»

Перо буквально вывалилось из его рук: что же можно сделать тут уговорами? Ведь это всё равно что требовать от горькой калины, чтобы ягоды её были сладки, как яблоки. Всякое дерево приносит только те плоды, которые ему приносить свойственно. Произвол помещиков, беззакония воевод и приказных, окончательное прикрепление к земле вольных до того крестьян, — вот что гонит народ на украины. Но не прикрепить людей к месту — в первую голову были прикреплены служилые люди, дворянство — нельзя было, потому что государству деньги нужны, нужен порядок, нужна окрепа, а не это беспорядочное кочеванье. И нельзя требовать от помещиков, воевод и приказных понимания своего долга, потому что в огромном большинстве это малограмотные, тёмные люди, которые отличаются от крестьян только более богатым нарядом. Стало быть, те, что погорячее, не бежать не могут. И вот их скопилось там больше, чем следует, кормиться нечем, вот и «воровство» готово. Что же можно сделать тут уговорами? Надо устранить причины. Но как устранить их?

Нужны люди. Но где они? Одни туполобы, узки, невежественны; другие, как Морозов, умны и дело понимают, но заботятся только о себе, а третьи, как Артамон Сергеич, точно боятся заглядывать поглубже и все, как тот же Никон, не суть, а букву исправить хо-

тят. Какой в том толк, что все вместо своей одёжи иноземные кафтаны наденут, когда под кафтанами-то останется всё то же?

Вон надел Никон этот новый кафтан на Церковь, а что вышло? Нестроение только возросло. Против соловецких иноков посланы уже царские войска, все тюрьмы полны раскольников, и тысячами бегут они на украины и в заволжские леса. И хоть бы для добра!.. Всюду по скитам их идёт великий блуд и всяческое смятение и непорядок. И те, что толкнули их на украины, и в скиты, и во всю бестолочь эту, тоже не за правду стояли, а только золота московского добивались да мехов сибирских.

И ярко вспыхнуло в усталой голове воспоминание о наиболее грустном моменте в суде над Никоном, когда этот скоморох, Паисий Лигарид, эта жадная лисица, махая руками, кричал на всю палату: «Внемлите, племена народов, главы Церкви, равноапостольные архиереи, небесные и земные чины и стихии, которых и Моисей призывает во свидетельство, внемлите... Я открою вам, праведным судиям, козни бывшего патриарха Никона, который сверх всякого чаяния, из сыновей бедных родителей будучи возведен на патриаршую кафедру, как новый Луцифер, дерзнул поставить свой престол выше других, стал поражать благодетелей своих и терзать подобно ехидне родную мать свою, Церковь...» И оказывалось, что Никон страшно оскорбил иерусалимского патриарха, назвав невежественно и бесстыдно свой монастырь Новым Иерусалимом. Мало того: он в алтаре перед зеркалом дерзал расчёсывать свои власы!.. И трудно было сказать, кто вёл на судьбище этом себя гаже, этот ли пройдоха Лигарид или патриарх александрийский, по титулу «судия вселенной»... Судия вселенной, а под этим только соболя сибирские да золото царское!..

И вот теперь в Малороссии опять смута начинается. Дорошенко туркам передался, кричит о московском засилии и тайно вынюхивает в Москве, что дадут ему

за то, чтобы предал он турок. А Брюховецкий обещает голытьбе раздел всех благ земных, — только вот его гетманом сделали бы. И Москва тоже там первенствовать хочет, а не покорятся, обрушится она на них со всей жесточью и — ничего опять не получится...

Горечь жизни отравила всю его душу до дна. Так что же, бросить всё и уйти в монастырь, единому Богу присно внимаша и псаломские песни пояша? Всё забыть, всё похоронить, ничего не хотеть — вот в чём счастье!..

В сенях слышались знакомые шаги. Афанасий Лаврентьевич сделал вид, что пишет свой наказ на Дон.

Дверь отворилась, и в комнату вошёл его сын, Воин, худошавый молодой человек, очень похожий на отца. И как у отца, в глазах его, больших, тёмных и лучистых, стояла всегда печаль, точно поцеловал его, как и отца, ещё в колыбели какой-то чёрный ангел.

Семь лет тому назад, ещё совсем юношей, был он послан к отцу за границу с важными грамотами. Иноземная жизнь так пленила молодого Ордына, что он остался там самовольно. Тишайший Алексей Михайлович до того разгневан был этой дерзостью, что назначал головокружительные награды тому, кто изведёт там дерзкого, обещая даже до десяти тысяч рублей за это. А так как старика Ордына он любил, то одновременно он повелел своим ближним боярам приучать того потихоньку к мысли о «небытии на свете» его сына. В 1665 году молодой Ордын затосковал по родине, по близким, раскаялся «в своих изменах», был прощён, а в следующем году сослан был под крепкий надзор за Волгу, в Кириллов монастырь, откуда был освобождён в следующем году за заслуги его отца по заключению Андрусовского мира. Но жить ему было всё же приказано в деревне. И опятьдохнул молодой Ордын московским спертым воздухом, и опять «ему стошнило» от Москвы нестерпимо, и опять потянуло в чужие края, но — все ходы туда были ему уже отрезаны.

— Ты что? — спросил отец сына, с любовью глядя на это печальное лицо. — Я думал, ты гулять куда ушёл...

— Нет, батюшка...— отвечал Воин.— У себя я был в саду, читал... Я пришёл спросить, не надо ли в чём помочь тебе.

— Нет, ничего пока не надо...— сказал отец.— Мне приятнее было бы, если бы ты лучше немного поразвлекся.

Аще ты цела, аще здрава хочешь имети,—

с тихой улыбкой продекламировал он,—

Перестань тяжко пещися и тяжко скорбети,
Скорбно сердце, гаев частый, мысль всегда уныла,—
Сие трие снедают людям скоро тела...

Сын отвечал мягкой улыбкой, но ничего не сказал. В сенях опять послышались быстрые шаги, и в комнату вошёл казачок.

— Боярин, там приехал гость Василий Шорин к тебе...

Ордын незаметно поморщился.

— Ну, что же... Зови его сюда...— сказал он.

Казачок исчез.

— Я через твою опочивальню пройду...— сказал сын.— Не хочется мне видеть этого живоглота.

— Иди...

Через несколько минут казачок впустил в комнату именитого гостя московского Василия Шорина, грузного человека с сине-чугунным лицом, заплывшими умными глазками и сивой бородой. Он остановился у порога, усердно помолился на иконы и отвесил хозяину земной поклон.

— Здрав буди, боярин... Как тебя Господь милует?..

— Здравствуй, Василий Иванович... Что это ты по такой жаре разгуливаешься?.. И сидеть-то не вмоготу... Садись-ка вот сюда в холодок...

— Да что, боярин, приказные замучили...— поклонившись и сев, сказал Шорин.— Как ты слышал, чай, на низу, на Волге, воры моё судно с хлебом казенным по-

грабили, слуг всех перебили, а ярыжки с ими ушли — всё как полагается. И вот сколько разов ходил я в Казанский дворец¹ узнать, где ж судно-то моё теперь... Его вора́м не нужно. И никто не веда́ет, куды оно делось. Может, можно что через твой Посольский приказ узнать? Ты уж прости, боярин, что по пустым делам тревожу тебя, да что поделаешь? Дело торговое, своего добра жалко... А потом и вопче хотелось бы проведать, как там дела-то у нас идут, а то скоро время караван осенний наряжать, так надо знать, можно ли будет пустить его...

Василий Шорин ворочал в царстве Московском огромными по тем временам делами. Со своими малограмотными приказчиками, сидельцами, захребетниками, ярыжками и всяким другим наёмным людом он вёл бойкую торговлю мехами в селе Лампожне, близ Холмогор,— причём немало спускали его молодцы иностранцам и мехов поддельных,— и держал рыболовную компанию у Лапландского берега, и торговал с голландцами и англичанами лесом, и поташом, и смолой, и дёгтем, и мачтами, и льном, и отправлял хлеб на низ, и вёз оттуда на своих судах рыбу и соль, а когда начались в Москве злоупотребления с медной монетой, которые потом вызвали страшный бунт народный, то в этом дельце оказался замешанным и Василий Шорин, но так как замешаны были в нём и царский тесть Милославский, и дворянин Матюшкин, женатый на родной тётке царя, то всё сошло Шорину благополучно. Вообще о ту пору торговля была полна всякого мошенничества. Когда один голландский купец крепко поднадул московских торговых людей, они очень потом упрасивали его вступить с ними в компанию: самый выгодный, самый надёжный компаньон! Отчётности правильной не было совсем, и, чтобы обеспечить себя хоть отчасти от художеств со стороны своих служащих, торговцы требовали, чтобы они отчет по делам отдавали им перед образом Спаса Прямое Слово, что, впрочем,

¹Приказ, ведавший делами царств Казанского и Астраханского.

нисколько не мешало им нагревать хозяина. Этот своеобразный характер торговли не препятствовал, однако, нисколько заниматься ею не только боярам, но даже и самому царю. Большие торговые операции вели тогда и боярин Морозов, и князь Яков Черкасский, и престарелый князь Дмитрий Михайлович Пожарский... Царь торговал даже в розницу, и часто на торгах можно было слышать выкрики торговков:

— А вот масло, вот яблочки спелые, вот холст хороший, вот орехи, вот масло — царские товары... Жалуйте, милостивцы, на царские товары!.. Дёшево продаём...

Царское вмешательство в торговлю чрезвычайно тяготило торговый мир. Целый ряд товаров объявлялся царской монополией: шёлк-сырец, мёд, меха, ревень, отчасти соль и рыба, всегда икра, в неурожайные годы — хлеб. Меновой торг с инородцами красным товаром и бакалейей постепенно сосредоточился в руках царя. Их лучшие меха доставались только ему. И нарушение этого порядка вызывало великую опалу и даже «кажнение смертью». Если у царя набиралось слишком много мехов или портился большой запас икры, купцы были обязаны забирать всё это по казённой оценке и ведать с этим, как они хотят.

Вот этою-то разносторонней царской торговлей и ведали такие «гости», которых немец Кильбургер называл «коммерции советниками Его Величества». Эти коммерции советники не забывали и себя, конечно, при этих операциях под флагом царя, а кроме того, часто выхлопывали себе всякие прибыльные откупы, таможи, кабаки и прочее, и потому гостей ненавидели яро не только простые люди, но и торговцы. Крижанич в свое время писал: «Наш словенский народ весь есть такому окаянству подвержен, еже везде на плечах нам сидят немцы, жида, шоты, цыгане, ормляне и греки и иных народов торговцы, кои кровь из нас иссысают». Шорины стоили иногда шотов, цыган, жидов вместе взятых, и недаром во всех бунтах имя этого гостя именитого всегда выдвигалось наряду с именами других «кровопивцев».

— Ну, а как дела идут теперь по торговле? — спросил боярин.

— Потихоньку, боярин...— отвечал Шорин.— Могли бы мы торговать, да многое, сам знаешь, торговлишку режет: и пути наши нележки, и деньги не больно устойчивы, и разбои повсеместные; а пуще всего, уж больно дерут с торгового человека: с судов посажённое, привальное, грузовое, с людей головщины, с саней полозовое, с рыбы берут при складе в лавку, и с лавки, и с раздела, и с мытья, и с рыбных бочек, и с бою, и с выборки, на торгу плати с квасу, с сусла, с масла конопляного и коровья, с ветчинного сала, с овсяной трухи, за пищу площадку берут, на реках — за прорубное подай, за рогожу плати, за ворвань плати, куда ни гляди, как ни пошевелись — плати, плати, плати... А народ орёт, дурак: грабит его купчина!.. Нет, ты побудь в нашей-то шкуре, так узнаешь, как Кузькину-то мать зовут... Понимаем, не головотяпы какие, что государству без налога не обойтись,— так внеси в дело порядок, возьми там с рубля оборота али ещё как, а так, по-собачьи, прости Господи, на каждом шагу рвать, это не дело... Ну, и опять же, ежели по совести говорить, не след бы царю в дело вступать. Помню, как твой дружок, сербенин-то ссыльный, говаривал: «Несть бо кралю лепо купить у своего подданного и продать своему ж...» Да вот, вишь, прямое-то слово у нас не больно любят. И послали прохладиться за бугры... И диви бы так на нас тёмный народ смотрит! Что с их взять? Бараньё! Нет, и вы, бояре, вон приговорили ставить дьячье имя выше гостинного! А что дьяк? Дьяк он готовое ест, а мы людей кормим сколько...

Ордын с интересом слушал умного мужика...

А его сын тем временем мучился и сгорал в изнемогающем от зноя саду. Ко всем его огорчениям в последнее время прибавилось новое, самое горшее из всех. По соседству с ними была усадьба московского дворянина Ивана Алфимова. И раз случайно, читая в саду, сквозь частокол Воин увидал его дочь, тихого ангела с

синими, как озёра среди гор, глазами. И девичье сердце сразу отозвалось ему, но его репутация беглого, опального до того была прочна, что Алфимов, политик осторожный, ни за что не согласился бы назвать его своим зятем. И только вчера вечером, когда в тёмном небе теплились серебряные звёзды, сквозь частокол Аннушка испуганно сообщила ему, что отец её назначен воеводой в Самару и что они уезжают. И, тихо плача, девушка успела передать ему золотое колечко...

Что делать, что делать, что делать?!

И вдруг над Москвой властно раскатился могучий удар грома. Прогрунул тревожно ветер по листве. Закрутилась пыль... Шорин торопливо спустился с крыльца и вышел за ворота. Старый Ордын опять остался один. И снова мысль вернулась назад: да, от всего отказаться и уйти в пустынь...

Вспомнилась далёкая молодость в далёком «скопском» краю и то страшное разорение, в котором был тогда край после Лихолетья. Он ярко помнит опустевшие деревни, где часто в брошенных избах дотлевали трупы перебитых ворами-казаками крестьян, полуразрушенные монастыри, сожжённые усадьбы, разбойничьи шайки, перед которыми тряслись все, и стаи волков, которые бродили по дорогам в поисках за добычей. И вспомнилась его первая и последняя любовь, которая закончилась медлительной и торжественной свадебной обрядой: старики крепко держались старинки. И вспомнилась та удивительная весна, когда так пьяно пахли черёмухи, так сладко благоухала белая резная любка и так сладко пел соловей. А теперь она, Настя, чужой человек совсем. А сын, тот замкнулся и пошёл жизнью каким-то своим, скорбным путем... Никто и ничто его не держит — чего же ждать?..

Он слышал вдруг шаги жены в сенях и взял первую попавшуюся книжку в руки, — то было «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», — чтобы не завязнуть с ней в каком-нибудь пустом и часто враждебном разговоре. Она вошла. Это была располневшая

женщина в дорогом тяжёлом платье и в усыпанном жемчугом подубруснике из золотной материи, поверх которого был повязан белый расшитый убрус. Она уже перестала белиться и румяниться, и её пунцовые, налитые щёки были теперь от долгих притираний какого-то нездорового и неприятного вида. В заплывших, но вострых глазках её была, как всегда, враждебность загодя...

— А где же Воин-то? — сказала она. — Я думала, у тебя он...

— Не знаю...

— А не мешало бы... — поджимая губы, сказала она. — Отец, а ничего не видишь... Он словно пришитый торчит всё около забора алфимовского: должно, присушила какая...

— Будет тебе всё зря лиховаться-то!..

— Как это так зря? Что алфимовская-то девка, нешто ему в версту? Нашёл добро!.. Сперва острамил с побегом своим на всю Москву, а теперь...

Все вдруг бледно вздрогнуло, и ещё властнее раскатился над изнемогающей землёй гром. Густо-синяя туча с бронзовыми краями заволокла уже полнеба, и резко выделялись на ней дальние белые колоколенки. Всё было освещено каким-то жутким светом. И были тревожны голоса людей, и полёт птиц, и трепетанье листьев.

— Ты знаешь, что я об этих делах думаю, Настя, и потому...

Снова всё вздрогнуло, и сразу яро треснул гром и покатился, полный и могучий, в раскалённые дали.

— Свят, свят, свят... — испуганно крестясь, проговорила Настасья Гавриловна. — Ох, индо ноженьки не стоят, как испужалась...

Вихрь, крутя пылью, пронёсся над городом. Где-то захлопала ставня. Сразу потемнело.

— Аксютка... Нянюшка... — испуганно кричала уже в сенях Настасья Гавриловна. — Да куды вы все провалились?.. Закрывайте окна... Нянюшка, а ты поди лампадки везде засвети... Да в поварню кто сбегайте: труба закрыта ли?.. И...

Что-то фиолетово ослепило, и сразу что-то огромное и сухое сорвалось с неба и раскатилось по жаркой земле, всё потрясая. Деревья согнулись под набежавшим ветром. Вся Москва скрылась в косматой, зловеще бурой туче пыли... И вдруг раздался истошный крик:

— Матушки, родимые, поглядите-ка: у Рождества Богородицы загорелось!..

Но по крышам, по сухой земле и по листве уже зас-
тучали, зашлёпали первые крупные капли дождя...

ХІІІ. КРОВАВЫЙ СМЕРЧ

Через своих лазутчиков Степан проведал, что новый астраханский воевода князь И. С. Прозоровский спускается по Волге с ратными людьми и что в его распоряжении находится целых четыре приказа (полка), то есть около четырёх тысяч человек. Да говорили, что и с Симбирской Черты он снял ратных людей себе в подкрепление, и из Самары, и из Саратова. Сила собиралась немалая, тем более что московские стрелецкие приказы это совсем не то, что стрельцы астраханские. Степан призадумался: это могло быть и развязкой. Зовы со всей Руси к нему шли по-прежнему, но степной волк был хитёр и осторожен. Если, худо ли, хорошо ли, Москва справилась и с ляхами, и со шведами, то с ним-то справится наверное. С другой стороны, казаки всё сильнее тянули за зипунами. В его глазах зипуны эти большой роли не играли, но в этом направлении открывалась возможность, за неимением лучшего, сыграть роль южного Ермака.

И вот в начале марта Степан объявил поход на Персию. Станица встретила его великим ликованием и шумом, среди которого прошла как-то незаметно таинственная смерть Федьки Сукнина, который в последнее время всё что-то со старшиной «загрызался» и вдруг был найден на рассвете под стенами городка с пулей в затылке. Казаки лихорадочно и весело готовились к по-

ходу: струги ладили, оружие исправляли и чистили, припас всякий готовили... Выходить в море в марте было раненько, но как ни тихо шёл Прозоровский, всё же он был уже под Астраханью, и мешкать просто не было уже времени. И вот 23 марта, в ветреный, солнечный день, когда густо-синее море рябило мелкими белыми барашками, с криками, пальбой и великим чертыханьем и матерщиной подгулявшие казаки подняли паруса на своих двадцати четырех стругах и с песнями побежали к кавказским берегам. Огромное большинство из них о море не имело ни малейшего понятия, но, как известно, двум смертям не бывать, а одной не миновать, и к тому же с ними были запорожцы, которым морскую воду приходилось хлебать не раз...

И закрутился огненно-кровавый смерч вдоль опалённых берегов Каспия. Где стояли крепостцы, там казаки обходили препятствия стороной, а где защиты населению не было, там они жгли, грабили, насиловали, резали, погибали в крови и вине сами, но не щадили и людей. Не было того преступления законов Божеских и человеческих, которое осталось бы не совершённым казаками. И так длилось целый год, от северных берегов Кавказа до юго-восточных пустынь закаспийских. Их струги были переполнены золотом, парчой, камнями самоцветными, оружием драгоценным, тканями самыми дорогими и ясырем, то есть пленниками для продажи в рабство: вчерашние рабы только для себя хотели воли. У самого Степана жила в шатре, противно всем обычаям казакским, пленная красавица персиянка, Гомартадж,— что значит венец лунный — дочь славного воина и вельможи персидского Менеды-хана...

И так как добычи просто-напросто грузить было уже некуда, то повернули казаки на Свиной остров, к берегам кавказским. Там тотчас же начался шумный дуван. Но расстаться с разбоем не хотелось всё же: изредка делали казаки набеги на близлежащие на кавказском берегу городки, иногда возили они туда свой ясырь и отдавали его задёшево: насчёт кормов и самим было

плохо, так как не хватало хлеба. Страдали казаки и от недостатка пресной воды и часто вынуждены были пить морскую воду, от которой потом болели...

Начались споры, что делать и куда путь держать. На-
растало часто беспредметное раздражение. Очень коси-
лись они и потихоньку ворчали и на атамана, который
держал в своем шатре красавицу Гомартадж: не по-ка-
зацки это — ежели никому бабы держать нельзя, так,
значит, нельзя и атаману. Мука о женщине терзала их
железными когтями и наяву, и во сне. И на кой чёрт
все богатства эти, ежели на них тут ничего не укупишь?..
Падали духом... Вспыхнула какая-то болезнь, от кото-
рой стали многие помирать.

И вот раз жарким полднем, когда казаки изнемога-
ли от зноя и среди тишины лагеря порхала только жа-
лобная и нежная песенка тоскующей Гомартадж, вдруг
раздался панический крик:

— Персюки!..

Прямо на Свиной остров от берегов Персии шла
большая флотилия: то вёл ратную силу против воров-
ских казаков сам старый Менеды-хан. С ним был и его
сын, молодой красавец Шабынь-Дебей, который горел
мстью за плен, а может, и за позор своей единствен-
ной сестры, Гомартадж. В отряде хана были не только
персы, но и наёмные кумыки, и горские черкесы, всего
человек тысячи четыре, то есть почти втрое больше, чем
было казаков. Казаки с криками бросились к оружию,
а Гомартадж вскочила и замерла, вся уйдя в свои ог-
ромные, чёрные, прелестные глаза...

И завязался на синих волнах ожесточённый бой. Но
недолго длился он: персы были разбиты наголову. Стар-
ый хан был убит пулей на глазах простиравшей к нему
руки дочери, Шабынь-Дебея провели связанного вме-
сте с другими пленными в камыши, и только три струга
персидских успели уйти назад к берегам Персии. Гомар-
тадж, впившись зубами в белую руку свою, лежала по
своей привычке на земле, лицом вниз, и в душе её была
чёрная смерть: теперь для неё было всё кончено...

И вдруг около неё послышался шорох. Она испуганно подняла голову: подле стоял Васька-сокольник и, робко улыбаясь ей, тепло смотрел на неё своими нежно-голубыми глазами: ничего-де не опасайся, я тута... Она недоверчиво смотрела на него исподлобья своими дикими глазами. А он, всё ободрительно потряхивая головой, достал из-за пазухи большую звезду из камней самоцветных — ещё в Фарабате взял он её в сгоревшем дворце шаховом — и протянул её девушке. Та сперва удивилась,— этим алмазам да сапфиру синему в середке цены не было,— потом робко взяла подарок, слабо улыбнулась казаку и вдруг, снова зарыдав, уткнулась лицом в сухую землю... Васька жалостливо покрутил головой и на цыпочках отошёл прочь: он не знал ни что сказать, ни что сделать, да и атамана опасался.

Победа была полная, но — казаки не очень ликovali. И особенно задумчив был Степан и старшины. Они понимали, что у шаха силы ещё очень много, а у них она быстро шла на убыль: за последнее время в стычках и от болезни погибли больше пятисот казаков, а болезнь не только не унималась, но, наоборот, разгоралась всё более и более. И если много было у казаков тканей шёлковых, золота, камней драгоценных, то хлеба не хватало, а баранина всем осточертела до того, что без дрожи на неё уж и смотреть не могли. И одно проигранное сражение, и потеряют они всю славу свою и все свои богатства, которые тому же Степану были очень нужны для дальнейшего.

Прошло ещё несколько дней. Туча тоски и раздражения над казачьим лагерем всё сгущалась. И вот раз вечером, под звёздами, на берегу спящего моря, услышал Степан тихую и печальную песню, новую песню — должно быть, опять сложил Васька-сокольник, чистый высокий тенор которого плыл теперь так красиво под звёздами над тихим морем. Степан прислушался:

Как далеченько, далеко во чистом поле,—

унывно пели казаки,—

Да ещё как подалей, на синем море,
Как на синем было море, на Хвалынским,
Что на славном было острове на персидским,
Собирались казаки, добры молодцы,
Они думушку гадали всё великую,
Думу крепкую гадали, заединую:
Вот кому из нас, ребяташки, атаманом быть?
Да кому из нас, ребяташки, атаманом слыть?
Атаманом быть Степану Тимофеичу,
Есаулом быть Иван Андреичу...
Атаман возговорит, как в трубу трубит.
Есаул возговорит, как в свирель играт:
Не пора ли нам, ребяташки, со синя моря,
Что на матушку на Волгу, на быстру реку?..

И был так тосклив залиvistый и чистый Васькин тенор, что даже Гомартадж в скорби своей затаилась, слушая... И быстро, быстро капали слёзы её в сухой песок острова. И тосковали все: домой, домой!..

На другой день казаки, бывшие с ясырем на берегу, привезли весть, что раздражённые персы готовят большое войско, чтобы идти не только против воровских казаков, но и против русских вообще. А из Астрахани прилетел слухок, что будто пришла туда милостивая грамота от великого государя, который — если казаки только принесут ему вины свои — загодя все эти вины им отпускал...

Домой! Домой!..

XIV. НА РАДОСТЯХ

По островам волжского излива, в камышах, давно уже стояли на челнах дозорные астраханского воеводы: не покажутся ли с моря гости дорогие?.. Хотя гарнизон Астрахани и был значительно увеличен, но воеводы чувствовали себя невесело; среди стрельцов и работных людей шло обычное шатание. И потому помимо стрельцов, действительно, была заготовлена и царская мило-

стивая грамота, которою казакам загодя отпускались все их вины перед великим государем. Этот способ развязки всего воровского дела и воеводам, и всему крапивному семени приказных был много приятнее: можно было рассчитывать на богатые поминки от казаков.

И вдруг в самом начале нестерпимо жаркого в Астрахани августа с устья прибегает один из дозорных стрельцов и несколько работных людей с учугов: воровские шайки пришли и пограбили Басаргу, учуг астраханского митрополита, забрав там рыбу, икру, вязигу и всякую рыболовную снасть, а на учуге оставив разную церковную утварь, которую они, видимо, отняли где-нибудь в Персии, да несколько человек ясыря, которые похуже. И, пограбив, казаки снова ушли в море...

Астрахань возбужденно зашумела: что-то будет?..

И прибегает в город купчина персидский, Мухаммед Кулибек: шёл он в Астрахань на двух бусах¹. На одной бусе были погружены его товары, а на другой — дорогие аргамаки, любительный подарок от шаха великому государю. Казаки пограбили всё, а кроме того, забрали в плен и его сына Сехамбека, за которого требуют выкуп в пять тысяч рублей. И стали-де те воры-казаки станом на Четырех Буграх...

Князь И. С. Прозоровский, — он был дороден собою и важен, но неказист: уши его были слегка оттопырены, глаза водянистые, а кроме того, он всегда задыхался от постоянной насмоги, — князь Прозоровский заволновался и, отслужив тотчас же молебен, снарядил против казаков товарища своего, князя Семёна Ивановича Львова со стрельцами. Отряд погрузился на струги и с великим бережением поплыл к изливу. Князь вёз с собою царскую милостивую грамоту...

Остров Четырёх Бугров был высок и каменист, а кругом его поросли густые камыши. Взять там казаков было делом нелёгким. Они были уже упреждены своими верными людьми о ратных приготовлениях воеводы.

¹Буса — большая долблённая лодка, часто с насадами по бортам.

Собрав круг, они решили, что, буде можно, они дадут бой, а нельзя — побегут на Куму, а оттуда, степью, на Дон, а по заходу отгонят там у черкесов нужных им коней. И как только увидали они отряд князя Львова,— у воеводы было силы вдвое больше,— так сразу бросились к стругам и дали ходу в море. Князь Львов бросился за ними в погоню, но напрасно: двадцать вёрст гнался он за казаками, но догнать их не мог. Остановив свои струги, он послал вслед казакам одного из стрелецких голов, Никиту Скрипицына, с царскою грамотой.

Казаки, увидев прекращение погони, усталые до последней степени, тоже остановились среди тихо сияющего моря. К ним быстро спел гонец. Атаман на раззолочённом и всячески разукрашенном струге своём «Соколе» пошёл навстречу гонцу.

— От великого государя милостивая грамота к казачьему войску...— стоя во весь рост, проговорил гонец Никита Скрипицын, высокий блондин с козлиной бородкой и наглыми серыми глазами.

— Бьём челом великому государю...— с достоинством отвечал Степан, принимая через борт грамоту за большой печатью.

— Боярин воевода князь И. С. Прозоровский велел говорить вам, казакам, что он пропустит вас на Дон,— продолжал Скрипицын.— Только вы должны выдать все пушки и морские струги, отпустить служилых людей, которых побрали вы на Волге и в Яике-городке, купеческого сына Сехамбека и другой полон...

Казакам очень хотелось домой, отдохнуть, разгуляться, среди них продолжала свирепствовать болезнь, со всем плохо было с продовольствием, и потому Степан сказал:

— Просим от всего нашего казацкого войска, чтобы великий государь велел супротив своей милостивой грамоты отпустить нас на Дон со всеми пожитками, а мы за то рады служить и головами платить, где великий государь укажет. Пушки отдадим и служилых отпустим в Астрахани, струги отдадим в Царицыне, где будем на Дон

переволокиваться, а о купчинином сыне Сехамбеке подумаем: он сидит у нас в откупу в пять тысяч рублёв...

Поторговались для виду. Степан тут же, в море, поднёс гонцу добрые поминки, и казачьи струги вернулись на Четыре Бугра, а князь С. И. Львов на всякий случай запер им своей флотилией выход в море. 25-го августа казачья станица двинулась на Астрахань и разбила свой стан несколько повыше города, у Болдинского устья.

Ивашка с двумя рослыми казаками, все в шелку да в бархате, в шапках, расшитых жемчугом и бриллиантами, явились на двор воеводский и известили князя, что в город едет сам атаман Степан Тимофеевич и что князь должен оказать ему при встрече соответствующие почести.

Князь Прозоровский немножко струхнул тона этих молодцов, но справился и, уставив на них свои водянистые глаза, проговорил:

— Какие такие почести? Мне самому, воеводе, нигде никаких почестей не отдают, когда я куда выезжаю...

Послы не настаивали.

— Не вышло и не надо...— смеялись они между собой, возвращаясь в стан.— Обойдемся и без почестей...

Степан тотчас же направился в Приказную избу и сложил там бунчук, знак своей атаманской власти. Тут же переданы были властям десять прапоров казачьих, часть пушек и часть полону, но зато и они тут же получили от воеводы из сумм Приказной избы пять тысяч рублей за пленённого сына персидского купчины. А затем была выбрана депутация из шести казаков, которая должна была ехать в Москву, чтобы добить там челом великому государю и поклониться его царскому величеству теми островами, которые были отвоёваны саблей у шаха. Конечно, островки эти далеко не Сибирь, но чем богаты, тем и рады... Для приказных в Москве послы везли достаточное количество всяких любительных подарков. И тут воеводы и все приказные получили гостинцы персидскими краденными тканями. Но воеводы всё же настаивали,

чтобы Степан отдал им все пушки, весь полон и все пограбленные пожитки.

— Бьём челом великому государю, но этого сделать никак нельзя...— щеголяя своим умением обращаться, говорил Степан.— Товары, которые мы побрали в море с бусы, подуванены и иное пошито, иное продано и пропито. Никоим образом собрать всего нельзя. А за то за всё мы идём к великому государю и будем платить головами своими. А что ты, воевода, говоришь о полоне с шаховой области, так это досталось нам саблею и есть наше прямое достояние: наши братья за то в шаховой области побиты и взяты в неволю. Да и много ли полону? На пять, на десять человек один полоняник разве! Этого отдавать нам не привелось. А пушки остальные нам нужны, когда пойдём степью от Царицына до Паншина-городка: место там глухое, могут напасть крымские, азовские и всякие военные люди. Надо же нам чем-нибудь обороняться!.. А как в Паншин придём, так все пушки в Царицын пришлём... А служилых мы неволей не держим...

— Ну морские струги отдайте...

— Струги отдадим... Тринадцать стругов есть...

— Да ещё следует перепись всем твоим казакам сделать.

— По нашему, по казацкому праву, не повелось нам, казакам, переписи делать...— нетерпеливо повысил тон Степан.— Ни на Дону, ни на Яике никогда того не бывало и в государевой грамоте того не написано, а это вы, воеводы, от себя не делом говорите. А также и того не написано, чтобы нам нашу рухлядь отдавать...

Воеводы уступили. То, что происходило в городе на их глазах, внушало им нарочитую осторожность: толпы чёрного народа и стрельцов целыми днями стояли вокруг воровского стана, дивясь и завидуя весёлой, вольной и богатой жизни казаков. Чего уж тут говорить: на атаманском струге, на «Соколе», нос был весь вызолочен, верёвки были все из чистого шёлка, а паруса из самых дорогих персидских тканей, вино с утра лилось рекой,

всю ночь напролёт слышались весёлые крики и песни, а золото и серебро разбрасывали казаки, а в особенностии сам атаман, пригоршнями. А добра, добра всякого сколько выносили они на торг!.. И золото, и шелка, и меха дорогие, и оружие всякое, и камни самоцветные... Армяне да тезики скупали всё наразрыв и, как говорили, в неделю составили себе отличные состояния, так как казаки плохо понимали в ценах того, что они продавали: золотую цепь в сажень длиной, украшенную алмазами, они отдавали за сорок рублей, а фунт шёлка шёл за три копейки... И кто ни обратился бы к Степану за помощью, ни один не ушёл от него с пустыми руками. И, когда он, как и все казаки, весь в шелку и золоте, появлялся в Астрахани, чёрные люди бросались перед ним на колени и восторженно лепетали: «Батюшка... сокол наш... отец!..» А астраханские красавицы, весёлые жёнки, только на казаков теперь и глядели. Форсисто, шепетно выступая и помахивая шёлковыми ширинками, грудастые, нарумяненные и набелённые красавицы неустанно прельщали сердца суровых воинов.

— Выходка, нет, выходка-то какова!..— глядя с восторгом на них, задыхались казаки.— Отдай всё, и мало...

И спешно несли красавицам астраханским в трудах добытые денежки.

Очень уж требовательным быть в этой обстановке воеводам не приходилось никак. И когда раз астраханская девка Маша прибежала к ночи на воеводский двор, чтобы сообщить, что Степан, вдребезги пьяный, спит у неё и что можно его взять безо всякого, князь С. И. Львов только руками на глупую девку замахал:

— Окстись, девка... Ополоумела?!. Только бы чертей из города-то поскорее выпроводить, а там провались они в тартарары... Иди, иди. Придумают тожа!..

— О-хо-хо-хо...— вздохнул сокрушенно городской палач Ларка, дружок Машкин, который всю эту механику подстроил в надежде на великие и богатые милости.— Попомни вот моё слово, Машуха: ходить им всем без голов! А много ли тебе Стенька-то отсыпал, а?..

Воеводы не посмели даже вытребовать у Степана царских аргамаков, а князь С. И. Львов,— невысокого роста, плешивый, с бараньими глазами навывкате,— откровенно махнул рукой на дела государские и всё время бражничал со Степаном, то на стругах у него, то в своих княжеских хоромах.

Раз казаки закрутили особенно крепко. Кутёж шел без передышки уже второй день. Степан, величаясь перед стоявшей, как всегда, на берегу толпой, сидел со своими приближёнными и разодетой Гомартадж на палубе своего сверкающего «Сокола». Несмотря на нестерпимую жару, на плечи его была наброшена пышная соболья шуба, покрытая драгоценным персидским златоглавом. Князь С. И. Львов, только что проспавшись, снова прикатил в казачий стан и, сопя, осторожно поднялся сходнями на струг.

— Всей честной компании...

— А-а, воевода, добро пожаловать!..

Увидел князь шубу, так глаза его и разгорелись.

— Это вот так шуба!..— склонив лысую голову набок, протянул он.— Чтобы тебе вот такой шубой поклониться дружку-воеводе... Нет, всё норовит пустяками всякими отделаться...

— Мало тебе я всякого добра передавал...— презрительно смерил его Степан глазами.— Ишь, глаза-то завидушие!..

— Ох, Стёпа, не пренебрегай нами...— сладко проговорил князь-воевода.— Мы в Москве всё ведь можем устроить тебе — и злое, и доброе...

Степан сердито взглянул на своего друга.

— Ну, на, пёс с тобой!..— сбрасывая шубу с плеч, сказал он.— Возьми шубу — только, смотри, не было бы в ней шуму...

— Ну, шуму...— жадно принимая подарок, сказал князь, добродушно смеясь.— Вот это так уж уважил!.. Правду говорится, что для милого дружка и серёжка из ушка... Уж так уважил, так уважил...

Воевода бережно передал шубу своим холопам и велел её отвезти сейчас же с великим бережением домой.

Пьяные казаки прямо зубами скрежетали, глядя своими красными с перепоя глазами на этот наглый грабёж среди бела дня. Попойка продолжалась...

Но Степан был сумрачен. Его угнетала неопределённость его положения: не то герой, не то не совсем ещё прощенный преступник. И не видно было выхода из этого положения. И нужны какие-то решительные шаги, чтобы снова почувствовать под ногами твёрдую землю. Даже в мелочах на каждом шагу всё путаница какая-то. Вот хоть взять эту девку персидскую. Предлагали за неё персюки хорошие деньги — закобенился, не взял, куды теперь он с ей денется? Он знал, что казаки ропшут на этот счёт тем более, что к другим он в этом отношении был очень строг. Он не препятствовал им веселиться с весёлыми жёнками, но стоило одному из казаков спутаться в Астрахани с мужнею женой, как Степан, блюдя перед кем-то какие-то, самому ему совершенно чуждые, заветы, приказал утопить его тотчас же в реке, а бабу повесили за ноги к столбу, вбитому в воде, и так она, заголённая, и висела на нестерпимом солнце на глазах у всех. И было уже ему словно и жаль расставаться с Гомартадж, — казаки в шутку звали её под весёлую руку Комар-тож, — он как будто уже стал привязываться к ней. Правда, в сердцах он мог иногда отбросить её ногой, как собачонку, правда, иногда для смеху он учил её срамным русским словам, и все казаки за животики хватались, когда хорошенькая девушка, ничего не подозревая, старалась выговорить какое-нибудь паскудство, но всё же без неё ему словно было иногда и скучно. Но казаки шли на Дон, домой, а там жена, дети. Куда денет он там персиянку? В глазах самостоятельных казаков, ему, атаману, не подобало очень уж скандалиться по пустякам: пошёл за большим делом, так девок за собою таскать нечего... И не мог он уже теперь отдать её другому: сердце не позволяло...

Гомартадж полулежала на пушистом ковре. На ней было тяжёлое шитое золотом платье, и вся с головы до ног была она засыпана жемчугом и драгоценными камнями. Васькин гостинец — большая звезда алмазная с

синим сапфиром огромной величины посередине — искрилась у неё на груди... Прелестными, немножко дикими глазами газели она задумчиво и печально глядела на широкую, пылающую пышными огнями заката реку и была душой далеко, далеко от всего, что её окружало. Степан хлопал чарку за чаркой, и глаза его наливались какой-то чёрной и дикой силой.

— Эй, все!.. — вдруг встав во весь рост, загремел он. — На вёсла!.. Едем кататься... Жив-ва!..

Несколько минут суеты около чалок, и один за другим струги, пьяные и шумные, выплывали на пылающий на закате стрежень.

— Мою любимую... Запевай!..

И на соседнем струге залился, зазвенел Васька-сокольник:

Вниз по матушке по Волге...

Васька нарочно сел спиной к атаманскому стругу: крепко жалел он про себя персиянку. И подхватили сотни голосов:

...да по Волге
Легка лодочка плывёт...

И из строя густо гудящих голосов опять поднялся чистый, как лесной ключ, голос Васьки:

Как во лодочке гребцов...

И ещё горячее подхватили струги:

...да гребцов
Ровно тридцать молодцов...

Дикая, чёрная сила неуёмной волной поднялась в широкой груди пьяного Степана и ударила в голову. Да, надо развязывать себя, надо найти сразу выходы, всё привести в ясность и всех удивить.

— Эх, Волга...— точно рыданием вырвалось из его взбаламученной груди.— Много дала ты мне и злата, и серебра, и славой покрыла меня, а я ничем ещё не отблагодарил тебя!..

Не зная, что он ещё сделает, он огляделся красными, воспалёнными глазами. И вдруг схватил он железной рукой удивлённую и перепуганную Гомартадж за горло, а другой за ноги и — швырнул её в пылающую огнями заката Волгу. Золотом и кровью взбрызнули волны, раздался жалкий крик девушки, и вздох удивления и ужаса пронёсся по стругам. Васька-сокольник вскочил с диким лицом и только хотел было броситься в воду, как загремел страшный голос атамана:

— Не смей!..

И чёрное дуло пистолета жутко уставилось Ваське в глаза.

Гомартадж, жалобно крича непонятные слова и уже захлёбываясь, боролась со своим тяжёлым платьем, которое тянуло её вниз.

— Ну, что опешили? — пьяно крикнул атаман и сам уверенно затынул:

Взбушевлася погода...

И, потрясённые, пьяные, полусумасшедшие, подхватили казаки:

...да погода,
Погодушка не малая!..

От города, пылающего в огнях заката, плыл важный и величавый благовест ко всеобщей, а по реке лилась широкая, за душу хватающая песня о Волге родимой... Уносимая стрежнем, Гомартадж всё ещё барахталась и шли от неё во все стороны огневые круги волн. Вот она скрылась на мгновение, опять всплыла, опять погрузилась, взмаячила на мгновение белая рука, и огневая река сомкнулась над ней навсегда.

Ничего в волне не видно...—

выводил тенор,— уже не Васькин, другой: у Васьки в горле перехватило и петь он не мог, и снова, в упоении диком, подхватил пьяный хор:

...да не видно,
Только видно одну лодку...

— Ну, зачем эдак-то?..— слюняво говорил совсем пьяный князь С. И. Львов.— Не нужно, так мне девку отдал бы...

Степан презрительно смерил его взглядом.

— Ах ты, сопляк!..— уронил он тихо...— Туда же...

— Что это? Никак заблаговестили? — спохватился вдруг князь, точно очнувшись...— И то... Ко всеобщей... А мы-то, греховодники!..

И, сделав благочестивую рожу, князь стал широко креститься.

Казаки смеялись. И Степан, вдруг схватившись обеими руками за волосы, зарычал, как тяжело раненный зверь, и по жёсткому пьяному лицу его покатались слёзы жгучей, беспредельной тоски...

XV. НОВАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ИЗ ЦАРИЦЫНА

Наконец казаки порасторговались ясырем и другой добычей, попили и нагулялись досыта и стали собираться домой. В последний перед отвалом момент в их стан явился сам воевода князь Прозоровский.

— Ну, вот и гоже...— довольный, что всё хорошо кончилось, говорил он, поглаживая брюхо.— И езжайте себе с Богом по домам... А дорогой смотрите никакого бесчинства не творите и никого на Дон с собой не подговаривайте, дабы не прогневать опять великого государя...

Степан, заломив шапку, слушал это начальническое напутствие, и глаза его дерзко смеялись. Ему было ясно только одно: воевода крепко трусит.

И, сопровождаемые жаркими приветствиями рабочего и вообще чёрного люда, казацкие струги снова потянулись вверх по Волге. Воевода дал им в провожаемые до Царицына жильца Леонтия Плохово, чтобы тот в случае чего унимал бы казаков. Казаки шли медленно и часто останавливались на берегу, чтобы отдохнуть, пображничать, выпаться. Так, между делом, для разгулки больше, они пограбили купеческий насад и установили судно с казённым хлебом, с которого Степан переманил к себе нескольких стрельцов, а с начальства взял бочку вина. И казаки были уже под Чёрным Яром, когда их нагнало вдруг отправленное из Астрахани судно, на котором перевозили партию арестованных в Яике стрельцов: ещё когда Степан был у персидских берегов, они взбунтовались там, убили своего голову, а потом ушли было в море, чтобы соединиться со Степаном, но были настигнуты князем С. И. Львовым и разбиты, и теперь в наказание пересылались на Крайний Север, в Холмогоры, на вечное житьё.

Узнав об этом, Степан немедленно отправил несколько казаков на астраханское судно с приказом, чтобы все начальники немедленно явились к нему, а когда те, перепуганные, предстали перед грозным атаманом, Степан потребовал, чтобы все арестованные стрельцы были отпущены на свободу. И Плохово, и сотники стрелецкие мягко уговаривали его не бунтовать ещё, не гневать великого государя, и тот, наконец, внял их уговорам, но за то потребовал от них вина. Один из сотников немедленно привёз ему вино, а Степан милостиво отдал ему персидскими тканями и сафьяном. Казаки возроптали было, что их стрельцов не освобождают, но вино быстро смирило их. Да и не хотелось заводить волынку: дом уже близко...

И пенили казацкие струги Волгу-матушку, и плыли всё вперёд и вперёд. Вот уже слева на крутом берегу показался и Царицын. И чуть только выплыли из-за мыса струги, как всё население Царицына радостно высыпало за стены, на берег, встречать славных казаков,

а сверху, на горе, в высоком тереме воеводы, что-то у окна забелелось. Ивашка видел это с атаманского струга, и сердце его загорелось и забунтовало: скорей!..

И вот пригребли уже челны к берегу высокому. Расфрантившиеся казаки молодцевато выскакивали на мокрый песок. Городская беднота предупредительно вырывала у них из рук чалки и сама крепила их, довольная, что может служить таким именитым гостям. И не успел Степан ступить на берег, как его окружили уже казаки, только что прибывшие с Дона.

— Батюшка, Степан Тимофеевич, к твоей милости!.. Защити, отец...

— Что такое? — строго нахмурился Степан.

— Да помилуй, отец: воевода царицынский житья не даёт...— загалдели враз казаки.— Мы приехали с Дона за солью, а он дерёт с нас по алтыну с дуги... А у меня пару коней отнял, с возом и с хомутами... А у меня пищаль изнишил.

— Идём... Все за мной!..

Во главе возбуждённой толпы Степан нагрянул в Приказную избу. Из лица серый, сразу весь притихший, воевода вышел на крыльцо.

— Ты взял с них по алтыну с дуги?

— Взял...

— Вороти каждому по два алтына... Понял?

— Понял.

— У тебя что он взял? Пищаль, что ли?

— Пищаль, Степан Тимофеевич, пищаль, родимый...

— Сичас воевода тебе вынесет пищаль и рубль за беспокойство. А у тебя коней отобрали?

— Пару коней и с хомутом...

— Сичас получишь своих коней и рубль за бесчестье... У кого что ещё не так?

Все претензии были выслушаны, решения постановлены, и Степан погрозил воеводе пальцем в дорогих перстнях:

— Смотри у меня!.. Ежели я ещё раз такое услышу, живым у меня не уйдёшь... Мне начхать, что ты воевода...

— Атаман...— вступился было подоспевший Плохово.

— Нишкни!..— цыкнул Степан.— Довольно!.. Эй, казаки, посади провожатого нашего в какое ни на есть судёнышко и отправьте его скорым обычаем в Астрахань обратно: надоел! Живо!

Тем временем Иван Черноряец рассчитывался на берегу с баушкой Степанидой.

— Хорошо ты меня, бабушка, соловьями вольскими о ту пору угостила...— говорил он.— Я твоей услуги не забыл... Держи-ка вот... А это вот еще за то, что поверила казаку в долг...

— Батюшка, кормилец, дай тебе Господи...

— А как у вас теперь соловьи-то, поют ли?

— Поздненько бы, родимый: Воздвиженье, бают, прошло уж... Ну да для такого сокола, известно, и зимой запоёшь...— разливалась бабушка, и, вдруг понизив голос, проговорила: — Индо извелась вся без тебя, лебёдушка белая,— вот как тосковалась!.. Словно вот ты чем опоил её. Как только стемнеет, приходи опять к калитке той, я тебя проведу... Ничего не опасайся, всё будет повадно...

Но Ивашка не вытерпел и, заломив шапку на затылок, в алом шёлковом кафтане, кривая персидская сабля, вся в камнях самоцветных, на боку, он прошёлся-таки мимо воеводского двора, и когда искоса завидел свою зазнобушку в терему, у окна, так в груди всё пожаром и загорелось. И Пелагея Мироновна за сердце схватилась и так вот вся и побелела: в самом деле, словно вот околдовал её молодой казак. Только о нём весь год и думушки было... Ну, а воевода, тот испил чашу горечи до дна: об этом уж Пелагея Мироновна постаралась на совесть.

Управившись с воеводой, Степан снова вернулся на берег, чтобы отдать нужные приказания своим казакам: кому караул держать у стругов, кому переволакивание станицы на Дон налаживать, кому что... Но не пробыв он с казаками и получаса, как опять его обступил возбужденный народ. Оказалось, что воевода, прослышав

о приближении казаков, велел повесить цену на вино на кружечном дворе вдвое, чтобы казаки поменьше пьянствовали.

— Дурак!..— решил Степан.— Казак дружелюбен, когда ему подносят, а когда с ним дурака валяют, он лютует, как зверь. Иди все за мной...

Ещё более многочисленная и ещё более возбуждённая толпа бурно потекла к воеводскому двору. Воевода перепугался и заперся в Приказной избе. Степан, постучав напрасно в двери, обернулся к толпе и крикнул:

— Волоки сюда бревно, да какое покрепче... Живо!..

Вмиг явилось тяжёлое бревно.

— Высаживай дверь... Ну, берись все живо!..

Рррраз... два... три...— тяжёлая дубовая дверь слетела с грохотом с железных петель. Но воеводы среди перепуганных приказных не было: он в задней избе вышиб окошко и, выпрыгнув, скрылся.

— Ах, собачий сын!..— кричал Степан.— Только разыщите его мне — на месте зарежу...

Возбуждённые казаки, гремя оружием, грозили пустить по городу красного петуха и вырезать всех приказных, но на первый случай ограничились только тем, что разбили тюрьму и выпустили всех «сидельцев». И зашумели кружала, и перекрёстки, и берег...

Тихон Бридун, выпив и закусив на совесть, пошёл было по своим надобностям в малинник и вдруг напоролся там на воеводу.

— А, бисов сын, от де ты сховався!..— закричал он своим сиплым басом.— Ну, погоди ж... Эй, каз...

— Ну что ты орёшь? — остановил его воевода строго.— На-ка вот поди лучше выпей хорошенько за здоровье великого государя... Держи...

— А, это вот покорно благодарим!..— проговорил Бридун, пряча гроши.— Спасибички вам...

И вдруг быстрым движением он схватил воеводу за бороду, ещё более быстрым и резким движением — этому искусству он обучился в Польше и на Украине, на этих бисовых жидях,— рванул её в сторону и выдрал с

корнем почти всю. И с сиплым смехом своим, сопя, покатился прочь.

К вечеру Степан зашёл посидеть к своему другу отцу Арону.

Старик был совсем плох. Он был весь жёлтый, прозрачный и весь как-то отёк. Но выпить винца не отказался.

— Плохо, атаман...— со свистом сказал он.— Конеч, должно, скоро. В голове эдак стало как-то воздушно, а в грудях — заливает... Пора, знать, старинушке под холстинушку...

— А не боишься?

— Нечего бояться. Конеч и конеч, только и всего...

Помолчали. Выпили. Закусили.

— А про отца Евдокима ничего не слыхал? — спросил Степан.

— Он на Воронеж подался тогда...— отвечал отец Арон.— Всё нюхает, всё слушает, всё выпытывает. Он забрал себе в голову, что есть в жизни что-то тайное, что вот скоро ему будет открыто, а ничего такого нет. И это все воображение мысли. Есть то, что есть, а больше нет ничего...

— И Пётр с ним?

— И Петра с ним. И этот тоже в трёх соснах заблудился.

Долго за полночь шумел городок пьяным шумом. А наутро казаки пограбили проходивший мимо насад купецкий. На другой день перехватили они на реке какого-то гонца московского в Астрахань, который вёз туда царскую грамоту: гонца помяли маленько, а грамоту, порвав, в воду бросили. Народ бросил всякую работу и всё никак не мог наглядеться на богатства и разгульную жизнь казаков. Царские аргамачи тоже производили очень сильное впечатление. А там прибыл к Степану гонец из Астрахани от воеводы, немец офицер Видерос, чистый, исполнительный, прямой. Воевода прослышал про озорство казаков на реке и был недоволен. И Видерос точно передал атаману наказ воеводы: надо

остепениться, а то в другой раз великий государь, пожалуй, и не простит и придётся расплатиться за всё, и за старое, и за новое.

— Что?!— сразу схватился за саблю сердитый с похмеля Степан.— Грозить? Они?!. Мне?! Ну, так поезжай сейчас же в Астрахань и скажи от меня воеводе, что он дурак и баба и что не боюсь я его ни вот с эс-только, ни его, ни того, кто и повыше его... Понял?..

— Совершенно поняль!..

— Ну, вот... И скажи, что скоро я опять в Астрахани буду, и тогда он у меня попрыгает... Понял?

— Совершенно поняль...

— Больше ничего... Иди...

Видерос закусил немножко, аккуратно записал все свои расходы и снова аккуратно сел в свой чистенький стужок и отплыл в Астрахань.

И тут нагулялись казаки досыта, досыта накуражились. Сотня-другая работных людей, стрельцов, холопей и монастырских детёнышев пристала к ним. Пора было, пока не наступит зимнее ненастье, и на Дон идти. Сентябрь — всякому лету конец, а октябрь — грязник: ни колеса, ни полоза не любит, хоть с Сергия и начинается зима. Но опять то да сё, просрочили несколько дней. Степан приказал, наконец, решительно выступление.

В обычный час, когда по кружалам и всюду, где можно и где нельзя, шумели казаки, когда по дворам яростно заливались псы, а в чёрном осеннем небе чётко выступали яркие звёзды, бабушка Степанида тихонько провела Ивашку на высокий терем. Пелагея Мироновна уже слышала об отвале казаков наутро. И едва только переступил Ивашка порог, как две тёплых белых руки обвили его шею и она забилась на его высокой груди, как подстреленная птица.

— Что ты?.. Что с тобой, лапушка моя?.. Или кто тебя обидел?..

— Не покидай меня...— захлебнулась рыданиями Пелагея Мироновна.— Если опять уедешь, или изведу

я постылого зельем каким, или сама в Волгу с крутого берега брошусь... Не могу я жить теперь без тебя, сокола моего ясного... Только слово одно скажи мне, и я пойду за тобой хошь в огонь...

Жаркие вихри опалили молодого казака.

— Да ведь нельзя вам, бабам, промеж казаков быть...— лаская её, говорил он.— Теперь мы недалеко будем — иной раз и прибегу на ночку...

— Нет, нет, не останусь я больше с постылым. Тогда лучше в омут!

И быстро сгорала звёздная ночь в огневых вихрях страсти... А когда чуть мутно забелелось за Волгой утро осеннее, блаженно-измученная, она ластилась к нему и не отпускала, и шептала в ухо жарко:

— Брось воровство, сокол мой... До добра не доведёт оно... Возьми меня и уедем куда-нито: на Литву, в Польшу, в Сибирь... И будем жить и любиться... Ненаглядный мой.

Иван задумался: и в сам деле, гоже бы!.. Деньги есть... Торговлю можно бы начать какую... И вдруг чётко вспомнилось старое: Устя, Ивашка-сын и этот окаянный старец Леонтий... И вся душа на дыбы поднялась: нет, этого он никогда не простит!.. Тяжко, больно оторваться ему от своей ненаглядной, но сперва сердце в крови поганой утишить надобно. Нельзя простить — только вздумаешь, так среди бела дня всё темнеет...

— Погоди, потерпи маленько... Дай оглядеться...— шептал он ей.— Я скоро опять понаведаюсь к тебе, золотце, солнышко, лапушка моя сладкая...

За дверью обмирала Степанида: белый день на дворе, воевода сейчас в крестовый покой пройдет, а их водой не разольёшь... Грехи!..

...И на хмуром рассвете снова ударили казаки в вёсла... У теремного окна опять что-то грустно в утренней мгле забелелось. Ивашка был сумрачен и зол. Васька-сокольник тоже в последнее время что-то всё задумывался и не пел своих песен. Казаки всё привя-

зывались к нему с побаской дурацкой, которую Балала придумал:

Васька-гога,
Загнул ногу,
Выше печи,
Перепечи...

Но Васька только досадливо кудрями встряхивал, как от мухи надоедной, и снова смотрел в глубину осенних свинцовых волн...

А воевода, почитай без бороды, ровно вот петух обшипанный, уже подождом своим всё постукивал и всё серчал, всё лиховался, всех извести исподтиха грозился. А потом прошёл он в комнату свою жарко натопленную и стал отписывать в Москву о событиях последних дней. Воеводы небольших городов должны были спрашиваться и писать к большим воеводам, — в данном случае к воеводе астраханскому, — а не к Москве, но очень уж у воеводы старое сердце разгасилось. И он подробно писал, как пили и бесчинствовали казаки, как грабили они суда мимо проходящие, как царскую грамоту в воду бросили. И не утерпел он и о своей обиде царю отписать: авось царь за бесчестье чем пожалует... Но он несколько подправил обидную правду и написал, что какой-то казачий старшина, запорожец, явился к нему в Приказную избу легко пьян и бранил его всякою неподобною бранью, а потом и за бороду его, Андрея, драл...

Но царь был недоволен им, и челобитная его осталась без внимания. Да и в Астрахань пришёл от царя строгий выговор: надо было призвать Разина с товарищами в Приказную избу, выговорить им их вины против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтобы впредь им не воровать, а потом надо бы раздать их всех по московским стрелецким приказам и велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтоб они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз,

все струги их взять на государев деловой двор, всех полоняников и награбленный на бусах товар отдать шахову купцу, а если не захотят воры воротить всё волею, то отнять и неволею.

Прочитал этот выговор князь Прозоровский и только свои водянистые очи к потолку возвёл с приличным случаю вздыханием:

— Гоже им там в Москве грамоты-то писать!..

XVI. ВЕЩАЯ ЖЁНКА

Было сыро и сиверко. Сизо-синие тучи бесконечными грядами валили с севера и то сеяли мелким, всё пронизывающим дождём, то секли белой и жёсткой крупой. Грязь стояла невылазная, и только разве самая крайняя необходимость могла заставить человека покинуть свое жилище. Даже голодные собаки и те все попрятались. Только мокрые вороны, борясь с ветром, боком летели куда-то по своей надобности и то припадали к самой земле, то взмывали выше, в мутную и холодную мглу. Безбрежные леса чёрной тучей затягивали все горизонты...

— Ну и стыдь...— зяблым голосом проговорил отец Евдоким, борясь с ветром и оскользаясь в грязи.— Говорил я, что денёк-другой обождать бы надо...

— А кто знает, когда всё это кончится, непогодь-то эта?..— отвечал Пётр, легко шагая в своих крепко разбитых и насквозь промокших лапотках.— Теперь уж рядом...

И снова они зашагали по раскисшей дороге вперёд,— отец Евдоким полный, как всегда, какого-то пронзительного любопытства к жизни и всему, что в ней, а Пётр, чутко, а иногда умиленно ожидающий её светлого преображения, о котором так осторожно, только для вникающих, намекается в Святом Писании. То, что, как они оба чувствовали, нарастало в народе, отца Евдокима возбуждало, а Петра уже начало тревожить сом-

нениями: словно путь не совсем тот избрал народ, который от века преудказан.

Впереди в непогожей мгле замаячили нахолодившиеся ветряки.

— Пустит ли ночевать-то? — усомнился Пётр.

— Не пустит, так хошь обогреемся...

И, чавкая разбитыми лаптями по холодной грязи, они свернули в первый же переулок убогого серого посада при городке Темникове и постучались в разбитую калитку небольшой подслеповатой избёнки, на сопревшей крыше которой летом росла трава и даже какой-то маленький, теперь обнажённый кустик притулился...

— Кто там? — послышался с крыльца низкий женский голос.

— Во имя Отца и Сына... Это мы, Алёнушка... Отец Евдоким.

Калитка отворилась, и странники шагнули во двор, пустой, заброшенный, разорённый. Невысокая, но стройная женщина, бедно, но чисто, немножко по-монастырски одетая, с бледным и строгим уже не первой молодости, но всё же красивым лицом молча пропустила их мимо себя и снова замкнула калитку тяжёлым деревянным засовом. Странники старательно вытерли о ветхую рогожку ноги и шагнули в избу. Там было тесно и темно, но чисто и так тепло, что отец Евдоким сразу повеселел.

Они сняли свои мокрые котомки, переобулись...

— Ах, ну и стыдь!..— повторил отец Евдоким, с наслаждением грея руки о горячую печь.— Даже душа и та озябла...

— Чем только мне потчевать-то вас? — сказала хозяйка своим красивым низким голосом.— В печи каша горячая есть, капусты пластовой с маслом подам... Али, может, яишенку выпустить?

— А что же? И больно гоже...— отвечал отец Евдоким, глотая слюни.— Сперва по капустке пройтись можно, а потом, сверху, для укрепы, и кашки во славу Божию принять можно... И больно гоже... А набрала

ты за лето травок-то Божьих, Алёнушка, постаралась...— добавил он, оглядывая серенькие венички засушенных трав, подвешенных у печки.

— Да что... так...— неохотно отозвалась Алёна.— Когда познания настоящего нету, большой пользы в этом я не вижу...

Она стала собирать на стол. Странники с удовольствием сушились у печи. И слышно было, как за стенами шумел порывами ветер и сухо сеялась крупа...

Родом Алёна была из-под Арзамаса. Очень рано выдали её замуж за Федьку Кабана, который, как и отец её, холопом был у боярина Телепнёва. Большую часть своего времени Федька проводил в лесах, на зверовьях, на гонах бобровых, в бортных ухоях. Люди остерегались его маленько, думали, что добром он не кончит: иногда он «задумывался». Он всегда молчал. Люди явно тяготили его, и при первой возможности он снова скрывался в лесах — за зверем, за птицей, за рыбой. И был он раз как-то в Арзамасе, — зелия для охоты купить надо было, — а там о ту пору что-то очень уж бесчинствовали городовые казаки. Привязались что-то пьяницы и к Федьке, когда он мимо кружала проходил. И Федька презрительно бросил пьяной орде:

— Дурак и царь, что вас, чертей, зря кормит... На его месте взял бы я помело какое попоганее да и разогнал бы вас всех, супостатов...

Те сперва опешили, а потом на стену полезли:

— Как дурак царь? А ты знаешь, что за такие слова бывает? Волоки его, ребята, на съезжую!..

Федьку посадили за решётку и написали о нем грамоту в Москву. Он признавал и сам, что выразился не гораздо, но мало ли что у человека в сердцах с языка сорваться может? Но Москва в расчёт этого не приняла, и пришёл оттуда приказ: бить Федьку батоги нещадно, дабы другим повадно не было. И Федьку били на площади, перед всеми, до потери сознания. Сперва он кричал, моля о пощаде, а потом стонал только истошно, с надрывом. А кругом толпа стоит, глазеет. И осо-

бенно врезалась Алёне в память фигура протопопа соборного, гладкого брюхана с красной лоснящейся рожей, который с удовольствием похохатывал и гладил себя, по привычке своей, по округлому пузу. И после того, как оправился Федька, он, ничего не говоря, ушел в леса и больше домой не показывался. И все жалели тихого парня, все понимали, что приказные учили над ним не по-христиански, но что же было делать? Их сила, их во всём и воля...

Алёна осталась одна. Мужики, которые понаглее, проходу ей не давали: было что-то в этой стройной, бледной, строгой женщине с её тёмными, как лесные озёра, глазами такое, что будоражило их души до дна и тянуло к ней точно цепью железной. И раз в Троицу, когда точно костёр пылала и рдела бесчисленными огнями церковь и пьянил души запах молодых берёзок, случилось роковое: от алтаря к выходу проходил мимо Алёны помещик-сосед, Иван Гаврилыч Стрекалов. Человек он был мелкопоместный, но гордый, горячий и правдивый во всем. А из себя был он строен, подборист, лицо имел приятное, сухощавое, с пушистыми усами и гордыми, орлиными, полными огня глазами. Увидал он Алёну, и точно его пошатнуло всего, и она точно вся обмерла. И скоро Иван Гаврилыч, пьяный от счастья, увёз её ночью к себе, а боярин Телепнёв, человек могучий, поднял сразу на ноги всех приказных. Иван Гаврилыч, когда явились они к нему с обыском, чтобы взять от него беглую холопку, и повели себя с мелкопоместным дворянином невежливо, избил дьяка плетью собачьей и с саблей в руке вымел всех из своего дома одним махом. В ночь со своей милой он бежал было куда глаза глядят, но их караулили люди Телепнёва, изловили, Ивана Гаврилыча обесчестили, а Алёну водворили к её господину и заперли в подполье... И скоро Иван Гаврилыч исчез неизвестно куда...

Прошли года. Всё как будто успокоилось. Алена отпросилась будто на богомолье и не вернулась. Сперва поступила она было в монастырёк один глухой, но ско-

ро покинула пустынь: пусто-то пусто, говаривала она потом, а бесов густо. Но всё же от монастырька осталось в ней что-то и в одеже её,— она и повязывалась, как скитница,— и в говоре тихом и медлительном, и во всей её повадке. Потом через знакомую купчиху, которой она очень полюбилась, устроилась она при её огородах, в этой вот заброшенной избушке, на краю Темникова. Кормилась она тем, что ходила на помочи в зажиточные дома, помогала роженицам, постирушки брала. Сперва приказные привязывались было к ней: откуда, почему, как, но так как взять с неё было нечего и так как все её маленько побаивались,— её ведуньей считали,— то и оставили её помаленьку. К ведуньям тогда относились всё с большим опасением и то перед ними все от последнего нищего до воеводы заискивали, а то жгли их в срубах...

И потихоньку уверили её все, что она в самом деле человек совсем особенный и что она видит и знает то, чего другие не видят и не знают. Это было тем более легко, что и сама она чувствовала в себе властное брожение каких-то тёмных сил: часто не спала она целыми неделями, часто в порыве дикой тоски билась о землю до изнеможения, часто, точно вихрем каким подхваченная, говорила она вещи, совершенно и для себя неожиданные. И когда летом при полном безветрии крутились по пыльной дороге таинственные вихри, она чувала в них присутствие несомненное нечистой силы и по спине её ползли острые мурашки. И когда тихою ночью среди звёзд вдруг пролетало что-то огневое и рассыпалось над чёрной землёй пучками золотых и бриллиантовых искр, она замирала: это — Он... К кому Он?.. Уж не к ней ли?.. И когда бессонной ночью слышала она тихие шорохи, потрескивание, тихую поступь, вся холодея, она чутко настораживалась, напряжённо смотрела в темноту, и боялась, и звала, и ожидала каких-то жутких откровений.

И в то же время знала она, что ничего она не знает, и это мучило её. Она знала, что есть волшебные травы,

которые предохраняют человека от всяких зол и всячески облегчают ему его тяжёлую долю, но она не знала, что именно это за травы и где взять их. Она много раз слышала про жуткое и прекрасное цветение папоротника, что Перуновым цветом зовётся, в чёрную, страшную ночь с Аграфены Купальницы под Ивана Купалу, и, полумёртвая от страха, она ходила за ним и ничего не нашла. Слышала она, что ежели поймать пару влюблённых лягушек да бросить их в муравейник, то, когда муравьи обгложут их, их кости в виде вилочки и крючка становятся всесильным талисманом в любовной тоске, но никогда не удавалось ей застать такую влюблённую пару... И в ожидании этих жутких откровений её тёмный, глубокий взгляд приобретал какое-то особенное выражение, от которого у многих мурашки по коже бегали, и пугала она их, и тянуло их к ней. В церковь она никогда не ходила, попов не любила и презрительно звала их брюханами.

В слободе под Темниковым, с самого краю, жил старый пчеляк Блоха, белый как лунь, лысый, маленький, но широкий старик. У него хорошо велись пчелы и, слышно, были деньги. И все говорили, что был старик ведун. Алёна завела с ним знакомство, и старик привязался к тихой, строгой бабе и потихоньку сообщил ей несколько заговоров — от зубной боли, на унятие крови, от кумохи-трясовицы, от криксы — и указал несколько полезных травок: череду, что от золотухи помогает, шалфей, что против головной боли идёт, мать-мачеху, зверобой золотой, девятисил, тирлич-траву и корень-ревень, что под Ивана Купалу на заре ревет и стонет... И рассказывал он ей о перелёт-траве, что человека невидимым делает и переносит его, как звезда какая, с места на место по ночам, и про архилин-траву, против которой бессилен не только злой человек, но и всякий дух злой, и про силу-траву, корень которой растёт накрест, а сама она с локоть вышиной, и про траву, что Адамовой головой называется и полезна против порчи и вообще нечисти всякой, и про пла-

кун-траву, что растёт на обидающем месте, то есть там, где кровь невинная пролита была, и которую зовут всем травам матерью, и про одолень-траву, что домашний скот оберегает и девичью зазную любовную унимает, и про сон-траву, что помогает будущее своё узнать человеку, и про прострел-траву, которой даже сам сатана боится, и про любисток-цвет, которым девицы в бане парятся, чтобы тело молодило, добрым молодцам любилось, чтобы девицы невестились скорей... И затвердила она под руководством старого пчеляка молитву-заговор для сбора трав купальских: «Встану я, раба Божия, помолясь да благословясь, пойду во чистое поле, под красное солнце, под светлый месяц, под частые звёзды, под перелётные облака, стану я, раба Божия, во чистом поле, на ровном месте, что на том ли на престоле Господнем, облачусь я облаками, покроюсь небесами, на главу положу злат венец, солнце красное, подпояшусь светлыми зорями, обычусь частыми звёздами, что стрелами острыми... Праведное солнце, благослови корни копать, цветы рвать, травы собирать!.. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь...» А помирая, в самый последний час свой, велел он уж через силу вынуть из его укладки книжку одну старую, в которой, по его словам, было открыто человеку всё, но сам он, безграмотный, не знал, что было в вещей книге. Книжка была размером небольшая, но очень толстая и от старости вся тёмная, а местами почти даже чёрная. И много листов её до того истлели, что рассыпались при малейшем прикосновении. И были нарисованы в книге травы всякие, и цветы, и звёзды предивные, и круги какие-то, и треугольники, и месяц с глазами, носом и ртом, как у человека, и знаки непонятные всякие... Вскоре Алёне удалось заговорить у её благодетельницы купчихи боль зубную, от которой та на крик кричала, а потом воеводу самого она от рожи вылечила настоем травки одной старицовой, вылечила тогда, когда его, распухшего и страшного, почитай без памяти, уже под образа положили. И по завету ста-

рика-пчеляка денег ни с кого она не брала за лечение и трудилась только Бога для...

И с великими трудами стала она учиться грамоте,— первые буквы показал ей дьячок от Всех Скорбящих, пьянчужка жалкий и забитый,— и скоро одолела она хитрое искусство это настолько, что могла уже потихоньку читать Псалтырь. Но когда, сама не своя от возбуждения, взялась она за стариковскую вещую книгу,— она берегла её пуще зеницы ока,— то узнала с великим огорчением, что книга эта написана не по-нашему, а на каком-то чужом, может быть, даже не на людском языке. Она вся потухла и без конца осторожно перебирала истлевшие страницы и всё дивилась и на месяц с лицом человеческим, и на травы невиданные, и на зверей страшных, и на все эти круги и знаки, и бесплодно тщи́лась понять, что всё это значит и на что это нужно.

Приход отца Евдокима окрылил её: он поп, человек учёный и наверное откроет ей тайну вещей книги. И было маленько боязно: не отняли бы часом...

Она усадила гостей за стол и поставила перед ними капусты пластовой в деревянной расписной миске и отрезала по ломтю хлеба.

— Кушайте во здравие, гости дорогие...

— А винца чарочки не найдётся для меня, грешного? — заискивающе подъехал отец Евдоким.— Уж больно прозяб я...

— Ты знаешь, отец, что этого я добра никогда не держу...— строго повела Алёна бровью.— Не взыщи...

— Ну, что ж тут будешь делать? На нет и суда нет... Поддерживай, Петра, раб Божий...

В молчании быстро справились с капустой. Алёна подала каши с маслом постным и поставила на стол большой ковш квасу. На шестке скворчала уже яишенка с луком.

— Ну, вот и слава Тебе, Господи...— проговорил отец Евдоким, вытирая руки о столешник и добродушно рыгая.— Много ли человеку надо?

Он держал здесь себя просто, без своих обычных вывертов,— так, попик, каких тысячи...

— Ну, а что у вас в народе слышно, Алёнушка? — спросил, он, опять благодушно рыгая.— О чём поговаривают, на что надеются люди Божии?

— Да как тебе сказать? — затруднилась Алёна.— О вере много спорят. Ну только у нас на новое народ не тянет, старинки больше все держатся. А так... ожидание большое. Все ждут, а чего — никто не знает. Ну, а которые серчают на поборы — прямо вот последнее из рук вырывают, ровно вот псы голодные, прости Господи. И которые жители к казакам подались, а другие и за Черту ушли...

— Ну, а пытала ли, чего вы-де, сироты, ждете? — глядя на неё своими горячими глазами, сказал Пётр.— Какого спасения и от кого ожидаете?

— Прямо не пытала, знамо дело, а так всё больше вокруг да около...— отвечала Алёна.— Нет, они и сами путём не знают, как там и что... А только все облегченья ждут, лутчей жизни...— вдруг решительно прибавила она.— Устали, тягостно...

— Града настоящего не имамы, но грядущего взыскуем...— задумчиво проговорил отец Евдоким, и его двойное лицо вдруг всё согрелось.— Буди, Господи, буди — не дай пропасть людям Твоим!..

В небе стало расчищать. За лесами запылала багряная заря, и от неё в сумрачной избёнке всё стало багровым: и лица людей, и печь большая, и венички трав. И в глазах красные точки загорелись. И чем-то тайным овеяло насторожившиеся души.

— А у нас тут случай какой вышел...— сказала Алёна.— Был у Покрова Богородицы престол и торг, как всегда, большой. Ну, известно, собрались и вожатые с медведями, и шпыни, и гусяры, и скоморохи и давай действия свои представлять. И вот понадевали они шапки боярские, лубяные, чуть не в сажень росту, и ходят так вальяжно, что и на версту к ним не подойдёшь. А другие, вроде челобитчиков, за ними ходят с лукош-

ками в руках, и все им кланяются. Бояре гонят их с лукошками, денег велют приносить, а те не идут. И вот осерчали челобитчики будто и давай бояр срамословить. А там и за палки взялись... А другие-то скоморохи кричат народу: глядите, православные, как холопи из господ жир выбивают! А народ за животики хватается, с ног со смеху валится... И вдруг, как на грех, воевода. Сичас сгребли это скоморохов, на съезжую и за батоги...— она содрогнулась.— А потом приказный вычитывать стал, что и гусярам всем, и скоморохам указал царь на Руси-де не быть... Видно, правда-то и царю глаза колет...— тихонько заключила она.

Опять помолчали.

— Вот что, Алёнушка...— вдруг заговорил Пётр.— Нам дальше идти надобно. Сроки подходят... И ежели прослышите вы тут, что двинулся народ православный, поддержите дело народное по мере сил и возможности. Готовьтесь и вы, сговаривайтесь, которые поскладнее... Ну, только одно помните: чтобы не было бесчинства никакого, чтобы все совестно было, по-Божьи. И чтобы, главное, зря людей не переводить. И среди высоких людей есть люди совести приверженные. Так, чтобы порухи им никакой не делали, а напротив того, держали бы их с великим бережением... Поняла ли, касатка?

— Поняла...— потупившись, тихо отозвалась из красного ещё сумрака Алёна.

— И ежели будут грамоты от нас какие, можно ли через тебя пересылать их?

— Можно.

— А не убоишься, мотри?

— Я? — усмехнулась Алёна, подняв розовое лицо.— Я своё давно отбоялась. Теперь мне бояться нечего... Не сумлевайся ни в чём.

Наступило долгое молчание: всякий жил своим. Багряные отсветы мутнели и потухали. Наступала тьма. Ветер бушевал всё сильнее.

Алёна решилась переговорить о книге. И опять стало опасно: а вдруг отымут? И усмехнулась про себя: ну и

отымут, и что же? Всё одно, книга для неё как семью печатями запечатана. Но дознаться своего всё-таки хотелось.

— А что я тебя, отец Евдоким, спросить хочу...— проговорила она.— Ты человек учёный, так, может, поможешь мне в беде моей...

— В чём дело, родимка? Давай разберём...

— Погодь маленько...

Она вышла из избы и через некоторое время вернулась с книгой, завёрнутой бережно в рушник шитый. Она зажгла от угольков лучину, воткнула её в стену над головой странников и положила на стол перед ними ветхую книгу.

— Вот книгу эту перед смертью отказал мне старец один здешний, Блохой прозывался...— сказала она.— Я было прочитать, ан не про нас, знать, писано. Может, ты прочитаешь, отец?

— Можно. Попробуем...

Он надел огромные очки в ржавой оправе, бережно раскрыл книгу, поднял её ближе к огню — и осёкся: ни единой буквы разобрать нельзя.

— Нет, касатка, это чего-то не по-нашему писано...— сказал он, опуская книгу.— Ничего не разберу...

— Да хошь какого она письма-то?

— И того не ведаю: не то немецкого, не то греческого, не то латинского...

— Ах ты, грех какой!..

— А любопытно бы...

И, склонившись над таинственной книгой, неизвестно кем и для кого и где и когда составленной, все медлительно стали рассматривать и месяц с лицом человеческим, и зверей, незнамо где живущих, и травы таинственные, и круги, и треугольники, и знаки... И пытались разгадать смысл всего этого, и ничего не могли, и сгущалась ночь над точно бесприютной землёй, и рвал и метал, тоскуя о чём-то, буйный ветер...

— Ежели хочешь, сносим в Москву твою книжицу...— сказал отец Евдоким, которому тоже любопыт-

но было всё это.— Покажем там немчинам каким в слободе их. Те народ на все дошлай...

Но Алёне было жалко расстаться со своей книгой.

— Куды в Москву её нести? — сказала она.— Она и здесь-то, на месте лёжа, того гляди, рассыплется...

Помолчали.

— Только смотри, умница, спрячь её будя подальше...— сказал отец Евдоким.— За такие книжки на Москве народу пожгли, и не сосчитаешь... Потому это волхование считается...

И все, как заколдованные, смотрели на страшную книгу, и в душах их было великое недоумение. Ведь вот он, вход в миры иные, которые каждый человек чувствует душой своей, а нет, заперт этот вход навеки и нет у них, тёмных, ключа к таинственной двери...

XVII. У НИКОЛЫ НА СТОЛПАХ

Было яркое, морозное, ядрёное утро. Над белой в снегах Москвой стояли золотистые, кудрявые столбики дыма. Празднично звонили колокола.

У Николы на Столпах был престол. На позднюю обедню ждали великого государя: богомольный царь всегда старался отстоять обедню там, где был храмовой праздник, а тут это тем более было нужно, что это был приход его любимца, Артамона Сергеича Матвеева. На паперти в ожидании царя стояли в дорогих станowych шубах и собольих шапках Артамон Сергеич и «глубокий дворских обхождений проникатель» М. Языков, тоже прихожанин к Николу, думный дворянин, высокий, статный, с небольшой золотистой бородкой и несколько презрительным выражением молодого лица. Он хорошо знал языки и часто ездил в посольствах за границу и потому по части тонкого обхождения никто не мог сравняться с ним. Поодаль толпился народ. В Артамоне Сергеиче москвитяне чтили не только собинного дружка царёва, но и очень мягкого и обходительного человека, который не заносился...

— Как бы не задержался государь...— сказал Артамон Сергеич.— Вчера вечером, сказывали, государыня Марья Ильинишна занемогла что-то...

— Государь известил бы...— сказал Языков и слегка улыбнулся.— А болезнь великой государыни известна: блинков в субботу покушала... С ней частенько это случается. Присылали ко мне чаю попросить. Я, говорю, с превеликим удовольствием, ну только чай в таких болезнях не помогает: лучше-де, маленько попоститься. Ну, всё же отпустил им чаю. А потом, сказывали, чуть не бунт на верху произошёл: какой-то из верховых старцев поведал великому государю, что делается-де, чай из змеиного жиру да костей собачьих и потому-де, уж не губи царицу-матушку зелием окаянным. Государь забеспокоился и крестового попа запросил: гоже ли де? Ну, тот ничего, благословил: травка-де, Божье создание...

Артамону Сергеичу не нравился несколько насмешливый тон Языкова, а кроме того, Языков тянул руку Милославских, и надо было быть с ним начеку. И он переменял разговор.

— А вчера государь письмо из Киева от Лазаря Барановича получил...— сказал он.— Радуетя Лазарь, что потихоньку Русь привыкает к иноземцам, что даже сам синклит-де, пресветлого царского величества польского языка не гнушается, но чтут книги ляцкие в сладость...

— Да...— заметил Языков.— Многие уже стали заводить политес с манеру польского. Да и пора, Артамон Сергеич: такие обломы, смотреть просто совестно! Вот, помню, недавно отправляли меня посольством в Париж. Ну, выдали все грамоты, как полагается, травами пышно изукрашенные, титул государев весь, полностью и с распространенным богословием выписан, поминки любительские к двору французскому передали, а потом, по обычаю, дьяк Посольского приказа наставление мне, послу, читать стал: дорогой-де, безобразить никак не моги, домов не грабь, говори речи вежливые, а боле-де, всего не упивайся... А потом выморкался эдак двумя перстами да как об пол шлёпнет...

Чуть я со смеху не покатился, право слово!.. Такие обломы, упаси Господи...

— Ничего, обтыркаются помаленьку...— примири-тельно заметил Матвеев.— А вчерась вечером, как прочитали письмо Лазаря, государь задумался эдак да и говорит, что, знамо дело, реки вспять не текут, ну а, между прочим, иной раз и жалко как-то станет, что старые обычаи на Руси поисшатались...

— Да, крепко, крепко ещё в нас эта старинка-то сидит!..

В уже занесённых глубокими сугробами улицах вдруг послышались крики. Из-за угла вынеслись на конях цветные вершники, а вслед за вершниками, окружённый ближними боярами и жильцами, тяжело заколыхался по ухабам тёплый царский возок. «Берегись... берегись!..» — кричали вершники, но больше так только для порядка, потому что весь народ при появлении царского поезда сперва испуганно шарахался в сторону, а затем, справившись, валился в снег ниц: «Батюшка... светлые очи твои... родимый...» За царским возком колыхались возки приглашённых царём бояр...

Матвеев с Языковым отвесили царю низкий поклон и пытливо посмотрели на полное, благодушное лицо его, в его действительно ясные, безмятежные очи: стало быть, государыне полегчало...

— А каков морозец-то, а?..— ласково проговорил царь.— Индо дух захватывает...

— Варвара мостит, Савва гвозди острит, а Микола приколачивает, говорится, великий государь...— сказал Матвеев.— Скоро и Спиридона солнцеповорота: солнце на лето, зима на мороз...

— А звёзды по ночам какие...— сказал Морозов.— К урожаю...

— Дал бы Бог!..— набожно проговорил государь.— Ну, пойдемте помолимся...

И, взяв государя почтительно под руки, Матвеев и Языков повели его в храм. Сзади медленно, с важностью, шёл неизменный спутник царев боярин Морозов

с белой, закрывающей всю грудь бородой, а за ним другие бояре, в золотных турецких шубах, в шапках горлатных, с посохами... И не успели двери, впустив белое облако пара, за царём и свитой его затвориться, как под низкими, сияющими позолотой сводами храма полился бархатный бас дьякона:

— Благослови, владыко...

И зажурчало в алтаре ответно:

— Благословенно царство Отца, Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков!..

— Ами-и-и-нь...— нарядно и торжественно вздохнул прекрасный хор.

Служба у Николы на Столпах стараниями и щедротами Артамона Сергеича была поставлена так, как, быть может, нигде в Москве.

Привычным усилием души Алексей Михайлович сразу отдался торжественному и красивому чину обедни и тем более размягчился душой, что в самом деле Марья Ильинишна его что-то занемогла. Коллинз, придворный врач, намекнул легонько на блины, но это было пустое: какая такая вреда в блине быть может? Хлеб и хлеб, дар Божий!.. Боярин Борис Иванович Морозов усердно крестился и низко кланялся, но в душе его было неспокойно: случись что с царицей, Милославские сразу зашатаются, да и самому ему туго придётся. Эти новые люди стали что-то очень уж легко входить в милость у государя. Правда, и сам он был из этих средних людей, но это было когда! А теперь он, слава Господу, один из самых первых людей на всё царство Московское... И смущали вести с Дона, где всё казачишки баламутят. А надьсь приказчик его с Волги отписывал, что в Лыскове, которое недавно пожаловал ему государь, опять прелестные письма подняли... Артамон Сергеич, в котором религиозная жилка была очень слаба всегда, крестясь и кланясь, думал о тех книгах, которые, по его распоряжению, строились теперь Посольским приказом.

Но всех рассеянее был дворцовых обхождений глубокий проникатель Языков. Матвеев сказывал ему, что

великий государь очень заинтересовался комедийными действиями — Алексей Михайлович любил всякие потехи,— и Языков был приглашён сегодня к столовому кушанию государя, чтобы потом рассказать ему, что он видел в этой области при дворе короля французского, где все с ума сходили от Мольеровых затей и преизрядных комедий Расиновых, а также и при дворе князя флорентийского Кузьмы Медичиса, у которого он хлопотал об отпуске в Москву всяких искусников и мастеров... И под возгласы диакона и пение охотничьего хора Языков готовился рассказать государю о том, что видел он со стольником Чемодановым, послом российским, при пышном дворе флорентийском: как было на сцене сперва море, волнами колеблемое, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, как потом почали облака на низ спускаться, а на облаках тоже сидели люди, а те люди, что на рыбах сидели, туда же поднялись, вверх, на небо, как спускалась с неба же карета, а в карете сед человек, да против него в другой карете девица, собою весьма красносмотрительна, а аргамаки под каретами как бы живи: ногами подрагивают. И пресветлый князь флорентийский объяснил москвитянам, что сед человек это солнце, а девица-де месяц. А потом была перемена и объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели и начали клевать кости, да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие, и люди в них плавают... А потом объявились человек пятьдесят в латах, аки бы лыцари, и почали они саблями и шпагами рубиться и из пищалей стрелять и человека с три убили как бы до смерти. И многие предивные молодцы и девицы вышли из-за занавески в золоте и стали танцевать и многие предивные дела делать. И вышел малый и начал просить хлеба и много ему хлебов пшеничных давали, а накормить не могли...

И чрезвычайно боялся Языков, как бы посол флорентийский не упредил его и не отписал царю обо всем этом. И ещё важно было так подать всё это, чтобы не

смутить набожной души царя: а то-де, всё грех и дьявольское искушение...

Позади свиты царской, слева, супруга Артамона Сергеича стояла с Наташей Нарышкиной. Евдокия Семёновна, уже пожилая женщина, с когда-то тонким и красивым, а теперь уже отцветшим лицом, молилась просто, с достоинством даже, без этой московской аффектации набожности, а Наташа остановила свои тёплые бархатные глаза на лице Богородицы Пречистой и забылась, и видна была в этих глазах душа её, ясная и безмятежная, как золотой летний вечер над притихшей землёй. Наташе было уже за двадцать, она была хороша собой, пора бы и замуж, но отец её был небогат, а главное, пугала женихов та свобода, в которой воспитал её Матвеев... А сердце девушки так томилось о суженом...

Отец Евлогий, смуглый хохол с чёрными как вороново крыло волосами, с сильным хохлацким акцентом, вёл обедню истово, с проникновением. Наконец служба, всех утомившая — в церкви к тому же было очень жарко, — кончилась и для отца Евлогия наступил самый желанный момент: проповедь. Он, киевлянин, человек учёный, несколько презирал — как и все киевляне — неотёсанных протопопов московских, и, служа обедню, он каждым словом показывал, как именно следует служить обедню. Но проповедь, — о, вот тут-то он уж блеснёт в полной мере своим киевским образованием!.. По обычаю, он приказал пономарям стать у дверей и не выпускать из храма никого: батюшка сейчас слово скажет.

— Братизэ...

Всё надвинулось ближе к амвону и некоторым усилием умилило свои души, приготавливая их к благому восприятию бани душевной.

— Братизэ!..

И смелыми словами, широкими мазками, со своим несколько смешным хохлацким акцентом отец Евлогий стал рисовать картину распущенности московской: всюду погоня за мирскими наслаждениями, всюду любос-

тяжание и почестей жажда, всюду пьянство и чревоугодие,— Алексей Михайлович вспомнил блинки и смиренно потупил очи,— всюду суетность, всюду к Богу и к святыне его небрежение и всяческое умов шатание,— горе мне, горе! И отец Евлогий, грозно сверкая чёрными глазами, поднимал из гробниц пророков Израиля, бойко влагал в их уста обличительные речи, вызывал всемогущественно словом своим тени приснопамятных нечестивцев прошлого, с видимой радостью указывал на кары Господни, которые этих нечестивцев постигли, обещал с упоением такие же, и даже горшие, кары и zde предстоящим греховодникам-москвитянам.

Все с удовольствием воспринимали эту баню душевную — только Языков имел вид независимый и даже несколько недовольный. Он считал этот лапидарный поповский тон грубым и неуместным: он стоял за мягкие и изысканные выражения. И он отметил себе в памяти, что эти вот его замечания нужно будет представить в осторожной форме великому государю и вообще московским людям и преподать им несколько примеров галльской политес и утончённости. Ни один порядочный человек не будет кричать там так о каких-то вертелах и сковородах чугунных, уготованных для грешников,— даже «кресла», например, никто теперь там не скажет, ибо это просто, грубо и доступно всякому холопу...

— Раздэрэм жэ жэстокоэ сэрдэц наших камэниэ!..— гремел отец Евлогий, яростно сверкая глазами.— Вэтхую грэх наших расторгнэм катапэтазму...

— Как это он сказал? — тихонько спросил царь Морозова.— Расторгнем чего?

— Он сказал: катапетазму...— недоумённо отвечал Морозов.

— А чего это такое?

— Не ведаю, государь!..

— А ну, спроси-ка тихонько Сергеича!..

— Артамон Сергеич, а что это за катапетазма? — наклонился Морозов к Матвееву.

— Не ведаю, Борис Иванович...

— И Матвеев не ведает, государь...

Алексей Михайлович уважительно посмотрел на отца Евлогия. И вспомнился Олеарий, немчин, гораздо наученный в астрологии, и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим мастерствам и мудростям... А патриарх тогда да и другие святители очень всё это осуждали. А теперь сами вот за катапетазму взялись... Кто их разберёт, где правда?... И он вздохнул, уповая больше на милость Божию...

— ...Неплодную ума нашего истрясём землю,— гремел отец Евлогий,— злосмрадных душ наших грехами умэрщвленных отвэржём страсти, да от смэрти духовной освободимся...

Торжествующий, он оглядел москвитян. Они смотрели на него подобострастно и были все в поту: когда проповедь вгоняла человека в пот, это было самым красноречивым доказательством её морального действия. И Алексей Михайлович возжелал лично выразить отцу Евлогию своё полное удовлетворение и царское благоволение, но в это время послышался визг входной двери и какая-то тревога в задних рядах молящихся. Государь оглянулся: к нему подходил жилец Иван Вязьмитинов. Молодое лицо его было заметно взволновано, но он старался не обнаружить неприличной торопливости. Он ударил челом государю.

— Ты что, Ваня? — спросил Алексей Михайлович ласково.

— С государыней негоже, великий государь...— отвечал тот.— Она наказывала, чтобы ты, как можно, поспешал домой...

— Господи Иисусе...— крестясь, едва вымолвил царь.— Да ведь ей словно полегче было...

— Не ведаю, государь... Ну только велели тебе поспешать...

Вокруг тревожно зашептались.

Царь, сказав лишь несколько ласковых слов учёному проповеднику, повернулся было к выходу, но тотчас же опять обернулся к нему:

— А ты отпой-ка, отец, молебен о здравии государыни...— сказал он.

— Слушаю, вэликий государь...— проговорил отец Евлогий и тотчас же повелительно мигнул дьякону и певчим.— Помолимся, государь...

В свите произошло некоторое смятение: царя ли сопровождать, за царицу ли молиться? Языков сразу нашёлся: половина пусть следует за царем земным, а половина пусть остается при царе небесном. Себя он отчислил в провожатые к царю земному. Но он был сумрачен: из сегодняшнего столового кушания явно ничего не выйдет, и эдак, пожалуй, стольник Чемоданов упредит его. Он подхватил государя слева вместо Матвеева, Морозов, очень встревоженный, стал справа, и Алексей Михайлович торжественно и медлительно пошёл из храма.

И вдруг точно что толкнуло его в грудях.

Что такое?

Кто это?!

Стройная красавица с тёплыми карими глазами смотрела на него из толпы справа. Их взгляды на мгновение встретились, и оба сразу почувствовали, что в жизни их вдруг завязался какой-то большой и крепкий узел. А ноги в золотых, расшитых жемчугом ичетыгах, медлительно выносили его на паперть, морозный, пахнущий дымком и пирогами воздух радостно ворвался в его грудь, и громко ликовала белая Москва бесчисленными, казалось, колоколами.

Но кто, кто она?..

— Царь, царь, царь...— затарахтел вдруг высохший в мумию жалкий юродивец Гриша, под грязной холщовой рубахой которого переливчато звенели цепи-вериги.— Царь, Грише-то коопеечку!.. А?.. Царь...

Все остановилось. Чья-то рука сзади услужливо протянула сафьянный кошель, и Алексей Михайлович, достав полтину, перекрестился на горящие среди голубого атласа неба золотые кресты и подал её Грише.

— Прими Христа ради, Гриша...— ласково сказал он.— И помолись о здравии моей Марьи Ильинишны: захворала что-то моя голубушка...

— Добро, добро...— закивал седой, высохшей головой Гриша.— Я тебя не забываю — будь надёжен... Добро!.. Ты поезжай...

— Прости Христа ради, Гриша...— сказал царь.— Ежели что понадобится, ты прямо иди ко мне безо всякого сумления. Скажешь там на крыльце, что сам, мол, царь велел... Прощай, родимый...

— Прощай, царь, прощай... Ничего, поезжай... Ничего...

Возок царский стоял уже у лестницы, как вдруг из толпы, которую осаживали стрельцы, к ногам царя бросился какой-то волосатый, худой, весь синий оборванец. Сперва все испугались: не злоумышленник ли какой? Но потом сообразили, что это челобитная. И челобитная часто могла быть некоторым пострашнее злоумышленника, и все только и ждали жеста царя, чтобы схватить дерзкого.

— Царь, надежда, смилуйся...— завопил тот.— Тренка Замарай я, холоп стольника твоего Пушкина...

— Ну? — досадливо нахмурился Алексей Михайлович, которому и неприятна была эта помеха, и в то же время не хотелось ему испортить свою репутацию царя милостивого.

— В бега ушёл я было, на Дон, казаковать...— надрывно говорил оборванный Тренка.— А как поглядел я разбой этот ихний да самовластье, все сразу бросил и назад вот прибежал. А господин наш, сам знаешь, строгай: шкуру на кобыле спустит, в Сибире сгноит... Смилуйся, государь!

Сперва Тренку не поняли, а поняв, изумились: до чего дошла дерзость в этом народе!.. Из-за такого пустяка дерзать остановить великого государя... Борис Иванович строго шагнул было вперёд, но царь остановил его едва заметным движением руки.

— С Дону воротился? — сказал он.— Ну, пушай там тебя в приказе опросят о донских делах, а я стольнику

Пушкину скажу, чтобы он помиловал тебя. Повинной головы, говорят, и меч не сечёт... Ну, вот...

Случилось то, чего Тренка боялся пуще всего на свете: он попал в тот приказ, от которого и скрывался он все эти долгие, бездомные и голодные месяцы, от которого и хотел он спастись под защиту царя.

— Царь, батюшка... — повалился он на затоптанную снегом и холодную паперть.

Но его уже забыли все — кроме стрельцов, которые быстро овладели им, маленьким, запуганным, как заяц... Алексея Михайловича усаживали в тёплый возок его. Народ повалился в снег! Поскакали вершники: берегись!.. гись!.. Заколыхался тяжело возок, поскакала свита, встречные торопливо срывали шапки и падали ниц...

Лицо царя было взволновано: с одной стороны тревога за Марью Ильинишну свою, с которой он прожил за милую душу столько лет, а с другой — эти глаза, этот жуткий, слепящий прорыв в какую-то новую, неведомую жизнь. И кто, кто она? Спросить Бориса Иваныча? Негоже... Ишь, подумает, у самого жена больна, а он на чужих девок заглядывается... И не молоденький: дочери уж невесты. Да, но отказаться от неё, перерешить что-то уже от его воли независимо решенное, это тоже немыслимо, так же, как немыслимо отказаться от солнца, от жизни.

Кто, кто она?

«Да уж не наваждение ли, Господи помилуй?.. — испуганно подумал он. — Что такое? Никогда со мной эдакого и не бывало... Господи, прости и помилуй...»

И скакали вершники, и празднично ликовали в атласном небе колокола, и чудесно пахло в морозном воздухе пирогами, и тяжело переваливался возок с одного бока на другой по ухабам непомерным...

А в церкви кончился молебен. Все, уставшие и голодные, шаркая ногами, выходили на паперть. Гриша, всё в одной рубаше и босой, одних ласково приветствовал, на других хмурился и плевался. Захар Орлик, старый слуга Матвеева, глядя на своих боярынь ласковыми, собачьими глазами, заботливо усадил их в возок.

Наташа ничего не видела и не слышала. Она видела, почувствовала то впечатление, которое произвела она на государя. Конечно, он вдвое старше её, этот обложившийся жирком человек, и не о таком суженом мечтала она бессонными ночами, но, с другой стороны, ведь это Великий Государь, Царь и Великий Князь всеа Руси, Великие и Малые и Белые, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский...

— Да что ты, Наталья?.. Или в церкви угорела? — удивлённо обернулась к ней Евдокия Семёновна. — Что ей ни говори, она хоть бы слово тебе!..

— Прости меня, родимая... — спохватилась Наташа. — Задумалась я...

— Я говорю: придётся нам обедать, пожалуй, одним, без Артамон Сергеича. Сохрани Бог, не случилось бы чего с государыней...

...Великий Государь, Царь и Великий князь всеа Руси, Великие и Малые и Белые, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский и прочая, и прочая, и прочая — ужас, голова кружится!..

Артамон Сергеевич заехал домой переодеться. Попутно заглянул в Азбуковник, словарь слов непонятных, нерусских. Но никакой катапетазмы там не было. Катапульт был, катастрофа, катаплазма были, а катапетазмы нету... Ох уж эти киевляне!.. Он сел торопливо в возок и приказал везти себя во дворец.

Вечером, в сумерки, могучие, редкие, унылые, поплыли над городом звуки колокола Ивана Великого: то была весть народу о преставлении великой государыни Марьи Ильинишны...

XVIII. ХРИСТОИМЕНИТОЕ ТИШАЙШЕЕ ЦАРСТВО МОСКОВСКОЕ

У стрельцов сразу возникло затруднение: куда именно вести Тренку? Можно было вести его во дворец Казанский, который ведал делами царства Казанского и Аст-

раханского, можно было вести его в приказ Посольский, который ведал сношениями с Доном, можно было вести его в приказ Разбойный, который чинил суд и расправу над разбойниками и татями, но было воскресенье, и все эти приказы были заперты. Оставалась только сыскная изба при Земском приказе, которая была открыта и в воскресенье. Туда по распоряжению стрелецкого головы и был направлен Тренка Замарай.

Перед крыльцом сыскной избы стояли, позванивая кандалами, иззябшие синие колодники с запуганными глазами. Тренка трусил всё более и более и уже начал решительно сомневаться, так ли он поступил, как следовало. Стрельцы вкратце сказали какому-то жёлтому, высохшему приказному, в чём дело. Тот слушал и с явным недоверием и даже неодобрением поглядывал на Тренку. Это неодобрение относилось к неудачной и глупой попытке Тренки обмануть приказного, государеву слугу, такими вздорными побасками. И так как дело было уже известно самому великому государю, то жёлтый приказный, чтобы показать свое усердие, деловито скрылся куда-то и, скоро вернувшись, приказал стрельцам вести арестованного в допросную палату, где о нём напишут «сказку», то есть составят акт.

Допросная изба представляла из себя большой покой с запylёнными окнами, забранными чугунными решетками и затканными косматой паутиной. В глубине, за большим столом, сидел седой дяк, похожий на Миколая Угодника. Перед ним лежали бумаги, Уложение в кожаном переплётe с медными застежками и том «Новоуказанных статей», уже распухшее дополнение к Уложению. Слева и справа от дяка за отдельными столами что-то строчили приказные... Снова с полным недоверием выслушали стрельцов, которые привели Тренку. И на минуту возникло недоразумение: кто он, преступник или не преступник? И дяк решил: преступник, ибо с ворами на низу все же путался, а кроме того, осмелился и докучать великому государю. И перед допросом приказал дяк привести Тренку к крестному целованию и как

несомненного преступника, и как бы свидетеля по делу о низовых ворах.

Крестное целование происходило тут же, в присутствии дьяка, похожего на Миколая Угодника, жёлтого приказного и попа, сухощепого, с колючими глазами,— всё, что жило и кормилось около приказов, носило на себе эту печать чёрствости, чего-то мертвенного. И Тренка, совсем запуганный, посиневшими губами, путаясь, повторял за колючим попом страшные клятвы.

— А теперь целуй крест...— строго сказал поп, подставляя ему образ с изображением креста.

Сотворив земной поклон, Тренка поцеловал икону.

— Да ты не хитри!..— крикнул сердито на него поп.— Ишь, ткнул носом в пустое место-то... Тоже народ!.. Ты не носом целуй, а губами, и не в пустое место, а в самый хрест...

Поцеловать в пустое место или только сделать вид, что целуешь, значило сделать крестное целование недействительным, то есть объегорить приказных, и потому жёсткий поп, живший от приказа, зорко следил всегда, чтобы подвохов таких не было, чтобы всё шло как полагается, а не каким-нибудь обманным обычаем.

А затем обмиравший Тренка снова предстал перед жёлтым подьячим. Его страшно удивляло, что с ним там возжаются: он никогда не думал, что он такой значительный и нужный человек. Начался допрос. Дьяк, похожий на Миколу Угодника, ввиду исключительной важности показаний выходца с мятежного Дона, внимательно следил за допросом. Но следить было не за чем: Тренка явно врал. Господин крутенок был, больно крутенок! Надоело вечно дрожать, и вот он «попался» на волю. Но там увидел он такое ниспровержение всего, перед чем дрожала его холопская душа, что сразу же он перепугался и бежал назад, в Москву. Но, прибежав в Москву, не посмел явиться к своему господину,— крутенок, ох крутенок бывает он под горячую руку!..— и решил сразу стать под защиту его пресветлого царского величества...

Нелепо все. Ни под какую статью ни Уложения, ни Новоуказанных статей подвести этот явный вздор нельзя. И еще не было на памяти приказных случая, чтобы человек с Дона ворочался в Москву. И что-то уж очень путается холоп — явно, что тут что-то не так. И, подумав о деле покрепче, дьяк решил, что Тренка просто-напросто лазутчик Разина, что всё, что он разыгрывает, это только один отвод глаз. И, пожалуй, возможно, что прелестные письма, которые недавно подобрали в Москве не только на торгах, но даже и в Кремле, под самыми хоромами государевыми, дело таких вот молодчиков. А посему надо заставить молодца договаривать всё до конца. Но этот вопрос могла решить только следующая, высшая инстанция.

— Ну, а теперь приложи руку к сказке...— сказал дьяк, указывая Тренке на записанное подъячим его показание.

— Да я неграмотный...— овечьим голосом проговорил Тренка, очень боявшийся всяких бумаг и подписей: ни за что съедят!

— Ну, ставь кресты...

Дрожащей рукой Тренка взял гусиное перо и, едва удерживая такую нежную вещь в корявых руках своих, поставил внизу сказки три кляксы, а затем, старательно вытерев перо и так, и эдак о волосы, почтительно возвратил его подъячему; тот неодобрительно присыпал его кляксы сухим, мелким песком, который доставлялся с Москвы-реки в приказы возами.

Стрельцы провели Тренку в заседание приказа. Там шла озабоченная суeta крапивного семени, виднелись бритые головы кандальников, которые недавно мёрзли на дворе, где-то слышались сдавленные рыдания двух женщин и чьи-то смущённые слова утешения. Тренка совсем оробел. А кроме того, мучило его и с голода: он думал, что царь милостиво отпустит его к его господину и все враз будет кончено, а дело вот затягивалось. Была у него за пазухой краюха хлеба, которую подали ему вчера в слободе, но он не решался есть в таком высоком месте.

И после долгого и томительного ожидания в сумрачной и душной передней Тренку ввели в самый приказ. Склонив намащенные головы набок, за столами усердно скрипели перьями подьячие, а за отдельным столом, на некотором возвышении, в тёмной ферязи с золотыми петлицами, с высоким стоячим «козырем» сидел боярин Арапов, сухой, тонкий, с густыми седыми бровями над ввалившимися щеками и узкой и длинной седой бородой. Тренка знал его: боярин не раз бывал у его господина. За ним упрочилась слава человека неподатливого, крутого, гордого, не только с людьми маленькими, но с ровней, с которой он то и дело заедался из-за мест. Тренка отвесил ему земной поклон, но боярин и бровью не повёл: он читал уже сказку о Тренке. Он вполне согласился с заключением дьяка, что, вернее всего, Тренка подослан Разиным баламутить Москву. И не потому согласился боярин с этим, что он считал это заключение правильным, а просто потому, что это было заключение готовое, которое избавляло его от пустой траты времени: таких Тренок за год проходило через его руки тысячи...

— Так ты говоришь, что воровской атаман послал тебя сюда разведать? — бесстрастным голосом, не подымая глаз, проговорил боярин так, что с ним можно было только согласиться.

Но Тренка так перепугался, что сразу же возопил:

— Что ты, боярин!.. Такого слова я и не молил... Я сам от воров убёг, своей волей...

— Ну, сам убёг... — повторил боярин всё тем же бесстрастным тоном. — Запираться, брат, нечего: лучше тебе от этого не будет... Возьми его и допроси как следует... — обратился он к жирному дьяку с большим белым лбом, разной величины глазами и слегка съехавшим набок ртом. — И сейчас же доложи... И про грамоты подметные дознай...

— Слушаю, боярин... — поклонился дьяк и обратился к Тренке: — Ну, ты, иди за мной...

Тренка, путаясь ногами, пошёл за широкой и жирной спиной дьяка. На душе его было очень тоскливо: так все

ясно, а они вот тянут и тянут. Лучше бы просто идти домой: ну, отодрал бы господин на конюшне как Сидорову козу, да и конец... Эх, то-то вот темнота всё наша!..

И, перешагнув через высокий порог, оба они очутились в застенке.

Это был большой сарай с маленькими окнами под потолком. В окнах были железные решётки. Всюду висели и валялись кандалы, цепи, ремни. Змеились страшные кнуты из лосиной кожи, вымазанные засохшей человеческой кровью. На полу стояли железные жаровни и валялись полосы железа, которыми жгли тело при пытке, и валялись клещи, которыми рвали тело. У стены стояла скамья, вся утыканная гвоздями острием вверх. В деревянном засаленном ящичке лежали деревянные спицы, которые загонялись пытаемым под ногти... А среди всего этого тянулся из стены в стену толстый деревянный брус, к которому подвешен был деревянный же блок с пропущенной через него верёвкой,— то была дыба, или виска... И стоял в воздухе какой-то неуловимый, но тяжёлый дух, от которого свежего человека мутило...

На стук двери со скамьи поднялись дремавшие в тепле заплечные мастера: один чернявый, широкоплечий, с бычьими глазами, а другой очень худой, рябой, с широким ртом и ловкими кошачьими движениями.

— Ну-ка, братцы, постарайтесь...— кивнул им на Тренку разноглазый дьяк.

И вдруг Тренка понял всё.

— Боярин...— бросился он в ноги дьяку.— Помилуй... Вот как перед Истинным: всё по правде обсказал, ничего не утаил... Да нешто я... Господи... Ведь сам, своей волей воротился... Боярин!..

Тренка знал, что дьяк совсем не боярин, но он думал, что, польстив, он скорее смягчит его сердце.

— Ну вот, вы всегда так...— вяло сказал тот, ковыряя деревянной спицей в гнилом зубе.— Сами затягивают дело, а когда дойдешь до пристрастья, верезжат, как зайцы... Повинился бы во всем сразу, по-хорошему, и...

Он оборвал. «И тебя сразу, без хлопот, повесили бы...» — хотел он сказать, но упрёк в такой форме ему самому показался неубедительным, и он только прибавил нехотя:

— А то водют и водют...

— Боярин, смилуйся!.. Вот видит Бог, ни в чём не повинен... — молил Тренка. — Век за тебя молить буду...

— Да нешто то я?.. — лениво ответил дьяк. — Я человек сам подневольный: что прикажут, то и должен я сполнять... Ну, а между прочим, время зря терять не полагается... — деловито сказал он палачам.

Он отошёл в сторону, сел на лавку и стал ковырять гнилой зуб. Диковинное дело: пока ковыряешь, ничего, как только перестал, опять мозжит, опять сверлит так, что индо вся жизнь немила.

А палачи уже раздели Тренку, связали ему сзади руки и надели на них кожаный с пряжками «хомут». Потом рябой связал ему ноги так, чтобы можно было просунуть между ними бревно — оно лежало тут же, под дыбой, — а другой, с бычьими глазами, привязывал тем временем веревку от блока к «хомуту». В этот момент в пыточную избу торопливо вошёл с гусиным пером за ухом и с чернильницей на шнурке на шее один из подъячих и уселся рядом с дьяком к столу, чтобы записывать показания Тренки.

— Ну, что же, брат? Может, скажешь чего нам? — ковыряя в дупле, сказал дьяк лениво.

Тренка закоченел от ужаса и намочил в портки. Ему было очень совестно этого. Он был рад придумать что-нибудь и рассказать, но, как на грех, голова не работала никак, и он только простонал:

— Боярин, вот как перед Истин...

Но он не успел договорить: над головой его вдруг завизжал блок, верёвка натянулась и нестерпимая боль в руках слилась с неприятным чувством отделения от земли. Вывернутые руки подошли сзади к затылку. В голове расплывались зелёные и огневые круги.

— Бо... я... рин....

— Что? Открыться хочешь?

— Ви... дит... Бог... ни... чего... не... ве... даю... Помилуй...

Рябой кат ловко просунул между ног Тренки бревно, положил его на ремень, связывающий эти ноги, и с силой прыгнул на бревно. С хрястом руки Тренки вышли из суставов, и он глухо, истошно замычал, и в нестерпимой боли для него потонуло всё.

— А ну, послабь...

Рябой прыгнул с бревна. Весь белый, с вывернутыми руками, с глазами, вышедшими из орбит, Тренка висел над грязным полом. В вывернутых суставах быстро наливались красные, блестящие опухоли. Дьяк что-то спросил его, но он не только не мог ответить, но не понял в вопросе ни слова.

— Ишь ты, какой упорный!..— ковыряя в зубу, проговорил дьяк.— В чём душа держится, а туда же... Ну, пройдите кнудом...

Палач с бычьими глазами засучил рукав на мохнатой и жилистой руке и, выбрав один из кнудов, молодецки щелкнул им по воздуху, а потом подошёл к виске, изловчился, и страшный кнут со свистом глубоко впился в напряжённую спину Тренки. Вся спина сразу залилась кровью, и Тренка весь затрепетал.

— А ну, ещё разок...— невольно любуясь художественной работой, проговорил дьяк.

Ещё удар. Кожа опять расскочилась, и мясо повисло клочьями. Тренка раскрыл рот, глаза его медленно закрылись так, что видны были только одни белки, и лицо побелело, как у мертвеца. На языке заплечных мастеров это называлось: пришёл в изумление.

— Испёкся...— сказал рябой.

— Какое дерьмо пошёл народ нонече!..— сказал дьяк.

— И молодой вот, а со второго кнута закатился... А помнишь того старика старовера-то драли, помнишь, как он вас упарил?..

— Тот был дужильный...— с уважением сказал старший кат.— Или та, вещая жёнка-то... у которой яды нашли... Как кошка: что ни делай, а она знай своё верещит...

В самом деле, по дороге на виселицу или на костёр и очень, очень редко на волю через застенки этот прошли тысячи людей — за собирание трав, за искажение в титуле царском, хотя бы и невольное, за Иисуса, за неподобающее слово какое-нибудь, вырвавшееся в горячем споре, и за другие столь же страшные преступления. И висели тут и старцы дряхлые, и молодые женщины в расцвете красоты, и юноши, и стрельцы, и попы, и бояре и ведуны, и приказные, и жида, и татары, и санные девушки, и дьяки. Никто и ничем не был застрахован от бесчеловечных мучений этих в тишем царстве, в богохранимой державе Московской, и шёл стон и лилась кровь по бесконечным застенкам её и днём и ночью, от «бедного» моря Белого до персидских границ и от берегов старого Днепра до Великого океана...

— Послабь...— приказал дьяк.

Рябой спустил веревку, и Тренка, как мешок, без сознания повалился на залитый его кровью грязный пол...

— Ну, запиши, что в воровском деле своем он, Тренка Замарай-де, не сознался и на пристрастии...— сказал дьяк приказному.— Надо бы ему руку приложить, да... что с его теперь возьмешь?.. Вы его пока что в тюрьму уберите...— сказал он палачам.— А там видно будет...

Палачи положили безжизненного Тренку на рогожу,— она вся была в темных заскорузлых пятнах,— и поволокли его в заднюю дверь: там помещалась тюрьма. Ковыряя в зубу, разноглазый дьяк лениво пошёл в сопровождении приказного на доклад боярину. Навстречу ему другой дьяк вёл в застенки двух кандальников с синими бритыми головами...

Тренка долго болел в тюрьме, и за множеством дел о нём как-то забыли. Но он, холоп, не забыл ничего. И Великим постом, когда сидельцев острожных выводят по милосердию христианскому для сбора милостыни, Тренка в густой толпе на торгу ухитрился скрыться. Через три дня в Красном Селе — слобода под Сокольниками — земские ярыжки обнаружили на тающем уже

снегу совершенно раздетый труп неизвестного человека, который, по розыску, оказался потом боярским сыном Тарабукиным. Череп его был пробит сзади. Убийцу так найти и не удалось. А ещё через несколько дней в глухую ночь, в ветер сильный, загорелась богатая усадьба боярина Арапова. Пожар принял громадные размеры — выгорело чуть не пол-Москвы... А на другое утро после пожара вышел из Москвы по направлению на Володимер и Нижний, к Волге, щуплый, лохматый, оборванный человеченко с сумасшедшими глазами...

XIX. В ВОРОВСКОЙ СТОЛИЦЕ

Вывалив с шумной и пьяной станицей своей из степи на берега Дона, Степан решил совсем отделиться от Черкасска, и, выбрав себе между станицами Кагальницкой и Ведерниковской остров, он заложил на нем городок, который назвал Кагальником. Казаки быстро нарыли себе землянок и обнесли всё свое поселение валом. Вся голота донская встретила восторженно славного атамана, который был со всеми приветлив и щедр, не то что эти черти, зажиточные низовые казаки. И народ шёл к нему со всех сторон: в Кагальнике он осел с 1500 человек, а через месяц у него было уже 2700. Первое время довольны были и богатеи, которые ссудили молодцев перед походом деньгами, оружием и одеждой: ссуда вернулась им с богатой лихвой. Но потом тревога стала овладевать зажиточным населением Дона всё больше и больше, хотя Степан стоял смирно, никого не грабил и задоров ни с кем не делал. Тревожился и воевода царицынский, Унковский. Он то и дело посылал — довольно безуспешно — своих соглядатаев в Кагальник и доносил в Москву: «Приказывает Степан своим казакам беспрестанно, чтобы они были готовы, а какая у него дума, про то и казаки не ведают, и некоторыми мерами у них, воровских казаков, мысли доведаться невозможно».

Из Москвы пробирались на своих крепких телегах берегом Дона на Черкасск торговые люди. Дозорные с вала пометили их. И зашумел табор:

— Эй, купцы, заворачивай к голоте!..

Купцы перепугались.

— Заворачивай, говорят, пока целы!..

Скрипучий паром перетянул торговых на остров. Разбили они свои палатки, разложили, ни живы, ни мертвы, свои товары, голота, ещё не успевшая пропить всё, что было добыто по персидским берегам, окружила их тесной толпой и — началась бойкая торговля. Купцы здорово расторговались и, возвращаясь степями к Воронежу, с пустыми телегами и тугой мошной, хвалили всем встречным торговым бойкий Кагальник. И те, забыв о Черкасске, уже сами сворачивали к голоте или, скорее, к голоте бывшей, так как пока все казаки щеголяли еще дорогими нарядами, редким оружием и, запустив руку в карман шаровар, позванивали серебром и золотом и самодовольно подмигивали:

— Вот они: грызутся!..

Черкасск и Кагальник зорко наблюдали один за другим, но ни тот, ни другой не чувствовали себя достаточно сильным, чтобы идти на разрыв и вражду. Степана связывало ещё и то обстоятельство, что там, на низу, оставалась его семья: жена, ребята и брат Фролка. Они были как бы заложниками у богатеев. И чтобы развязать себе руки в этом отношении, Степан поручил одному из своих близких, Ивану Болдырю, вывезти оттуда свою семью и доставить её в Кагальник. Конечно, если бы низовые казаки не захотели выпустить семьи Степана, то они сумели бы устеречь её, но, хотя и понимали они, что такие заложники очень хороши, они в то же время уже побаивались разгневать бешеного атамана голоты, и посланец благополучно доставил всех в Кагальник: и жену Степанову, Мотрю, бойкую и еще свежую цокотуху и щеголиху, с весёлыми серыми глазами и ямочками на полных щеках, и восьмилетнего, всегда невозмутимо-серьёзного Иванка с застен-

чивыми и круглыми, как пуговики, глазами, и двенадцатилетнюю Параску с её смешной, соломенной, неудержимо загибающейся, как хвост скорпиона, вверх косичкой, и Фролку, худого и длинного, с уныло повисшими вниз жидкими и короткими усами и всегда точно растерянным выражением лица. Степан поместил всех их в своей землянке, которая ничем не отличалась от землянок других казаков.

— Ну, говори, Иванко: хочешь казаком быть? — приставали к Ивашке казаки.— Говори...

Ивашка смотрел на всех своими тёмными круглыми пуговками и не отвечал ни слова.

— Э, ребята, а у Ивашки-то турки азовские язык отрезали!..— кричали казаки один другому.— Ни слова сказать не может. Ну, значит, нельзя ему в казаки идти. Без языка какой же казак?

— Ан влѣс...— не по годам наивный и картавящий, отвечал Иванко,— ан и не отлезали...

— А ну, покажь!.. Потому мы без языка в станицу тебя не примем...

Поколебавшись, Ивашка серьёзно показывал кончик языка.

— Ты чего ж дражнишься-то? — нападали на него вдруг казаки.— Нешто можно казакам язык казать? Да он, может, ребята, в казаки и не хочет... Говори, Ивашка: хошь в казаки? Хошь за зипунами идти?

— Хоцу...— серьёзно говорил Ивашка.

— А хочешь, так надо и одеть тебя по-казацки...

И вот один вешал на Ивашку свою тяжёлую саблю, другой затыкал ему за пояс штанишек турецкий пистолет с обделанной в серебро рукояткой, третий надевал свою шапку, и Ивашка стоял под тяжестью всего этого, довольный, и вдруг расплывался в солнечной улыбке.

А Фролка все никак не мог помириться с кагальничким равенством и всё обижался, что ему, брату атаману, не уважают, не кланяются, и со всеми задибался. Степан пробовал было и раз, и два урезонить дурня, но

ничто не помогало, и он, смеясь, махнул рукой, а казаки начали отвешивать Фролке низкие поклоны, и, когда где появлялся он, какой-нибудь озорник кричал испуганно:

— Эй, вы, там... Раздайсь!.. Брат атаманов, Фрол Тимофеич, идут...

— Фрол?..— кричал другой.— Фрол у нас в Рязанской лошадиный бог был... Фрола и Лавра называется...

— Так то в Рязанской, а здесь — брат атаманов!.. Это тебе почище лошадиного бога будет... Раздайсь, говорю!..

И все грохотали.

А Степан тем временем сидел в своей сырой, тёмной и душной землянке и писал грамоту то Дорошенку, который салтану турецкому со своими казаками передался, то атаману запорожскому Серко, то верным людям по окраинным городам, сговариваясь с ними, в каком урочище с ними сойтись. А гетман Брюховецкий, изменивший Москве, писал в Черкасск. Он сетовал на московских «цариков», безбожных бояр, которым приходилось подчиняться вместо царя. Самым поганским, по его мнению, делом их было свержение Никона, верховнейшего пастыря своего, святейшего отца патриарха. Они не желали быть послушным его заповеди, писал Брюховецкий. Он их учил иметь милость и любовь к ближним, и они его за то заточили. Брюховецкий увещевал донцов не обольщаться обманчивым московским жалованьем и быть в братском единении «с господином Стенькою»... Степан знал о всех этих союзниках своих и выжидал. Отведавши богатства, славы, власти, он не мог уже сидеть спокойно в каком-то там поганом и смешном Кагальнике.

А черкасские старики чуяли затеи Степановы, но ничего не предпринимали. Там, в Черкасске, в этом старом воровском гнезде, первоначальное ядро которого составляли беглые холопы и всякого рода преступники, происходил любопытный процесс. Все они пришли сюда в своё время голенькими и, сбившись в кучу, стали приспособляться к этой дикой, тяжёлой жизни на всей

своей воле. Главным занятием их был разбой, походы за зипуном: степью, горой, как говорили они, — на конях и водою — на челнах. Добыча в походах этих была не всегда одинаково обильна: так, раз на дуване на долю каждого из участников похода пришлось по несколько аршин шерстяной материи, киндяку, затем кому лук со стрелами, кому топор, кому пистолет, и всем по два рубля деньгами. Но самой ценной добычей был всегда ясырь, то есть пленные, которых эти вчерашние рабы и продавали с лёгким сердцем в рабство, — главным образом «татарчонков и жёнок-татарок», — в Москву, где давали за них наивысшую цену. И салтан турецкий, и крымчаки, и шах персидский не раз протестовали в Москве против этих разбойничьих налётов, но Москва открещивалась от казаков, заявляя, что они ведомые воры, в подданстве великого государя не состоят и великий государь за них не постоит, если салтану, или хану, или шаху заблагорассудится известить их. И ногаи, и турки, и крымчаки в долгу, конечно, не оставались и часто можно было видеть казачьи чубы на невольничьих рынках Дербента и Константинополя, у сарацин, в далёкой, сказочной Индии, а раз при приёме польских послов в Константинополе вокруг «дивана» были выставлены на копьях более сотни казачьих голов.

Но одних походов за зипуном было мало, чтобы жить, и казаки стали заниматься рыболовством и «гульбой», то есть охотой, а потом и скотоводством: за донскими конями торговые люди приезжали с самой Москвы. Табуны свои казаки в значительной степени пополняли отгоном коней у черкесов, азовцев и крымчаков, которые тоже не зедали и крали табуны у казаков. Так как взаимное воровство это тяготило всех, то со временем установилось эдакое молчаливое соглашение: азовцы перестали жечь стога казачьи в степи, заготовленные на зиму, а казаки перестали разорять окрестности Азова, пока их стога были целы. Земледелие же на всей «реке» было строжайше запрещено, и, когда какие-то беглые с севера завели было по Хопру и Медведице пашни, то

круг казачий постановил «войсковой свой приговор, чтобы никто нигде хлеба не пахали и не сеяли, а если станут пахать, и того бить до смерти и грабить». Пашня в глазах вольницы соединялась с представлением о тяжком тягле государеве, а тягло с воеводой, и приказными, и правежом, и всякой неправдой...

И так, постепенно, голытьба эта окрепла, стала на ноги, обложилась жирком и — стала весьма неодобрительно смотреть на ту голытьбу, которая продолжала бежать с севера. Преувеличивать этот постоянный приток беглых не следует, их было не так уж много: несмотря на то, что вся Русь знала, что «Доном от всяких бед освобождаются», казаков по всему Дону было не более двадцати тысяч. Но с 1649-го года — год издания Уложения, окончательно прикрепившего крестьян к земле, то есть отдавшего их в полную власть помещика и вотчинника, — этот приток значительно увеличился и перед морским походом Разина достиг такой силы, что на непашущем Дону стало голодно. В 1668 году, когда Разин был в Персии, к царскому послу, бывшему тогда на Дону, приходило тайно человек тридцать «нарочитых» казаков и советовались с ним о своих планах овладеть турецким Азовом, где о ту пору было, по их разведке, малоллюдно. Они просили у царя снаряжения, ратной силы и денег, чтобы, призвав калмыков, пойти на Азов и тем «удовольствовать голутову», которая очень беспокоила их.

Сила Степанова росла с каждым днём: у него было уже до четырёх тысяч человек, а кроме того, все верховые станицы ещё не успевшие обложиться жирком, были явно на его стороне. Тайные гонцы со всех концов России говорили ему о всё растущем недовольстве народа, о всяческом шатании и об ожидании чего-то, что должно облегчить тяжкую долю людей государства Московского. И вдруг точно удар хлыста ожёг голытьбу: в Кагальник неожиданно прибежала та станица, которую Степан отправил во главе с Лазарем Тимофеевым ещё из Астрахани, чтобы добить челом великому

государю и принести ему все вины казацкие. И рассказал Лазарь возбуждённому кругу, что в Москве их приняли очень сурово и под конвоем отправили в Астрахань, чтобы там верной службой они искупили вины свои. По дороге, уже за Пензой, на реке Медведице, им удалось, однако, перевязать свой конвой, завладеть его конями и бежать в Кагальник.

И зашумела недобрым шумом Кагальницкая республика... Быстрее и чаще забегали тайные гонцы с прелестными письмами на Русь, и воевода царицынский Унковский пустил в Москве в ход все свои связи и не жалел, кому нужно, денег, чтобы отпустили только его душу на покаяние, чтобы перевели его от этого осинового гнезда куда подальше... И Москва, томимая тёмной тревогой, отправила в конце зимы в Черкасск постоянного посла своего к казакам Евдокимова, человека толкового и тонкого,— для виду была дана ему царская милостивая грамота к казакам, а на самом деле целью поездки его была разведка на месте о делах и замыслах Степана.

Был погожий и весёлый апрельский день. Согревшаяся степь радостно дымилась. В небе, при звуке труб победных, строили свои станицы журавли. Мутный Дон широко гулял по лугам. В Черкасске на широкой, растоптанной площади, около чёрных развалин сгоревшей за зиму единственной церкви казачьей столицы, собрался многолюдный казачий круг. Царский посол, дьяк Евдокимов, невысокого роста, широкий, с румяным белым лицом и пушистой, точно сияющей бородой, вышел степенно в середину круга, степенно поклонился сперва Корниле Яковлеву, атаману, важно стоявшему со своей булавой, а потом на все четыре стороны кругу казачьему и, расправив бороду, громко сказал:

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великие, Малые и Белые России самодержец и многих государственных земель, восточных и северных, отчин и дедин и наследник, и государь, и обладатель, велел всех вас, атамана и казаков, спросить о здоровье...

И все, атаман и казаки, били челом великому государю. Посол московский, сияя бородой, передал атаману милостивую грамоту за печатями царскими. Корнило — невысокого роста, очень смуглый, с густыми сивыми усами и умными медвежьими глазами,— высоко поднял царскую грамоту и не торопясь, уважительно стал вычитывать её кругу. И казаки услышали похвалы своему высокому воинскому званию и милостивые обещания прислать, как станет после распутицы дорога, обычное жалованье. И все челом ударили по царской милости и, уважительно отпустив московского посла, Корнило сказал, что казаки выберут на днях станицу, чтобы еще раз заверить великого государя в преданности казачества его пресветлому царскому величеству. Но на душе старика было сумно: он ожидал от голутовы всякого. Старый заслуженный воин и хороший хозяин, он видел всю гнилость московского правительства, но не имел ни малейшего доверия и к замыслам голытьбы: на разбое да на пьянстве далеко не уедешь! Он умел временно уступать кругу, чтобы потом потихоньку всё-таки поставить на своём. Но теперь, с выступлением Степана,— Степан был его крестник,— положение его становилось с каждым днём всё труднее и труднее...

Дня через три Корнило собрал круг для выбора станицы в Москву. И вдруг в сопровождении радостно возбуждённой голытьбы на площадь явился Степан.

— Куда это вы станицу выбираете? — громко сказал он.

— В Москву к великому государю...— отвечали самостоятельные казаки.

— Ага, так... Ладно...— сказал Степан и вдруг раскатился он своим голосом к голытьбе: — Собирай и вы свой круг, отдельно!..

Возбуждённо галдя, зачернел и круг голоты.

— Зови сюда московского посла!..— распорядился Степан.

Тотчас же казаки привели на круг Евдокимова. Он был по-прежнему румян, чист и сиял своей пушистой бородой.

— Говори правду: от великого государя ты приехал сюда или от бояр? — пренебрегая всякими приветствиями, грозно спросил Степан.

— Я приехал от великого государя с государевой милостивой грамотой...— своим приятным, чистым голосом отвечал Евдокимов.

— Врёшь, сукин сын!..— рывкнул Степан.— Ты лзутчик!.. Ты присматривать за мной прислан... От бояр...

И, размахнувшись, Степан изо всей силы ударил в румяное, теперь испуганное, лицо посла.

— Бей его, казаки!..— крикнул он.

Евдокимов валялся уже в чёрной растоптанной грязи, и казаки, тесно толпясь вокруг него, били его чем попало.

— Ребята, негоже...— говорил взволнованный Корнило.— Смотрите, быть вам в ответе перед великим государем... Брось, ребята!.. Оставь...

— Ты владей своим войском, а я буду владеть своим!..— бешено крикнул ему Степан.— В воду москвитянина, ребята!..

— В воду его!.. В воду!..

И избитого до потери сознания Евдокимова казаки бросили в мутные, ледяные волны разгулявшегося Дона, а всех спутников его голытьба взяла под стражу. Корнило оказался атаманом только по имени: Степан верховодил всем. Теперь он уже открыто говорил, что время выступать против лиходеев-бояр, взявших в плен царя. Против самого царя он говорить остерегался: легенда царя была очень ещё крепка даже в отпетых душах. Его речи встречали всегда шумный успех, и всё резче, всё ярче становились его наскоки на привычный уклад жизни. Незадолго перед этим в Черкасске сгорела единственная церковь. Зная щедрость Степана, казаки попросили его помочь на построение храма.

— Да на что он вам? — усмехнулся Степан.— Разве нельзя жить без попов? Венчаться, что ли? Так станьте в паре против вербы да пропляшите хорошенько, вот и повенчались... Или забыли, как в старинной песне

поется: тут они и обручались, вокруг ракитова куста венчались...

— А небось сам-то ты со своей Матвеевной венчался! — возражали недоверчивые.

— Мало ли что человек по глупости делает!.. — сказал Степан. — А прошло время, поразобрался в делах, ну, и херь всё лишнее, чтобы не мешало.

Буйные духом от таких слов пьянели еще больше, и жизнь становилась для них похожа на эти беспредельные степи, где нет над человеком никого и ничего и где можно гулять по всей своей вольной волюшке, но зато робкие и нерешительные задумывались всё более и более, а некоторые даже и совсем отошли от Степана.

Весь Дон шумел, готовясь к походу в неизвестное. Все чувствовали, что на этот раз произойдет что-то решительное, окончательное. Одни верили в какое-то торжество, им и самим неясное, а другие хмуро говорили, что на всё наплевать и хуже всё равно не будет.

Воровская столица Кагальник курился дымками вечерними. Сиреневые сумерки застилали уже и серебряный разлив Дона, в котором бултыхалась, играя, рыба, и уже прозеленевшую степь, где плясали влюбленные дрофачи, и эти утопающие в невылазной грязи землянки казаков.

— Эй, Чернорец!.. Есаул, тебя...

— Что такое? — встал грустивший о чём-то над рекой Ивашка.

— Какие-то богомолки из Ведерниковской тебя требуют...

Ивашка спустился к неуклюжему тяжёлому парому, под которым хлюпала вода, и в лёгком челночке переехал на тот берег: чужих баб в станицу никак не пускали. Навстречу ему из дымных сумерек смотрели две богомолки с котомочками и в приспущенных на глаза платках. И вдруг Ивашка так и затрясся: знакомая пьянящая родинка на подбородке!.. Он испуганно взгляделся в другую богомолку: то была старая Степанида.

— Ты в уме? — едва выговорил Ивашка. — Ну-ка, отойдём в сторону...

Они отошли по берегу несколько выше перевоза. Баушка Степанида скромно села в сторонке. Молчаливый Ерик — он возился под берегом с рыбацьей снастью — проводил парочку долгим взглядом и тяжело вздохнул.

— Ты одно только скажи: ты в уме или нет? — повторил Ивашка, глядя во все глаза на милую родинку.

И зашептала Пелагея Мироновна горячо:

— Муж в Москву упросился: боится вас... Он в возок сел на Москву ехать, а я на повозку — на Дон... Довольно помучилась я с постылым!.. Не хочешь взять меня к себе, я одна тут как-нибудь пристроюсь. А назад уж больше не вернусь. Вот тебе и весь сказ мой...

— Да как же ты жить-то будешь?

— Живут же другие...— сказала Пелагея Мироновна.— А, если я не мила больше тебе, ты скажи: я уйду...

— Что ты там еще говоришь!..— горячо дрогнул голос Ивашки.— Я извёлся весь без тебя не знаю как... Всё думал бросить всё да к тебе скакать... Не про то говорю я, а про то, что жизнь наша трудная, опасная. И опять же такой содом тут, что и мужику-то иной раз трудно, а не то что бабе. И ежели да узнают, кто ты...

— Я тебе давно говорила: уйдём в Польшу, на Литву, куда хочешь...— повторила она.— Уйдём дальше и будем жить вольными людьми. Вы вот много про волю-то кричите, а большой воли и у вас я не вижу. Жить можно и не по-дурьи. Вот как в Москве ещё была я, ходила я в Кукуевку, в слободу Немецкую, и всё дивилась: живут же вот люди!.. А наши терема придумали, заперли бабу, как скотину какую, слова лишнего не скажи, не засмейся, глаз как грехом не подыми. И чего, чего не навывдумывали!.. Ещё как женихом моё сокровище-то был, так отец мой, по обычаю, плётку ему на меня в гостинец послал, а после венца молодая разувать своего благоверного должна, а он её за это тут же при всех плетью промеж лопаток ублагодворяет... Ну и дала ж ему я потом эту плётку!..— с раздувающимися ноздрями весело воскликнула она.— И почему промежду хошь немцев такого измывательства нету? А живут ещё почище нашего... Нет, я сыта... Конец!..

Ивашка задумался: действительно, его уже крепко теснили казацкие порядки, и воля с милой вместе мамила неодолимо, и жажда мести старая жгла. И как ещё отнесутся к его уходу казаки?.. Нет, сразу не решить ничего — надо мозгами не торопясь пораскинуть. Пусть она эти дни перебудет в Ведерниковской,— он указал ей одну знакомую старуху-вдову, у которой ей будет безопасно,— а там видно будет... И было так мучительно жаль отпустить свою лебёдушку: как хороша она, как сладко было бы провести с ней эту вешнюю ночь!.. А вот нельзя: атаман строго-настрого приказал, чтобы никто не смел из городка отлучаться без его разрешения, ни под каким видом, а кому уж очень нужно было отъехать на время, так тот должен был оставлять за себя двух поручителей. Вот тебе и воля!..

— Ну и наделала ты делов...— ещё раз повторил Ивашка и, боязливо оглянувшись в сгустившемся сумраке, вдруг порывисто и горячо обнял ее.

Та вся так и затрепетала: воля, милый и совсем, совсем новая жизнь! А пуще всего ласки его горячие, от которых она вся точно умирала в блаженном огне... И проступили звезды. И у парома послышалось серебристое ржанье коня... И тихо пошли они кустами вдоль берега...

...Они подошли к перевозу...

— Ну, прощай покедова...— равнодушно сказал Ивашка.

— До увиданья...— отозвалась прозябшая баушка Степанида.

По жидкой грязи заплескали колеса,— их привёз казак из Ведерниковской,— а чёрный челн, носом против по-весеннему быстрой воды, ходко пошёл на тот берег, в Кагальник.

— Что, аль зазнобушка? — услышал Ивашка низкий голос.

Он испуганно обернулся. Ерик, попыхивая трубочкой, смотрел на него из-под густых бровей. Ивашка смутился.

— Меня, брат, не опасайся...— сказал Ерик.— Я не из тех, кто жизнь людей коверкает. Ну, а ты всё-таки остерегайся: казаки догадались... Дураков везде достаточное количество — много больше, чем нужно...

И ярко, золотым огоньком, загорелась в темноте коротенькая носогрейка...

— А ежели ты так говоришь, то зачем ты здесь? — тихо медленно проговорил Ивашка.

Долгое молчание. Хрипение люльки запорожской. Тяжёлый вздох.

— А куда денешься?..— тихо, с тоской проговорил Ерик и отошёл в сторону.

А в таборе, около костров, казаки скалили зубы над Иванком:

— Иванк, а, Иванк, а в казаки хошь?

Иванко смотрел своими круглыми пуговками на смеющиеся красные от огня лица и упорно молчал.

— Э-э, ребята, да он в казаки-то не гожається: у него языка нету!..

XX. ПОХОД

Не успели отшуметь как следует вешние воды, не успела уюмониться и сесть на гнезда дикая птица, не успела зацвести цветами лазоревыми степь неоглядная, как поднялся Кагальник на поход, а за ним и вся голытьба донская... И потянулись казачьи челны вверх по опавшему уже Дону, к Паншинскому городку, туда, где исстари переволакивались воры с Дона на Волгу... В пустынных и точно бездонных пространствах этих пьяный шум похода был слышен не больше, чем звон пляшущей над сонной болотинкой комариной стайки, но всем участникам выступления казалось, что их намерение «повидаться с боярами» весьма значительно и, обливаясь горячим потом, они усердно гребли вверх.

— Эй, казаки, подгребай к берегу!..— раздался крик по степи.

Челны насторожились: на берегу, почитай под самым Камышином, стоял небольшой конный отряд и махал им шапками.

— Что за люди? — крикнул Степан на берег с головного челна.

— Васька Ус я...— долетело по воде.— Тот, что на Москву, к царю в гости ходил... Мы к вам...

Челны радостно подгребли к топкому берегу, и конница Васьки, забубённой головушки, не знающей хорошо, в какой угол преклониться, с радостными криками смешалась с казачьим войском. Теперь численность армии Степана достигла уже семи тысяч. Атаман сразу сделал Ваську своим есаулом и Васька, скаля белые зубы, крутил свои лихие чёрные усы и смеялся, довольный: теперь-то они уж отколют коленце!..

С величайшими трудами казаки переволоклись по невылазной грязи в Камышинку, и быстро понеслись вниз по речке перегруженные голытьбой челны. Вокруг была та же весенняя, радостная степь, то же небо бездонное, но всё здесь казалось шире, могутнее, величавее: то близость Волги сказывалась.

В устье Камышинки Степан и другие казаки повиднее вышли на берег и поднялись на вершину высокого холма, который командовал над всеми окрестностями. И невольно казаки замолчали и залюбовались захватывающе-широким видом полноводной, солнечной Волги и бескрайних, вдали лиловых степей. Весенний ветер весело рвал и метал. Над водой хриплыми криками кружились белые острокрылые чайки. И никого, пустыня... Только в буро-серой прошлогодней траве на вершине холма тихо тлели многочисленные деревянные кресты: некогда на этом месте воровские казаки задумали построить городок, чтобы запереть Волгу, но Москва послала против них ратных людей, и был на этом бугре ожесточённый бой, в котором одних москвитян погибло более тысячи человек, а воры сложили свои головы все, кто в бою, кто потом на виселицах. Это и было кладбище ратных людей московских, все эти

тихо догнивающие кресты, над которыми быстро бежали, гонимые вешним ветром, белые, пухлые облака да хрипели чайки острокрылые...

И долго молчали казаки: кто знает, что ждёт их?..

— По-моему, ежели взять Царицын да Астрахань, никакой нужды нет ставить тут городок...— сказал, наконец, Степан.— А ежели Царицын да Астрахань в руках воевод оставить, то городок этот всё равно продержится недолго...

С ним быстро согласились. На стратегических соображениях казачья мысль останавливалась только как бы из некоторого военного приличия. Городок не нужен был им потому, что всем им хотелось ярких приключений, хотелось богатого зипуна, хотелось двигаться всё дальше и дальше, а потому всякие такие задержки, как постройка городков, отталкивали от себя, а эти немые тлеющие в прошлогодней траве кресты без слов говорили, как слабы бывают иногда такие казачьи затеи. И все решили: это пустое — и стали потихоньку спускаться к челнам...

Казаки тем временем пронюхали, что недалеко в степи кочуют едисанские татары, те самые, которых побили они тогда на Емансуге, в изливке Волги.

— И тоже...— сказал Степан.— Я с конными ударю на татар: ясырь возьмём и коней отгоним, а вы все на стругах идите в Царицын. Я выйду туда степью. Атаманом у вас будет Васька Ус.

В последнее время он был недоволен Ивашкой Черноярцем: тот был всё задумчив как-то и точно остыл в нём первый казачий порыв. И Ивашке это назначение атаманом Уса было теперь безразлично: его вся думка была позади, где в Ведерниковской осталась его любушка. И в душе он всё более и более склонялся к ней: бросить всю эту чепуху и уехать куда-нибудь в даль и зажить уж как следует, по-хорошему, как все.

И только было тронули казаки, что со Степаном на татар собрались, коней, как вдруг заметили в степи какого-то всадника, который скакал на уже вымотавшейся по невылазной грязи лошади вдоль берега:

— Да это казак... Гонец, должно, какой...— говорили казаки.— Надо обождать...

Казак привёз сразу две грамоты: одну от Дорошенка, который всё бунтовал против Москвы, поднимая против неё и турок, и крымчаков, а другую от Серка, атамана Запорожья, который ненавидел Дорошенка, но не очень был расположен и к Москве. И тот, и другой звали Степана на соединение с собой.

— Ну, мы и сами с усами...— проговорил только Степан, прочитав грамоты.— У нас с Москвой свои дела есть и в чужой след идти нам надобности нету...

И вместе со своими казаками он исчез в степи.

Васька Ус вышел на стругах в Волгу и обложил встревоженный Царицын. Унковский был недавно отозван в Москву. Там он пустил слух, что его Пелагею Мироновну похитили у него воры-казаки и бил челом великому государю на великих обидах и проторях своих: «Волею Божиею воры увели у меня женишку, и я человеченко одинокой...» Но царь был недоволен им и приказал ему ведать Панафидным приказом, самым бездоходным из всех, ибо «ведомо в том приказе было только поминание по умершим прежним великим князьям и царям российским, царицам, царевичам и царевнам, и которого дня должно по ком творить память в Москве и в других городах и в монастырях по церквям, указы посылаются из того приказа». И хотя тут под началом у бывшего воеводы было только несколько подьячих, он все же ходил грозой, постукивал подогом и всё грозил всех исподтиха вывести...

В Царицыне воеводой был теперь Тургенев. Прелестные письма, которые служилые люди перехватывали среди посадских чуть не ежедневно, говорили воеводе вполне ясно, что городку не удержаться. И действительно, не прошло и дня, как жители широко открыли казакам городские ворота, а воевода с немногими боярскими детьми, десятком стрельцов да тремя царицынскими жителями заперся в одной из башен: он знал, что сверху, от Самары, идёт на помощь ратная сила...

И вдруг по точно взъерошенному городку внешним вихрем пронеслось:

— Атаман из степи подходит!..

Действительно, атаман подошёл к Царицыну с многочисленным ясырем и конями, в которых так нуждались казаки. Попы встретили его с крестом и иконами, население ликовало, и за весёлой попойкой казаки шумно отпраздновали эту первую, важную и совершенно бескровную победу.

— Ну, а теперь, ребята, воеводу добывать!..— крикнул пьяный Степан.

Казаки разом ринулись на башню. Осаждённые стреляли. Казаки бревном высадили крепкую, окованную железом дверь. Зачастили пистолетные и пищальные выстрелы, застучали и залязгали сабли, нетерпеливые, яростные крики взвихрились над атакующей толпой. И недолго длился жаркий, но неравный бой. Уцелел только воевода, высокий, слегка сутулый старик с белой головой и печальными глазами — он хворал нутром,— да его молодой племянник. Воеводу связали. Ему плевали в глаза, били его по щекам, кололи ножами, а потом, накинув на шею грязную верёвку, его повели к Волге.

— Раздайсь, народ!..— кричали казаки.— Воевода идёт...

Пьяный галдёж... Короткий всплеск холодной и мутной воды, белая голова среди седых волн, крик о помощи, полный отчаяния, и всё кончилось...

Один из приказных, чтобы вымолить себе жизнь, донёс Степану, что сверху с часу на час ожидается ратная сила. Атаман сразу собрал разгулявшихся было казаков и двинул их вверх по Волге, туда, где — в семи верстах от Царицына — лежит небольшой остров Де-нежкин. Конницу оставил он на правом берегу, сам занял левый, а часть казаков залегла по кустам на острове. Стрельцы пошли правым протоком и наткнулись на конных запорожцев,— конные были почти все из черкасцев,— сунулись в левый проток, напоролись на Степана. И была их засада и с острова. Часть стрельцов

в панике побежала назад, а часть с великим усилием и потерями пробилась к Царицыну, чтобы укрыться за его стенами. Они пробились, но Царицын встретил их пальбой из пушек. Человек пятьсот погибло, а человек триста перешло — без большого, однако, восторга — на сторону казаков. Всё начальство стрелецкое было враз истреблено...

Степан сразу заметил хмурые настроения верховых стрельцов. Он обласкал их, наградил и успокоил:

— Вы бились за изменников бояр, которые вас обманули, а я со своими казаками иду за великого государя. Кто идёт против меня, тот изменник великому государю...

Стрельцы сделали вид, что повеселели.

Победители решили укрепиться в Царицыне покрепче. Казаки построили новый острог, навезли в крепость всяких запасов с остановленных на Волге караванов, а попутно ввели в городе казацкое устройство: всеми делами должен был ведать отныне круг, а жители для удобства управления были разбиты на десятки и сотни. Главою власти исполнительной стал не воевода уже, а выборный городской атаман. Выбрали Ивашку Черноярца, но тот, помня своего старца, стал отказываться. Но когда узнал он, что казаки прежде всего грянут на Астрахань, тогда, наоборот, он стал домогаться, чтоб остаться в Царицыне, чтобы быть тут вместе со своей Пелагеей Мироновной. Степан хмурился. Он понимал, что у Ивашки есть какие-то свои цели, и это было ему противно: он ценил только тех людей, которые выполняли его, Степана, цели... И на первом же кругу Степан подтвердил своё решение: воевод из городов выводить и идти на Москву против бояр.

И первый удар вольницы из Царицына пришёлся по соседнему Камышину: часть казаков, одевшись на московский манер, подступила со степи к городку под видом помощи, присланной из Москвы. Им открыли ворота. На ночь они стали караулом по стенам, и по выстрелу из пушки казаки, бывшие в засаде, заняли город,

воеводу и всех приказных утопили и ввели и здесь казачий строй.

В Астрахани началась паника. Богомольный воевода князь Прозоровский, узнав, что сообщение с верховными городами совершенно прервано, растерялся. Хотя ратной силы в Астрахани было и достаточно, но настроение посадских и чёрных людей его чрезвычайно смущало. Появились какие-то молодчики в одной тоненькой рубашечке да в нанковом кафтане нараспашечку, которые по городу шибко-щепетно похаживали, астраханским купчишкам не кланялись, господам да боярам челом не били. Молодчиков хватали, пытали, замучивали до смерти — тогда появлялись другие молодчики. И зловеще всё толковали о чём-то по углам улиц посадские. И никак нельзя было дать знать в Москву: в прилегающих степях, пользуясь чудесной весенней погодой, чёрные калмыки резались с калмыками волжскими, Большой Ногай с Малым, а татары-малыбаши с татарами-енбулаками. Отправил воевода гонца через Терек, в объезд, но скоро оттуда пришла весть, что гонца сторонники Разина утопили в Тереке...

Ещё в половине апреля Прозоровский отправил против Разина восемьсот человек русско-татарской конницы, но потом сообразил, что этого мало, и на сорока стругах отправил водой ещё тысячи три стрельцов, а во главе их поставил старого дружка Степана, князя С. И. Львова. Перед отправкой флотилии был торжественный молебен, а после ещё более торжественное повешение перед всем войском одного из тайных дружков Разина, из «молодчиков в нанковом кафтане нараспашечку». Молодчик предварительно был палачом Ларкой так истерзан, что на него даже привычным людям было страшно смотреть...

Узнав о выступлении астраханцев, Степан посадил свое войско — у него было уже больше десяти тысяч человек — на суда и отправился навстречу своему другу. Конница, под командой Васьки Уса и молчаливого Ерика, шла нагорным берегом. Ниже Царицына кавалерия

наткнулась на высоком бугре — чтобы отовсюду было видно — на большую виселицу, построенную специально для воровских казаков. Под ней валялись перепревшие верёвки и отбеленные дождем и солнцем человеческие кости и черепа. Казаки сразу взялись было валить виселицу, но Васька остановил:

— Не замай: про воевод пригодится...

Встреча вооружённых сил произошла под Чёрным Яром. Как только подошли казацкие струги поближе к притихшим стругам стрелецким, так вдруг царское войско грянуло:

— Здравствуй, батюшка наш, смиритель всех наших лиходеев!..

И — начали стрельцы вязать своих начальников.

— Здорово, ребятушки!..— прокатился над взбаламученной Волгой сильный голос Степанов.— Мстите теперь над мучителями вашими,— они хуже турок и татар в неволе вас держали. Я всем вам принес волю... Вы мне как братья, и, если будете верны мне, я дам вам не только волю, но и богатство.

Струги ревели восторженным рёвом. Стрелецкие головы, полуголовы, сотники и все дворяне были перебиты,— только князь С. И. Львов остался жив: Степан не забыл старую хлеб-соль, хотя никак не мог простить ему той шубы.

— Ну, а как там у вас в Астрахани? — много раз спрашивали казаки.— Будут ли астраханские люди против нас драться?

— Полно, что ты!..— уверенно отвечали стрельцы.— Ждут не дождутся!..

Все, радостно оживленные, хлопотали около костров, готовя добрую пирушку. Князь С. И. Львов пировал с атаманом. Казачья старшина посмеивалась над воеводой царским и над храброй дружиной его. Князь отшучивался.

Радостным громом прокатилась по всему низовью весть о новой, блистательной и почти бескровной, победе казаков. Ликовал Царицын, ликовал Чёрный Яр,

ликовал Камышин, ликовала Астрахань и каспийские крепостцы, ликовал Дон и Терек. Точно огонь бежал по сухой степи и зажигал сердца человеческие сладчайшими предвкушениями. Но были и такие, которые не ликовали. Не ликовал Ивашка Черноярец, который жил теперь в воеводских хоромы в Царицыне и тревожно поджидал с Дона свою милую, за которой он послал отсюда подводу с верным человеком. Как-то проберётся она? С молодой бабой всё в пути быть может. И при этой мысли что-то жгучее щипало его сердце... Не ликовал Васька-сокольник, оставшийся в числе нескольких сот в гарнизоне Царицына. Он всё тосковал по милой Гомартадж и тяготился этой бурной и кровавой жизнью. Не того искал он в вольных степях! Да, его изобидели, и не по правде, зря, и закипала в нём при этом воспоминании вся кровь, но у него как-то не было аппетита к мести — не стоит с чертями связываться, — и хотелось бы ему только воли в степи зелёной да покой. И часто, задумавшись, видел он привычное: степь цветущую, и неведомо куда бегущую путь-дороженьку, и одинокую берёзку при ней. Но песни новые как-то не слагались. А по ночам часто видел он во сне, как он выезжает из Москвы на потеху кречетью, и чувствовал на руке своей тяжёлого Батыя, и тот сердился и кричал и махал крыльями, и Васька, смеясь, отворачивал в сторону лицо своё и ласково уговаривал кречета потерпеть... И Васька не знал, что делать, куда идти: слишком уж много дорог было в степи безбрежной! Казаки, видя, что Васька «что-то зачичеревел» и не поёт, приставали к нему со своим дурацким:

Васька гога,
Загнул ногу
Выше печи,
Перепечи!..

Но Васька только головой досадливо отмахивался...

Не ликовал и отец Арон. Страшный, распухший, он уже совсем не вставал со своей грязной постели, не мог

даже пить вина и только всё мучительно лиховался. В голове его становилось всё воздушнее, как говорил он, а в грудях всё более и более заливало, и часто в смертной истоме с синих губ его срывалось: «Господи, хоть бы конец!..» Но тотчас же, как его отпускало, он точно спохватывался и этим новым, точно пустым голосом повторял упрямо:

— Несть Бог!..

Других страдания приводят к религии, но его именно мучения его и убеждали более всего в его страшной правде: на что же Бог, если Он, неведомо зачем, такое допускает? И было ему странно: в душе его была злоба, направленная на что-то, как бы существующее, ибо на что же направлялась, чем вызывалась эта тупая злоба?

Но он упрямо встряхивал своей грязной, вшивой, седой головой и повторял: — Несть Бог...

XXI. «ЗА ЗДРАВЬЕ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ!»

Пёстрая, знойная, шумная Астрахань, пахнувшая пылью, рыбой и сетями, переживала жуткие дни. Сверху по Волге плыли уже не только зловещие слухи, но часто и распухшие трупы служилых людей, и вороны постоянно кружились теперь над отмелями. Вся жизнь окрашивалась в жуткие, мистические тона, и люди начали видеть, слышать и чувствовать то, чего раньше они не видели, не слышали, не замечали, и во всех этих новых явлениях, часто придуманных, они видели «знамения». То был таким знамением подземный толчок, от которого задрожали хоромы и куры попадали с нашествий, то в церкви Рождества Богородицы слышался какой-то зык колокольный, а через несколько дней прохожие подолгу застаивались, слушая какие-то странные шумы в церкви Воздвижения, и лица их были бледны, и в глазах стояла жуть. А там перед рассветом караульные стрельцы видели с городских стен, как небо над городом аки бы растворилось и на город посыпались искры аки бы

из печи. Прошёл град и стало так холодно, что все надевали — в июне — шубы... И все опасались, вздыхали, ахали и, помавая главами, говорили:

— Неложно, вольный свет переменяется... Быть чему-то недоброму!

И митрополит астраханский Иосиф, толстый седой старец с трясущейся головой — в детстве его ударили по голове буйствовавшие тогда в Астрахани казаки Заруцкого, и голова его с тех пор всегда тряслась — и с заплывшими голубыми глазками, всё сходилась с дружкой своим, воеводой Прозоровским и, истолковывая все эти знамения, предрекал:

— Беда, княже, беда!.. Изольется на нас фиал гнева Божия...

И князь хмыкал носом от своей вечной насмоги, возводил к небу свои водянистые глаза и воздыхал благочестиво:

— Господи, на Тебя единого надежа!.. Укрепи, Господи, град наш...

И его уши как-то жалостно оттопыривались.

Были знамения и другого порядка: появлялись все добры молодцы среди народа и даже смиренные посадские почали говорить всякие смутные воровские слова, немецкий экипаж первого русского военного корабля «Орёл», который был построен по мысли А. Л. Ордын-Нащокина в Деднове на Оке и теперь стоял в Астрахани, бежал тайком на лодках в Персию, за ними торопливо откочевал от стен Астрахани со своими улусными людьми Ямгурчей, мурза Малого Ногая, открыто возмущались стрельцы конные и пешие, требуя жалованья, которое не могло быть вовремя доставлено из Москвы.

— До сей поры казны государевой ко мне не прислано...— говорил воевода, шмыгая носом.— Но я и митрополит соберём вам всё, что можем. И Троицкий монастырь поможет вам. Только вы уж не попустите взять нас богоотступникам и изменникам, не сдавайтесь, братья, на его прелестные речи, но поборайте доблественно против его воровской силы, стойте за

Дом Пресвятой Богородицы... И будет вам милость от великого государя, какая и на ум вам не взойдёт!..

— Во, это в самый раз!..— сказал вполголоса Тимошка Безногий, бывший стрелец государев, который потерял ноги в бою с ногаями и, лишенный благодаря увечью и неспособности к службе своего участка в стрелецких землях, главного обеспечения своего, стал бездомным нищим.— Вот оно, государево жалованье-то!..

И он поднял свои неуклюжие костыли.

Стрельцы возбуждённо галдели. Над сверкающей Волгой всё кружилось вороньё. И стояла над всем городом какая-то особенная, зловещая тишина. Стрельцам тут же собрали более трёх тысяч, и они обещались верой и правдой служить великому государю и дому Пресвятой Богородицы, а пока шумно разошлись по кружалам и весёлым женкам. И лукаво подмигивали один другому. И заиграли нестройно и загрели по кружалам гусли, гудки, сурьмы, сопели, домры, волюнки, барабаны, и среди тишины точно затаившегося города было в этих звуках пьяной музыки что-то жуткое...

И вдруг на воеводский двор прибежали рыбаки:

— Стенька стал станом на Жареных Буграх!..

Не успели их опросить как следует, как явились от Степана к воеводе послы: поп астраханской Воздвиженской церкви, отец Силантий, который был при отряде князя С. И. Львова, и слуга Львова, Петюк:

— Так что атаман требоваит сдать город...

Их схватили и, конечно, пытали. Отец Силантий, тщедушный, рыженький, с красным носиком пуговкой, показал, что у Степана войска поболее восьми тысяч,— за это попа посадили в башню. Петюк же не проронил ни слова и был за это повешен. И тотчас же митрополит Иосиф, бледный, потный, с встревоженными голубыми глазками, устроил крестный ход вокруг всей городской стены, причём у каждых ворот останавливались и служили молебен: «Скорая помощница, к Тебе прибегааа-аем...» Конечно, все усердно молились — даже те, которые ждали казаков с нетерпением: молитва никогда не мешает...

Тотчас после молебна князь Прозоровский развёл по бойницам и стрельницам стрельцов, при пушках, — а их было по стенам четыреста шестьдесят, — поставил пушкарей и затинщиков при затинных пищалах, а при воротах — воротных. Работные люди усердно заваливали кирпичом ворота. Все посадские, по тогдашнему обычаю, вышли на стены: кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или бердышом, а кто с колом или же камнями. И задымились жаркие костры, на которых готовился для осаждающих вар.

Прибежали лазутчики: Стенька сошёл с Жареных Бугров, посадил своих воров в струги, поплыл по Болдинскому протоку, что обтекает Астрахань с востока, потом вошёл в проток Черепаху, а затем в речку Кривушу, что течёт с юга от города: здесь были виноградники и отсюда подступ к стене был самый удобный. Митрополит сейчас же приказал копать ров от своих прудов, — а какие в них караси водились!.. — чтобы затопить эти виноградники. А пока он хлопотал так около прудов, тезики (персы) привели к воеводе двух нищих: Тимошку Безногого и Юрку Заливая. Персидские гости организовали на свой счёт конный отряд для защиты города. Их всадники и изловили этих нищих, которые отлучились из города, неизвестно куда, ещё до того, как были завалены крепостные ворота, а теперь вот, неизвестно как, снова появились в городе. Нищих сразу поднял Ларка-палач на дыбу и изорвал их плетями, и в невероятных муках Пыточной башни они сказали, что они похвалились Стеньке зажечь город в приступное время. И старого безногого стрельца Тишку удавили на виселице, а рядом с ним повис и Юрка, человек неизвестного рода-племени.

После казни к воеводе подошёл Бутлер, немчин, командир «Орла», и сообщил, что ему на корабль неизвестная рука подбросила письмо на немецком языке: воры грозили ему рассчитаться с ним по-своему, если только его немцы будут принимать участие в боях против казаков. Воевода — он всё возводил глаза к

небу — совсем растерялся: враг был не только под стенами, но и в стенах.

— Господи, на Тебя единого вся моя и надежда...— поднял он опять свои водянистые глаза в небо.— Спаси и заступи...

— Та, но...— сказал Бутлер с сильным немецким акцентом.— Но фсё же нато забретить рипакам разъезжать по Фолге. И татарский слаботка сжигайть нато, штоп казакам не пыло кте укривайт...

— О?!. А и впрямь!.. Вот мозговитый немчин...

И воевода приказал немедленно запалить татарскую слободу и не велел рыбакам выезжать из города под страхом батогов, а то и смерти. И, собрав на митрополичьем дворе стрелецких начальников и лучших людей города, воевода выслал митрополита увещевать их стоять за Дом Пресвятой Богородицы накрепко.

— Рады служить великому государю верой и правдою, не щадя живота даже до смерти...— сказал стрелецкий голова Иван Красуля.— Ничего не опасайтесь...

Иван Красуля, сорокалетний рослый красавец, был упорным раскольников, ненавидел Москву и уже давно был в тайных сношениях со Степаном.

Было 21-е июня. Из раскалённой степи несло жаром, как из печи, хотя день склонялся уже к вечеру. Волга и все бесчисленные протоки её пылали пожаром... И вдруг крепостные звонницы завывли страшным набатом: воровские казаки, перебравшись через затопленные митрополитом виноградники, шли с лестницами на приступ. Степан с есаулами поднялся на небольшой песчаный холм. Слева сияла золотом и багрянцем Волга. Вспомнился вдруг такой же вот тихий вечер, когда так же вот пылала река, а среди нее билась в агонии красавица Гомартадж. Сердце сжалось на мгновение, но он только нахмурил свои густые брови и крикнул пробиравшимся по виноградникам казакам:

— Не торопись, не нажимай!.. И в кучи не собирайся — врозь бреди, лавой, по-казачьи...

Звонницы выли. На стенах шла суета, а за стенами, в городе, слышны были резкие звуки труб и глухое уха-

ные тулумбасов¹. Князь Иван Семёнович, воевода, надел панцирь, шлем-ерихонку,— уши его оттопырились ещё более в этом блестящем воинском доспехе,— опоясал саблю и взгромоздился на своего боевого, пышно убранного коня. Стрелецкие головы, дворяне и дети боярские с подъячими окружили его.

— Откуда идут? — спросил он.

— С виноградников... К Вознесенским воротам...

— С Богом...

И под страшный вой звонниц, под звуки труб и тулумбасов, плач детей, причитание женщин и тревожное карканье воронья старый воевода говорил:

— Дерзайте, дети и братья, дерзайте мужественно!.. Ныне пришло время благоприятное пострадать за великого государя доблественно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великой награды за малое терпение. Надейтесь крепко на блаженство со всеми святыми, пострадайте с нами сию ночь, не сдавайтесь на прельщения богоотступника Стеньки!..

Быстро смеркалось. Казаки стягивались к Вознесенским воротам. Но это был только отвод глаз, чтобы отвлечь сюда все силы осаждённых: пользуясь темнотой, в других местах казаки уже лезли на четырёхсаженные стены. Ни стрельцы, ни посадские не дали по ним и выстрела, но, наоборот, радостно втягивали их за руки на стены. И вдруг загрохотали пушки: то пушкарь Томило с товарищами открыл по ворах огонь из подошевных бёев. Но огонь не причинил казакам никакого вреда, благодаря их наступлению лавой и темноте. Всё, что могло, бросилось на эту сторону. Но было уже поздно: пушки Томилы смолкли, воры были в городе и вдруг в тревожной тьме, под звёздами, грянули раз за разом пять пушечных выстрелов: то был казачий «ясак на сдачу». Всё было кончено...

Чёрные люди и стрельцы с злорадными криками бросились с ножами, топорами, кольями и пищалями

¹Тулумбас — большой турецкий барабан.

на дворян, детей боярских, пушкарей и приказных. Брат воеводы, Михайла Семёныч, свалился под стену от самопального выстрела. Сам воевода получил удар копьем в живот. Кто-то из его старых холопей пробился с ним каким-то чудом через торжествующие и озлобленные толпы к соборной церкви и положил его там на ковре. В храме было уже много приказного люда, дворян, торговых людей с их сдобными половинами, бледных матерей с детьми, девушек, которые дрожали за свою судьбу. Весь точно развинтившийся митрополит Иосиф в слезах утешал своего друга, воеводу, уверяя его в будущем райском блаженстве. А у запертой железной решётки у входа стоял пятидесятник конных стрельцов Флор Дура и окровавленным ножом один отбивался от наседавших казаков...

Занималось солнечное утро...

Чёрные люди и стрельцы, раскидав кирпич в Пречистенных воротах, вырубili в них топорами проход — ключи от крепостных ворот хранились по обычаю у воеводы,— и казаки входили в город через эту калитку, а с другой стороны крепости через Житный двор. Часть их бросилась к собору и, проткнув пикой Фрола, стала палить в церковь. Одна пуля угодила в переносье полуторагодовалой девочки, которую мать держала на руках, а другая потрофила в икону. Раздались крики ужаса и плач. Выломав решётку, казаки бросились на беззащитную толпу. Они вязали всех подряд — надобности в этом никакой не было, но надо было показать себе и людям свое усердие,— и, выведя из храма, сажали в ряд под стенами колокольни в ожидании суда атамана. В другом месте казаки ожесточённо атаковали небольшой отряд стрельцов под командой капитана Видероса, того самого аккуратного немчина, который некогда являлся в Царицын послом воеводы астраханского к Степану. Последним выстрелом капитан Видерос убил того долговязого, белокурого поляка, который бежал от польских панов, чтобы наткнуться на Дону на глухую вражду Серёжки Кривого. Поляк с разбитым черепом ткнулся носом в

горячую пыль, а стрельцы вдруг бросились на своего командира, изрубили его в куски и вместе с разиновцами бросились на грабёж. Особенно жаркая схватка происходила около Пыточной башни, в которой заперлись черкесы князя Каспулата Муцаловича. У них давно уже вышел свинец, и они заряжали ружья деньгами и палили. Но озлобление толпы — во главе её был рябой Чикмаз, иступлённый и дикий, и палач Ларка, старавшийся загладить свои грехи перед ворами, которых он переказнил немало,— ослепило её, и она как бешеная лезла к башне. Наконец, выбившись из сил, с кинжалами и саблями в руках, черкесы бежали из башни и все погибли... А на площади, перед Приказной избой, полыхал огромный огонь: то горели всякие дела, вытащенные из приказов. И вокруг огня радостно бесновалась толпа: теперь конец проклятой бумаге, конец ненавистному гнёту приказных кровопийц!..

Около восьми утра к соборной церкви подъехал атаман со своими есаулами. Все они были уже пьяны. За метив раненого воеводу, который лежал, закрыв глаза, под раскатом¹ на окровавленном ковре, Степан приказал ему встать и следовать за ним на раскат. Воевода едва передвигал ноги, и по грязной каменной лестнице за ним тянулся мелкими красными бусинками кровавый след. Степан поддерживал его под руку. И все снизу, задрав головы, смотрели, что будет дальше.

Они остановились под колоколами, в пролёте, откуда открывался такой широкий вид на рукава Волги и степь.

— Ну, старый хрыч, что скажешь теперь?..— сказал Степан.— Присягай казачеству, тогда оставлю в живых...

Теряя последние силы, князь отрицательно покачал своей ушастой головой. Степан вспыхнул и толкнул его с колокольни. Вся площадь ахнула в ужасе: грузный воевода мелькнул в воздухе и разбился о камни.

Степан спустился вниз. Его ноздри раздувались и глаза горели мрачным огнём. Вспыхнуло в душе видение

¹Раскат — колокольня, крепостная стена.

полей далекой Польши и эта виселица, на которой качался, неподвижный и длинный, его брат. Вспомнилась вся неправда, что видел он по Руси. Он мрачно оглядел своих пленников.

— Кончай всех!..— крикнул он пьяно.

Казаки и работные люди бросились на связанных, и среди криков ужаса, ругани бесстыдной, воплей, заработали сабли, бердыши и копыя. Хрустели кости, текла кровь по жарким камням, глаза выходили из орбит...

По всему городу шёл грабёж. Грабили дворы зажиточных людей, двор воеводы, церкви и торговые дворы: русский, персидский, индийский, бухарский. Хозяева-иноземцы и их приказчики были почти все перебиты. И в то время, как телеги с красными от крови колесами свозили награбленное добро в Ямгурчеев городок, в татарскую слободу, для дувана, другие телеги, навстречу, свозили тела убитых в Троицкий монастырь, где уже рылась одна огромная братская могила.

— Да это воевода...— смутился было возчик, сваливая у ямы свою страшную очередную кладь.

— Дык што ж что воевода?..— осклабился рябой Чикмаз, проявивший всю эту ночь и весь день прямо какую-то дьявольскую энергию.— У нас, брат, все одинаковые. Только вот разуть его милость надо — гожи сапожки-то, сафьяновые... А кафтан очень уж в крови, не гожается...

И тучный воевода, князь Иван Семёнович Прозоровский, без сапог, нескладно размахивая руками и ногами, грузно свалился в яму, на кучу перепутавшихся окровавленных тел, над которыми оживлённо кружились уже металлически-синие мухи.

Степан пировал. То и дело голытьба приводила к нему изловленных врагов народных, и он только рукой отмахивался: на тот свет!.. Привели и двух немчинов: Бутлера, командира «Орла», и немца-хирурга.

— А ты что, сражался против казаков? — строго спросил он Бутлера.

У того просто язык отнялся: он смотрел в упор на дикое, пьяное лицо атамана и не мог выговорить ни слова.

— Осатанел? — засмеялся Степан громко, довольный, что он производит такое впечатление.— Подайте ему добрый стакан водки, авось очухается... А ты, жи-водер,— обратился он к хирургу,— иди лечи моих раненых... И ты иди на «Орёл»... Немцы они дошлые, пригодятся...— пояснил он своим собутыльникам.— Ну, не отвешивайте...

А по взбудораженному городу уже ездили бирючи, объявляя, что в Астрахани вводится казачье устройство и чтобы весь народ сейчас же выходил на берег выбирать должностных лиц и принести крестное целование на верность новому порядку. Грабёж продолжался, во всех кружалах звенели гусли, свистели дудки и сопели, разливались волюнки, стучали барабаны, дикие крики ошалелых от бессонной ночи, крови и вина людей, где-то горело, вороньё испуганно кружилось над городом, и среди невообразимого смятения, одни испуганно, другие радостно, астраханцы стягивались на берег. Торжественно верхами приехала вся — пьяная — старшина казачья. Атаманом городовым по крику казаков сразу был выбран Васька Ус,— несогласных не оказалось,— недолго канителились и с выбором других должностных лиц. А потом началась присяга великому государю и его атаману Степану Тимофеевичу и чтобы войску казацкому прямить и всякую измену выводить. В таборе Разина уже были свои «попы со кресты», которые служили, когда нужно молебны, отпевали мёртвых и прочее, но, чтобы дело шло поскорее, привлекли и попов городских. Один из них, только что освобождённый казак из башни, рыженький отец Силантий, замялся было: в делах веры попик был щекотлив. Но новый порядок для укрепления своего требовал прежде всего суровой дисциплины, и по знаку Васьки Уса казаки схватили тощего попаика и со смехом, раскачав, бросили его в Волгу...

Пока шло крестное целование, с кружал на телегах доставлены были бочки с вином. Целовальники, втайне обмирая, кричали, чтобы все подходили выпить... И

вдруг на одной из телег выросла сильная фигура Степана. Он поднял руку. Возбужденный галдёж многотысячной толпы сразу спал. И Степан высоко поднял золочёный кубок и громко во весь голос грянул:

— За здравие великого государя!..

Толпа, яркая, многоцветная, восторженно заревела.

Степан одним духом опорожнил кубок и швырнул его в волны.

Толпа ревела...

Васька Ус опустил глаза: он был смешлив...

XXII. НОВАЯ ВЛАСТЬ

Прошёл шумный и богатый дуван. Было много крика, ссор и даже драк. Началось беспробудное пьянство... Несмотря на нестерпимую жару — степь точно горела, — Степан со своими есаулами и другой старшиной в богатых нарядах, на прекрасных конях ездил по городу и отдавал черни на муки всех тех, кто ей был неугоден, иногда потому, что в самом деле люди эти вредили в своё время беднякам, иногда и просто так. И людей резали, «сажали в воду», — то есть топили, — а иногда рубили им руки или ноги и так, обрубками, пускали их ползать на потеху пьяной от воли, водки и крови толпе. И новоявленные казаки, астраханские, посадские, свирепствовали много более казаков природных, сердце которых до некоторой степени привыкло уже к воле, уже насытилось местью и искало более всего благ материальных. Новички казаки не уставали требовать крови, а их жёны, бабы посадские, изводили жён убитых служилых и дворян «ругающе всячески и называюще изменничьими жёнами». И чтобы спасти себя, детей, близких, часто эти вдовы выходили поскорее замуж за казаков. Венчали, впрочем, не только вдов, но иногда и от живых мужей, как это было с женой приказного Алексеева, которая вышла замуж за какого-то казанца. А когда попы отказывались венчать такие пары,

то их незамедлительно топили. Но всех лучше отличился новый астраханский воевода Васька Ус: он женился на вдове очень богатого гостя, за которой взял велико-
лепное приданое.

Очень неистовствовали астраханцы против тезиков, то есть персов: им было невыносимо, что те позволили себе вмешаться в народное дело и выставили отряд конницы, который столько напортил повстанцам и которому толпа приписывала гибель Тимошки Безногого и Юрки Заливая. Да и вопче нехристи, сволочь... И толпа разнесла персидское посольство, перебила посольских и торжественно, с улюлюканьем и свистом, сожгла все посольские бумаги. А самого посла, толстого, сонного человека с короткой чёрной бородой, густой, как щётка, и носом в виде сливы, толпа привела к Степану. Степан — он был пьян — сам повёл перса на раскат.

— Что, бросать нас хочишь? — невозмутимо спросил перс, точно дело это до него нисколько не касалось. — Зачим? У нас, в Иран, много русски ясырь. Лутче меняй народ туда-сюда...

«А и в самом деле... — одумался Степан. — Ежели своих ослобонить из плена, какая слава про казаков пойдёт!»

Постояв с невозмутимым персом на раскате, Степан спустился с ним вниз, к очень разочарованной толпе, которая уже сладко предвкушала полет толстого тезика с раската.

— Ну вот, я попугал, ребята, тезика накрепко... — крикнул Степан. — А теперь мы его в Персию пошлем, на наших обменяем, которых они там в неволе держат... И больше тезиков не трогайте: все на обмен пойдут... Что же, не давать же душам христианским погибать в неволе у неверных?... Не по-казацки это будет...

— Пррравильна!.. — закричали пьяные голоса. — Вот так да... Ай да атаман!.. А мы припасли было тебе ещё одного для раската... Во, гляди...

Перед Степаном, оборванный и окровавленный, стоял, с ненавистью глядя на него исподлобья своими

прелестными чёрными глазами, Шабынь-Дебей, брат несчастной Гомартадж, так на неё похожий. Сердце шевельнулось жалостью. Но не должны думать казаки, что им могут руководить какие-то личные привязанности и соображения. И каким волчонком смотрит!.. И он крикнул:

— Этот наших под Свиным островом много побил... на крюк под ребро и на стену!..

Толпа с рёвом и свистом поволокла Шабынь-Дебея на стену, и Ларка — он был неутомим, этот щуплый парень с бегающими глазами,— принёс бегом из Пыточной башни железный крюк на верёвке. Через несколько минут Шабынь-Дебей, стиснув зубы и закатив глаза, уже висел со стены на этом крюке, поддетым под рёбра. Кровь быстро, капля за каплей, падала вниз на привядшую от жары и запылённую траву...

А Степан уже сидел со своими в ближайшем кружале и «поддавал на каменку» ещё и ещё. Теснота, вонь и гвалт кружала никого не стесняли. За одним из столов казаки грохотали, слушая неимоверную похабщину, которую нёс, по обыкновению, Трошка Балала; там двое, обнявшись, налаживали песню, и всё сбивались, и всё укоряли один другого в неумении петь; а там дальше остервенелось дулись в засаленные карты, стучали кулаками по столу и свирепо матерщинничали. За соседним с атаманским столом пили выпущенные из тюрьмы сидельцы. Степан и старшины, смеясь, прислушивались к их рассказам.

— Ещё летось были мы все у Антошки Плотникова на беседе и напились все покуда некуда...— весело кричал один посадский, бородатый, развертистый мужик с хитрыми глазами, очень довольный, что его слушает сам атаман.— И учал меня Сенька, сторож тюремный, с пьяных глаз лаять. А я ему и молил: мужик-де, про что меня лаешь? Бороду я тебе за это выдеру... А он, Сенька, и говорит: не дери-де, моей бороды, потому мужик-де, я государев и борода моя государева... А как на грех приказный тут подвернись, крапивное семя: как

это ты-де, мужик, такие неподобные слова про государя выражаешь? А? У тебя борода государева?.. Ну и поволокли нас обоих на съезжую да на кобылу и давай драть, давай... Вот тебе и борода государева!..

Все задрожало раскатистым хохотом.

— Нет, это что, твоя борода государева!..— вмешался Петрушка Резанов, тоже осторожный сиделец, с низким лбом и очень редкой бородёнкой и усами.— Вот у нас в Самаре так случай был!.. Сидел я как-то при съезжей, в тюрьге: повздорил со стрельцом Федышкой Калашниковым да по пьяной лавочке как-то и уходил его ножом на тот свет. Вот и посадили... И вдруг, братцы вы мои, входит это Ивашка Распопин, стрелец, тоже пьяный, и давай меня вязать и всякою неподобною лаею лаять. А я ему и говорю: пошто меня лаешь? Я-де буду на тебя государю челом бить. А он, Ивашка-то поднёс мне к самому носу дулю да и молыл: вот-де, тебе и с государем твоим!..

Все захохотали.

— Да нет, погоди!..— остановил Петрушка.— Это только присказка, а сказка будет впереди... Ну, послали это приказные дело наше в Москву разбирать, и вот приходит, братцы, оттедова решение: бить Федышку Калашникова батоги нещадно...

— Как Федышку?!— загрохотали все.— Мёртвого?!

— Да...— захохотал и Петрушка.— В Москву пошло ведь два дела: одно об смертоубийстве мною Федышки, а другое об том, что мы с Ивашкой Распопиным в сваре царя негоже задели, а дьяк спьяну, зная, перепутал всё в одно и присудил всыпать Федышке мёртвому батогов!..

— Ну, и что же?..— заинтересовался Степан.

— Да уж не знаю, атаман, вырывали они Федышку из могилы, чтобы драть, али нет, ну только наше дело насчёт дули его царскому величеству на том и заглохло...

Все хохотали.

— Насчёт царя и у нас в Астрахани большая строгость была...— начал один с горбоносым, точно верблюжьим

лицом.— О Святой поругался у нас сынчишко боярский, Иван Пашков по прозванию,— его третьевось в погребе казаки придушили, за бочкой спрятался,— поругался с Нежданом, дьячком церкви Афанасия и Кирилла. Пашков и кричит дьячку: что я-де с тобой растабарывать буду?.. Чей-де ты?.. А дьячок, не будь дурак, и говорит: я-де Афанасия да Кирилла церковный дьячок... А ты-то вот чей? А Пашков кричит: а я-де холоп государев, а наш-де государь повыше твоего Афанасия да Кириллы будет!.. А дьячок ему напротив того: государь-де хошь и земной бог, а все же Афанасию да Кириллу молится... Разобиделся мой Иван на это слово да в драку... И здорово пощипались... И пошло это дело в Москву, братцы мои, а оттуда вышло решение: боярского сына бить ба-тоги, потому брагу пей, а слов таких не выражай, а дьячка бить — потому ж...

И опять все захохотало.

И вдруг Степан, весь красный, с посоловевшими уже глазами, треснул своим огромным кулаком по столу. Сразу всё смолкло. И он пьяно крикнул:

— Раньше они нас судили,— он завязал непотребное ругательство,— а теперь мы их судить будем! Ты, есаул, возьми с собой двух казаков при оружии и иди на митрополичий двор — там у старого чёрта, митрополита, вдова воеводы скрывается с двумя в...ками своими. Так ты возьми старшего и веди сюды... Живво!..

Есаул — то был Федька Шелудяк, мозглявый, но злой мужичонка с лысой головой, всегда покрытой какими-то болячками,— с двумя казаками вышел тотчас же на жаркую и пыльную улицу. В кружале продолжалась шумная попойка. Питухи старались превзойти один другого в молодечестве, жестокости и всяческом непотребстве и были довольны, что подвиги их видит сам атаман. Хмель всё сильнее туманил казацкие головы, и что-то тёмное и зловещее бродило и нарастало в царёвом кабаке.

— А вот они... Наше вам!..

В кружало в сопровождении Федьки Шелудяка и казаков вошёл молодой Прозоровский. Его простоватое

лицо и оттопыренные уши очень напоминали отца. Он нерешительно оглянулся вокруг.

— Подойди сюда и держи мне ответ!..— строго крикнул Степан.— Говори: куды девал твой отец таможенные деньги, которые собирал он с торговых людей? Мне сказывали, что он завладел ими и промыслял на них...

— Никогда мой отец этими деньгами не корыстовался...— ломающимся голосом, краснея, сказал юноша.— Эти деньги собирались всегда таможенным головой, а он сдавал их в казённую палату, а принимал их подъячий денежного стола Алексеев с товарищи. Все эти деньги пошли на жалованье служилым людям: из Москвы давно присылу не было...

— Позвать сюда подьячего!..— крикнул Степан.— А ты постой...

Через некоторое время привели Алексеева, на молодой и миловидной жене которого только что повенчался один из казаков. Алексееву было лет тридцать. Это был невысокого роста человек с серыми мечтательными глазами, теперь бледный и запуганный. Слабым голосом, испуганно оглядываясь вокруг, Алексеев подтвердил всё, что сказал княжич Борис.

— А где ваши животы? — строго спросил Степан юношу.

— Животы наши твои люди пограбили...— сдвинув в усилия, чтобы не струсить, брови, отвечал Борис.— Их все свезли по твоему приказанию в Ямгурчеев городок на дуван...

Степану не понравилась «гордость» юноши.

— Крюк под ребро!..— скомандовал он.— Так рядом с персюком пусть и повесят... А мне подайте сюда меньшого щенка...

Пьяные казаки одни повели Бориса к Ларке, а другие опять бросились на митрополичий двор. Они вырвали восьмилетнего Мишу из рук обезумевшей матери и повели его в кружало. Степан оглядел миловидного перепуганного ребенка.

— Повесить за ноги рядом с братом...— решил он так уверенно, что всем стало совершенно ясно, что одного, действительно, надо было повесить под ребро, а другого за ноги.— И подячего на крюк!..

Ларка с величайшим усердием выполнил возложенное на него поручение. Рядом с истекающим кровью Шабынь-Дебеем повис Борис, потом Алексеев, а рядом с Алексеевым, головой вниз, висел меньший из братьев. Шитый подол его светлой рубашечки прикрывал его надувшееся и обезображенное от прилива крови личико... Вороны перелетывали по зубцам стены и с любопытством присматривались к операциям Ларки.

Попойка продолжалась...

А наутро — 12-го июля — Степан с есаулами в дорогих кафтанах, при оружии направились верхами в собор: был день тезоименитства царевича Феодора Алексеевича, и Степан со старшиной решил отметить его празднованием. И никто толком не понимал, морочит ли Степан народу голову или делает всё это всурьёз. Отстояв обедню, вся старшина направилась в митрополичьи покои. Толстый Иосиф принял их поздравления и посадил угощать. Седая голова старика тряслась более обыкновенного.

— Это она у него от жадности трясётся...— улучив удобную минуту, шепнул атаману, скаля белые зубы, Васька Ус.

— Вот мы скоро на Москву пойдём с боярами повидаться, так ты прощупай, где у старого кощера что складено...— отозвался Степан тихонько.

— Своего не упустим!..— сказал Ус.— Он старик, ему всё одно ничего уж не нужно...

Когда Степан, хорошо выпив и закусив, выехал в сопровождении своей блестящей свиты с митрополичьего двора, его обступила большая толпа посадских людей, в которой было немало и баб. Бабы смотрели на Степана с некоторым недоверием — в постные дни, рассказывают, говядину жрёт, а когда за стол садится, лба николи, как басурманин какой, не перекрестит,— а с

другой стороны, его яркая и сильная мужественность брала их сразу точно в плен какой.

— Ну, в чём опять дело? — с важностью спросил Степан.

— А в том, что много которые из дворян да приказных попрытались...— вперебой загалдели посадские.— Нужно все дворы с обыском пройти и всех их переловить... Есть такие живодёры, как только их мать-сыра земля носит... Ежели подойдут к Астрахани царские войска, они первые неприятели тебе будут...

— Ну, ну, ну...— не без строгости прикрикнул Степан, который не всегда любил это вмешательство людей сторонних в дела власти.— Это дело городского атамана, а не ваше... Погуляли, пошалили досыта, а теперь и за работу время...

— Да мы нешто что!..— загалдела толпа, и женские голоса были заметно слышнее.— Мы для тебя же стараемся... Потому лиходеев этих под метёлочку выметать надо, а то опять расплодятся...

— Ну, вот казаки скоро на Москву двинут, а вы тут с вашим атаманом наводите порядок, как хотите...— сказал Степан, трогая лошадь.— Мы здесь гости, а хозяева вы...

И долго ещё галдела на улице возбуждённая толпа.

Старшина ехала вдоль крепостной стены. Казнённые всё ещё висели на зубцах. Шабынь-Дебей был бледен как смерть и, изогнувшись точно в судороге, не шевелился, но видно было, что он еще жив. Подьячий Алексеев уже умер. Живы были и оба мальчика. Старший мучительно стонал. Вороны все смелее перелетывали по зубцам ближе к казнённым.

— Ну вот что...— решил вдруг Степан.— Старшего воеводенка снимите и сбросьте с раската вслед за отцом, чтобы не фордыбачил, а младшего постегайте розгами и отдайте потом матери, чтобы рос да казацкую науку помнил... А те два пущай висят...

Несколько казаков спешили и, вызвав Ларку из Пыточной башни, взялись за выполнение приказа

атамана. Степан тронул было лошадь, как вдруг какая-то женщина с искажённым, сумасшедшим лицом, с развевающимися седыми волосами, бросилась на колени перед его лошадыю.

— Батюшка... государь... смилуйся над старухой!..

— В чём дело? Что такое?..— сдерживая испугавшуюся лошадь, строго спросил Степан.

— Батюшка, я — мать... Алексеева мать... подьячего...— она захлебнулась рыданиями.— Он уже помер, соколик мой... Единственный был... Пожалей бабу старую: прикажи мне хоть тело его отдать на погребение... А-ха-ха-ха-ха-ха...— закатилась она рыданиями, падая под ноги лошади.— Батюшка!

— Эй, казаки...— крикнул Степан на стену, где уже возились около казнённых казаки.— Отдайте старухе ее приказного...

И казаки поехали мимо бьющейся в пыли старухи. И звонко отдавалось в стенах цоканье лошадиных копыт. На стене, на фоне бледного, точно выжженного неба, все возились казаки. Вороны перелётывали недовольно по зубцам...

XXIII. НА МОСКВУ

Наступило 20-е июля.

С самого раннего утра стояла палящая жара. Несмотря на это, в Астрахани царил необычайное оживление, а в особенности на берегу, где казаки заканчивали погрузку челнов, а конница небольшими частями переправлялась на правый берег. Скрип телег, ржанье лошадей, крепкая ругань и крики, пьяная песня, смех, стук топоров, мерные всплески вёсел, залиvistый свист, всё это смешивалось в один беспорядочный и возбуждающий звук. Наконец все приготовления были закончены.

— Батьки, молебень!..

И всегда и всему благопослушные батюшки запели и закадили, прося Господа о помощи казакам и о по-

корении под нозы всякого врага и супостата. Через какие-нибудь полчаса казаки сидели уже в молчании по своим челнам. Около роскошного атаманского «Сокола» стояли астраханские старшины: Васька Ус, городской атаман и его два товарища, злой Федька Шелудяк и Иван Терский, с его бритой по татарской моде головой и густой рыжей бородой во всю грудь. За ними стояли толпой посадские, усеявшие весь берег.

— Ну, счастливого пути!.. С Богом...

— Счастливо оставаться!.. Мотрите не забудьте при-
слать нам с оказией московских калачей... Га-га-га-га...

Степан, ещё раз низко поклонившись астраханцам, вошёл на «Сокола» и среди общих криков и приветствий казацкие челны, — их было более двухсот, — сверкая вёслами, вытянулись по реке. На том берегу чёрной лентой запылила конница, в которой было до двух тысяч всадников... И не отошли струги от города и версты, как все гребцы сбросили одежду, и всё же голые, точно бронзовые от загара тела их были мокры от пота. И уже около десяти утра они пригребли к правому берегу и стали станом, выкупались, поели, и старшины решили днём спать, а плыть ночью, по холодку. И наглотававшаяся в выжженной степи пыли конница была рада такому решению. Но и не спалось: так было жарко. И казаки от скуки пробовали ловить рыбу, давили вшей, вяло чесали языки, зевали и томились...

И когда, наконец, над степью запылала заря и от почерневших бугров правого берега пали на широкую гладь светлой реки прохладные, длинные тени, снова стаей птиц перелётных покрыли реку казачьи струги и снова конница ушла в степь. И потухла заря, и вызвездило, и алмазным серпиком стал над рекою месяц, и пенилась взбудораженная Волга под сильными дружными ударами казацких вёсел. Пробовали петь, но не вышло: эта первая ночь на походе в неизвестное вызывала уши на тишину, на сосредоточенность и задумчивость, и тихи были все, от атамана, который лежал на персидском ковре на корме свое-

го «Сокола», до Трошки Балалы, которого никто не хотел теперь слушать.

Через три дня сделали передышку, и попили винца в Чёрном Яру, и ударили на Царицын.

— Матушки мои, кормилицы, глядите-ка, какая их сила идет!..— в восторженном ужасе повторяли с сияющими лицами царицынцы, выбегая на берег.— И не считаешь, право слово... А берегом то, глядите-ка, конные идут... Вот так Степан Тимофеич!.. Это можно чести приписать...

В воеводских хоромах шла тем временем жаркая ссора.

— Да я ж тебе говорю, что дальше Самары я не пойду с ними...— в сотый раз нетерпеливо повторял Ивашка Чернорец своей милой, которая с гневными слезинками на глазах решительно стояла перед ним.— Схожу с ребятами в Усолье посчитаться с кем надо, и назад... Сердце не позволяет мне так оставить это дело... Ну?

— Знаем мы эти ваши Усолья-то!..— дрожащим голосом повторяла Пелагея Мироновна.— Ты городской атаман и сиди на своём атаманстве, а таскаться тебе с ними нечего... Усолье — придумает тожа!.. А ежели я надоела тебе, так прямо и скажи, а не придумывай своих Усольев...

— Ах!..— махнул рукой Ивашка.— Свяжешься с бабой и сам бабой станешь...

В душе он, однако, был польщен любовью своей лапушки, которую и он любил накрепко и чем дальше, тем всё больше.

— Я тебе говорю...— рассудительно начал он.

— И говорить нечего...— уже навзрыд плакала Пелагея Мироновна.— И вот тебе моё последнее слово: ты пойдёшь с казаками и я пойду, переоденусь казаком и пойду...

— А ну, попробуй!..

— И попытаю!..

— А ну, попробуй!..

— И попытаю!.. Ишь ты, воевода какой выискался!..

Ивашка в бешенстве, пристегнув дрожащими руками саблю, схватил шапку и бросился вон: струги уже подходили к берегу и весь Царицын был у воды. А Пелагея Мироновна стала у косящата окошечка и сквозь злые слёзы смотрела вслед своему атаману.

— Что ты? Полно-ка!..— тихонько подобравшись к ней, проговорила бабка Степанида.— Рай ты не видишь, что он без тебя и часу не дышит?.. А ты убиваешься!..

— Да...— всхлипнув, отвечала Пелагея Мироновна.— Его вон нелёгкая в Самару несёт, а я тут сиди одна... А... а у него там, может, зазноба какая есть...

— Какая зазноба? Что ты, окстись!.. Да он с тебя глаз не сводит...— утешала старуха.— А ежели и вправду что есть, так и мы ведь тоже не лыком шиты: только мигни баушке Степаниде глазком одним и такого-то Иван-царевича опять приведу, что...

Разом высохли слезы. Перекошенное бешенством, заплаканное лицо вмиг обернулось к старухе.

— Вон!.. Чтобы и духу твоего, ведьма старая, здесь не было!..

— Матушка, Пелагея Мироновна...

— Вон!..

— Лебёдушка...

— Вон!.. Ах ты змея подколодная!.. Вот погоди, придёт атаман, я расскажу ему и...

— Родимка моя...

— Вон!.. Чтобы и не смердело тут тобой...

И старуха, творя молитву, вылетела из терема.

— А-а-а-а...— заголосило на берегу радостно.— А-а-а-а...

То славный атаман Степан Тимофеевич ступил на берег. Он, сняв шапку, кланялся на все стороны. Толпа восторженно ревела.

Казаки, разодетые, при оружии, ловко выскакивали на песок. Царицынцы радушно помогали им причаливать струги. Из городских ворот, блестя ризами, иконами и хоругвями, под перезвон колоколов, медленно

полз с пением крестный ход. Казаки усердно крестились, благодаря Господа за благополучную путину.

— Ну, что, как у вас? — тихо спросил Степан у Ивашки, снимая перед иконами шапку.

— Всё слава Богу... — так же тихо отвечал тот. — Тут старец один поджидает тебя... Говорит, что от самого патриарха Никона... Чёрт его знает, может, насчёт патриарха-то он и хвастанул, ну а только старик занятный: тебе надо будет потолковать с ним...

— Вот погоди, только с попами разделаюсь... — сказал Степан и широкими шагами направился среди почитательно и любовно расступавшейся перед ним толпы навстречу крестному ходу.

Он достоял короткий молебен, приложился ко кресту и получил благословение. За ним длинной вереницей потянулись и казаки. Из-за угла стены живой змеей, звеня оружием и конным прибором, спускались в облаке пыли конные казаки, во главе которых шёл на чудесном сером коне поджарый, стройный Ерик и толстый, багровый, весь в поту, Тихон Бридун.

Казаки ещё не кончили благодарить Господа за благополучное начатие дела, а Степан с Ивашкой Черноярцем и старшинами сидел уже в казачьем городовом управлении, которое помещалось в Приказной избе. Как ни ненавидели казаки и вообще весь чёрный люд всякую бумагу, все же там сидели уже за длинными столами писаря из бывших подьячих и, склонив головы набок, усердно строчили какие-то грамоты: разрушить, как оказывалось, можно всё, кроме приказного и бумаги. И уже собирали потихоньку приказные добровольные приношения, — кто себе, а кто Богу на масло. И, спуская их в глубокий карман, приговаривали приказные:

— Ничего... Хоть стыдно, да сытно... Хе-хе-хе-хе...

Степан разом вымел их всех вон, и вся старшина уселась за стол воеводы, за которым, так недавно, казалось, сидел Андрей Унковский, ныне славный начальник Панафидного приказа на Москве.

— Ну, старшины, времени терять нам не приходится...— сказал Степан.— Куй железо, пока горячо, как говорится... Мы и то маху дали, что вышли в поход поздененько. Так надо поправляться и до заморозов постараться пройти дальше. Астрахань утвердили мы за собой накрепко: народ там наш и душой, и телом, ратная сила оставлена и Васька Ус не выдаст. Теперя надо нам закрепить за собой также и Дон, чтобы богатеи там больше не верховодили, а чтоб вся власть была за нами... Ну вот и порешил я отправить туда немедля две тысячи человек. Атаманами будете над ними ты, Фрол Минаев, и ты, Яков Гаврилов. И заберёте вы с собой всю нашу казну войсковую: мы на пути найдём у воевод всё, что нам надобно. Вы казну казацкую будете беречь паче зеницы ока, но всё же людям денег не жалейте, собирайте силу. Спишитесь и с Серком, и с Дорошенком. Он, дурак, с салтаном всё возжаётся. А вы на это дело не идите, а его от салтана отманивайте. И вот мы с Волги тряханем Москвой, а вы, ежели довольно силы наберёте, поддержите нас по моему приказу, не раньше, с Украины, а то, может, и мы, если скоро в Москве будем, поддержим черкасцев с Москвы и против салтана турецкого, и против чёртовых ляхов этих...

Все минуту молчали: экая голова!.. Вот орёл!..

И запылали казацкие сердца огнём буйного воодушевления.

— Так все согласны? — спросил Степан.— Тогда и кругу так скажем...

— Чего ещё?.. Лучше и не придумаешь...

— Ну, так не будем и мешкать... Ты, Минаев, и ты, Гаврилов, обдумайте, кого вы с собой на Дон заберёте, и все способа сообразите. И готовьте челны и всё, что надо. А к казне нашей людей повернее приберите...

— Ладно уж... Понимаем...

— А теперь, ребятушки, казакам и обедать пора... Да и нам не грех перекусить, а то в брюхе-то уж донские соловьи поют... Вы идите там налаживайте, а мне надо только старца одного повидать. С Москвы пришёл... Я не

замедлю. И глядите, чтоб пьяных не было: не время. Запоздали мы маленько, навёрстывать надо... Где у тебя старик-то, атаман? — обратился он к Ивану.

— Сичас приведу...

Старшины, переговариваясь озабоченно, пошли по своим делам. Степан в задумчивости широко шагал по покою. Но тотчас же вернулся Иван. За ним шёл старец, рослый, широкоплечий, с грубым и суровым лицом и седеющей бородой. Один глаз его заволакивала бледная плёнка бельма. Одет старец был в пропотевший и порыжевший подрясник и чёрную скуфеечку. Степан пристально и строго посмотрел ему в лицо. Так же пристально и строго, точно взвешивая, смотрел на него одинокий глаз старца.

— Ну, здрав буди, старче...— сказал, наконец, Степан.— Не знаю уж, как величать тебя по имени, по изотчеству...

— Раньше отец Смарагдом величали...— басисто откашлявшись, отвечал старец.— Великий государь, патриарх московский и всея Руси Никон велел тебя, славного атамана, про здоровье спрашивать...

Степан низко поклонился.

— Как его святейшество здравствует? — сказал он почтительно.

— Здоровье отца нашего патриарха Никона, благодарение Господу, хорошо...— сказал старец.— Но живёт он в утеснении великом и в обиде...

— Всё по-прежнему на Белом озере?

— Всё по-прежнему на Белом озере, в Ферапонтовом монастыре...— отвечал старец.— И ещё велел патриарх говорить тебе, что тошно ему от бояр, которые опять, того и гляди, царя изведут, как извели они царевича Дмитрия в Угличе, а другого Дмитрия на Москве, а потом Бориса Фёдорыча с потомством. И теперь опять то же начинается: не успела преставиться царица Марья Ильинишна, вслед за ней сичас же царевич Михайла помер, а за ним и царевич Алексей. Весь корень царский извести опять хотят, видно... И сказыва-

ет патриарх тебе, чтобы поспешал ты Волгой вверх, как можно, а у него тоже свои люди в верховых городах есть готовы, а по монастырям везде казну великую собрать можно...

Степан пытливо смотрел в лицо старца. В то, что он послан патриархом, Степан не особенно верил, но мужик, видно, смелый, и кое-что с ним сотворить можно будет. Конечно, бешеный Никон пойдёт на многое, чтобы рассчитаться с врагами своими, конечно, в случае первых успехов Степана найдёт опальный патриарх немало людей, которые станут вместе с ним против бояр московских, но с другой стороны, очень ведомо было Степану, что в народе и в казачестве многие ненавидели Никона за его нарушение святоотеческих обычаев и многие его даже антихристом почитали... Дело было головоломное, но что-то было в нём такое, что подсказывало, что подумать над ним стоит...

— Спасибо, отец Смарагд...— сказал Степан.— Мы с тобой ещё о том деле потолкуем. А теперь пойдём с нами казацкой хлеб-соли откусать, а то мои казаки, когда голодны, сердиты бывают. Ты как водочку-то, вкушаешь?

— Во благовремении отчего же?..

— Ну, вот... Значит, и выпьешь с казаками за начатие дела... Идем, Ивашка...

— Вы идите,— отвечал Черноярец,— а я только к себе забегу табаку взять...

Его сердце ныло. Ему было жаль своей лапушки. Ему хотелось приголубить её, утешить, успокоить. Он быстро вбежал на крыльцо, в сени, в терем, и не успел отворить дверь, как Пелагея Мироновна бросилась ему на шею:

— Сокол ты мой!.. Ванюша...

И мягкие, жаркие губы, поцелуй которых всегда так пьянил его, уже искали его губ.

— Лапушка ты моя... Радость бесценная...

— Дай мне крест, что никакой зазнобушки нет у тебя там.

— Есть у меня только одна зазноба...— жарко обнял он её.— Вот она!

— Дай крест!..

— На...— широко перекрестился он на иконы.— И вот тебе слово моё: ежели подождёшь ты меня здесь спокойным обычаем,— больше месяца я не пробуду в отлучке,— то, приехавши, мы будем с тобой думу накрепко думать, как нам со всем этим развязаться и зажить по-новому, по-хорошему...

— Верное слово? — восхищенная, прижалась она к нему.

— Верное слово!..

— Дай крест!

— На, на, на!..

— Ну, ладно, поезжай...— сказала она, вдруг опять заплакав и улыбаясь.— А я буду сидеть всё у окна да на Волгу смотреть: не бежит ли сверху стружок золотца моего, моего милого?.. А ежели к сроку тебя не будет, так и знай, я поеду за тобой...

— Лапушка, ненаглядная... Да разве есть сила, которая оторвала бы меня от тебя?..— словно пьяный, шептал он жарко.— Нет, нет, потом... ночью... Ждут меня казаки с обедом... Распорядиться надо... Ну, до ночи!

И, весь в огне, он вырвался от неё, шатаясь, выбежал в сени и загрохотал по своей привычке каблуками по лестнице.

Под стенами города уже горели костры, на которых в черных закоптелых котлах варилась похлебка. Казаки жались ближе к стенам, в холодок: солнце пекло невыносимо. Царицынцы не уходили и, точно заколдованные, смотрели на привольное житье казацкое. Бабы, подпершись рукой, смотрели на Степана собачьими глазами и переговаривались:

— Батюшка... сокол-то наш...

— А у нас тут, бабыньки, прохожие люди останавливались, дак сказывали, что быдто объявился на Москве Никон, что ли, какой-то, пёс его знает, и быдто, вишь, хочет он, собака, себя наместо Христа поставить,

чтобы все ему поклонялись. Вот и поднялся Степан Тимофеевич вере православной на защиту...

— Что говорить! Орёл... Ишь, как похаживат да покрикиват,— что твой воевода царской!..

— А бояре, вишь, стакнулись все семеро, чтобы семью царскую извести и чтоб опять народ православный весь под себя забрать. Ну, а казаки они на это несогласные...

— Гляди, гляди, бабыньки: водки-то сколько казакам привезли... Ньюжи всю вылакают?

— О-хо-хо-хо...— тяжело вздохнул плотный посадский, который молча исподлобья смотрел на шумный табор казацкий.— Вот тут и послушай дур... Наместо Христа... все семь бояр...— передразнил он.— Идёт атаман казацкое устройство везде установить, чтобы всякий всякому ровней был и чтобы всё у всех было общее... А они: семь бояр!.. Вера православная!.. Дуры вы были, дурами и остались...

— Га!..— враз взъелись бабы.— Вишь, какой умник выискался! Наел загривок-то и величается: я ли, не я ли... А кто ты? Нашему пёстроу кобелю троюродный брат...

Посадский плюнул и молча скрылся в толпе.

— Ага, не любишь!..— засмеялись бабы.

Костры закидали песком и водой залили. И вокруг пышущих, вкусно пахнувших котлов уселись казаки. Десятские разносили водку. Казаки крестились, молодецкато хлопали по чарке и дружно погружали ложку в котлы. Степан и старшины обедали тут же, под башней, в холодке.

— А слышал, дружок-то твой старинный помирает? — спросил Ивашка.

— Какой дружок? — сказал Степан.

— А отец Арон, казначей...

— Вправду помирает али, может, озорует только? — засмеялся Степан.

— Поозоровал он за свой век вдоволь, а теперь, видно, взаправду помирать взялся... И не встаёт...

— Надо будет попроситься сходить...

— Настырный старик... И такое иной раз соврёт, индо ахнешь...

— Много нынче в людях дерзания всякого развелось...— сказал отец Смарагд, уписывая вкусную полёбку.— Все один другого переплюнуть стараются...

После обеда казаки вздремнули, кто где мог, а потом, умывшись, взялись дружно за приготовления к дальнейшему плаванию. И только к вечеру за делами выбрался Степан в Троицкий монастырь проститься с отцом Ароном. И жаль немного было старика балагура, и тянуло как-то любопытство: точно прикоснуться к смерти хотелось...

Дверь в келью отца Арона была отворена настежь. Степан остановился на пороге: в келье полно было монахов, и тонких, и толстых, и позеленевших старцев, и румяных послушников с волосами копной. В переднем углу горели кротко лампы, и сурово смотрели из-за них тёмные лики старинных икон. И было в комнате торжественно тихо. На шаги Степана монахи обернулись было, но тотчас же снова обратились к кровати, с которой слышались тихие, редкие, но мучительные стоны. Монахи слегка расступились, и Степан очутился около кровати, на которой лежало что-то огромное, жёлтое, волосатое и страшное. Кудлатая голова была запрокинута назад, чуть видные глаза были обращены на сиянные светом иконы и была в этих глазах немая, исступленная, бешеная мольба.

— Отец Арон...— тихо позвал один из монахов умирающего.— А, отец Арон?

Тот медленно перевёл на него свои трудные глаза.

— Вот дружок твой, атаман Степан Тимофеич, проститься с тобой пришёл...— продолжал так же тихо монах.— Может, что прикажешь ему?..

По жёлтому, волосатому, налитому лицу прошло недоумение, усилие. Глаза на мгновение остановились на лице невольно подвинувшегося вперёд Степана, но не мелькнуло в них ничего старого, знакомого, чело-

веческого. И Степан вдруг, холодея, почувствовал себя крошечным и ничтожным, как песчинка, все его дела показались ему пустыми в сравнении с тем, что происходило тут. И снова трудные глаза обратились к тихим огням в переднем углу, и снова налились немой, бешеной, исступлённой мольбой — неизвестно о чём. А жёлтые, налитые, мохнатые руки, теперь больше похожие на лапы какого-то страшного зверя, стали тоскливо перебирать на груди легкое грязное покрывало, от которого шёл нестерпимый дух.

— Кончается...— тихо уронил кто-то.

Сзади произошло движение, и один из монахов вложил осторожно в мохнатые лапы горящую восковую свечу. Послышался шёпот молитвы. Заплывшие глаза с немой, исступлённой бешеной мольбой смотрели, не отрываясь, на тёплые огни и — тускнели, тускнели, тускнели... Послышался глухой рокот в груди, оборвались стоны, и всё застыло. Монахи тихо крестились. В остановившихся, остекленевших глазах сияло отражение вечных огней...

Степан на цыпочках осторожно вышел из кельи. Монастырский колокол унывно возвестил всему Царицыну о преставлении раба Божия отца Арона...

XXIV. В УСОЛЬЕ

И с утра уже толпились у казачьих стругов царицынские люди, а в особенности у большого струга, на котором, как говорили, хранилась несчётная казна казачья и около которой день и ночь стояли на часах с обнажёнными саблями старые казаки. И не одна казацкая и посадская голова, глядя на этот струг, затуманилась думкой: ахнуть бы как у этих чертей казну их да и махнуть куда подальше... А они — хрен с ними!..— ещё себе добудут... Не меньшее, чем струг с казной золотой, всеобщее внимание возбуждали ещё два больших судна, вдруг появившиеся в казацкой флотилии: одно было

всё обтянуто красным сукном, а другое — чёрным, а на корме у обоих поставлен был эдакий крытый шатёр. И возбуждённо, с большой опаской передавали все на ушко один другому, что красный струг заготовлен под молодого царевича Алексея, про которого бояре распустили слух, что он помер в январе этого года и которого казакам удалось у бояр выкрасть, а чёрный под самого патриарха Никона, которому удалось скрыться от бояр и который не сегодня-завтра должен прибыть в Царицын.

— Ника-ан? — недоверчиво переспрашивали другие. — Мели, Емеля, твоя неделя!.. Нешто потянут когда казаки за Никона, коли он всю веру святоотеческую нарушил?..

— Во, говори с дураком!.. — раздавались бабьи голоса. — Ничего он не нарушал. Это бояре про него слух пустили, что он наместо Христа стать готовится, а он ни слухом, ни духом тут не виноват. Он только старую веру утвердить хотел. Вся смута и тут от бояр идёт. Потому сёдни патриарха сожрут, завтра царевича, а там, глядишь, и до самого царя доберутся...

— Ох, бабыньки, хошь бы глазком одним поглядеть, какой он из себя, патриарх-то, бывает!..

— Какой? Известно какой... — бросил, проходя мимо, какой-то казак-зубоскал. — С хвостом и с рогами...

— Тьфу, окаянный!.. Чтоб тебе...

Наконец назначен был и день отвала. Так как по-прежнему стояла несусветная жара, — из страшных пустынь Азии несло, как из раскалённой печи, — то старшины решили выступить только после заката солнца. Казаки — после напутственного молебна — были уже все по стругам. Царицынцы, бросив все дела, усеяли берег. Над городом стоял колокольный звон.

Степан снял шапку и поклонился на все стороны.

— Прощай, батюшка!.. — кричали царицынцы. — Счастливой вам всем путины! Господь с вами... Ишь, орлы какие!..

И ходко и красиво пошёл на стрежень изукрашенный «Сокол» Степана. За ним тронулся струг патриар-

ший. Царицынцы во все глаза смотрели на него, но никого на нём не было видно, только на корме у шатра с обнажёнными саблями стояли два казака на часах.

— Значит, в шатре сам-то...— толковали царицынцы.— Эх, что бы его народу-то показать... Да нешто это мысленно?.. А может, какой лихой человек боярами подослан... Скажут тожа!.. Дык што?.. Пушай издали благословил бы народ... Гляди, гляди, ребята: царевичев трогається...

И на красном струге у шатра стояли на часах два казака с саблями.

— Зря, зря они от нас всё так прячут...— говорили царицынцы.— Чай, всем лестно было бы поглядеть... Чего? Степан Тимофеич, он, брат, всё знает, что и к чему... Нельзя, значит, нельзя!.. Да что, бабыньки: авчёрась вечером я вышла на реку белье полоскать, ан гляжу, на красном-то струге, под шатром, сидит какой-то молодец. Зипун это алый, а кафтан поднебесный, а сам из себя эдакий тоненький, тонюсенький... Так я, вот истинный Господь, и обмерла!.. А из лица-то белый...

За стругом царевича тотчас же тронулся большой струг с казной казацкой, за ним выровнялись те тридцать стругов, которые должны были свернуть в Камышинку, на Дон, а за ними двинулась и вся десяти тысячная масса войска казацкого, которое должно было идти Волгой на Москву. Запорожцы и другие конные сели на коней и среди приветственных кликов народа выровнялись и в облаке пыли стали подыматься по крутому взъезду на берег.

— С Богом!.. Дай Бог час!..

Ивашка Чернорец, ехавший рядом с полковником Ериком во главе отряда, будто оглядывая порядок среди всадников, всё смотрел назад, на воеводские хоромы, которые выглядывали из-за стены среди двух башен. И всякий раз, как видел он светлое пятно у теремного окна, по сердцу его проходила горячая волна. Нет, за такую бабу и жизнь отдать не грех!..— решительно сплюнул он в сторону.— Только бы управиться там поскорее, да к ней, а там...

Через пять дней сделали короткую передышку в Камышине и, помолившись, двинулись дальше. На зорьке тридцать стругов, назначенных на Дон, и струг с казной повернул в Камышинку, казачью реку. И долго казаки махали один другому шапками, и все затуманились грустной думкой: придётся ли когда с друзьями свидеться?.. С этим отрядом пошёл Фролка, брат атаманов: он надоел Степану вечными жалобами, что казаки не уважают ему, а кроме того, как там ни говори, всё же свой глазок на Дону иметь не мешало. Он хошь и глуп, а всё даст знать, ежели там что... Конница перешла Камышинку вброд и, вся мокрая, освежившаяся, вышла на серый бугор, где тлели в сухой траве кресты над могилами ратных людей московских, и шагом, в облаке душной пыли шла высоким берегом, не теряя из глаз стругов.

Пред стругами была пустынная гладь могучей, полноводной реки, которая, пенясь под носами их стругов, могуче шла им навстречу, слева были бугры, обожжённые солнцем, а справа бескрайняя степь. То же видели и конные. Здесь шла та «порозжая земля», то «дикое поле», которое так всегда манило к себе русского человека: одних потому, что это сладкая мати-пустыня, где так слышно душе человеческой присутствие Божие, других потому, что можно было здесь жить на всей своей воле: пусть бегают тут и стаи волчьи, пусть бродят и лихие люди, пусть наскочит даже иногда и татарский загон, но нет зато здесь наяна-воеводы, нет постылых приказных, нет родовитого богача-вотчинника или служилого помещика с их обжорливыми управителями, наглыми приказчиками и дворней-дармоедами. И не меряна ещё никем эта девственная, плодородная земля, и бери её всякий, сколько хочешь, сколько только силушка твоя осилит: недаром в таких местах о ту пору самое владение называлось посильем и ограничивалось оно только мерою труда и средств земледельца: граница его владений была там, «куда его топор, соха да коса ходили». И было в Волге-матушке

много рыбы всякой, много сладких медов да воску ярого приносили бортники из глуши заветных заволжских лесов с бортных ухажав, и не сосчитаешь всякого зверя по зверовьям бескрайним, да какого зверя: и соболь драгоценный водился в тех лесах, и куница, и лиса черно-бурая, московскими боярами да боярынями излюбленная, и бобёр седой, ровно вот мукой по хребту-то обсыпанный. Но ещё очень, очень редки были тут посилья новосёлов, займища каких-нибудь захребетников, бобылей голых или гулящих нетягольных людей, первые починки, первые деревни. А о сёлах и говорить нечего: ни одной колоколенки не маячило ещё среди всего этого раздолья неоглядного...

Бодро и весело пришли казаки в Саратов. Городок только недавно перенесён был на правую сторону реки: раньше был он на левом, луговом берегу, чуть повыше теперешнего. Но в начале XVII века ордынцы, степняки, дотла разорили его. Его поросшие бурьяном и крапивой развалины притягивали к себе всяких гулящих людей, которые искали тут всё «поклажев», то есть кладов: всё вокруг было ямами изрыто. Да и не только гулящие люди пытали тут счастья. Сохранился строгий выговор Алексея Михайловича одному стрелецкому голове: вы-де, стрельцы, посланы на низовые города по важному делу государскому, а заместо того вы в старом Саратове поисками поклажев занялись...

Саратовцы были уже подготовлены к приёму дорогих гостей и без единого выстрела широко распахнули перед ними городские ворота. Казаки вмиг порешили воеводу, всех дворян и приказных, животы их подува-нили и, введя в городе казацкий порядок, поставили атамана и с песнями двинули дальше.

Без всякого труда и без единого выстрела овладели казаки небольшим острожком, который поставлен был в начале Жигулей, и с громкими песнями боролись они с очень быстрой в этой прекрасной теснине рекой и так выбились к Самаре-городку, построенному при Феодоре Иоанновиче. Там при их приближении

вспыхнула смута: одни хотели остаться верными Москве, а другие тянули за казаков. Сторонники вольности победили и с радостными кликами впустили в город казаков. Повешенный на крепостной башне на случай появления врага вестовой колокол молчал. Казаки сразу утопили воеводу Ивана Алфимова, того самого, что в Москве суседом боярина Ордын-Нащокина был, перебили всех дворян и детей боярских и ввели и здесь казацкое устройство. А так как надо было отдохнуть маленько, починиться,— в пути-то оно всё враз снашивается,— привести дела в порядок, то и решили старшины пробыть здесь несколько дней. И Степан поселился в воеводских хоромах и на ночь взял к себе дочку воеводы, Аннушку, тихого ангела с синими глазами...

Тем временем конница стала станом на другом берегу. Здесь край был уже заселённое, и по самой луке были уже довольно значительные селения, как Рождественское, Выползово, Ширяев Буерак, Моркваны... Стоявшие тут некогда татарские и болгарские селения давно уже исчезли без следа. И казаки не могли досыта надивиться красоте и богатству края...

— Ну, полковник, тут мне надо в сторону маленько с казаками понаведаться...— сказал, отдохнув после перехода, Ивашка Черноярец.— Я не надолго.

— Ну, что ж, валяй!..— попыхивая своей трубочкой, отвечал Ерик.

И, выбрав себе с полдюжины добрых казаков, Ивашка поскакал к Усолю. Места тут были всё уже знакомые. Под селом Новый Теплый Стан, что на Брусяном ключе, Ивашка повстречал двух бортников знакомых, Федьку Блинка да Спирьку Шмака.

— А-а, гора с горой!.. А что, ребята, старец Левонтий всё тут?

— А куды ему, стервецу, деться?..— отвечал Блинок, весёлый паренёк с косыми глазами.— Одно время жил он на берегу, на Волге, ну только теперь там заступил его старец Лука Беспортошный, а с ним десять детёнышей...

Казаки заржали.

— Что это вы как непригоже прозвищу-то ему дали? Чай, старец, лицо духовное, наставник душ наших...

— Его все так зовут...— засмеялись бортники.— Потому он как за рыбацью снасть, так первым делом портки долой: эдак, говорит, куды способнее. Ну, а между прочим, обделистый монах: срубил на берегу баньку да и берёт с проезжающих по полуденьге с головы. Известно, в путине-то оно гоже попариться, вот и несут ему денежки со всех сторон...

— Оборотистый монашек!..

— Им некоторому перста в рот не клади, откусят — и не заметишь...— сказал Спирька, веснушчатый, но ловко сбитый паренек во всём домотканом и в ловко прилаженных лапотках.— Ты погляди тут какие палестины земли-то вокруг, а всё монахи расхватили: то Чудова монастыря, то Новоспасского, то самого патриарха... Не зевают!.. И боярин Морозов, свояк царёв, такой кус ухватил, завалишься... Ну, а всё же супротив отцов духовных никто сустоять не может...

Это было правда. Высшее духовенство и монастыри хватили себе земельные угодья, где только могли. Патриарх Никон первый подавал пример этого безграничного стяжания: до него патриарших крестьян было десять тысяч дворов, а после него осталось двадцать пять тысяч. Светская власть, цари московские очень косились на это засилье батюшек, на это сосредоточение в их руках огромных земельных богатств, и много раз пытались бороться с этим, но попики весьма цепко держались за свои земли и не останавливались решительно ни перед чем, чтобы отстоять их. Стоило Ивану III чуть задуматься над этим вопросом, как Иосиф Волоцкий, один из величайших погубителей духа Христова в Православной Церкви, сразу же публично заметил, что над царем могут царствовать и скверные страсти, и грехи, и лукавство, и неправда, и гордыня, и ярость, и неверие, и хула,— тогда царь не только не Бог, но даже и не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель. И несмотря

на то, что Иван III был человек крутой и смелый, который не побоялся бросить вызов могущественной Орде, несмотря на то, что царя в этом деле поддерживал кроткий и чистый Нил Сорский со своими заволжскими старцами, которые настаивали на нестяжании и на том, чтобы иноки «кормили бы ся рукоделием», то есть жили бы от трудов рук своих, победил всё же Иосиф Волоцкий, и грозный Иван III должен был убраться в тараканную щель. Князь Курбский указывал на опасности этой жадности батюшек — бесплодно: и Иван IV не мог поделать с батюшками ничего. В числе условий, поставленных польскому королевичу Владиславу при избрании его царём московским, было и требование о полной неприкосновенности имуществ и доходов попиков. То же определённо было поставлено на вид правителям и уставной грамотой 1611-го года. В 1648-м году люди всех сословий подали Алексею Михайловичу челобитную, чтобы он отобрал у духовенства все вотчины, неправильно им приобретённые, но и Алексей Михайлович справиться с батюшками не мог, ибо Никон указывал православным, что власти небесные, сиречь духовные, преизряднейше суть, нежели мира сего или временные, и потому имат царь быти менее архиерея. И в самый чин православия батюшки ввели такую жемчужинку: «Все начальствующие и обидящие святые божия церкви и монастырёве, отнимающе у них данные им села и винограды, аще не престануть от такого начинания, да будут прокляты...» И в одном синодике, сохранившемся от тех времён, есть на полях пометка для дьякона: «Возгласи вельми!...»

В результате такой настойчивости батюшек было то, что Адам Климент, посетивший Россию ещё в 1553-м году, писал, что монастырские имения составляли о ту пору одну треть всего государства!..

И, обеспечив себя таким образом, батюшки строго исполняли заповеди Христа и нисколько не заботились о завтрашнем дне, были веселы, как птицы небесные, и украшены не только как лилии полей, но даже бо-

лее, чем Соломон во всей славе его. Об этом остались очень яркие свидетельства того времени. Так, ещё на Стоглавом соборе отмечено было, что «многие стригутся покоя ради телесного, чтобы всегда бражничать и по сёлам ездить прохлады для», а пламенный, так жадно тянувшийся к правде Максим Грек горевал, что монах «часто пиан, весь червлён и безчинно слоняся и прегордая вещавает». Монахи, по его словам, заботятся только о том, чтобы украсить себя «пёстрыми и мягкими шелковыми тканями, златом же и серебром и бисеры добрыми». «Чернец тщится богатства ради да получит некие земные славицы», а получив эти славицы, думает, что «над законом владети поставлен есть... гордится, беззаконствует, люте гневается, мучит, связует, мзды емлет, блудно питается, вся его мудрование злато есть, и много мятежное ему попечение, како угодити влаstem. Язык же его разрешён священных уз молчания вся с яростью вещает и досажением, ниже рука его безмолвствует, но на высоту жезл воздвигши, хребет мужа убогого ударити ярься, к сим же погубив и душевную доброту». В бесчисленных вотчинах своих батюшки приберегали зерно на голодные годы, чтобы продать тогда его подороже, а крестьяне их «томились в житейских потребах, обильна сия им уготовляюще, во скудости и нищете всегда пребывали, ниже ржаного хлеба чиста ядуше, многожды и без соли от последнего нищеты». Они морили крестьян «безпрестанно и всяческими роботами, внутри же и вне горчайше им житие соделающе, кроме щедрот и милости».

А иерархи в это время, святители, хвалили Бога «пения красногласными, шумом доброгласным светлосумных колоколов, миры благоуханными, иконы величественно украшая златом и серебром и драгоценными камением», а восхвалив всем этим шумом Создателя, «светло и обильно напивались во вся дни и пребывали в пианстве и всяческих играниях», но «сирот и вдовиц безщадно и безмилостиво расхищали». Те дары и вклады, которые назначались на нужды церкви и на бедных,

они брали себе «в различна наслаждения душ и украшения ризное и светлопирование», в котором принимали участие и их богатые друзья и родственники, а «нищих и сирот мразом и голодом тающих и вне врат стоящих и горько плачущих своея скудости ради, прежде обложивши горькими лайбами, отгоняли кинувшие кус хлеба гнилого». А когда светская власть обходилась очень уж круто с «сиротами государства московскаго», тогда батюшки выступали со своим «печалованием».

Особенно восторжествовал в Русской Церкви этот дух Иосифа Волоцкого во времена патриарха Никона. Высшее духовенство — по-тогдашнему «власти» — жило богато, во дворцах, окружённое многочисленным двором: священники, дьяконы, монахи, певчие, чиновники, прислуга сотнями кишели вокруг них. Особенно широко жил сам Никон, выстроивший себе дворец исключительной роскоши. У него были свои золотых дел мастера, портные, кузнецы, каменщики, столяры, живописцы и двадцать пять тысяч крестьянских семей. И до того весело проводил свое время среди этой роскоши патриарх всея Руси, что даже Тишайший вынужден был ставить стрелецкие караулы к его покоям, дабы держать святителя в пределах хотя некоторой пристойности. Так веселились и другие святители. И в этом бешенстве разврата доходили они до того, служители алтаря Господня, что к обедне, даже летом, они ездили в санях: так почётнее!..

И потому ставили батюшек тогда все весьма невысоко: по Уложению за оскорбление попа полагалась пеня всего в пять рублей, — столько же, сколько за бесчестье черемисина или мордвина какого-нибудь или за убийство собаки. И безобразники того времени говорили: «Бей попа, что собаку, да кинь пять рублёв».

И потому вполне естественно, что, как только разнеслась среди усольских мужиков — все они были «властелинскими», то есть батюшкины, — радостная весть, что нагрянули казаки и ищут старца Левонтия, все работы были брошены и мужики и бабы кинулись про-

мышлять старца. И когда Ивашка Черноярец с казаками въехали в околицу Усолья, Федька Блинок да Спирька Шмак, пробежавшие леском напрямки, уже держали связанного отца Левонтия впереди большой и возбуждённой толпы крестьян и работных людей с солеварниц монастырских.

— Он заложился было на Ногайский Брод, косматый...— возбуждённо галдела толпа.— Да ребята переняли... Как заяц, косматый блядун стреканул... Ну, да теперь не уйдёшь!..

— Ха, теперя не уйтёт...— повторял, спешившись, Чувашин Ягайка.— А... К чуваше прикадил, речка купать гонял, кереметь ногами топтал, крест насильно надевал — теперя не уйтёт!..

И его медвежьи глазки горели, как угольки.

Казаки спешили. Мужики уважительно принимали от них коней, и на лужайке, посреди небольшой, серой, нелепо разбросавшейся по косогору деревни,— православные любили селиться «на врагах»,— образовалось судилище. Ивашка с казаками сели на толстое бревно, которое положено было тут вместо скамьи для сельского схода. Мужики стали вокруг.

— Бабы все по домам!..— крикнул Ивашка.— Живо...

— Да не замай!..— протестовали бабы.— Чай все мы знаем, каков он кобель есть... Не замай!

— Все по домам!..— строго повторил Ивашка.— А то враз казаки в плети возьмут... Н-ну?!

Бабы, нехотя, ворча, потянулись к избам, но оставались, оглядывались, собирались группами. Ивашка издалека грозил им плетью, и они, нехотя, вразвалочку, шли дальше. Левонтий, рослый, жилистый, с большим носом и свалявшейся соломенного цвета бородой, в чёрном подряснике, озирался, как затравленный волк.

Ивашка встал.

— Ну, православные, растабарывать нам больно не о чем...— сказал он.— Дела этого старого колдуна всем известны. Поиздевался он над всеми нами досыта. Те-

перь наш черёд: долг платежом красен. И я приговариваю: отрезать ему...

— Правильна!.. — загудела толпа. — Молодцы...

— Нет ли тут у кого из шабров толстого чурбана — вот что косы отбивают?..

— Можно...

— Волоки!..

С соседнего двора выкатили толстый круглый чурбан, поставили его «на попа», и Ивашка, вынув кривой нож, попробовал большим пальцем острие. И вдруг — ах!..

Жилистый отец Левонтий страшным напряжением своего сильного и ловкого тела разорвал жалкие верёвки, которыми он был опутан, и рванулся прочь, в проулок, к лесу. Первый момент все остолбенели. Потом казаки бросились отпугивать коней, а мужики зашлёпали лаптями по пыльной дороге с криками: бабы, бабы, перенимай!.. Но бабы и сами не плошали: старостица Василиса, рослая, красивая баба с усиками, уже стояла посреди проулка с сенными вилами наперевес... Старец на мгновение остановился против острых зубьев, но мысль о том, что ожидает его позади, разом оборвала его колебания: он ловко наподдал ногой по вилам снизу и ринулся мимо старостихи. Но и она оправилась и со всего маху всадила вилы ему в поясницу. Старец споткнулся, но справился, и, шатаясь и кровяня дорогу, побежал, уже неверными ногами, дальше. Бабы бежали ему наперерез со всех дворов, казаки заскакивали соседним проулком, и Ягайка со всего маху сшиб его своим конём в пыль.

— А-а, бирюк... Лобан старый... Врррёшь!..

Казачий аркан крепко опутал отца Левонтия сверху донизу. Снова галдящая толпа повела его на поляну. Бабы шли вместе, и теперь никто и не заикнулся против их присутствия. Мало того, слышались крики: бабам, бабам отдать его!..

— Нет... — твердо сказал Ивашка. — Сперва я поговорю с ним, а потом пущай берут его бабы... Скидавай ему портки!

И с ножом в руке он шагнул к побледневшему и забившемуся старцу.

— Подводи ближе к стулу...

Отец Левонтий извивался, рычал, визжал как поросянок. Но Ивашка медлительно делал своё дело и бросал маленькие кусочки окровавленного мяса в сторону. Наконец он выпрямился и, держа окровавленные руки врозь, задыхающимся голосом сказал:

— Ну, а теперь владей им, кто хочет!..

Толпа с дикими глазами иступлённо заklubилась. Слышались крики: сожечь... распять на воротах... повесить кверху ногами... И никак не могли сойтись на одном, и каждый тащил обезумевшего старца к себе. И вдруг Ягайка со звериным рычаньем бросился на отца Левонтия, сшиб его на притоптанную траву и, прежде чем все могли опомниться, впился ему зубами под бородой в горло. Раздался жуткий хруст... Нетерпеливые руки оттащивали Ягайку прочь, его колотили, щипали, ему кричали: «Отпусти!.. наш он!.. отпусти, дьявол!..» Но Ягайка точно ничего не слышал, точно окаменел в своем бешенстве и не отпускал.

— Ну, что ты вот с дьяволом делать будешь... А?... — хлопали мужики себя по ляжкам. — Да отпусти, чертище!.. Да что, ребята: кончился старик...

Действительно, выкатившиеся глаза отца Левонтия остекленели, тело все обмякло и неприятная белизна разлилась по грубому лицу. Ягайка, наконец, отвалился. Он встал и, шатаясь, смотрел вокруг себя ничего не понимающими глазами. Его рот и нос были в крови. Бабы, визжа, лезли к нему к лицу с кулаками, но он всё ничего не понимал... А толпа в остервенении была труп о землю, рвала его, волочила, рычала, хохотала... Ребята, как воробы, возбуждённой стайкой крутились вокруг.

Ивашка Чернойрец вернулся в Царицын на целую неделю раньше, чем предполагал, на зорьке утренней, и сразу бросился в опочивальню.

— Милый... Солнышко моё.

— Ну, вот теперь я твой уж навовсе...

И две полные горячие руки, крепко сжав его, потянули его к себе...

XXV. ИОСЕЛЬ

Самара била белым, пьяным, весёлым ключом. Самарцы вооружались, чтобы вместе с казаками идти вверх по Волге на Симбирск, на Казань, на Нижний, на Москву... Успеху восстания в Поволжье содействовало два обстоятельства: во-первых, по Волге было много ссыльных из Москвы,— только после бунта в 1662-м году было сюда сослано около пятнадцати тысяч человек,— а во-вторых, крестьянские тяготы тут за царствование Алексея Михайловича увеличились в несколько раз. Со всех сторон прибегали гонцы, что народ волнуется, народ поднимается, народ ждёт нетерпеливо избавителя. Это окрыляло: если так пойдёт и дальше, то до заморозков можно быть и в Москве. Степан уже раскаивался немного, что он отправил ещё из Астрахани послов и к шаху персидскому, и к крымскому хану, предлагая им союз против Москвы: и одни казаки управятся. При появлении славного атамана на улицах Самары все смотрели на него влюбленными глазами, а многие падали пред ним ниц. И не раз, и не два тёмной ноченькой обдумывал он думку: не сплавить ли куда незаметно и патриарший струг, на котором ехал старец Смарагд, и царевичев, на котором прятали на всякий случай одного молодого казака, который мог в случае нужды сойти за царевича? Только руки себе, пожалуй, этими делами свяжешь... И до того уверенность в победе была разлита вокруг, что в его войске появились уже не только приволжские бобыли, не только беглые холопы, беглые солдаты, беглые стрельцы, но вливались в него целыми отрядами и озлобленные мордва, черемисы и чуваша: они были не так давно покорены Москвой и потому тяжесть московской длани была

для них, детей лесов, особенно чувствительна, тем более что местные служилые люди делали всё возможное, чтобы тяжесть эту удесятерить. Появились латыши, недавно поселившиеся на Волге, и поляки из вновь от поляков отвоёванного Смоленска, и пришел откуда-то какой-то «литвинко». Приходили попы деревенские, которым надоела и нужда несусветная, и все новые и новые требования московских «властителей», — то, чтобы читать по новым, непривычным книгам, то, чтобы не петь «Госапади Сопасе», как пели до сих пор, а непременно чтобы было «Господи Спасе», — и озлобление против них, долгогривых, жеребьячей породы, со стороны народа, среди которого приходилось жить и голодать. Как ни трудись, как ни вертись, в результате всё одно: яко благ, яко наг, яко нет ничего... И когда острожно корил их кто-нибудь за воровство, то говорили попики, что «нужда закона не знает, а через закон шагает, — сытый голодного не разумеет»...

Дело волшебнo ширилось, росло, и казаки как бы уже шли далеко впереди самих себя...

Казаки-часовые, стоявшие на крыльце воеводских хором, где жил теперь атаман, раз уже отгоняли какого-то настырного жидовина, который всё лез повидаться с ясновельможным паном атаманом.

— Ша!.. — возмутился, наконец, один из них, побывавший в свое время на Украине. — Вот лезет бисов сын!.. Та тебе ж, дурню, кажут, шо у атамана старшины, шо неможно... Колы треба, так сидай вот туточки и ожидай...

— Ахxxx... — всплеснул руками жидовин. — Так мне же треба не по своему делу!.. Казаки сегодня уходят дальше, а дело самой первой важности... Ясновельможный пан гетман озолотит вас, если вы меня к нему допустите — прямо-таки вот так с головы до ног и озолотит...

— Да ты кабыть в тюрьге тут сидел, как мы пришли?.. — присмотревшись к нему, сказал другой часовой.

— Сидел. Вот по этому самому делу и пришел я к ясновельможному пану гетману...

— А ну геть!..— потеряв терпение, крикнул вдруг первый.— Довольно балакано... Геть!..

Жидовин, невысокого роста, жирненький, с неприятно белым лицом, с чёрными, в перхоти, пейсами, скатился с крыльца.

В горнице стукнуло окно.

— Что ещё там? — раздался сильный голос Степана.

Жидовин, присмотревшись к атаману, весь даже скрючился отчего-то, но тотчас же, овладев собой, заулыбался и закланялся...

— Ах, ясновельможный пан гетман!.. У меня к вам дело огромной важности, а казаки ваши — такие строгие, такие верные!..— никак не пускают меня... Не своё дело, нет, а для вас стараюсь... И что такое не пускать? Ежели моё дело не подойдёт ясновельможному пану гетману, ясновельможный пан даст мне в зад пинка, только и всего, а если подойдёт, ясновельможный пан наградит Иоселя... Одна минута, и всё готово...

Эта готовность получить в зад пинок была так убедительна, что никак нельзя было Иоселю сопротивляться.

— Пустите его, казаки!..

Иосель катился уже по лестнице. Казаки враждебно покосились ему вслед.

— Ясновельможный пан гетман... Падам до ног...

— Но, но, но...— грозно прикрикнул на него Степан.— Я этого не люблю! Кто ты, откуда, зачем? И что бы не врать, а то...

— Ой, как же можно врать такому ясновельможному пану? Я скорее язык откушу себе, чем...

— Не вертись... И стой: мне говорили, что в тюрьме жидовин один был. Это ты, что ли?

— Я, ясновельможный пан гетман, я...

— За что посадили?

— Невинно, ясновельможный пан гетман, видит Бог, невинно...— изгибаясь и поднимая обе руки с растопыренными пальцами кверху, заговорил Иосель.— Я на Москве был и вот... и вот там... оказались нехорошие люди, которые — уж вы будьте милостивы, яс-

новельможный пан гетман...— старые медные деньги на серебряные перебеливали... Ну, всех их похватали: сперва, как полагается, на правёж, а потом горячим оловом горло им всем позаливали... А я, точно нарочно, знаком с ними был. И меня схватили. Но начальные люди сразу увидели, что Иосель чист, совсем как новорожденный младенец, что его оговорили по злобе... О, московских начальных людей не проведёшь!..— в упоении закрыл он глаза, поматывая растопыренными пальцами правой руки туда и сюда.— На три аршина в землю они видят... Но чтобы Иосель был в выборе своих знакомцев осторожнее, старый дурак, они постегали его маленько на кобыле и послали на вечное житьё в Астрахань... И вот ясновельможный пан гетман — дай ему Бог много лет здравствовать!..— освободил меня, бедного человека, и я — только из благодарности, ясновельможный пан гетман, верьте мне,— решился передать вам об одном важном деле. Ясновельможный пан гетман хочет дать чёрному народу волю, и вот я...

— Какое дело у тебя до меня?..— перебил его Степан, которому он уже надоел.

— А может, ясновельможный пан гетман дозволит переговорить не в сенях?..

— Так что мне, в крестовую, что ли, тебя вести?..— нахмурился Степан.— В передней у меня свои люди... Говори здесь. И поживее: мне надо на берег пройти...

— Я знаю, что у ясновельможного пана гетмана великие расходы...— заторопился Иосель, сразу понизив голос и приняв таинственный вид.— Нужны гроши и на войско, и ещё больше нужно грошей населению, чтобы оно видело щедрость ясновельможного пана гетмана и шло бы за ним охотнее...

— Ну?

— Ну, так вот...— затруднился Иосель и, вдруг осторожно блеснув на атамана своими чёрненькими глазами, добавил: — Так вот, если угодно ясновельможному пану гетману, я с его разрешения мог бы для яс-

новельможного пана гетмана... перебелить медные деньги на серебряные...

Степан в упор смотрел на него: казны у него хватает, но разве излишек кому когда мешал?..

— Конечно, для храбрых казаков такие деньги не годятся,— продолжал Иосель.— Казаки народ умный о, какой умный! Но вокруг много мордвы по лесам, черемисы, чуваша. Эти люди совсем неучёные, и им можно было бы, вот как мои московские знакомцы делали, много таких денег сдать. А им, можно сказать, все равно — что они понимают?.. И мужички принимать будут, особенно если полутче сделать, посветлее...

Степан думал. Иосель, подобострастно изогнувшись, ожидал. «Кто же себе доброго не желает? — думал он.— Ясновельможный пан гетман свои дела очень понимает: в воеводские хоромы вот забрался, и дочку себе воеводскую взял, и одет весь в шелку да бархате, и золота сколько на нём надето — ай-вай-вай...»

— И если дела у ясновельможного пана позамнутя — чего не дай Боже,— продолжал он очень убедительно,— то для московских людей будет очень много хлопот: разве разберёт когда всё это было, какие деньги настоящие, а какие нет? Большое дело, ясновельможный пан гетман!..— очень убедительно и липко добавил он.

— Надо обдумать...— сказал Степан.— Идём на берег, там у меня дело есть, а потом ты мне обскажешь всё толком...

— Куда прикажет ясновельможный пан гетман...

Не успели они, однако, выйти за ворота, как сразу наткнулись на Тихона Бридуна, который, сопя, тяжело колыхался куда-то. Едва увидел Бридун Иоселя, как сразу точно окаменел, вытарашил глаза и раскрыл рот.

— Иоська, ты?! — едва выдавил он из себя и в бешенстве вдруг схватился за свою кривую саблю.— Ну, теперь ты не втичешь мени, собачий сыне!..

Степан шагнул между ними.

— Стой!.. В чём дело? — сказал он.— В чём он перед тобой провинился?..

Бридун прямо задыхался.

— Ни, ты наперед скажи мени, як вин, писля всего, шо було, знов до тебе влиз...— просипел он, весь багровый.

Степан, удивлённый, в двух словах передал все. Иосель стоял, не подымая глаз, но на щеке его, под пейсами, что-то мелко дрожало. Уставив на него сердитые глаза и тяжело сопя, запорожец внимательно слушал. Несколько казаков с любопытством остановилось в отдалении.

— Ну? — проговорил Степан.— В чём же дело?

Бридун с яростью сорвал с себя красную шапку и бросил её на землю.

— Эй, козаки, пидходить ближе!..— крикнул он сипло.— Слушайте уси, шо старый Бридун говорить буде. Уси идить за съвидкив!.. Так... Ось як перед Богом: гроши у Москви перебиляв вин, а высыпались наши телята. Им горло розтоплением оловом залили, а вин ось вже в Самари похожається...

— Ясновельможный пане пулковнику...

— Цыть!.. Мовчи!..— схватился за саблю Бридун.— Ось прийдемо у Москву и вы уси побачите, хто бреше и хто правду каже. Знаю я их, собак, доволи!..

— Ну, кто прошлое помянет, тому глаз вон...— пошутил Степан.— Он вот предлагает...

— Вин предлагав тобі петлю на шию, а ты лизешь у неї...— натужно сипя, хрипел запорожец.— Ну, наробить тобі горы злодійських грошей. А що ты сам з ними робитимешь, коли у Москву прийдемо та козацький порядок всюди постановимо?.. Що, в тебе казны не хватає?.. А ще атаман!.. Та коли б мы, запорожци, знали, шо коло тебе тут жидова буде, побачив бы ты наши чубы тут!.. И шо ты, очумив? Та ты втвори очи, подивись на ту чортову покряку — чи справди ты не пизнаєшь юду?

Степан, нахмурившись, пристально всматривался в совсем побелевшее лицо еврея.

— Та ось вин, юда, твого брата Ивана князю Долгорукому передав!..

Точно плетью вдоль спины ожгли Степана. В самом деле, ему показалось что-то знакомое в этом белом лице. Тогда в Чигирине он путём и не видел его — он помнил только какую-то чёрную берлогу, смрад, перины и черномазую, бесчисленную, как клопы, детвору. Он, собака!.. Степан схватился за саблю...

Запорожец загородил собой еврея.

— Ни, теперь ты стий!..— решительно прохрипел он.— У тебе зрадив вин одного брата, а у нас, запорожцев, вин зрадив тысячи братив, котри дармо згнули у ляхив. Смекаешь, собака, Билу Церкву?.. А?.. Наш вин, и нам судить його... Тоды ты утик вид нас, тепер не втичешь!..

Вложив два пальца в рот, он пронзительно свистнул. Такой же свист отозвался ему из-за стены, другой с песков, третий от башни...

— Гэй, хлопцы!.. Уси сюда!..— крикнул Бридун.— Усих запорожцев скликайте!..

Значительно увеличившаяся кучка казаков возбужденно галдела. Степан, потупившись, сдерживал себя из всех сил. Ему было жаль отдать еврея запорожцам.

— Ось зараз у нас на Украины Брюховецький та Дорошенко баламутять...— сипло кричал посиневший от волнения сечевик.— Один, собачий сын, знова козакив до ляха тягне, а другой пид турецького султана. Тому и втик я з Украины. Тому, що се зрада... Я — хрещёный... Нехай московський воеводы шкодят нам, так усе ж москали сами нам братя и по вири, и по крови. Я спершу русский, а потим хохлач, вы спершу русский, а потим москали. Москва дочка Киива... Но султан турецький бисурман був, е и буде, николи не будэ згоды миж нами й ляхами, ну, а усё ж настрашнийши для наших телят ось вони...— ткнул он, задыхаясь, коротким пальцем к еврею.— Ось пишли мы за волею, та николи не добьёмся мы воли, доки на воли будуть вони, юды. Або нам не жить, або им, другого выбору нема...

— Славно!.. Правда!..— раздалось со всех сторон.— Вы туточки не знаете их, бисовых дитей,— вы на Украину поизжайте!¹...

Кто-то, отряхнув от пыли, нахлобучил на чубатую голову Бридуна его краснойверхушку шапку. Он огляделся вокруг. Запорожцы все выжидательно смотрели на него.

— Бери жида!.. За мною!..— скомандовал он.— И ты, атаман, иди; и ты справишь поминки по твоему братови... Жаль тильки ось, що Серёжки Кривого нема: вжеж потишився бы вин... За мною!..

За стеной раздался вдруг взрыв весёлых голосов и смеха, и в ту же минуту из городских ворот вывалила большая толпа.

— Нашу, нашу, казанскую...— закричали весёлые, нетерпеливые голоса.— Ну, Васька...

И залиvistый, звенящий голос Васьки сразу покрыл всё:

Эх, вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывёт...

Чикмаз, сделав зверское лицо, вдруг яростно, дико, но в такт взвизгнул, и сразу весело, дружно подхватил хор:

Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты:
Сизый селезень плывёт...

¹— Вот сейчас у нас на Украине Брюховецкий да Дорошенко баламутят...— сипло кричал посиневший от волнения сечевик.— Один, собачий сын, опять казаков до ляха тянет, а другой под турецкого султана. Оттого и тикал я с Украины. Потому что измена... Я — крещеный... Пусть московские воеводы шкодят нам, так все же москали сами нам братья и по вере, и по крови. Я сперва русский, а потом хохлач, вы сперва русские, а потом москали. Москва дочка Киева... Но султан турецкий басурман был, есть и буде, николи не будет миру промежду нас и ляхов, ну только всех их всё же страшнее для наших телят вот *они*...— ткнул он, задыхаясь, коротким пальцем к еврею.— Вот пошли мы за волей, но николи не добьёмся мы воли, пока на воле будут они, иуды. Или нам не жить, или им, другого выбору нет...

— Верно!.. Правильно!..— раздалось со всех сторон.— Вы здесь не знаете их, бисовых детей,— вы на Украину поезжайте!..

И опять завел-залился Васька:

Вдоль да по бережку, бережку крутому
Добрый молодец идёт...

Опять в нужный момент зверски взвизгнул Чикмаз, какой-то запорожец, вложив пальцы в рот, засвистел с заливом, и кто-то мастерски, подмывающе заёкал:

Вишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты:
Добрый молодец идёт!..

И Васька в такт, ловко обернувшись к толпе лицом и как-то забористо перебирая на ходу стройными ногами, бросил:

Сам со кудрями, сам со русыми
Разговаривает...

Взвизги дикие, приахиванье, присвисты, приёкивание, подмяукиванье, всё слилось с хором в одну дикую, зажигающую, красивую мелодию. И казалось, то не Васька, задом идущий впереди хора, так щеголевато и задорно перебирает ногами, не Федька Блинок и Спирька Шмак, бортники, только что прибежавшие с Усолья в казаки, так ловко идут в подголосках, не рябой Чикмаз взвизгивает диким степным взвизгом, не Ягайка-чувашин со своим круглым, плоским, теперь смешно-серьёзным лицом ладит своими лаптями со всеми в ногу, не запорожец заливаётся удалым посвистом,— а делает всё это какая-то огромная сила, которой эти люди не могут сопротивляться.

Кому мои кудри, кому мои русы,—

стройно вывел Васька и бросил:

Достанутся расчесать?..

И снова ещё огненнее, ещё задористее подхватил хор:

Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты:
Достанутся расчесать...

Степан и запорожцы с полумёртвым Иоселем скрылись в одной из башен — там при воеводах застенки помещался.

Казаки, кончив песню, весело шли к блещущей реке и стругам, вдоль берега вытянутым, балагурия и смеясь.

— А ну, ребята, теперь Васькину новую давайте!..— крикнул кто-то.— Гоже он, сукин кот, песни складывать насобачился... Ну, Васька, начинай!

Васька за последнее время маленько отошёл. Всё вокруг было так необычайно, так дружно, так весело. Образ милой Гомартадж уже начал тускнеть в его душе: было и прошло, быльём поросло. От крови всякой он сторонился, а воля пьянила и его.

— Да ну, Васька!.. Какого чёрта?..

И едва Васька, выждав момент, своим чистым голосом бодро начал:

Еще как-то нам, ребята, пройти,—

как сразу дружно подхватил хор:

Астраханское царство пройдем свечера,
А Саратов, славный город, на белой заре,
Мы Самаре-городочку не поклонимся,
В Жигулёвских горах мы остановимся.
Вот мы чалочки причалим все шелковые,
Вот мы сходеньки положим все кедровые,
Атаманушку сведем двое под руки,
Есаулушка, ребятушки, он сам сойдёт.
Как возговорит наш батюшка, атаманушка:
«Ещё как бы нам, ребятушки, Синбирск-город взять?..»

И зашумела широкая песчаная отмель самарская весёлым походным шумом... И вдруг снизу лёгкий стружок под парусом показался. Дул добрый низовой ветер, и стружок бежал весело. Казаки бросили погрузку и гадали: кто и

откуда это мог бы быть? Пристал стружок к песчаной отмели, и все ахнули: то был один из казаков, которых послал Степан к шаху со своей грамотой. Лицо казака сияло радостью: наконец-то догнал своих!.. Да где, чуть не под Москвой!..

— А где же другие? — кричали, сгрудившись, казаки.

— А других всех тезики порубили... — отвечал гонец.

— Как?.. Послов?.. Да что они...

И крупная брань повисла в воздухе.

— Рассказывай!.. И живо... Расперетак и распереэ-
дак...

— Мне надо сперва атаману доложитьсь...

Толпа бурно зашумела.

— Рассказывай!.. — с гневными лицами напирали они на него. — От атамана не уйдёт... И мы такие же казаки... Живо повёртывайся!..

И гонец — рослый молодой казак с румянцем во всю щёку и с чёрными весёлыми усиками — стал рассказывать толпе, как передали они шаху на торжественном приёме грамоту атаманову, как недоволен был шах, что атаман надавал в ней себе всяких пышных титулов самовольно, как усмехнулся он, когда толмач вычитал ему, что казаки предлагают ему союз против государя московского...

— А как дочитал толмач до того места, где атаман грозитя прийти в случае чего с двухсоттысячной армией, батюшки, что тут было!.. — рассказывал гонец. — Толмач это со страху едва бредёт да всё спотыкается, а шах, как понял, кык вскочит, и придворные все его за сабли схватились. Ну, похватали всех нас и тут же всем, акромя меня, головы порубили, а кишки собакам бросили... А ты, грозно говорит это мне шах, ты иди домой и передай твоему разбойнику-атаману, что ты-де, атаман, дикая свинья, и что он-де, шах, бросит-де тебя, атамана, живого или мёртвого, на съедение псам.

Тяжёлая фигура вдруг грозно выдвинулась из задних рядов. Все оторопели. Весь красный, с гневно сверкающими глазами, Степан вдруг выхватил саблю и страш-

ный удар в шею свалил окровавленного гонца на горячий волжский песок.

— И не смей хоронить этого пса...— сказал атаман, тяжело дыша и вытирая саблю шёлковой полкой.— Пусть идёт на съедение воронам... Чтобы другим неповадно было привозить казакам такие ответы...

Никто не пикнул.

— И чего сгрудились? Становись все на погрузку... Живо!..

Все быстро разбрелись по челнам, одобряя атамана: нешто это мысленно говорить неподобное? Это всему войску казацкому обида...

Степан сумрачно зашагал домой.

Увидев его в окно, Аннушка сперва заметалась по терему, а потом пала перед святыми иконами: Господи, спаси и помилуй!.. Всё, что теперь для неё, сироты, навеки опозоренной, осталось, это монастырь или смерть... Что делать? Куда скрыться? Этот белый жидовин предлагает увезти её в Северщину, к дяде её, у которого там большие вотчины, но Бог его знает, что у него на уме?.. Господи, спаси!..

И крупные слёзы наливались на огромных синих глазах, бежали по бледным щекам, и рвали молодую грудь колючие рыдания...

Тяжёлые шаги в сенях приближались...

XXVI. ТРЕВОГА В МОСКВЕ

Одна из целей, поставленных себе казачнёй, «тряхнуть Москвой», была достигнута: Москва после взятия Астрахани всполошилась и всё великое царство Российское яко море восколебася. Одни более или менее искренно сокрушались, а другие очень искренно втихомолочку радовались и ждали, затаив дух, дальнейшего.

Царь Алексей Михайлович забеспокоился, но тревожные известия о подвигах воровских казаков всё же не рассеяли его личного тяжёлого горя: за девять последних

месяцев он потерял свою Марью Ильинишну, через три месяца ушёл за ней его сыночек меньший, царевич Михайла, которого царь особенно любил, а в генваре этого года и царевич Алексей. И часто Алексей Михайлович — очень растолстевший, с уже седеющей бородой — запирался у себя в комнате и, глядя на парсуну¹ Марьи Ильинишны, тихо плакал. И ещё больше слёз вызывали в нём игрушки любимого сынка, которые он запирает теперь у себя в рабочем столе: конь немецкой работы, и карты немецкие ж, и латы детские. Игрушки эти подарил ему, когда он ребенком был, покойный батюшка, Михайла Федорович. Конь и карты, помнилось, были куплены в овощном ряду за три алтына и четыре деньги, а латы сделал немчин Петер Шальт. А он подарил их уже своим ребятам. Нет нужды, что во дворце было больше трёх тысяч человек челяди, что на Потешном дворе содержались тысячи драгоценных соколов и кречетов, и собак множество, и живых медведей для боёв, а на конюшне стояло до сорока тысяч лошадей,— в мелочах царская семья была скопидомна, и конь работы немецкой служил детям вот уже полвека почитай. И царь, запершись, смотрел на игрушки маленького любимца своего, вспоминал его личико, смех звонкий, словечки милые, детские и горько плакал, а иногда тихо и усердно молился... Но и на молитве, и на заседаниях Думы Боярской, среди забот государских, и в опочивальне, и ночью, и днём — всегда и везде вставал перед ним образ неизвестной красавицы, которую видел он за обедней у Николы на Столпах. Теперь он был свободен,— точно вот по волшебству всё случилось! — но он не знал, кто эта красавица и где её искать. Конечно, он мог бы расспросить как поумнее у бояр, но было срамно: что они подумают? У самого жена померла да детей двое, виски вон уже седые, а он про девок думает...

Он чувствовал себя очень одиноким среди всех этих бурных, внутренних и внешних, переживаний. Милослав-

¹Парсуна — портрет.

ский, тестюшка, уж очень одряхлел, да и всегда был он ему неприятен, этот сквалыга и бахвал. Свояк, Борис Иваныч Морозов, тоже был наян и попрошайка порядочный и тоже в последнее время остарел настолько, что иногда в заседаниях Думы задрёмывал. Ордын всё что-то хмур ходит и всех сторонится. Ромодановский князь, с которым царь любил играть в шахматы и в тавлеи, простоват на выдумку. Ртищев в свою вотчину рязанскую отпросился да захворал там. А другие только всё в рот смотрят да выпросить чего норовят. Иеромонах Симеон (Полоцкий), что детей его наукам всяким обучает, очень уж мудрён и всё виршами своими — он их двоестрочным согласием называет, — надоедает. Хороший мужик, сведущий, заботливый, старается, а тяжёл, не дай Бог! А его «Вертоград многоцветный», и «Рифмологион», и «Жезл правления», и «Обед душевный» прямо силушки нет одолеть. Князь В. В. Голицын очень уж много о себе понимает. Послушать его да Языкова, только и свету в окошке, что город Париж, столица петушиного народа... Только и остаётся ему, что Артамон Сергеич один, всегда ровный, мягкий, внимательный такой... И царь то и дело посылал за ним из Коломенского и писал ему ласковые записочки: «Приезжай к нам поскорее, друг мой Сергеич, дети мои и я совсем без тебя осиротели. За ними присмотреть некому, — когда писал царь эти грустные слова, на глаза его навернулись слёзы, — и мне без тебя посоветоваться не с кем...» Приезжал Артамон Сергеич: детей навестит, пошутит с ними, порядок наведёт у них заботно, а потом о странах чужеземных рассказывать примется, о музике, которую он у себя налаживает, о комедийных действиях, о том, о сём, — глядишь, Алексей Михайлыч понемногу и забудется.

В передней коломенского дворца — его иеромонах Симеон в своих виршах восьмым чудом света называл, — собралось заседание Боярской Думы. В высоких горлатных шапках своих, шитых жемчугами, в тяжелых с длиннейшими рукавами кафтанах, в золочёных, засыпанных камнями сапогах, бояре сидели, уставя браны

своя, как какие-то боги-истуканы величественные, но точно неживые. Бояр собралось совсем немного, не более двадцати,— остальные были все в разъезде. Особенно хорош был, как всегда, князь Иван Алексеевич Голицын, Большой Лоб, который был убеждён, что главный смысл Думы не в рассуждении, не в строительстве дела государственного, а только вот в таком торжественном сидении с царём. Горячий и властный князь Ю. А. Долгорукий хмурился и нетерпеливо хмыкал носом. Князь Ромодановский едва сдерживал зевоту. Дремал старый Морозов, которого разморила жара. Ласково смотрел своими хитрыми, лисьими глазками Трубецкой, которого Алексей Михайлович не любил за хитрость, угодничество и медоточивый язык. Языков снисходительно щурил глаза и всё отмечал про себя разные недочёты в обращении придворных. Сумрачен был Ордын, и прекрасные тёмные глаза его смотрели точно в себя, а когда нужно было ему говорить, то он делал явное усилие. Но только его да Сергеича да, пожалуй, Долгорукого и слушал царь внимательно. Он вообще втихомолку недолюбливал то родовитое боярство,— их всего, правда, к тому времени шестнадцать родов и осталось,— которое не только оказалось совершенно несостоятельным во время Лихолетья, но в значительной степени своим баламутством его и вызвало. Поставили Михайла Фёдоровича на царство, в сущности, средние люди, и только, за немногими исключениями, среди них и находил Алексей Михайлович добрых советников. А те, высокородные-то, всё больше и больше превращались в зяблое упавшее дерево. И знал он, что высокородные отца его промежду себя презрительно воровским царём зовут и укоряют, что дед его, Филарет, Самозванцу да тушинскому вору прямил...

Алексей Михайлович посмотрел в свою записочку — о каких делах говорить боярам — и сказал:

— Вот, бояре, шведского посольства гонец домой всё просится за новыми приказами: сидеть-де, надоскучило,— как вы о том деле мыслите?

— Что ж, что надоскучило? — проснулся Морозов.— Посидит, не каплет... А то что это будет, ежели он о наших нестроениях везде звонить будет?..

— А нешто скроешь? — сказал царь.— По-моему, и отпустить не будет худа. Ты как, Сергеич, полагаешь?

— И я так полагаю, государь...— сказал Матвеев.— Ты сам изволил в курантах видеть, что о наших делах там пишут чуть не в каждом номере. И всё под одним заголовком: *Tragoedia moscovitica* — по нашему это будет... действие московское...— нашёлся он.

— Из-под рук не красавица...— вздохнул Алексей Михайлович.— Шила в мешке не утаишь... Ты как, князь Юрий Алексеич, полагаешь?

Бояре потянули за царём, и думные дьяки — они в заседаниях Думы всегда стояли, пока царь не приказывал им садиться,— записали решение: «Царь указал и бояре приговорили шведам гонца домой послать — разрешить». Князь Иван Алексеевич значительно поводил своими нежно-голубыми и невинными, как у младенца, очами. Затем Алексей Михайлович, заглянув в свою записочку, поставил на обсуждение вопрос о новом окладе стрелецких денег: платить его городам вмошь или невмошь, а если невмошь, то для чего невмошь? С ним справились довольно быстро, и Алексей Михайлович обратил внимание бояр на то, что новые храмы стали строиться со всё большими и большими отступлениями от святоотеческих преданий: все эти луковки, шатры, бочки, может, и пригожи на хоромах, но для храма не годятся. И было постановлено ещё раз повторить предписание, ничего не претворять по своему измышлению и церкви Божии строить по манере греческой, по правилам святых апостол и отец, чтобы была о пяти верхах и полушарием, а не шатром. На очереди было дело о воеводе уфимском, который крепко нагрешил во многих делах, в переговорах с калмыками уступил им обратно захваченных ими православных пленников. И приказал царь, и бояре приговорили думным дьякам поместить и их приговор записать: послать в Уфу «сыщика», а

воеводе написать наказ, как вести ему дело, отнять у него честь (чин) да написать ему с грозою и милостью, чтобы он к нам, великому государю, вину свою покрыл службою, казне сделал бы прибыль свыше прежнего и тем возвратил себе отнятую честь, а сменять его — на этом особенно настаивал практичный Алексей Михайлович, — убыточно и «Уфе к изводу», разорительно. Если же окажется правдой то, что слышно о пленных, «за то довелся ему смертная казнь, а то самое лёгкое, что отсечь руку и сослать в Сибирь, отписав на государя все его поместья и вотчины».

Алексей Михайлович задумался: в записочке стоял у него весьма важный вопрос о пополнении Боярской Думы новыми членами. Ему хотелось усилить в ней служилых, хотя и неродовитых людей. Таким людям обыкновенно, по указу государя, «думу сказывали и велели сидети с боярами в Думе и всякие думные и тайные дела ведати». Но что-то подсказало ему, что сегодня этого вопроса поднимать не следует, что надо переходить скорее к главному вопросу, ради которого, собственно, сегодня и собралась Дума.

— Ну, вот по мелочам теперь с Божией помощью, кажется, и всё... — сказал Алексей Михайлович. — А теперь нужно нам крепко подумать про самое главное, про беду нашу великую, про казаков воровских. Дошло до нас, что вор тот, Стенька, покинул в Астрахани некую воинскую силу, а сам с остальными ворами своими пошёл Волгой вверх. И отписывают воеводы со всех городов волжских, что заметна в народе шатость большая. Мы уже приговорили, чтобы московским дворянам велеть строиться к службе, запасы готовить и лошадей кормить и идти сражаться за всё Московское царство и за свои дома. Послезавтрева поутру будет этой коннице смотр мой царский. В помощь ей даны будут солдаты пешие и конные иноземного строю: рейтары и копейщики. А драгунов с Украины трогать не будем: ратная сила и там нужна. Ну только думаю я и опасуюсь: не мало ли того будет? Силы у воров прибыло

много. Может, теперь же приговорить, чтобы собрать дворянскую конницу не только с Москвы, но и со всего государства?

Наступило молчание. Раскидывали умом. Князь Иван Алексеевич значительно двигал бровями. Трубецкой, хитренький, старался угадать, куда потянет великий государь. Ромодановский всё боролся с зевотой. Дьячки выжидательно смотрели на царя.

— Дозволь, государь, мне слово молвить...— сказал князь Ю. А. Долгорукий.

— Кому, как не тебе, пристало, князь, подать в ратном деле свой совет первому? — сказал Алексей Михайлович.— Говори, Юрий Алексеич...

— Великий государь и бояре...— сказал князь своим суровым баском.— Я поседел в боях, и из вас многие за великого государя бились. И все мы знаем, что не одно число решает в бою дело: велика часто Федора, да дура, говорится, мал золотник, да дорог. Все мы знаем, что такое дворянская конница: на цыганский табор этот настоящему воину прямо жалко смотреть. Воин только тот, кто воин, а помещик, вотчинник, мужик и теперь уже не воин: обсиделись по запечью и на подъем тяжелы они стали. Все мы хорошо этих вояк наших знаем. «Дай Бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать»,— вот их всегдашний припев...

По высокому собранию пробежал смешок: гоже говорит князь, право слово, гоже!.. Улыбнулся и Алексей Михайлович.

— Один придет на аргамаче сам и слуг своих на коней хороших посадит,— продолжал князь,— и вооружение им настоящее даст, и обоз за собой с припасом приведет в целую версту, а другой на пузатой клячонке сам-друг с единственным холопом своим притащится, вооружения у него всего одна пистоль ржавая, а запаса — мешок сухарей. Первый пищальный выстрел, и он бежит, и всё перед собою мнёт, и всё дело расстраиивает. Это ныне не дело, великий государь и

бояре. А особенно в ратном деле с ворами. Передаваться ему будут и холопы, и мужики. И то, что в наших рядах будет только помехою,— значительно подчеркнул он,— то в его рядах, перебежав, может обернуться и к делу...

Бояре значительно переглянулись. В самую точку опять угодил князь... Ну и голова!.. Князь Иван Алексеевич оглянулся значительно, повёл своей бровью соболиною, и на румянном лице его было рассуждение.

— И потому, великий государь, я предлагаю двинуть на Волгу пока только московскую конницу да солдат иноземного строя,— продолжал князь,— а для бережения Москвы оставить стрельцов да твой, государев, стремянной приказ. А поелику замечание великого государя о сборе большей ратной силы вполне основательно, то я приговорил бы воеводам разборные списки заново пересмотреть скорым обычаем и показать, кто может явиться конен, люден и оружен так, как это по нашим временам требуется. Мне могут сказать, что эдак всякий покажет, что он оскудел и немощен — так на эдаких можно сбор особый наложить, чтобы и они тягло в общем деле тянули...

Ордын-Нащокин, точно оторвавшись от чего-то более важного, поддержал князя по всем статьям. Поддержал его и Матвеев. Трубецкой, сахарно улыбаясь, превознес и мудрость великого государя, и мудрость и храбрость воя именитого, князя Долгорукого, и патриотизм конницы дворянской, и храбрость полков иноземного строя, и всё это у него вышло так медово, что всем стало тошно. Князь Иван Алексеевич значительно помалкивал, и на лице его было полное удовлетворение: вон он какими делами ворочает!..

— И необходимо полкам солдатским забрать с собой в поход гуляй-городки...— сказал старый Одоевский.— Против воров они не годятся, те бьются тоже огневым боем, но зато пригодятся они в действиях против черемисы и чуваша, которые бьются боем лучшим, как татары-степняки...

Разработка подробностей заняла долгое время. Наконец всё было решено, и Алексей Михайлович, обратившись к дьякам, повелел пометить, что государь по этому важному делу указал и бояре приговорили...

— А теперь, бояре, чтобы дело наше с Божией помощью завершить,— сказал Алексей Михайлович,— ратным воеводой промышлять над ворами назначаю я думного боярина нашего князя Юрия Алексеевича Долгорукого...

Князь встал и бил государю челом. И бояре низкими поклонами поздравили именитого князя с новою монаршей милостью. И князь низкими поклонами благодарил бояр.

— А товарищем ему велю я быть стольнику нашему князю Константину Иванычу Щербатову...— добавил царь.

И князь Щербатов, небольшого роста, круглый, ловкий, со смышлёным лицом и бойкими глазами, бил челом государю, а потом раскланивался и с боярами, поздравившими его с назначением.

Царь встал. Заседание было кончено. Бояре окружили царя, стараясь как бы попасть под светлые очи государевы. Особенно забегал, как всегда, лисичка Трубецкой. Но уже во время заседания у него невольно мелькнула мысль — он так уж был устроен и иначе не мог,— о том, что, если воры, в сам деле, под Москву опять подойдут, что, если они да верха возьмут?.. Гоже бы как на такой случай подготовиться...

— Завтра, бояре, сидения о делах у нас не будет...— сказал царь.— В Москву я еду. А послезавтрева будет смотр на поле, под Серебряным бором, у Всесвятского села. Те, которые записаны по московскому ополчению, пусть изготовятся со всяким тщанием: будут иноземцы. Я было насчёт погоды сумлевался маленько — ишь, как размокропогодилось,— да домрачей мой Афоня, такой дотошный до всего старик, заверил, что будет-де вёдрено: петухи-де к вёдру запели... Ну, вот... А с тем прощения просим... Ты, Сергеич, останься: мне

поговорить с тобой надо. И ты, Борис Иванович, маленько погоди...

Бояре били челом великому государю, выходили в сени, а оттуда брели двором к своим колымагам и коням. Князь Иван Алексеич шёл — прямо засмотренье!.. Вся челядь царская, и старцы верховые, и карлики с карлицами, и жильцы, и рынды только на него глаза и пялили: парсуна!.. И велик, и дороден, и осанкой взял, и бородой,— вот это так боярин!.. А князь Иван Алексеич медлительно выступал, подпираясь для пущей важности длинным посохом, и бархатная горлатная шапка его, вся в жемчугах, чуть облаков седых не касалась, и была на лице его великая важность: наворочал он сегодня делов!.. Будет что дома рассказать... Только бы, храни Бог, чего не перепутать: память-то у него только ох да батюшки!..

— А я вот о чем тебя все спросить хотел, Борис Иванович,— сказал царь Морозову.— Да всё как-то за делами забывалось. Что это боярыня наша Федосья Прокофьевна и носа больше ко мне не кажет? Как жива была моя Марья Ильинична, Царство ей Небесное, так, бывало, каждый день к поздней обедне езжала, а теперь словно в воду канула. Негоже так-то... Али что ей попритчилось?..

— Не ведаю, государь...— сказал Борис Иванович.— И меня что-то она теперь не жалует. У нее теперь чертоги полны юродивых, да старцев, да захожих странников и калик, да черниц со всех монастырей. Каждый день, сказывают, до ста человек их за стол у неё садится. И постоянно пение молитвенное идёт; а то так чтение от Святого Писания. И сказывают, что с распротопопом Аввакумом всё грамотками она, вишь, ссылагается. И сестра ейная, княгиня Урусова, Евдокия Прокофьевна, у неё безвыходно...

— Так что, в раскол, что ли, она норовит?

— Не ведаю, государь...— отвечал Морозов уклончиво.— Ты знаешь, что она завсегда маленько полоумная была...

— Ты ей скажи, что государь-де гневается, что так-де непригоже...

— Слушаю, государь...

— Ну, а теперь идёте к столовому кушанию... Идём, Сергеич...

XXVII. СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Старенький домрачей Афоня оказался прав: в этот же день к вечеру разъяснилось, на утренней зорьке ударил эдакий лёгонький августовский утренничек и из лохматых, разорванных вишнёвых туч выкатилось яркое солнышко. После обедни поздней царский поезд двинулся по непросохшим ещё дорогам, среди сияющих серебряных луж, в Москву, в Кремль, на зимнее житьё. Вдоль всего пути по обочинам дороги стоял народ, чтобы взглянуть на светлые очи государевы, и, как всегда, при появлении царской колымаги падал ниц. Бабы причитали: «Солнышко ты наше праведное... милости-вещ... кормилец...» И от умиления глубокого плакали. Царевна Софья, сидя в своей со всех сторон закрытой колымаге, всё серчала на этот плен свой и с нетерпением ждала того времечка, когда выбьется она, так или иначе, на вольную волюшку. Положение царевен, правда, тогда было невесёлое, жили они полными затворницами. При поездке даже на богомолье вокруг их завешенных со всех сторон, колымаг ехали верхами сенные девушки в жёлтых сапогах, закутанные фатами. А ежели приезжали они в мужской монастырь, то всех монахов запирали по кельям и даже на клиросе пели привезённые из Москвы монахини. Монахов выпускали только тогда, когда поезд отъезжал в обратный путь, и они могли тогда отвесить вслед царевнам три земных поклона. Надежды на замужество никакой не было: выходить за бояр, то есть за своих холопей, не повелось, а за принцев иноземных вера не допускала... И от скуки царевна Софья читала в колымаге своей только что

поднесённую ей воспитателем братьев её, иеромонахом Симеоном, книгу рукописную, которую она берегла пуще глаза. Называлась та драгоценная книга «Прохладные или избранные вертограды от многия мудрецов о различных врачейских веществах», — как наводить «светлость» лицу, глазам, волосам и всему телу. Учёный батюшка рекомендовал — от многих мудрецов, — сорочинское пшено, которое выводит из лица сморщение, воду от бобового цвета советовал он, как выгоняющую всякую нечистоту и придающую всему телу гладкость, сок из корня бедренца, по его мнению, молодит лицо, гвоздика очам светлость наводит, а мушкатный орех на тощее сердце даёт всему лицу благолепие, также и корица в брашне¹. Он приводил много всяких составов для притирания, именуемых шаровидлами, и рекомендовал для благоухания наиболее приятные «водки», сиречь духи. И все дивились, откуда монах мог набраться всех этих мудростей — вот оно что значит учение-то!..

И скакали вершники, и жильцы всячески оберегали государственное здоровье, и кланялся царь на все стороны народу своему доброму и — всё думал думы свои грешные о красавице неведомой...

Весь день прошёл в приготовлениях к завтрашнему торжеству. Погода всё ещё слегка хмурилась, но домрачей Афоня говорил, что опасаться нечего: будет вёдро. И когда царь встал на другое утро и помолился в Крестовой палате и заглянул в окно, действительно, на небе утреннем не было ни облачка. Он отстоял утреню и раннюю обедню и потом, выпив сбитню горячего с калачом, приказал подать себе стопу мёду отменного, старого.

— А теперь позовите ко мне домрачей моего, Афоню... — приказал он.

Афоня, маленький, уютный старичок с тихими голубыми глазками, покатился в столовый покой. Царь взял стопу меду и собственноручно поднёс его старику:

¹Брашно — пища, еда.

— Вот тебе, Афоня,— за хорошую погоду!..

— Ах, царь-батюшка...— расцвёл Афоня всеми своими морщинками.— Ах, милостивец!.. Ну, во здравие твоего пресветлого царского величества!

— Кушай во здравие, дедушка!..— ласково сказал царь.

Афоня осушил стопу, отёр рукавом бороду седую и с наслаждением крикнул:

— Ну и мёд у тебя, надёжа-государь!..

Через некоторое время царь с боярами в большом наряде поехали на смотр. По улицам толпился народ: ещё накануне через земских ярыжек приказано было всем горожанам одеться в лучшие одежды и быть на улицах, причём особенно дородные и с особенно пышными бородами, согласно обычаю, должны были стоять в первых рядах, дабы иноземцы могли подивиться красоте и достатку жителей московских. И со всех сторон колыхались тяжёлые колымаги боярские, и толпами шёл народ всякого звания, и бежала детвора. Всё это направлялось под Серебряный бор, где было обширное поле, которое прозывалось Ходынским потому, что там все солдаты ходили, ратной хитрости обучаясь.

Посреди поля уже стояли временные как бы хоромы, все красным сукном обтянутые. Кругом хором пушки расставлены были, а перед пушками — царский престол огнём горел. Алексей Михайлович милостиво принял в хоромах бояр своих, гостей именитых и послов иноземных, которые о ту пору в Москве случились, а потом пригласил он всех посмотреть силу ратную Московского государства перед походом полков на воровских казаков...

Алексей Михайлович воссел на свой трон. Вокруг него стали рынды¹, все бывшие и ближние бояре. На гульбище, в хоромах, по лавкам уселись другие гости. Царь подал знак, грянула пушка, и на высокой смотрильне разом взвилось государское знамя. Черневшие вдали под

¹Рында — телохранитель, оруженосец.

бором, к Всесвятскому селу, полки колыхнулись и рекой многоцветной, гремя в трубы, литавры и барабаны, потекли полем к царскому смотрению.

Впереди полков на белом коне красовался седой и грузный воевода ратный, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. На воеводе шапка горлатная, на плечах кафтан золотной, поясом широким перетянутый, а поверх кафтана шуба соболя накинута бесценная. Сбоку у воеводы сабля кривая, вся в камнях драгоценных, за поясом нож, тоже весь в камнях, точно молния застывшая, а в руке золотой шестопёр. Горит камнями и малиновый чепрак¹, и уздечка коня, и нахвостник его, и даже копыта. Казалось бы, конь под тяжестью всего этого богатства в землю ногами уйти должен был бы, но, отделив хвост трубой, он играл, красовался и, вскидывая точёную головку, всё косился умным, тёмным глазком своим на боярина: так ли он идёт, гоже ли? И старый воин радовался на своего любимца и приговаривал ему тихонько ласковые слова. Чуть сзади князя Долгорукого ехал товарищ его, такой в седле подбористый, князь Щербатов, и конь его был вороной, полный бешеного огня, и убранство и всадника, и коня немногим разве уступало убранству ратного воеводы. Проезжая мимо великого государя, воеводы с коней низко кланялись ему, а глубокий дворцовых обхождений проныкатель Языков досадовал: лучше бы саблей салютовать на манер иноземный — вот ляхи да французы на это дело великие мастера!.. За воеводами холопы их вели в поводу десятки их заводных коней, один другого краше, один другого богаче убранных: что ни конь, то состояние! И дивовались, и ахали москвичи на такое богатство бояр и воевод своих, и гордились тем, что иноземцы видят все это: на-ка вот, немчин, выкуси!.. И иноземцы, видевшие проездом в третий Рим этот, захудалые деревеньки, утопавшие в грязи, действительно были озадачены: конечно, и у них далеко не всё по

¹Чепрак — подстилка под седло.

этой части благополучно было, но всё же москвитяне, bei Gott, шли в этих бесчинствах государственных далеко впереди всех!..

За воеводами на прекрасных конях, в цветных кафтанах, золотом расшитых, с золотыми крыльями, как у ангелов, за плечами шли конные жильцы, и в руках у них были копыя длинные, и на каждом копье играл цветной прапорец. За жильцами конными пошли жильцы пешие, высокие, статные, на подбор, молодцы в кафтанах многоцветных. За жильцами, хотя и не так стройно, но зато богато, пышно проходила московская дворянская конница, вся в бархате, в шелку, в золотых и серебряных цепях, в камнях многоцветных, с заводными конями, с челядью бесчисленной, с трубами серебряными и с громом великим барабанов и тулумбасов. За конницей московской — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается — форсисто пошли солдаты иноземного строя, и пешие, и гусары, со своими офицерами-иноземцами, а за ними потянулись стрелецкие приказы московские: одни в красных кафтанах с золотом, другие в зелёных, третьи в синих, четвёртые в жёлтых, без конца, и сверкали на солнце их пищали длинные и секиры широкие, отточенные, и сердито громыхал за каждым приказом пушкарский наряд его. Время проходило, а не уставал Алексей Михайлович с боярами и народом московским любоваться полками своими и гордиться силою ратной государства Московского. И вот, когда прогремел тяжко мимо царя пушкарский наряд последнего стрелецкого приказа, всё точно ахнуло и замерло в восхищении: на гордых, играющих конях, слепя глаза богатством бранным, шёл стремянной приказ, верная охрана великого государя. Что ни конь — картина, что ни воин — богатырь из сказки древней! А впереди полка вихрился, весь в огнях, молодой знатный витязь князь Сергей Одоевский. И когда проходил он мимо царя, князь засадил шпоры в крутые бока своего коня, тот в ярости взвился, но, сдержанный железной рукой, заиграл игрою буйной, и

князь, выхватив вдруг саблю свою, приложил золотую рукоять её к челу, а потом опустил саблю долу: голова-де моя у ног твоих... И вышло это у него так красноречиво, что всё вокруг восторженно взревело и улыбнулся царь. А Языков одобрительно кивнул головой: вот это гоже, это с польского манеру!..

Стукнула, закутавшись белым дымом, пушка, и вся река воинская враз стала, образовав огромный многоцветный квадрат вокруг ставки царской. Царю и ближним боярам подали челядинцы богато убранных коней. Но не успел великий государь, сев на коня, тронуться с места, как навстречу ему подскакали оба воеводы.

— Ну, исполать тебе, князь Юрий Алексеевич!..— ласково проговорил Алексей Михайлович.— Уж так утешил, так утешил, что и высказать тебе не могу!.. Вижу, вижу труды твои... И помни: за Богом молитва, за царём служба не пропадают.

Князь сдержанно сиял: это была первая победа над смутой.

Царь доволен, царь доверяет,— значит, там, на Волге, руки будут развязаны. А это первое дело...

Начался объезд царский полков и приказов. Царь медленно продвигался на коне вдоль рядов, останавливался, ласкал начальников, хвалил людей и чувствовал, как вокруг него бесконечные тысячи сердец загораются священным огнём воинским. И, завершив круг, царь снова подъехал к своей ставке.

— Ещё раз, князь: утешил!..— решительно повторил Алексей Михайлович и слез с коня.— А теперь отпустим воинов по домам, а там прошу тебя хлеба-соли моего откусать...

Вся свита спешила.

Царь воссел снова на свой трон.

Опять в белом дыму стукнула пушка, и всё войско, дрогнув, перестроилось к походу в Москву. Минута затишья... Князь Долгорукий орлом оглядел недвижные полки и вдруг поднял свой золотой шестопёр. Враз взыграли трубы, загрохотали барабаны и первым, привет-

ствуя царя кликами восторженными, пошёл на Москву, во главе с молодым витязем Одоевским, стремянной приказ, а за ним все другие полки и приказы. У солдат подводило брюхо с голоду, у многих штаны были мокры — не выдержали,— от жажды в глазах круги огненные ходили, но зато все, и в том числе они первые, убедились, что наша матушка Расея всему свету голова. А это только и было нужно...

Царь — чрезвычайно довольный, сияющий — всех просил милостиво к столовому кушанью. И князя Юрия Алексеевича посадил он с собой за столом по правую руку, и ему первому по приказанию царя подавали всякую снедь и лили вино пенное или мёд старый, пьяный. Мало того: ему одному — знак величайшей милости — послал царь соли и не раз подавал хлеба. И князь бил всякий раз челом государю, и кланялись ратному воеводе все присутствующие, поздравляли его с великой царской милостью. А разряженные слуги уже несли во все стороны и лебедей белых, и гусей, и рыб чуть не в сажень длиной, и похлёбки всякие, и заливные, и тельные. И текли вина рекою обильною. И присматривали слуги зорко за гостями иноземными, потому некоторые восточные послы, выпив здравицу, норовили кубок царский на память за пазуху спрятать. Для таких бесстыжих послов были деланы нарочно в аглицкой земле сосуды медные, посеребрённые или позолоченные... А с поля всё гремели ещё в честь великого государя клики уходящих людей ратных...

И когда закончился, наконец, торжественный обед, Алексей Михайлович обратился к князю Долгорукому:

— А когда, с Божией помощью, надеешься ты, князь, выступить?

— Мешкать не буду, великий государь...— отвечал раскрасневшийся от вина князь.— Упустишь огонь, не потушишь... Дозволь завтра же, государь, быть у руки на отпуске...

— Орёл, орёл!..— покачал головой довольный Алексей Михайлович.— Ну, я вижу, что за тобой спать можно спокойно...

Алексей Михайлович встал, и все, кто могли ещё встать, поднялись за ним. Но очень и очень многих побороли мёды и вина царские — около тех со сдержанной улыбкой хлопотали слуги. Алексей Михайлович был в самом чудесном расположении духа.

— Ну, Сергеич, друг мой...— обратился он к Матвееву.— Уж так я доволен, так доволен, что и сказать тебе не могу. И на радостях решил я твои новые хоромы поглядеть, на новоселье к тебе заехать.

Это было совершенно неслыханной милостью: ни царь, ни его семейные никогда у бояр не бывали. Даже если кто из ближних бояр умирал, и тогда никто из царской семьи не являлся на дом, чтобы отдать последний долг близкому человеку. Слушавшие последние слова великого государя бояре переглянулись: ну и пошёл Артамон Сергеич в гору!.. Матвеев, живший до того в своём скромном домике у Николы на Столпах, только что отстроил себе по настоянию царя великолепные палаты в Белом городе, устроенные на иноземный лад не хуже, чем у князя В. В. Голицына, в Охотном ряду. И вот царь всемилостивейше изъявил желание посмотреть, как его собинный дружок устроился. Осчастливленный Матвеев сейчас же отрядил одного из своих холопов верхом домой, к своей супруге, чтобы предупредить ее о высоком госте.

Некоторое время спустя по раскисшей от последних дождей дороге заколыхалась, окружённая вершниками, скороходами, ближними боярами и жильцами, золочёная колымага царя. За ней, на почтительном расстоянии, протянулся бесконечный поезд бояр, гостей именитых и иноземных послов, которые были на смотр и возвращались теперь на Посольский двор в чрезвычайно весёлом расположении духа: они очень оценили московское гостеприимство. В особенности эти русские меда — небеса видишь!..

На околице московской колымаги расползлись во все стороны. Царская колымага, распространяя вокруг себя священный ужас, уже стучала своими золочёными ко-

лѣсами по неровной бревенчатой мостовой Белого города. И ломали встречные головы: куда это царь-батюшка надумал? И когда подворотила колымага ко двору Матвеева и сияющий хозяин — он был уже дома — в золотном кафтане с хлебом-солью встретил высокого гостя внизу высокого крыльца, всё так и ахнуло: «Ай да Артамон Сергеич!.. Отец-то, бают, шти лаптем хлебал, а он вон куды маханул!.. Вот тебе и тихоня!..»

Царь медлительно поднялся на высокое, изукрашенное резьбой и живописью крыльцо великолепных каменных хором своего любимца, опираясь на посох, вошёл в светлые, расписные сени, где прижимались к стенам всякие чада и домочадцы. Царь милостиво кланялся на их низкие поклоны.

— Вот сюда, государь...— сиял Матвеев.— Милости прошу...

Царь вошёл в обширный, светлый, весь увешанный зеркалами, парсунами и картинами варяжского письма, покой. Он весь уставлен был золочёной иноземной мебелью и коврами устлан пушистыми. Дородная, величественная Евдокия Семёновна, сзади которой держалась скромно какая-то девица с золотым подносом в руках, низко склонилась перед высоким гостем.

— Добро пожаловать, великий государь...

Царь принял золотой кубок мёду и — чуть не выронил его из рук: перед ним в нарядном летнике и в телогрее с откидными рукавами стояла та, о которой так тосковало его сердце! Он быстро справился с собой.

— Здрaвы будьте, хозяин, и ты, хозяйюшка...— ласково, радостный, проговорил он.— А я и не знал, Сергеич, что у тебя дочка есть... Да какая красавица!..

Наташа вся вспыхнула, и тёмные глаза её просияли.

— То не дочка, великий государь...— отвечал Матвеев.— Это воспитанница моя, дочь Кирилла Полуэктовича Нарышкина, Наталья Кирилловна...

— Вот что!.. Я и не знал...— сказал Алексей Михайлович.— Ну, будьте же здравы все... И ты, Наталья Ки-

рилловна... Дай Бог вам на новоселье всякого благополучия и в делах ваших скорого и счастливого успеха...

И одним духом, по обычаю дедовскому, он осушил кубок и, опрокинув, показал всем, что в кубке не осталось ни капли. Хозяева, сияя, низкими поклонами благодарили дорогого гостя.

— Ну, а теперь ведите меня, показывайте хоромы ваши...— говорил царь.— Вот теперь ты, Сергеич, как следует устроился... А то жил Бог знает как... К чему это пристало?

— Невысокого рода мы, государь...— отвечал Матвеев.— И не пристало мне тягаться с высокородными. Только чтобы из твоей воли не выходить, государь, и построил я себе эти палаты, чтобы твоему величеству порухи не было... Это вот столовая палата... Там, на хорах, мусикия играть у меня будет...

Наташа шла с Евдокией Семёновной сзади. Как он постарел, как раздобрел, как поседел!.. Мелькнул в мыслях образ молодого витязя с огневыми глазами, князя Сергея Одоевского, который часто, слишком уж часто на лихом скакуне ездит всё мимо двора их в алом зипуне, в кафтане златотканом, в белой, опушенной соболями епанче... Нет, то всё же обычное, да и запретное: женат князь...— а тут: Великий Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, Великия, Малыя, Белья, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский и прочая, и прочая, и прочая.

Глаза её сияли, как звезды...

XXVIII. МОРЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ

Русь закипала из края в край. Посланцы Степана Разина — большинства из них он и в глаза никогда не видал, ни слова с ними не говорил, никуда их не посылал,— работали с неусыпным усердием по градам и весям и читали людям грамоты атамановы, которых он никогда не писал. Там шептали эти шептуньи, что идет

атаман на бояр, на дворян, на приказных людей, чтобы всяк всякому на Руси ровен был, чтобы всё было у всех общее. В другом месте уверяли эти шептуны народ, что идут казаки с царевичем и что даст этот царевич народу православному хлеба вволю, во всём полную волюшку и жизнь лёгкую и радостную. Там поднимали они чёрный люд за Никона, несправедно от бояр страждущего, в других местах ополчали они темноту против новшеств никонианских с яростью, инородцев поднимали против русских притеснителей, а раскольников за веру святоотеческую... Годилося в дело всё — только бы раскатать, только бы повалить, только бы ослобониться.

И разгоралась иссушённая тяжкими невзгодами безбрежная русская степь со всех концов, взволновалось до дна, замутилось огромное царство мужицкое, морем бурным вздыбилось оно под ударами грозовой тучи, что с Волги-матушки над ним заходила...

В глубокой старине, хотя и очень скудно, но зато и вольно жило русское крестьянство: не по нраву пришлось в одном месте, можно идти в другое. Правда, эту свободу перехода в наше время склонны очень преувеличивать. Если по закону и по обычаю крестьянин это право в старину и имел, то это не значит, что это право он всегда использовать мог. Перевезти целое хозяйство — как бы убого оно ни было — с одного места на другое это совсем не то же, что переехать с одной квартиры на другую. Тут и скотинка, и снасть всякая, и ребята малые, и могилки родительские, и привычка, а главное, тут нужны деньги, чтобы на новом месте приладиться и пустить корни, а денег-то у мужика как раз никогда и не было. Уже Герберштейн¹ отмечал, что были в его время землевладельцы, которые, несмотря на все «порядные» грамоты, заставляли мужика работать на себя шесть дней в неделю — уже в XVI веке!.. Это показывает, как, лёгкий на бумаге, нелёгкок был в жизни

¹Герберштейн, Зигмунд фон (1486—1566), немецкий дипломат, автор «Записок о московских делах».

для мужика этот переход на другое место. На такое передвижение он решался только тогда, когда на старом пепелище совсем уж терпения не хватало. Но, конечно, старый Юрьев день этот — 26 ноября, по первоупоточку,— для него, сироты, всё же был известным подспорьем в его тяжкой доле, в его роли колонизатора русской, всё ещё порожней земли, её дикого поля. Известные преимущества, как справедливо замечают некоторые исследователи этой эпохи, имел Юрьев день и для землевладельца даже: пока стоял Юрьев день нерушимо, землевладелец мог какого-нибудь нерадивца или кабацкого завсегдатая просто согнать с своей земли, а после отмены вольного перехода всё, что ему, бедному, оставалось, это только допекать неисправного мужика штрафами да пороть его...

Первое время, на заре русской истории, землевладельцы старались превзойти один другого привилегиями и льготами, чтобы приманивать на свои земли работных людей, но уже в сороковых годах семнадцатого века стало тесно, они стали жать мужика так, что московское правительство вынуждено было у тех, кто уж очень допекал крестьян, земли отбирать и записывать на великого государя; сверх того помещик — на бумаге — должен был выплатить мужикам всё, что он у них забрал противозаконно, а в вотчинах земля и крестьяне отнимались у жестокого землевладельца и передавались его родственникам, добрым людям. Да и после издания Уложения (1649) за крестьянином оставалось право перехода, но теперь он был обязан поставить на свое место другого, что, конечно, было весьма трудно: ибо там, где несладко пришлось дяде Якиму, несладко было бы и дяде Якову. Это-то мужики понимали... И потому, если дяде Якиму приходилось уносить ноги, то он не особенно заботился, кто будет на его месте, и давал тягу так, чтобы и следу его было не найти. В этом отчасти помогали ему и сами землевладельцы, а в особенности на окраинах, подальше от Москвы: так как за беглых в казну платить ничего не приходилось, то землевладельцы, обманывая

московское правительство, весьма охотно принимали и укрывали их. А ежели приезжало, пронюхав, начальство с ревизией, то землевладельцы, чтобы приbedнниться, отправляли на некоторое время в леса не только беглых крестьян, но даже и своих, часто целыми деревнями. А пройдёт гроза, снова мужички возвращались к господину и трудились на него по мере сил...

Но это вечное передвижение рабочей и, главное, платёжной силы очень путало дела правительства, и оно всеми силами боролось против этого... Уже в удельный период князья давали один другому записи не только чёрных людей один у другого не переманивать, но, по возможности, и не принимать, когда они поднимутся и пойдут с своих мест самовольно. Очень благоволивший к чёрным людям Иван IV все же вынужден был черносошных — государственных — крестьян прикрепить к земле. Годунов — ещё при Феодоре Ивановиче — начал стеснять в переходе и крестьян частновладельческих. С воцарением Романовых закрепление крестьян становилось всё настойчивее, всё круче, и на долю тишайшего царя выпало нанести мужику последний, сокрушительный удар ещё в 1649 году, а во второй половине XVII века крестьяне были уравнены в бесправии с холопами, и если по закону их ещё нельзя было продавать без земли, то жизнь очень скоро нащупала обходы этого закона и помещики и вотчинники стали продавать мужика и без земли, как лошадь, как корову, как барана, как всякую другую рабочую скотинку.

И это прикрепление крестьянства к земле, усиление власти воевод, образование постоянного войска, словом, торжество единодержавия и усилило разбегание крестьянской России «розно» и вызвало и укрепило казачество как в Сечи, так и на Дону, так и на главном тогда торговом пути, на Волге. Казачество это было противодействием старого вольного уклада новой жесткой государственности. И всегда и повсюду в чёрных людях казачество вызывало глубокие симпатии: оно теснило богатых и знатных, оно было последним спасе-

нием. И если для воевод и богатых гостей казаки были лихие люди, вору, разбойнику, то для чёрного народа это были удалые добры молодцы.

Но бежать всем в Запорожье, на Дон, в Жигули было немыслимо: были люди и многосемейные, и характером мягкие, нерешительные, да, наконец, после Лихолетья власть всё же постепенно окрепла и очень энергично, хотя и не всегда удачно, ставила этой бродячей Руси препятствия. Крестьянство постепенно оседало, пускало корни, склоняло выю под ярмо необходимости и терпеливо шло своим воистину крестным путем. Что значительную роль в этой крестьянской драме играл Рок — инстинктивное желание великого народа закрепить за собой необъятные, выпавшие на его долю пространства,— этого беспристрастный мыслитель отвергать никак не может, но точно так же не может этот беспристрастный мыслитель отвергать и того, что много повинны были в тяжком положении крестьянства правящие классы того времени, что слишком уж обесправили они молодых людей государства Российского, что слишком уж много требовали они себе всего и слишком мало оставляли тем, кто на натруженном горбу своём нёс огромную тяжесть и их, и новорожденной державы Российской.

Ничто не ограждало крестьянина, как и холопа, от произвола землевладельца. Он имел право пороть их. Даже за убийство крестьянина помещик не отвечал. Суд мог подвергнуть мужика пытке не по обыску (без всякого следствия), а по одному слову владельца. Дворянин или сын боярский, провинившись, мог послать за себя на правёж, под палки, своих крестьян. Если дворянин медлил явиться на обязательную службу царскую, его крестьян сажали в тюрьму и держали до тех пор, пока тот не являлся. Если два соседа помещика враждовали, то крестьяне одного по его приказанию били и разоряли крестьян другого. Если бы крестьянину вздумалось искать на помещике свои обиды, то прежде всего натыкался он на свою безграмотность. Если он

одолевал это препятствие при помощи какого-нибудь посадского, промышлявшего «в пишей избушке площадным письмом», и кое-как налаживал «приставную память» в суд, то он натывался на ограждающий его противника закон: попов можно было тянуть в суд только 1 сентября, перед Рождеством и перед Троицей, а служилые люди во время службы могли на суд совсем не являться, а являлись они только месяц спустя после того, как отпустит их воевода, да и то только после третьего вызова.

Крестьяне, и черносошные, и властелинские, и дворцовые, и частновладельческие, были обременены бесчисленными поборами и повинностями. Они платили царскую дань, полонянничные деньги (на выкуп пленных), четвертные, пищальные, они обязаны были возить на селитряные заводы дрова и золу или взамен платить ямчужные, участвовать в построении городов или платить городовые, ставить на ямы охотников или платить ямские, нанимать на свой счёт сторожей к тюрьмам и целовальников к разным казённым делам, они мостили мосты по дорогам, давали натурой или деньгами стрелецкий хлеб, возили царских гонцов и всяких служилых людей, строили дворы воеводам, давали деньги в Приказную избу на свечи, бумагу и чернила, во время войны доставляли на свой счёт в войска даточных людей, ставили рабочих на казённые постройки и кормили их. А чуть в чём при исполнении бесчисленных тягот этих недохватка какая оказывалась, на мужика стаей голодных волков набрасывались приказные. Да и свои собственные выборные, земские люди, были, увы, по части грабежа и вымогательств несколько не лучше приказных, и часто правительство приказывало воеводам оберегать мужика и от его выборных. И как венец всего — готовые каждую минуту «нещадные батоги», причем очень часто недоимщиков в государевых сборах забивали до смерти... Мудрено ли, что часто и крепкий мужик превращался при таких условиях в бессильного бобыля, в «невзгодника», «отбывал пашни» и исчезал

в лесах? «Многие, государь, православные христиане по деревням едят оловину и сосну и ужовину — пишут сироты в одной челобитной — и от того твоя государева отчина Псков становится до остатка пуст». Мудрено ли, что воровские шайки — о подвигах их достаточно красноречиво говорят одинокие кресты по проезжим дорогам над погибшими от татей и разбойников — горели особенной ненавистью к богатым и приказным и особенно жарко хотели больших и глубоких перемен во всём строе государства Московского? В шайках этих были и князья, и бояре, и даже люди ангельского чина, но больше всего было в них холопей и крестьян. «Полетел молодец ясным соколом,— говорится в старой сказке,— а Горе за ним белым кречетом. Молодец полетел сизым голубем, а Горе за ним серым ястребом... Молодец стал в поле ковылём-травой, а Горе пришло с косой вострою. Молодец пошёл пеш дорогою, а Горе под руку, под правую — научает молодца богато жить, убить и ограбить, чтобы молодца за то повесили или с камнем в воду посадили...»

И, может быть, ничего так не било мужика, ничто так не подкашивало его энергию, как то, что был он на Руси не хозяин, а только сирота. Сперва, до прикрепления, он бежал всё дальше и дальше от центров и от «скудости»: богатые уголья и воля манили его. Но и там он не находил ничего своего, и там он оставался всё тем же сиротой. Его земля была не его земля и потому он ни в грош не ценил то, чем обладал. Он приучался хозяйничать не как заботливый и бережливый хозяин, который думает и о будущем своего клочка земли, а как страшный хищник, которому на всё наплевать, ибо всё вокруг него чужое. Он выпаживал без пощады прекрасные земли, не заботясь унавозить их, он истреблял леса, он был сам себе и государству Российскому первый и опаснейший разбойник. Уже в XVII веке отмечено это сумасшедшее истребление лесов и обмеление рек: уже тогда многие меленки-колотовки исчезли за недостатком воды! Переводился зверь, становилась более ред-

кой дикая птица, рыба исчезала. Но ему было всё равно, потому что всё это, от бобра седого до его покоса, было чужое. Он привык исстари не хозяйничать, а истреблять, и это свойство своё страшное он пронёс через века вплоть до самых новейших времён.

Невысоко витала мечта этого «подлого» народа, этого «смерда», этого «сироты». Он говорил: «Хлеба край да угол тёплый,— вот и жив человек». И так и жил. Пища его состояла из каши, репы, капусты, огурцов, луку да чесноку. Изредка перепадало ему солёной рыбки — больше «с душкóм». Мясо он ел только по большим праздникам, хотя корова в те времена стоила всего два рубля. Запивал он все эти снеди свои больше всего квасом прокислым, в праздники брагой, а весной он угощал себя березовцом, то есть соком берёзовым. И потому вполне справедливо писал князь Курбский Ивану IV, что напрасно беспокоится так грозный царь о соблюдении его подданными постов: вся работная Русь и так постится довольно исправно! Его «угол тёплый» представлял из себя жалкую избёнку, в которой молодожёны, старики и дети в невероятной тесноте и смраде неимоверном жили вместе с курами, поросятами, ягнятами и телятами. Дымниц не было, и дым, разъедаая глаза, выходил в волоковое оконце вместе с теплом. Не было и света, потому что маленькие оконца были затянуты за отсутствием стекол бычьим пузырём...

Мужик был на всё горазд, но путём не умел делать ничего; всё его хозяйство было жалкой самодельщиной: вместо сапог — липовые лапотки, вместо доброй ткани — самодельная посконь, вместо освещения,— лучина, вместо плуга — вся деревянная соха, вместо бороны — сучок, вместо мельницы — домашние жернова. Немногие гроши, которые к нему попадали, он за отсутствием кошелья клал в рот и поражал иноземцев, что и с деньгами во рту он может разговаривать без всякого стеснения. И защитой от холода был ему бараний тулуп, а тот же тулуп, но шерстью вверх, служил ему защитой и от летнего дождя...

Деревеньки того времени были очень малы: инде пять дворов, инде — три, а то и один. Правильно говаривали тогда мужики: в деревне мира не наберёшь. И когда летом выгорали они дотла, никто об этом не знал, когда зимой заносило их снегом до коньков, только стаи волчьи были их гостями. Вместо календаря были у них испорченные святцы с их семиками, Прасковьями-Пятницами, Кирикуликами, Миколой Милосливым, всякими спасами и покровами, а вместо науки — предание дедовское да всякие приметы. Местами среди таких деревенок стояли погосты и даже монастыри, и батюшки — как это до сих пор во всех хрестоматиях пишется — насаждали среди мужиков христианское просвещение. Просвещение это, однако, касалось больше мира потустороннего. Мужики отлично знали, что будет там тьма крошечная, погребка глубокие и мразы лютые — неправедным священникам и судиям, котлы медные, огни разноликие, змеи сосущие — мужьям беззаконникам и жёнам беззаконницам, смола кипучая, и скрежетание зубное, и плач непрерывный — глумотворцам и пересмешникам, языков вытягание и за языки повешение — клеветникам и злоязычникам, за хребты повешение над калеными плитами и на гвоздь железное — плясунам и волынщикам, червь неусыпающий — сребролюбцам и грабителям. И все эти грешники поют там на распев староверский, упрекая родителей своих в даровании жизни:

И зачем вы нас породили?
На роду бы нас задавили!..

Богов они одобряли больше старинных, чёрных, домашних, и даже на далёкий погост, в церкву, носили они из дому этих вот своих собственных богов и им там и молились. Другие же перед такими богами и шапок не снимали: то боги не наши и не приходские, пренебрежительно говорили они, а не то Микулины, не то Яфимовы...

Имена носили они больше свои, домашние: Первушка, Смирной, Третьяк, Пинай, Дружина, Неупокрой, Козёл, Салтык, Висл, Неустройко, а настоящих, христианских имён у них было большею частью по два: одно всем известное, а другое, совсем настоящее, тайное. Делалось это по совету батюшек-просветителей с тонким умыслом: ежели какой лиходеи захочет испортить Ивана, то он цели своей достигнуть не может, потому что Иван на самом-то деле совсем не Иван, а Петруха. И только тогда, когда тайного Петруху этого, убрав, клали в домовину, и узнавали все, как он, Петруха, с помощью отца своего духовного их всех, а в особенности силу нечистую, объегорил. И лежит Петруха в домовине, довольный, что сдал он свое тягло навеки: не платить ему теперь уж больше празги (денежный оброк), не ходить на изденье (на барщину) к господину суровому, нечистую силу он надул, а так как перед смертью ему удалось «соопчитца», то вечное блаженство ему, по словам батюшки, теперь уже обеспечено в райских селениях, идеже и все другие такие праведные упокоются... А перед смертью такой весь прозеленевший старец, весь в волосах, обыкновенно тихо и умиленно радовался, что вот прожил он всю жизнь и ни с кем не судился и даже, слава Тебе, Господи, в городе своём ни разу не бывал...

Вообще батюшки держали мужика в строгости. Ему, дураку, иногда хотелось отдохнуть от труда беспросветного, повеселиться, хотелось радости хотя бы маленькой. Но заботники-батюшки предписывали настрого: «А воскресные господские праздники и великих святых приходить в церковь, стоять смирно, скоморохов и ворожей в дома к себе не призывать, в первый день луны не смотреть, в гром на реках и озёрах не купаться, с серебра не умываться, олова и воску не лить, зерною, картами, шахматами и лодыгами не играть, медведей не водить и с сучками не плясать, на барках песен беговских не петь и никаких срамных слов не говорить, кулачных боёв не делать, на качелях не качаться, на

досках не скакать, личин на себя не надевать, кобылок бесовских не наряжать», а буде не послушаются, «бить батоги нещадно, а домры, сурны, гудки, гусли и хари искать и жечь и на том сотском и на его сотне»...

Из всех строгих предписаний этих мужики исполняли только одно: в шахматы не играли. Но зато очень уважали они кружала царские с их огневым вином да шумные братчины на празднике престольном, которые заканчивались обыкновенно великим скуловоротом и зубодробительством. Московское правительство в этих разумных развлечениях чрезвычайно мужику помогало. Раз воевода верхотурский на просьбу Москвы порадеть, чтоб кабацкий сбор был побольше прошлогодного, отвечал, что у него все пропились, одолжали и обнищали и что, по его мнению, кабак нужно было бы закрыть. И ему из Москвы отписали: «Вы пишете, не радея о нашем деле, что кабак хотите отставить. Переж вас многие на Верхотурье воеводы бывали, а о том кабаке к нам не писывали. И вы, делая леностью своею и не хотя нам служить, пишете к нам не делом». Точно так же, когда кабацкий голова Устюга Великого донёс, что государевой казне чинится недобор великий: питухов не стало, много людей оскудели и в напойных деньгах от прошлого головы стоят на правеже, то ему ответили: «...ищешь воровски, хочешь воровать, велим доправить вдвое»... то есть, другими словами, грозили ему «порастрасти его мирские животишки». А ежели который старался о пианстве всеобщем, того награждали на Москве сукнами дорогими, чарками серебряными и деньгами. И чтобы вообще кабацкое дело процветало, начальству разрешалось действовать «бесстрашно» и «никакого опасения себе не держать». И те скоморохи, гусяры, зернь и прочие забавы, которые так осуждались святителями, в кабаках с разрешения царского процветали, ибо они приманивали православных... Но ежели в пьяной драке кого православного убивали до смерти, то такого упокойника батюшки, как это ни было им убыточно, отпевать отказывались...

И так как сидели воеводы по городам крепким и не очень любили приказные забираться далеко в деревенскую глушь — одинокие кресты на проезжих дорогах очень предостерегали от легкомысленных поездок, — то управлялось мужицкое царство, как говорится, само собой. Крошечные деревушки эти собирались в волостку, а несколько волосток в волость, и были избираемы и десятские, и сотские, и старосты, чтобы было кого начальным людям под зябры брать для ответу. А над всеми этими выборными людьми царил сход, или мир. И хотя и придумали мужички о мире этом разные речения возвышенные, — «мир велик человек», «с миром жить советно надобно» и прочее, — но всё это были только цветы красноречия разных неисправимых фантазёров и мечтателей посконных, в жизни всеми делами на миру верховодили мужики-горлопаны, богатеи посредством штофа зелена вина. И при первом строгом «цыц» людей начальных все эти самоуправляющиеся граждане земли Русской забивались в тараканью щель, а то и дальше: бережёного и Бог бережёт, как говорится, и моя хата с краю — ничего я не знаю. На бумаге, которая имеет такое удивительное свойство, прельщая, вводить в соблазн учёных исследователей, — мужички имели даже право посылать своих представителей в суд, который правил над ними сперва более или менее неправедный судия-Шемяка, а потом приказчик господский; но не на бумаге, в жизни, приказчик показывал гражданам вынутую из-за голенища плеть, и все эти Неустройки, Филиски, Жданы да Макуты благоразумно торопились ретироваться и поучительно один другому говаривали: с сильным не борись, с богатым не судись... люди ссорятся, а приказные кормятся... на миру беда, а воеводе нажиток... воеводой быть, без мёду не жить... подьячий любит принос горячий... И так далее, без конца...

Таким образом, всё, что этому миру, этому вечу древлерусскому, оставалось, это — раскладка податей и повинностей по вытям — происходит от глагола волком

вать,— и все эти разрубы и разметы «по животом и промыслом». При этом одних посконных граждан писали «в лутчую кость», других в середнюк, а бедняков зачисляли в младших людей, хотя бы младшему этому и перевалило давно за восемьдесят. Кроме того, к непрерываемым правам мира, или веча, принадлежали и заботы об увеличении всеми способами населения волости — то есть доходов государевых,— и о приобретении, опять-таки всеми способами, новых угодий. И в результате всех пышных прав этих и широких обязанностей королева на Руси стоила тогда два рубля, лошадь пять рублей, человек, именуемый холопом, пятьдесят рублей, а сокол для охоты царской — полторы тысячи...

Таков-то был фундамент вся Руси, Великия, Малыя, Белья, Царства Казанского, Царства Астраханского, Царства Сибирского и прочая, и прочая, и прочая... И потому-то казаки, продвигаясь на своих стругах вверх по матушке по Волге, чувствовали, что впереди их незримо идёт какая-то страшная сила, которая выравнивает для них все пути, все дороженьки и несёт их точно на крыльях...

XXIX. ПОД СИМБИРСКОМ

В первых числах сентября казаки высадились под Симбирском. Стояли чудные, ясные дни «бабьего лета». Горы расцвели уже в золотые и багрянцевые краски. На Волге стояла какая-то ласковая тишь. Здесь река была бы значительно оживлённее: сверху ползут тут в обычное время всякие суда самоплавом, а наверх идут бечевой, бурлаками. Но теперь, под грозой, всё спряталось и затихло. Но всё же ясно слышалось во всем, что это уже не порозжее место, не дикое поле, а государство Московское...

Казаки подступили к городу. Симбиряне-посадские враз открыли им ворота, и казаки с торжеством вошли в посад, но самый город, крепость на горе, была в ру-

ках воеводы Ивана Богдановича Милославского, у которого под началом было четыре стрелецких приказа и много дворян и детей боярских.

Старые русские города строились обыкновенно так: сперва ставили крепостцу, окружая её или тарасами,— так назывались высокие бревенчатые срубы, туго набитые землёй,— или же надолбами, то есть тыном дубовым. Под стеной рыли ров, а дно его иногда укрепляли частиком, то есть кверху заострёнными дубовыми кольями. В этом собственно городе помещались обыкновенно хоромы воеводы, присутственные места, военные склады, собор и часто дома окрестных помещиков. Под защитой этой крепостцы с её башнями, а в важных пунктах и пушками, теснился посад, который тоже в своё время, разбогатевав, окружался стеной, а за этой второй стеной шли уже слободы, где жила беднейшая часть населения, которую защищать не стоило.

Заняв посад, казаки бросились было к стенам кремля.

— Пушкари, по местам!..— прозвучал вдоль стены энергичный голос.— К наряду!..

Загремели пушки, запрыгали вокруг тяжёлые ядра, и немного удивлённая вольница отхлынула прочь: они думали, что после таких успехов сопротивления им не будет уже нигде. В посаде закипело: казаки и посадские просто из себя выходили. Так всё шло хорошо и вот не угодно ли? И на другой день всё снова бросилось на приступ к высоким стенам, но и в городе не спали.

— Пушкари, к наряду!.. Огонь!..

Длинные языки пламени, грохот,— повторяемый эхом в прибрежных горах, он казался хохотом какого-то большого дьявола,— скачущие тяжёлые ядра, и опять нестройными толпами отхлынула вольница прочь, унося свои длинные лестницы. Первым движением раздосадованного Степана было, оставив часть своего войска — оно росло с каждым днём — для бережения осаждённого города, с остальным ударить вверх по реке, на Казань, но прирождённая осторожность победила: чёрт их знает, если, не в пример прочим, оказал сопротив-

ление небольшой Симбирск, то, может, будут сопротивляться и Казань и Нижний?.. И он бросил все свои силы, во-первых, на укрепление посада, на случай подхода подкреплений к осаждённым, а во-вторых, на возведение вокруг кремля высокого вала. Закипела дружная работа, которая прерывалась только в праздники, когда воровские попы честь-честью служили казакам обедни, молясь за патриарха Никона, за всевеликое войско казачье и за доблестных атаманов его, а по ту сторону стен неворовские попы служили такие же обедни для воеводы и служилых людей и просили у того же Бога здоровья великому государю, всему синклиту его и всему христолюбивому воинству. И зубоскалы смеялись: а ну, кто кого перемолит?

Между тем как казаки были заняты осадными работами, а попы молились за успех их предприятия, Степан усердно рассылал во все стороны свои грамоты. И одним он писал: «А которые дворяне и дети боярские и мурзы и татарове похотят за одно тоже стоять, за дом Пресвятыя Богородицы и за всех святых, за великого государя и за благоверных царевичев и за веру православных крестьян, и вам бы, чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и татар ничем не тронуть и домов их не разорять». В другой грамоте «от великого войска и Степана Тимофеевича» к муллам и мурзам и «всем слободским и уездным басурманам» он приглашал «для Бога и пророка и для государя и для войска быть вам за одно». В третьей он уверял, что царём он совсем быть не хочет, а хочет быть всем как брат...

Рассылал он во все стороны и небольшие отряды. Но, в сущности, не было нужды ни в грамотах атамановых, ни в его отрядах: сухая солома загоралась сама собой, от деревни к деревне, от города к городу, от области к области. Город Корсунь был взят без выстрела, так как все служилые люди заблаговременно бежали в Симбирск: приехали два казака, объявили город занятым и устроили круг, который и вынес немедленно смертный приговор единственному уцелевшему подьячему и стре-

лецкому голове. Из Корсуни казаки отправились — уже вдесятером — в Саранск, где ещё до их появления воевода был убит жителями, которые встретили казаков с распростёртыми объятиями. Из Саранска отряд — уже в сто человек — двинулся на Пензу, городок, совсем недавно выстроенный на Симбирской Черте. Там тоже всех, кого нужно, уже перебили. В Пензе с этим отрядом соединилось шестьсот человек конницы, которая подошла степью от Саратова. Из Пензы казаки — уже в числе девятисот — двинулись на Верхний и Нижний Ломов, а оттуда на Керенск, потом на Шацк, где вдруг напоролись на московское войско князя Ю. А. Долгорукого и были разбиты.

Казаки отступили было к Ломову и хотели, свернув на Симбирск, соединиться опять со Степаном, но ломовцы настояли на новом наступлении: мы-де под Шацкой всеми головами пойдём!.. Опять казаки понесли тяжёлое поражение. Но это только подлило масла в огонь народного восстания, и озлобленные мужики, холопы и беглые солдаты стекались под казацкие знамена со всех сторон, да и градские жители от них нисколько не отставали: о ту пору город по всему складу своей жизни, по понятиям и даже по занятиям жителей очень близко подходил если не к деревне, то к большому селу и говорил с деревенским людом на одном языке.

Так же бушевало море народное и на север от Симбирска, вверх по Волге, где казаки, стрельцы, работные люди и мужики — в особенности дворцовых сёл, то есть крепостные самого царя,— соперничали в отчаянности с огромными ополчениями мордвы, черемисов и чувашей. Иногда во главе этих отрядов стояли сельские попы. Иностранцы были вооружены только луками, рогатинами, топорами да косами и, конечно, разбегались при первом столкновении с правительственными войсками, но разбегались только для того, чтобы в глубине дремучих лесов снова собраться в большие отряды и зорить и поджигать вокруг дворишки и животишки всех своих врагов. Вообще край этот далеко ещё не был замирён. Воеводы

и приказные, пользуясь темнотой народа, драли его неимоверно, а батюшки насильно крестили «язычников» в веру истинную. Напрасно приказывала осторожная Москва воеводам накрепко, чтобы они черемисов и чувашей не обидели, и посулов и поминков с них не имели, и насильств им не чинили, а держались бы ласки, и привета, и береженья, напрасно в то же время рекомендовалось местному начальству, чтобы черемисы и чувашки измены не завели и дурна какого не учинили, лутчих людей из них имати в аманаты (заложники) и держати их в городе, — ничто не помогало: приказные и батюшки держали край в состоянии белого каления. Бедные дикари смотрели на них с ужасом, и, когда раз на торгу одна попадья, возмущённая ценой, которую просил с неё за что-то чувашин, воскликнула: «Да что ты? Побойся Бога-то!..» — чувашин вполне резонно ответил: «А чего его бояться? Он не писарь...»

Ещё при Василии Шуйском «мордва, и бортники, и боярские холопы, и крестьяне, собравшись, приидоша на Нижний город, осадиша его и многия пакости деяху». В 1639 году сбор ямских денег дотла разорил мордву и всё племя терюхан и значительная часть ердзян, забрав свой скот и рухлядь, рассыпалась по дремучим лесам. И было замечено, что при всех многочисленных восстаниях этих повстанцы обязательно прежде всего сквернили православные церкви; такую любовь сумели внушить к себе батюшки-просветители!..

И горели леса дремучие, бескрайные буйными огнями народного гнева, и лилась кровь, и как ни слабы были все эти повстанческие отряды в военном отношении, князю Ю. А. Долгорукому — его ставка была в Арзамасе — было нелегко бороться с ними, во-первых, благодаря их многочисленности и неуловимости, а во-вторых, благодаря тому, что в своей оценке московской силы ратной князь оказался более прав, чем сам того хотел. Блестящий и такой, казалось, воодушевлённый парад перед светлыми очами государевыми под Серебряным бором не совсем оправдал те надежды, которые

он было вызвал. Из своей ставки князь сумрачно доносил в Москву, что очень многие дворяне и люди служилые не явились к исполнению долга на свои места. «У нас малоллюдно,— писал суровый воевода,— стольников объявилось в естях 96, в нетях — 92, стряпчих в естях — 95, а в нетях — 212, дворян московских в естях — 108, а в нетях — 279, жильцов в естях — 291, а в нетях — 1508». Даже угрозы царя в указе особом, что те, которые не поедут и учнут жить в домах своих, будут лишены поместий и вотчин, видимо, не очень подействовали...

И чтобы расшевелить беспечную Москву, ратный воевода вместе с этим донесением посылал туда целый мешок воровских прелестных писем...

Тем временем в Симбирске стена вокруг посада была укреплена и вал вокруг кремля поднят. Степан приказал втащить на него пушки, и вот в ответ на суровое воеводское: «Пушкари, к наряду!..» на валу раздалось не менее суровое: «Казаки, к наряду!..». И грохотали казацкие пушки и били в башни, и стены, и в город, а часто удавалось казакам перебросить через стены и зажжённую солому, и сено или дрова. В городе не раз уже начинался пожар. Войско Степана всё росло и росло. Встревоженный воевода — прелестные письма в город так и сыпались — посылал несколько раз гонцов в Казань с просьбой о помощи, но он не знал, доходят ли его гонцы по назначению: весь край был объят огнём восстания. Отсиживаться становилось всё труднее и труднее, и казаки, чувствуя это, снова разгорались духом.

Стоял непогожий день. Волга насупилась. Низкие тучи неслись над раскисшею землёю. Под стенами Симбирска шло то же, что и всегда: изредка беспцельный выстрел мушкета, изредка так же почти беспцельно гроыхнёт с той или с другой стороны затинная пищаль, но больше всего — надо же что-нибудь делать! — и те и другие бойцы бахвалились и обстреливали одни других крутой матерщиной, дворяне со стен хвалились всех этих

холопей на кол посадить, а те грозились своими пиками толстое брюхо господское пощекотать...

Особенно в этом «искусстве брани» отличался Трошка Балала: он часто загибал такую похабщину, что не только свои казаки, но и на стенах все хохотали, и женщины, всегда с любопытством следившие за такими поединками, и батюшки в рясах поношенных. И, отбрав противника, Трошка, высоко неся свою поганенькую головёнку, гордо спускался с вала и шёл в ближайшее кружало, где он снова и снова изумлял всех подбором неимоверной мерзости.

— Ну, что жа, выходи, что ли!..— кричали казаки.— Ага, Балалы и того испугались!.. Га-га-га-га... погоди маленько, отведаете вы у нас вольского дна!..

Вдруг с угловой башни блеснул к казакам длинный, белый язык, пыхнул и закурчавился белый клубок дыма и ядро, упав на мокрый вал, бросилось в кучу казаков и во что-то сочно шлёпнуло. Казаки брызнули во все стороны. На стенах захохотали. А на валу, в грязи, раскинув толстые руки, лежал в крови сине-багровый Тихон Бридун. Ядро угодило ему в живот и всё в нем сплющило, измяло и переломало. Высокая мохнатая грудь его, всхлипывая, трудно подымалась и опускалась...

Казаки, оглядываясь сторожко на крепостные пушки, зашпорили тихо, как лучше снести старика в посад. Васька-сокольник — в осаде он что-то опять заскучал — за попом побежал...

Бридун ничего уже не сознавал. В душе старика нежным маревом стояло видение милой Украины. Вон хатка белая в садку вишнёвом, над сонным Пслом, и его Одарка с карими, ясными очами... И кровавый польско-татарский шквал, и гибель Одарки, и гибель беленькой хатки, и гибель всего... И Сеча буйная, и сверкающий Днепр, и задумчивые курганы в туманах утренних... И налёт на Анатолию солнечную, и тяжкий полон на турецкой каторге, в цепях, под ударами плетей нестерпимых, и налёт казаков, и радостное воскресение из

мёртвых, и бои, и воля, и тоска, тоска, тоска... Да, то бандура поёт звенящими звуками своими, похожими на слёзы серебряных ангелов:

То не сизы орлы во святу неделю заклекали...

И всё тоньше, всё дальше, всё нежнее делается марево Украины милой и — всей его жизни...

— Кончился...— сказал кто-то тихо.

И корявые руки стащили потрёпанные шапки со вшивых голов...

Тем временем Степан сидел у себя дома, поджидая каких-то людей, которые, сказывали, только что пришли с Москвы. От нечего делать он перелистывал приходорасходную книгу хозяина дома, земского старосты, и читал его безграмотные записи: «Ходил к воеводе, нес пирог в 5 алтын, налимов на 26 алтын, в бумажке денег 3 алтына да свиную тушу в рубль, племяннику его рубль, другому племяннику 10 алтын, боярыне полтину, дворецкому 21 алтын, людям на весь двор 21 алтын, ключнику 10 денег, малым ребятам 2 алтына, денщику 2 алтына...»

За дверью слышались шаги, и в комнату вошли исхудалые, грязные и мокрые отец Евдоким и Пётр.

Они помолились на иконы и низко поклонились атаману:

— Здрав буди, атаман...

— А, старые знакомцы...— сказал Степан.— А я думал, кто... Все живы? Ну, садитесь вот на лавку, отдохайте... Как там на Москве-то?..

— И в Москве, атаман, народ призадумался...— сказал отец Евдоким.— И дерзить стали властям предрежающим... Вот как уходить нам, на торгу, на Красной площади, одного пымали за хульные речи. И говорил тот человек отважно, при всех, что совсем-де Степан Тимофеевич не вор, а ежели-де подступит он к Москве, так надо выходить к нему почестно всем народом с хлебом-солью...

— Ну, и что же?

— А как полагается: отрубили руки и ноги, а обрубок потом повесили...— отвечал отец Евдоким, ухмыляясь.

— Так. Ещё что?

— А ещё... А ещё,— вдруг ослабился всеми своими жёлтыми, изъеденными зубами отец Евдоким,— ещё царь жениться задумал...

— Ах, старый хрен!..— засмеялся Степан.— Кого же это он насмотрел себе?

— У боярина Матвеева, вишь, девка какая-то жила. Товар, говорят, самого отменного первого сорту...

— Ну, значит, на свадьбу надо поторапливаться ка-закам.

— Только вас и ждут... А то всё готово...

— Ну, а дорогой что?

— А дорогой, Степан Тимофеич, чистое столпотворение вавилонское...— сказал отец Евдоким.— От самой Оки мужики палят усадьбы господские, ловят и бьют приказных, начальных людей, помещиков. И такое-то делают, что иногда и у меня мурашки по-за коже бегают... А из Москвы разными дорогами всё к князю Долгорукому полки идут. И с Украины, вишь, этих... ну, как их?.. драгунов, что ли, пёс их знает, взяли... А мужики везде на переправах их караулят, в лесах засеки устраивают, ямы волчьи по дорогам роют — много, много у тебя старателей-то, Тимофеич, ох как много!..

— А что в этом толку-то, в старателях-то этих, коли дело не по закону повели? — вдруг глухо сказал похудевший и как-то весь почерневший Пётр, тяжело вздохнув.

— Как не по закону?..— с удивлением посмотрел на него Степан.— Какого же тебе закону надобно?

— Не мне — я что?..— печально сказал Пётр.— Совестьный закон людям нужен, а у вас пьянство великое, блуд, кровопролитие и всякая жесточь. Ты старую неправду новой неправдой покрыть хочешь. А люди, которые совестные, те правды искали, града грядущего... Погляди вон на себя: правда в золоте да в шелках не

ходит. А ежели и есть на ризах её кровь, то не людская, а своя...— тихо добавил он, опуская голову.

— Это ты, брат, с попами дело обмозгуй...— засмеялся Степан.— Я по таким делам не мастак и от Писания говорить не умею — не учён!..

— Попы-то от этого, может, ещё дальше твоего...— тихо и скорбно сказал Пётр.— И...

Весь, до глаз, в грязи, в комнату ворвался Ягайка. Его круглое, плоское лицо было возбуждено, медвежьи глазки горели, и он едва переводил дыхание.

— От Казани большой сила идёт, атаман...— сказал он, задыхаясь.— Князь какой-то войско царское ведёт... Черемиса и наша чуваша хотел не пускай!.. Так и метёт...

— Верно?

— Свои глаза видела...— сказал Ягайка.— Лошадка упал — вот как торопился! Берегом идёт, трубам играт, тулумбас колотит — ай, большая сила!..

Степан встал.

— Ну, значит, надо встречать дорогих гостей...

Все вышли. Ягайка под навесом качал головой над своей загнанной лошастью, которая, мокрая как мышь, тяжело носила боками. Степан приказал часовым созвать всю казачью старшину, а сам пошел на вал, посмотреть, как и что там слышно.

— Да, а это ты, пожалуй, и в точку попал...— сказал отец Евдоким Петру, всё смеясь.— Раньше богатства были у больших людей — теперь казаки их себе подбирают, раньше приказные чёрный народ мучили, теперь чёрный народ всех терзает, раньше воеводы да монахи водки сладкие пили да девок себе, какие поспособнее, отбирали, теперь к казакам всё это переходит... И в сам деле, разницы как будто большой не предвидится... А? — взглянул он на Петра.

Пётр молча отвернулся: отец Евдоким становился всё более и более тяжёл ему. Как, чему тут смеяться, когда вся душа кровью исходит?..

XXX. СЛОВО МОСКВЫ

От Казани, правым берегом Волги, ускоренными маршами шли ратные силы под командой окольного князя Юрия Борятинского. Впереди головного стрелецкого приказа развевалось стрелецкое знамя: дороги зелёные, а на нём вышит крест дороги алая. Путь был чрезвычайно тяжёл: от затажного ненастья глиняные дороги раскисли невероятно, а кроме того, восставшие инородцы пользовались всяким случаем, чтобы из глухой засады осыпать царские войска дождём стрел и — бесследно исчезнуть в дремучих лесах. Воевода по приказу из Москвы захватил было с собой гуляй-городки, которые очень удобны, когда противник бьётся только лучшим боем, как крымчаки или ногаи, но здесь их не пришлось ставить ни разу: повстанцы разбегались от первого выстрела так, что их и не догонишь...

Войска шли в дело «с резвостью», как говорили тогда. Шли стрельцы с резвостью потому, во-первых, что они жили в Казани много лучше, чем стрельцы астраханские и вообще низовые, были, большею частью, семейные люди, осёдлые, зажиточные, которым всякие такие заводиловки были противны; во-вторых, потому, что большинство их были старообрядцы, а в воровском войске, верные люди сказывали, ехал сам патриарх Никон, на которого они смотрели с ненавистью и отвращением, как на вероотступника, который дерзнул в ослеплении гордыни своей проклясть не только их, но и святых угодников, крестившихся тоже двуперстно. А может, и потому обнаруживали стрельцы резвость, что в затылок им шли эти новые солдаты под командой иноземных офицеров. Офицеры-иноземцы никаких этих русских шуток не понимали и держали в своих частях такую дисциплину, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. А за солдатами, совсем сзади, под охраной рейтаров, колыбался и изнемогал обоз...

Симбирск был уже совсем близко. Окрестности жутко безлюдны. Деревни пусты совсем. Изредка виднелись по-

над Волгой и по одевшимся в золото осени лесам чёрные пожарища от сожжённых господских усадеб да местами шумно кружилось вороньё вокруг повешенных. Впереди головного полка осторожно подвигались дозоры. И воевода — сравнительно молодой ещё, с небольшой белокурой бородкой и с сухим нервным лицом — ехал при головном полке.

Рядом с ним задумчиво ехал князь Сергей Одоевский. Стремянной приказ, в котором он служил, был оставлен в Москве для бережения великого государя. Но князь явился к царю и попросился на Волгу.

— Ну, и без тебя там народу теперь хватит... — сказал царь. — Чего ты это?

— Отпусти, великий государь. Если Одоевским первое место в Думе Боярской и на пиру царском, так им же первое место и в бою... — сказал князь.

Царь подумал.

— Ну, Бог с тобой, иди...

Князь горячо и крепко берёт честь России, и принять участие в борьбе с ворами он считал своим долгом, но, может быть, всё же больше всего тянуло его на Волгу потому, что хотелось ему в шуме бранном заглушить ту тоску лютую, которая, как змея, сосала его сердце, забыть Наташу Нарышкину, которая овладела вдруг всем существом его...

Впереди зашлёпали по лужам возвращающиеся дозорные рейтары.

— Что такое? — остановив коня, крикнул воевода.

— Казаки вышли из Синбирского и идут нам на встречу... — донесли рейтары. — Спереди их валит черемисы видимо-невидимо...

— Стой!.. — крикнул князь.

Полки стали. Все понимали, что решительная минута близка. Князь приказал полковникам и стрелецким головам выстроить войска к бою и выжидать его приказаний... Всё стихло. Впереди видны были дозорные рейтары, отходившие по полю к главным силам. За полями виднелся чуть вправо Симбирск, по слободам которого

и по полю тревожно скакали всадники. Слева текла на север рыбная Свияга, а за ней, чуть подальше, легла широкая гладь текущей параллельно ей, но на юг, Волги. Вокруг красивые, все в золоте и в багрянце, холмы и опустевшие уже деревенские поля — привольные, весёлые, хлебородные места!

И вот вдруг из ближайшей рощи, от Симбирска, вывалила серая, тяжёлая и нелепая орда низкорослых и шершавых инородцев. Они шли, как овцы, большим стадом и орали что-то сердитое и несуразное. Стрельцы прямо обиделись, что кто-то там осмеливается посылать против них такой сброд, и резвости в них ещё больше прибавилось... Воевода с товарищами стоял на правом фланге, на взлобке, и тоже с улыбкой наблюдал диких воев, посланных против него. Он радостно чувствовал, как нарастает в его войске нетерпение ударить и смять всю эту дикую рвань, но он держал полки в покое.

Черемисы были уже не более как в сотне шагов, и уже несколько стрел, не долетев, воткнулись острыми носами в мокрую глину на взлобке, где стоял воевода. В озлобленном, но тревожном галдении инородцев уже чувствовалось их смущение перед выдержкой и молчанием казанских полков. Князь подпустил их ещё шагов на сорок и вдруг поднял свой шестопёр.

Головной полк в оглушительном треске пищалей весь закрылся белым дымом, а когда дым чуть рассеялся, инородцы с ужасом увидели, как цветная лавина полка неудержимо движется на них, а с боков заскакивают рейтары. Враз всё дрогнуло, и, побросав луки, сабли ржавые и рогатины, убитых и раненых, дикари в ужасе понеслись назад, к тихой, золотой роще.

Степан, стоявший с казаками вдоль опушки, скверно выругался.

— Бараньё!.. И нас они эдак сомнут... — в бешенстве сказал он и, чтобы сбить черемис в стороны и очистить путь казакам, быстро двинул свои силы навстречу казанцам.

Он как-то всем своим существом чувствовал, что его триумфальное шествие по Волге, по дикому полю, подошло к концу и что прежние сомнения его, которые так долго держали его в нерешительности на Дону и потом на Яике, были основательны. Но теперь надо было не раздумывать, а действовать: смелость города берёт!

— Вперёд! — крикнул он. — Нечай!..

— Нечай!.. — заголосили казаки, бросаясь вперёд. — Нечай!..

«Нечай» это был их новый ясак¹, сменивший старое «сарынь на кичку». Казаки объясняли мужикам: «А то у нас и ясак «нечай», что вы не чаєте царевича, а победим мы, и все вы увидите его на престоле...» Мужики одобрительно кивали головами, делая вид, что и они очень тонко всё это понимают.

Закипела рукопашная: выстрелы мушкетов и пищадей, крики, визг грызущихся лошадей, лязг и стукотня сабель, пистолетные хлопки и неугасимое: «Нечай, нечай!..», которым казаки возбуждали себя. Казанские пушки ухали по подходившим воровским частям. Степан крошил передом. Казаки старались равняться по нём, как по маяку. И вдруг атаман опустил свою окровавленную саблю и с удивлением посмотрел на правую ногу. Из ноги бежала кровь: пуля вошла в мякоть, в икру. Не обращая внимания на боль, Степан снова бросился в сечу. Но по казачьим рядам сперва в непосредственной близости от него, а потом и дальше, точно ветер, пронеслось недоумение: атаман ранен!.. А говорили, что он ведун и что не берёт его ни пуля, ни сабля!..

Высокий и стройный, блистая турецкой саблей, к атаману пробивался князь Сергей Одоевский. Степан сразу заметил его, закипело в нём сердце, но в это мгновение на него напало трое солдат с офицером-немцем. Он едва успевал отбиваться... Офицер вдруг упал, солдаты на мгновение растерялись, Одоевский с под-

¹Ясак — подать, платимая инородцами. Здесь — боевой клич, сигнал к атаке.

нятой саблей рванулся вперед. Степан бросился к нему навстречу, но поскользнулся на крови и чуть не упал. Он справился, хотел закрыться саблей, но было поздно: сабля молодого князя ошеломила его. Он закачался. Кровь залила ему глаза. Рослый, крупитчатый солдат, Семён Степанов, мясник из Алатыря, обрушился на него, и, обнявшись, они покатались под ноги бойцов. Мясник враз подмял было под себя Степана, как вдруг с одной стороны Ягайка с раскалёнными медвежьими глазами, а с другой тяжёлый отец Смарагд со своим бельмом и рябой Чикмаз бросились к атаману на помощь и Ягайка одним ударом топора разворотил голову солдата. Одоевский бросился было к атаману, но дорогу ему заступили самарские бортники Федька Блинков и Спирька Шмак. Князь со смехом свалил обоих и, весь в упоении битвы, бросился на окровавленного Степана.

— Легче, боярин!..— крикнул грубо Чикмаз, прикрывая собой Степана.— Смотри: боярыня плакать будет...

Царские войска теснили казаков везде и уже взяли пушки, знамёна и пленных. Оба фланга казаков медленно, но неуклонно загибались назад. Увидав атамана с лицом, залитым кровью, казаки дрогнули и в центре.

— Нажми, молодцы!..— весело крикнул в радостном исступлении Одоевский.— Ну, разом!..

Ягайка, изловчившись, ударил его ножом в бок, но нож только чиркнул бессильно по кольчуге веницейской, и Ягайка в ярости завизжал, как баба. Князь со смехом толкнул его в грудь и тот, отлетев, сел на зад и озирался, ничего не понимая. Подобрался к князю — он не раз охотился с ним под Москвой — Васька-сокольник, но князь ударил его, точно шутя, саблей и тот свалился. И в то же мгновение топор отца Смарагда ошелолил молодого витязя и он упал лицом в растоптанную, всю в крови, землю...

И вдруг казачий центр надломился и побежал. По рядам царского войска огнём вспыхнул победный крик, и вся пёстрая, сверкающая лавина его бросилась впе-

рѣд, к лесу, к Свияге, за бегущими ворами. Длинные полосы порохового дыма медленно тянулись в сторону Волги. К запаху мокрой, растоптанной глины примешивался тошный запах пота, крови и пороха. Воры наспех перебирались через Свиягу. Многие тонули...

Смеркалось....

Князь Борятинский подъехал со своей свитой к пленным. Грязные, в крови, они смотрели на воеводу затравленными волками. Тут же стояло четыре воровских пушки, знамёна и литавры. При приближении воеводы несколько человек пленных упало на колени.

— Смилуйся, государь!..— заныли они.— Грех попутал... Господи, да нешто мы...

— Этих повесить в первую голову...— нервно шурясь, сказал князь.— Из остальных отобрать человек десять поскладнее для допроса, а остальных всех повесить скорым обычаем...

И он тронул коня. Как раз стрельцы проносили мимо на носилках князя Сергея Одоевского. Он был жив, но без чувств. Душа молодого витязя была далеко от поля битвы — там, в Москве-матушке, в Белом городе, где в хоромах белокаменных жила та, которая была для него дороже жизни и которая была в душе его неотступно и днём, и ночью... Борятинский приказал отнести раненого к своему шатру...

Скоротав ночь в грязи и в дыму костров, казанцы с утра взялись за наводку моста через Свиягу. В казачьем лагере, по посадам и слободам, казаки бахвалились, но их уже грызло смутное сознание, что коса их нашла на камень. И разводили руками: и какой это чёрт набрехал, что атаман слово знает и против пули, и против сабли? Лежит у себя, весь обвязанный... Как бы вместо того, чтобы щеголять в богатых московских зипунах, не пришлось бы портки скидывать!.. Но наружно бахвалились — один перед другим и перед осаждёнными в кремле...

А на Волге, на большом струге, затянутом красным сукном, сидел, глядя на город и на дымы варивших за Свиягой кашу казанцев, Максимка Осипов, стройный

и красивый молодой казак с неверными, неприятными глазами. Он в случае нужды должен был изобразить из себя царевича. Тонким нюхом степного волчонка он чувал, что Степан налетел с ковшом на брагу. И что-то точно подталкивало его: а что, ежели подговорить несколько казаков посмелее да свернуть теперь Степану шею и царевичем стать во главе казаков? Не переговорить ли с отцом Смарагдом, послем патриаршим, который едет на чёрном струге? Отчаянная тоже голова!.. И чем больше отгонял он эту мысль, тем более овладевала она им. И такая смута овладела вдруг Максимкой, что он спрыгнул на берег вопреки запрещению атамана показываться казакам, — и пошёл, сам не зная куда, вынюхивая вокруг всё, как и что...

Развёдрилось. С высокого вала, от осаждённого кремля, видно было, как широко раскинулись ворота осаждённой крепости и казанцы с трубными звуками, под бой барабанов, под клики освобожденных людей воеводы Милославского входили в кремль. Обоз с великими криками и бранью подымался по крутой глинистой дороге и тоже скрывался постепенно за стенами кремля. По новому мосту пёстрой рекой, гремя пушкарским нарядом, переходили последние казанцы. Казаки отступали к Волге, в посад... Царевич был парень толковый: при виде всего этого он совершенно ясно понял, что теперь самое подходящее время не Степану шею свертывать, а свою спасать...

Стемнело. В казачьем лагере заметно было оживление. Силы Степана — а у него собралось уже около двадцати тысяч — в темноте подтягивались к насыпанному казаками под стенами кремля валу с волжской стороны. И когда на соборной колокольне в кремле пробило полночь, вдруг разом загревели все казацкие пушки и казаки густыми толпами с криками: «Нечай... нечай...» бросились с лестницами к стенам. Со стен загрохотали пушки, казаки всячески старались зажечь кремль, но от ненастья всё было ещё сыро, и их усилия не приводили ни к чему. Белые языки пушек рвали осенний мрак,

грохот пальбы перекачивался по волжским утёсам. На посадке вдруг вспыхнул пожар, и Волга вся, казалось, потекла огнём и кровью. Тревожными вихрями кружились в мутно-багровом небе горящие галки — казалось, то звёзды в ужасе заматались над ревущей боем землёй.

Бой разгорался. Казаков отбивали и раз, и два, и три, но они лезли опять и опять. Все они смутно сознавали, что решается вся их игра. Да и что было делать другого? Степан, опираясь на костыль, с перевязанной головой и с ознобом во всём теле, стоял на валу. Ему мнилось, что все эти пушки рушат ту его смутную, но, как ему казалось, грандиозную мечту, которую он всё это время носил в душе своей, мечту, в которой смешивалось как-то в одно: и новое, правильное устройство всего мира православно, и жгучая жажда большого богатства, большой славы, большой мести и большой власти для себя...

И вот проклятые опять брали верх!..

Настроение в штурмующих толпах голытьбы заметно падало, а в кремле так же заметно нарастало.

В багровом мраке, полном перекатной стрельбы, и криков, и галдения встревоженных толп человеческих, за спиной, от реки, послышался громкий тысячеголосый крик: то полк Андрея Чубарова, потеснив правый фланг казаков, заходил им в тыл. Казаками овладела вдруг неописуемая паника. Степан, чтобы как-нибудь спасти положение, чтобы не дать в этой панике погибнуть всему делу, послал к мужицким отрядам — они не смешивались с казаками, бились отдельно — своих людей, чтобы они держались, как можно, а он-де идёт с казаками к берегу, чтобы отбить там царский полк. Казаки для скорости съезжали на задах по крутому обрыву к точно пылающей от пожара реке. Но и мужики учуяли нараставший в багровом мраке ужас, учуяли возможность измены — казаки могут уйти на челнах одни — и вдруг, побросав всё, под грохот пушек со стен, как обезумевшие, понеслись к стругам...

Казаки уже прыгали в челны. Места — это было всем ясно — в стругах не могло хватить и для половины Сте-

панова войска, и вот в багровом, полном золотых роев галок сумраке над пылающей рекой началась между казаками остервенелая резня за челны. Победители по телам убитых врывались на суда, и перегруженные струги под крики ужаса шли в глубь огненной реки. Но это не останавливало остальных.

Полк Чубарова, с боем продвигавшийся берегом, вышел к отмели и, увидав, в чем дело, ударил на смятенных повстанцев. Последние струги, одни наполовину пустые, другие черпающие бортами от переполнения, поспешно отваливали от беснующейся вдоль берега толпы, нелепо кружились, опрокидывались, а с берега нёсся частый град пуль, и казаки, убитые и раненные, падали из челнов в кроваво-огненную, точно кипящую воду...

Занимался в дыму пожара угрюмый рассвет. Стрельба быстро стихала. Струги в беспорядке уплывали в мутную даль вниз по течению, назад. Весь берег был усеян убитыми и умирающими казаками. Поодаль от воды под охраной солдат полковника Чубарова стояли пленные, человек шестьсот, потухшие, растерзанные, сумрачно понимающие, что для них-то все сказки жизни кончены, что впереди только ужас, о котором нельзя и думать.

Князь Юрий Борятинский с воеводой Милославским, верхом, в сопровождении большой свиты подъехали к пленным.

— Ну, что? Навоевались?.. — не сдержался Милославский и скверно выругался. — А где же атаман-то ваш, поганец? А?.. А это что ещё за птицы? — вдруг воззрился он на двух странников с котомочками. — Взять!

— Помилуй, боярин, что ты?! — отозвался отец Евдоким. — Мы не воры, мы странные люди...

Милославский засмеялся.

— Хорошо поешь, да где-то сядешь!.. Возьмите его, солдаты...

— Верное слово моё, боярин!.. — не робея, сказал отец Евдоким. — Из Москвы мы шли да вот и попали в эту воровскую кашу. Гоже вы им насыпали — теперь помнить

будут! Ишь, что надумали, собачьи дети... А насчёт меня не сумлевайся: меня и боярыня Феодосья Прокофьевна Морозова знает хорошо,— только что у неё с недельку прогостил,— и родича твоего, тестя царёва, сколько раз у государя на верху встречал... Меня и царь-батюшка знает — сказки ему по ночам на сон грядущий рассказывал... Как же!.. Какие мы воры?.. Мы так, от монастыря к монастырю, от угодника к угоднику...

А Пётр только смотрел на воевод своими горячими, всё более и более теперь скорбными глазами.

Знакомые московские имена, верх государев и на вид, в самом деле, на воров как будто не похожи... И Борятинский и Милославский были так счастливы своей блестящей неожиданно лёгкой победой,— они думали, что сопротивление будет много крепче,— что не захотелось им на душу греха попусту брать, и они только рукой махнули: проваливай да подальше, а то бы как грехом тут не задело!..

— С десяток отделить,— приказал Борятинский,— а остальных всех гони в город, на площадь. И там ждать меня.

У берега стоял чей-то плот брёвен. По приказанию князя на нём была тут же поставлена виселица и десять человек — среди них был и «царевич» Максимка,— повисли на перекладине.

— А теперь пусти плот и пусть плывут так на низ...— велел князь.

И плот медленно заколыхался по угрюмой, дымной Волге. Убитые все тоже были сброшены в реку: пусть на низу они расскажут всем о силе московской...

Весь день и в посаде, и в городе шла неустанная потеха: одних казаков расстреливали, других четвертовали, третьих развешивали вдоль крутого берега на виселицах-скородумках. Симбирск от ужаса и дыхание затаил. А из слобод, под дымом угасающих пожаров, уже шли с хлебом-солью белые на лица люди бедного звания и несли великому государю свои головы: хошь, казни, хошь, милуй... Князь Борятинский приказал от каждой слободы

взять по человеку и отстегать его кнутом, а остальных всех помиловал и приказал батюшкам привести их к кресту на верность великому государю.

А Милославский уже писал в воеводских хоромаш подробное донесение в Москву. Он уверял, что всему разорению симбирскому виной казанский воевода князь Пётр Семёнович Урусов с его медлительностью: всё разорение от его нерадения к великому государю учинилось...

Урусов был вскоре смещён и начальником над всеми вооружёнными силами, действовавшими против воров, был назначен князь Юрий Долгорукий.

XXXI. ПОД ГРОЗОЙ

Весть о разгроме Степана раскатилась по всему Поволжью. На мгновение всё точно задумалось, но тут же огни восстания разгорелись с ещё большей силой. Весь огромный край от Волги до Оки горел. На севере восстание перебросилось за Волгу и докатилось до самого Белого моря, до Соловков. Бурлила вся Малороссия. Хватили людей на улицах Москвы и в украинном Смоленске. Москва ахала: неложно, белый свет переменяется!..

Но ратные воеводы уже делали своё дело. Князь Юрий Борятинский, расправившись с ворами в Симбирске, выступил со своими полками в Алатырский уезд, где скопилось больше пятнадцать тысяч мятежников. Он нашёл их на берегу реки Кондарати, под селом Усть-Урень. «Велик был бой,— доносил он в ставку князя Юрия Долгорукого,— стрельба пушечная и мушкетная беспрестанная, и я тех воров побил и обоз взял да одиннадцать пушек да 24 знамени и разбил всех врозь. Побежали они разными дорогами и секли воров конные и пешие, так что в поле, в обозе и в улицах Усть-Уренской слободы за телами нельзя было проехать, а крови пролилось столько, как бы от дождя большого ручьи потекли».

Этот разгром навёл такой страх на повстанцев, что жители взбунтовавшегося Алатыря вышли навстречу победителю с повинной, неся образа и хоругви. За Алатырем повинилась Корсунь и все мятежные села округ. И опять казни и присяга. Но когда войска князя Борятинского продвинулись вдоль Симбирской Черты к Пензе, здесь, в тылу, снова загорелось восстание. Князь отрядил в тылы думного дворянина Леонтьева с ратной силой. И мятежники около села Апраксина были разбиты снова, зачинщики казнены, и, так как действительность и прочность присяги была очевидна, то башки снова заставили повстанцев целовать крест, а те, целуя крест, думали, как бы снова извернуться да ударить по ненавистным...

Восстание пылало на сотни верст вокруг. Повстанцы всюду и везде изводили «крапивное семя», уничтожали тех господ, которые были «облихованы миром», старательно, с восторгом безграничным жгли всякие бумаги и всюду вводили казачий порядок. В особенности много хлопот доставляла воеводам небольшая, но очень подвижная шайка полковника Ерика, который отделился от Степана ещё в Симбирске и так и не возвращался туда. Другим значительным отрядом повстанцев, действовавшим вокруг Темникова, командовал поп — или, точнее, распоп, то есть бывший поп, — Савва.

Распоп Савва — здоровенный, волосатый, румяный и точно лакированный детина, — был простоват, но сердце имел доброе, прямое, хотя и нетерпеливое. До Москвы как-то дошёл слух, что поп Савва как бы склоняется к расколу. Правда, поп Савва нововведений не любил, — и ижица не та, и фита с какими-то лапками да и вообще перемены, затруднения, сумления, — но Савва был всегда вышнему начальству покорлив: с лапками так с лапками, — им там на Москве виднее. Его вызвали для испытания в Москву. Владычные бояре ахнули: Савва был похож на лесного дикаря, на медведя, на разбойника, на лешего, на всё, что угодно, только не на попа. Пред ним раскрыли книгу: а ну, чтить!.. Савва с делом справиться

не смог. Его оставили без места. В отчаянии он отправился домой, в Темников, к своей довольно уже многочисленной семье, и сел за грамоту. Но хитрая наука плохо давалась отцу Савве. Но всё же подучился маленько, подпоил мужиков села Весёлые Лужки, где только что помер священник, они честь честью выдали ему на руки соответствующий приговор, что: «мы-де крестьяне села Весёлые Лужки, Темниковского уезду, выбрали и излюбили отца своего духовного Савву к себе в приход. И как его Бог благоволит и святой владыка его в попы к нам поставит, и будучи у нас ему в приходе, служить и к церкви Божией быть подвижну, к болям и к роженицам с причащением и с молитвами быть подвижну и со всякими потребами. А он человек добрый, не бражник, не пропойца, ни за каким хмельным питьём не ходит, человек он добрый, в том мы, староста и мирские люди, ему и выбор дали».

Поп Савва, распродав все свои скудные животы, чтобы было чем улестить подьячих владычных, снова поехал в Москву, снова «чти!», и снова — больше от страху — ничего не вышло. А тут как раз поднялись казаки, и так как они грамоты от него не требовали и тоже фиту с лапками не очень одобряли, то и решил отец Савва, распоп, с голодухи и с горя идти казаковать, и стал он вместе с беднотой зорить господские гнёзда — довольно вы-де побоярствовали на сём свете!.. — и чинить над женским полом всяческое поругание. Распоп Савва так уж устроен был: раз сорвался с петель, значит, пиши пропало...

В отряде отца Саввы промышляла и темниковская вещая жёнка Алёна. Воеводина тёща водяной хворала, воевода потребовал, чтобы Алёна её вылечила, а Алёна сказала, что она средствия против водяной не знает. Воевода не поверил этому и увидел в этом отказе злостное неуважение к нему, обвинил Алёну в ведовстве и приговорил, как и полагается, к сожжению. Она вынуждена была бежать. В мужском наряде она ходила повсюду с отрядом Саввы, билась наравне с мужиками,

ничего не боясь, и все веровали, что она носит с собой заговорные письма и корни, которые обеспечивают победу. Ночью, как многие слышали, она часто ревела. И стало лицо её бело, как снег, и чудесным огнем горели большие, тёмные очи, и хотя и не была она прежней красавицей Алёной, по которой тогда, в молодости, в Арзамасе, болело не одно сердце, все же скорбная, немного привядшая и какая-то вещая красота её и теперь волновала многих. Но к ней не лезли, зная, что она не баловалась. И вообще её побаивались...

И прилетела в Темников весть: идёт сюда промышленя над попом Саввой, Ериком и другими ворами сам князь Юрий Долгорукий. Отец Савва, как всегда в таких случаях, ушёл со своим отрядом в леса, которые сжимают Темников со всех сторон, и затаился там, в глуши, за непроходимым Журавлиным Долем.

Надвигались сумерки. Было морозно и тихо. С неба редко падали нежные снежинки. На большой поляне вокруг костров грелись повстанцы. Они поджидали от своих лазутчиков вестей о движении царских войск. Распоп Савва неуклюжим ножом терпеливо скоблил можжевелевую палку, шомпол для своего мушкета. В обращении с оружием распоп был умен: и раньше, когда ещё батюшкой он был, он потихоньку — охота духовному сану воспрещена — ходил зверовать. Другие повстанцы кто чистил оружие, кто балакал о том о сём, кто искал забвения в тихой, унывной песне. Один ушивал порвавшиеся по чашам портки. Те сушили над огнём онучи... Кто-то в сторонке точил о камень тяжёлый топор. И тихо, тихо было вокруг в чашах лесных...

И вдруг все подняли головы: кабыть, идут?.. Батюшки, да как будто конница!.. Все повскакали и схватились за оружие. И вдруг шум прекратился: остановились. Пислышался протяжный, залиvistый свист.

— А-а, Федька Кабан...— облегчённо вздохнули повстанцы.— А что это за конные с ним?

Распоп заложил в рот четыре пальца и ответил таким же свистом.

Опять слышались звуки движения отряда: топот коней, фыркание, сдержанные голоса, лязг оружия. И скоро на поляну во главе с пешим Федькой Кабаном вышел конный отряд человек в двести. Впереди ехал подбористый, сухой, с соколиными очами Ерик. Повстанцы с любопытством окружили конных: они впервые встретились с Ериковыми людьми.

— Вот полковник хочет вместе с вами промышлять над воеводой...— сказал Кабан отцу Савве.— А то у него одного силы мало да и у тебя немного, а вместех, глядишь, что и выйдет...

— А-а...— с улыбкой отозвался Савва.— Жалуйте, жалуйте... Милости прошу к нашему шалашу, как говорится...

Всадники спешили, привязали коней к быстро налаженным коновязям, задали им корма и вернулись к огням.

— Ну-ка, присаживайся давай...— сказал распоп Ерику.— Вот к огоньку поближе. Красному гостю красное и место... И ты, Кабан, садись, отдыхай...

Федька давно уже прибил к Темникову, вокруг которого были богатые зверовья, встретился со своей Алёной, но жили они порознь: Федька по-прежнему почти не выходил из лесов и теперь был чрезвычайно полезен повстанцам в качестве проводника и укрывателя их в лесных дебрях.

У костров завязалась оживлённая беседа. Над огнями висели чёрные котлы. Вкусно запахло похлебкой с сушёными грибами. Алёна куда-то вдруг исчезла, но на это никто внимания не обратил: к её странностям привыкли. И когда кончился затянувшийся за разговорами ужин, повстанцы стали позёвывать. Лазутчиков всё не было. Это значило только одно: царские войска очень далеко и можно спать спокойно. Впрочем, если бы они даже были и в Темникове, так беспокоиться тоже было не о чем: пройти Журавлиным Долом с его страшными трясинами и ещё более страшными «окнами» мог только очень знающий места зверовщик, да и то не в ночь.

— Ну, что же, гости дорогие, может, пора и по опочивальням? — с улыбкой сказал распоп. — А то завтра, может, с утра работишка какая набежит. Только одного караульного надо будет поставить для береженья — так по очереди и будем стеречь...

— Ложитесь все... — сказал Ерик. — Я постерегу. Я всё равно не сплю...

— Что же так? — участливо спросил отец Савва.

— Так. Не спится что-то...

— Ишь ты, ишь ты... А мне дай только головой до земли доткнуться и сичас же хоть за ноги в ад тащи... Это у тебя от думы...

— Может, и от думы...

Многие повстанцы быстро улеглись прямо на мёрзлую землю. Сибариты и любители тепла разбросали костры, размели еловыми ветками выгоревшее место, укрыли его, чем могли, и легли: им было тепло, как на печи. И не прошло и получаса, как на поляне казаки уже храпели на все лады. Лошади рыли ногами землю, фыркали и сторожко пряли ушами: вокруг бродили волки. Но при огне — лошади знали это — зверь близко не подходит...

Ерик сидел на пне около тихо теплящегося костра, курил и думал. Думы его были невеселы. Большой веры в затею Степана у него никогда не было, и он пошёл с ним только потому, что надо же было что-нибудь делать, куда-нибудь деваться и рассчитаться за старые обиды. Но был и маленький авось; авось, в самом деле, удастся как наладить жизнь поумнее хоть чуточку. Но после симбирского разгрома он понял, что ставка Степана бита, и — не знал, что делать. Совестно было покинуть поднявшийся народ, но веры совсем уже не было: слишком уж велико было шатание в людях. Сегодня бьют приказных и жгут приказные бумаги, а завтра крестным ходом идут навстречу Москвы. Самое лучшее было бы бросить всё и уйти опять в Запорожье, бить ляхов, бить турок, бить крымчаков, бить ногаев, защищать украины земли Русской. Но с другой стороны, как же их защищать, когда

внутри-то сидит старое, обидное, для миллионов нестерпимое и ненавистное, вся эта московская гниль? И стало ясно ещё одно, разломать-то они могут всё, что угодно, а вот создать-то что-то ничего не удастся. Хвалятся каким-то этим своим казацким строем. Да ведь в каждой деревне есть этот круг-сход и все эти свои выборные десятские, сотские, старосты, а часто для своих они хуже крапивного семени, которое хоть тем хорошо, что оно далеко, не всегда достанет. Запорожье? Дон? Так ведь они только зипуном, грабежом готового живут. Но все грабить не могут — кто-то должен и создавать. Правда, своё дело на украинах они делают, но нельзя всем караулить по украинам...

Тяжело вздохнул Ерик, и сурово было покрытое рубцами лицо, и была печаль в красивых соколиных очах. С чёрного неба, тихо рея, всё падали редкие снежинки. Сияли золотисто огни. Из лесных чащ так отрадно пахло холодной хвоей...

Сзади послышались лёгкие шаги.

Ерик, взявшись привычно за пистолет, обернулся и — обомлел.

Что такое?!

С широко открытыми глазами он смотрел в это бледное лицо, в эти тёмные, вещие, когда-то милые глаза и не мог поверить себе, и не мог выговорить ни слова.

— Это я...— тихо выговорила она.— Я, Алёна...

И голос её!.. Но он всё не верил и с прежним страхом смотрел на неё. Она скорбно улыбнулась и перекрестилась.

— Я, я, я...— повторила она настойчивее.— Не оборотень, Алёна...

Он понемногу стал приходить в себя. А в ней вдруг точно что оборвалось, как подкошенная она упала к его ногам и, вся корчась в подавленных рыданиях, целовала его колена, его руки, его ичетыги...

— Родимый мой... светик...— лепетала она.— Да ты ли это? Как же ты исхудал! Как постарел!.. Но все такой же орёл... Как томила я по тебе, как мучилась...

Он поверил совсем: это была она, его Алёна. Это было воскресение среди дремучих лесов, среди спящего лагеря повстанцев, всего его прошлого, его молодости, его бывшего счастья, его бывшего горя. Это было чудо.

— Алёна...— едва выговорил он.

— погоди, постой...— лепетала она.— Утиши сперва душу мою, скажи: долго ты горевал тогда обо мне, долго думал, долго в сердце носил? Скажи, скорей скажи...

И она, стоя на коленях, подняла к нему свое искорканное страстью, всё в слезах лицо.

— Говори скорее!.. Не томи...

— Вот тебе крест святой,— истово перекрестился он.— Я не знал ни одной женщины после тебя...

Её ослепило. Она думала, что умрёт от нестерпимого счастья. И снова исступлённо она целовала его руки, ноги, одежду.

— Два раза я был потом под Арзамасом, всё искал тебя...— продолжал он.— Но никаких и следов не нашёл. Я хотел выкрасть тебя и умчать туда, где никто никогда не нашёл бы тебя, не отнял бы тебя у меня. Но никто не знал, куда ты делась...

— Милый, милый...— изнемогала она.— Но теперь уж никто не оторвет меня от тебя... Я собакой побегу за конём твоим... Я...

У него кружилась голова.

— Зачем? Что ты говоришь?..— говорил он, целуя её голову, лицо, плечи.— Теперь ты будешь моей женой перед Богом и перед людьми...

Она тихонько застонала.

— Да ведь я мужняя жена...— тихо проговорила она.— Или ты забыл?

Он потемнел, как туча.

— Нет, нет, нет...— страстно заторопилась она.— Нет, то было до тебя... Я себя соблюла для тебя... Я только к тому, что венчаться нам нельзя по их, брюханову, закону. Да и не надо — я холопкой твоей буду, собакой, рогожей, о которую ноги потирают...

И снова огневые вихри, паля и пьяня, кружили их...

И падал из темноты нежными лёгкими звездинками редкий снежок. Изредка кто-нибудь из казаков поднимал на мгновение голову, смотрел вокруг дикими глазами, натягивал на голову свою одежку и снова засыпал. Кони всё тревожились. Но торжественна и прекрасна была эта ночь для Ерика и Алёны: такой они еще ни разу не переживали и тогда, в дни их первой, молодой страсти. И они шёпотом рассказывали один другому о том, как жили они в разлуке. И когда что-нибудь особенно волновало Алёну, она прижималась всем лицом к его рукам, коленам, платью и целовала их. А потом опять поднимала на него свои тёмные глаза и, не выпуская его израненных рук, слушала, слушала, слушала... И в свою очередь она рассказывала ему, как пьяная, как во сне, как она искала его первое время, как ждала, как потом пробовала забыть всё в монастыре, как стали все считать её вещью жёнкой и как только что приговорил её воевода к сожжению в срубе.

Он весь побелел: так и теперь не конец!.. Так куда же от проклятых деваться?..

— Э, милый, полно-ка!.. Обойдётся... Раз ты теперь со мной, мне все нипочём.

Но у него заболела душа болью привычной — точно вот кто клещами сердце ухватил и не отпускает...

И так шла ночь. Иногда брызгали искрами угасающие костры. Лёгкий снежок реял над огнями. И тревожны были кони. Морозец усиливался, и иногда кто-нибудь из казаков вскакивал, поправлял огонь, топтал ногами, размахивал руками и снова, бормоча ругательства, норовил улечься как потеплее. И муть рассвета непогожего разливалась медлительно. А разведчиков всё не было...

— Бррррр...— зябло пустил отец Савва, вскакивая и топоча ногами дробно.— Вот так пробралось!.. Нет, что-то наши опочивальни плохо топят холопы — должно, хозяин дров жалеет... Брррр... Вставай, ребяташки, а то и Царство Небесное проспите... А ты так всю ночь и не

спал, полковник? И чудной ты человек!.. Ты против Господа идти норовишь — для чего же Он, милости-вец, и ночь сотворил, как не спать?.. Бррр...

XXXII. «ГЛУПОДЕРЗИЕ И ЛЮДОДЕРСТВО»

Табор зашевелился. Люди кашляли, плевались, переговаривались зяблыми, хриплыми голосами и тащили уже со всех сторон сушняк...

И вдруг из чащи на поляну вырвался худенький и рябой мужичонка в лапотках, рваном полушубке и без шапки. На лице его был испуг. Всё всполошилось.

— Братцы, спасайся!..— негромко бросил он.— Царские люди рядом, в лесу...

Сперва заметались, потом обступили его тесно...

Оказалось, что двое повстанческих лазутчиков были захвачены врасплох драгунами, а один убит при попытке к бегству. Ещё с вечера подошли ратные люди к Темникову — конечно, было их видимо-невидимо,— и темниковцы, трясаясь, встретили их крестным ходом. И сразу начальные люди стали пытаться про Ерика да про Савву. Темниковцы позамялись было, но сейчас же скорым обычаем десятерых развесили по берёзам, темниковцы всё рассказали и дали зверовщиков вожатыми.

— И меня подводчиком забрали...— весь белый, трясаясь, торопился мужичонка.— Да вот тут, в чашобе, вырвался я и убёг... Скорее, скорее!.. Они вовсе рядом...

— Живо все через Журавлиный дол в леса!..— командовал Савва, наскоро пошептавшись с Кабаном.— Там не найдут...

— Все выходы из болота конными заняты...— бросил мужичонка.— Никуда теперь не пройдёшь...

— Так что же делать? Погибать?..— в отчаянии уронил кто-то.

— Погибать или биться.

— Все к оружию!..— крикнул Ерик.— Может, провёмся в леса...

Все схватились за оружие и насторожились. По лесу уже ясно шёл сторожкий шорох,— и справа, и слева, и спереди, и даже как будто и от Журавлиного дола. Сомнения не было: они были окружены. И сразу табором овладела паника: те из лесу бить будут, а они все как на ладонке. Заметались судорожно... А шорох нарастал. Вот совсем близко, за стеной молодого ельника, послышалось звонкое ржание лошади, удар плетью сплеча, осторожные голоса. Между деревьями замелькали всадники.

— Эй, там!..— раскатился молодой, энергичный голос.— Сдавайся, кому жизнь мила...

Поколебавшись, повстанцы сложили оружие. Некоторые даже на колени загодя встали. Алена горячими глазами осмотрела их ряды и — плюнула. Ерик не отрывал от неё тревожного взгляда. Она слабо, украдкой улыбнулась ему...

Через полчаса едва видными лесными дорогами по мерзлой, крепкой земле, по которой так весело ходить, рейтары и драгуны, звеня оружием и поёживаясь, вели к Темникову толпу повстанцев. Там, на соборной площади, уже стояли виселицы. И тут же, на площади, сразу начался суд. Судил сам князь Долгорукий, как всегда твёрдый, точно железом налитой. Он был очень раздражён: вокруг Арзамаса, как только он выступил оттуда сюда, снова началось кровавое восстание... Темниковцы сразу выдали ему главных зачинщиков: попа Савву, Ерика, вещую жёнку Алёну и Федьку Кабана, подводчика и укрывателя воров.

— А вот это у неё, ведуньи, вчера при обыске нашли...— сказал соборный протопоп, жёлтый, веснушчатый человек с острым носом и колючими глазами.— Чернокнижница отпетая.

Князь брезгливо и не без некоторого опасения перекинул несколько потемневших листов книги: травы какие-то, месяц с лицом человеческим, звери невиданные и таинственные знаки. И везде эта цифирь проклятая... В иноземных грамотах князь был не горазд и к кни-

гам вообще относился подозрительно. Он враждебно посмотрел на Алёну, которая сияла на него своими прелестными глазами.

— Сожечь в избе,— коротко сказал он.

Не помня себя схватился было Ерик за саблю, но — сабли не было.

— Князь, женщину эту я знаю давно...— сказал он.— На неё клепят по злобе...

Князь зорко посмотрел на него.

— Дворянин?

— Дворянин...

— Стыдно!..— отрезал князь.

Ерик одним движением разорвал свой ветхий зипун и совсем истлевшую рубаху на груди.

— Видишь? — крикнул он, точно не помня себя и указывая на два круглых шрама.— Это вот польские пули — когда с тобой в польском походе был, получил... Вот на плече — видишь? — удар татарской сабли... На лице вот это от пики польской, а это опять пуля, а это — сабля... Есть и другие отметки... Довольно с тебя? Да?... Ну, так вот за всё это прошу только одной награды: не трогай этой женщины... Не ведьма она, вот тебе крест святой!..

Всё вокруг затаило дыхание.

У князя Юрия Алексеевича Долгорукого было поставлено за правило — ужаснуть. И никогда не менял он принятых решений. Власть не должна колебаться.

— За раны и труды наши жалует нас царь своей милостью чинами, и деньгами, и поместьями...— сказал он громко.— А за измену, за лихое дело, за воровство, я, его слуга, жалую тебе петлю на шею...

— Так будьте же вы все прокляты!..— иступлённо крикнул Ерик.

Обеими руками он схватился за голову, глаза его были безумны, и он так и застыл. По белому лицу Алёны покатались слезы. Всё — молчало.

— Это кто? — строго спросил князь.

— Поп, отец Савва...— ответил распоп с готовностью.

— Повесить. А это?

— Федька Кабан, зверовщик.

— Повесить...

Князь встал. Все повстанцы повалились на землю.

— Встать!.. В ряды!..

Все поднялись и выровнялись.

— Десятого повесить, а остальным плети и крестное целование...

Точно порыв ветра пробежал по толпе горожан. Среди повстанцев послышались истошные рыдания, дикий вой, причитания. Долгорукий обратился к князю Щербатову, своему товарищу.

— Я оставляю тебе, князь, здесь полприказа стрелецкого и драгун, а с остальными иду сейчас назад в Арзамас...— сказал он тихо.— Там опять началось. И за Нижний опасаются, и под Макарием шумят... Ты иди на оба Ломова, а ты, Хитрово, на Керенск... И вот еще за чем следи неусыпно: начальники отрядов наших стали обращать пленных воров в свои холопы. Так приказывай всем моим именем под крепким страхом, чтобы они этого не чинили. Вообще действуй твёрже и шли мне конных гонцов каждодневно. Понял?

— Слушаю, князь...

— Ну, вот... Пока прощайте...

Через четверть часа заиграли трубы, забили тулумбасы и во главе своих войск хмурый, но решительный князь Юрий Долгорукий покинул Темников.

На площади, между собором и виселицами, уже громоздилась взъерошенная куча брёвен, дров и соломы. Среди неё торчал грубый деревянный крест. На кресте висела Алёна. Она была белее снега, и тёмные, вещие глаза её, полные истомы смертной и бесконечной любви, не отрывались от Ерика. И он был бел, и на раскрытую грудь капала капля за каплей кровь из бешено закушенной губы. Он не мог поднять глаз на костёр... Савва смотрел на синенькие в золотых звёздах купола, вокруг которых кружились галки и вороны. Федька, как всегда, был задумчив и тих.

— Ну, что ж задумались?...— говорил протопоп.— Начали, так надо кончать...

Весело закурились сухие стружки. Всё затаило дыхание. Пыхнула красно солома. Разбежались золотыми бесенятами маленькие огоньки. И гуще пыхнул дым. И вдруг с воем и свистом, хлопая краснодымными полотнищами пламени, ярким золотым цветком вспыхнул весь костёр.

— Ми... лый... Сол... ныш... ко... А-а-а-а.

Ерик шатался.

— Иди, иди...— подгонял палач. Чего стали?

— А-а-а-а...— мучительно-жалостно несло с костра, разметавшего свои рыжие космы во все стороны.

Ерик вдруг решительными шагами подошел к виселице, сам надел на себя петлю и сурово отрубил палачу:

— Верши!..

Он повис и закачался. Подтянул ноги, вытянулся, затих. Глаза его, мутнея, не отрывались от костра, и в них плясало отражение золотых огней. С неба тихо реял первый снежок. Вороны и галки кружились всё вокруг синеньких главок с золотыми звёздочками. Палач быстро поднимал одного смертника за другим на виселицы.

Возбуждённые темниковцы с деловитой озабоченностью шли торопливо со всех сторон к собору: сейчас начнётся благодарственный молебен...

XXXIII. В СТАВКЕ

Страшной грозой снова пронёсся Долгорукий по лесному краю вокруг Арзамаса. Горели деревни, по деревьям качались бесчисленные удавленники, разжиревшие волки и вороны не успевали пожирать убитых и раненых по полям и лесным трущобам. Они думали, что для них наступил на земле золотой век... И снова засел ратный воевода в Арзамасе, руководя отсюда через гонцов действиями своих отрядов от берегов Волги чуть не до Днепра.

Один из таких небольших отрядов московской конницы под командой думного дворянина И. М. Языкова задержался на ночёвку верстах в двадцати от Арзамаса в лесном селе Раменье. Несмотря на декабрь, ночь была мягка и туманна. Обильно выпавший снег пах свежо и приятно. Всё село спало — только красно мутнели сквозь туман окна у попа в горнице: там пили, и пели, и смеялись начальные люди. Сам Языков и молодой Воин Ордын-Нащокин,— он был слегка ранен на окских перевозах,— оба не выносившие духоты и клопов, закусив с пути, вышли спать на сенницу. Татарин Андрейка, стремянный Ордына, наладил им из перин и шуб чудесное логовище, в котором не проберёт никакой мороз, а сам отпросился к девкам на посиделки.

Они легли. Вокруг стояла глубокая лесная тишина. Слышно было только, как чуть звенел под ночным ветерком лес и как жевали жвачку коровы, сонно возились куры по нашествиям да изредка слышались шаги и голоса дозорных. Из поповского дома глухо доносился смех и пьяные крики гуляк...

— Ох, хоть бы поскорее кончилось всё это да опять можно было бы с каким-нибудь посольским делом в иные земли уехать!..— вздохнул Языков.— До чего я устаю всегда на Руси, и сказать не могу...

— А что же это будет, если все так разбегутся? — сказал Воин Афанасьевич.— И так стародумы всё под себя забрали. Надо дом свой устраивать — сам видишь, до чего допрыгались... Одними виселицами ничего не поделаешь, дело нужно...

— Какое?

— Как какое? Мало ли его?..— отвечал Ордын и слышно было, как захрустело под ним сено.— Непорядок это, что государь один все дела решает. Зачем нет совета всенародного множества людей, как при его отце бывало? Зачем, как старики говаривали, не ведётся царство общим всея Руси градов людским совещанием? Бояре только свою линию тянут. А на конец того вот потянули свою линию и казаки с чёрным народом, а

нам это не любо. Еще Крижанич говорил царю, что надо народу «слободины» дать, а его за это в Сибирь уpek-ли... И как не люблю я это наше московское лукавство!.. Ну, пришёлся человек не ко двору, так и говори. Так нет: латинством-де человек заражён, православной вере нашей опасен... И что это за диковина, что все нам опасны, вот чего я никак понять не могу!.. Живут же рядом с нами немцы, сходи в их слободу, посмотри, поучись,— нет, так ему рыло и воротит! В домах всё там налажено, в саду цветнички, цветочки на окнах, а вечером катанье, беседа дружеская, весёлость, во всём порядок... А по его, всё это от диавола, только вот его вонь да клопы от Господа Бога... Недавно на торгу видел я картину Страшного Суда — все грешники в аду в немецком платье нарисованы, а в раю все наши бояре посиживают с руками до полу. Французы, по-ихнему, это петушиный народ, потому галлусами именуются, а галлус — это петух. И сам слышал, как один наш протопоп на Москве про католиков рассказывал, что все-де попы у них по семи жён имеют, что псов они освящённой водой кропят и творят с ними службу в церквах своих, а в писании Авраама Палицына недавно читал я, что папа это дядя антихристов... А ведь, ежели на то пошло, так гаже нашего-то только свиньи разве живут...

Молодому, доброму сердцу Воина Афанасьевича всё представлялось просто и ясно и всё во власти людской. Он знал о сомнениях своего любимого отца, но думал, что просто старик стареть крепко стал, вот и брюзжит... Языкова горькие речи эти совсем не задевали.

— Ну, брат, не знаю...— задумчиво сказал он.— Все эти дела мне не по плечу. А вот как всё это кончится, так что ты там ни толкуй,— буду я опять через твоего отца стараться в посольство куда-нибудь попасть. За Крижаничем в Сибирь охоты ехать у меня нету,— я лучше бы опять в Париж, к петушину народу, проехал. Ах, как жилось там!.. Сперва, пока не обтыркался ещё как следует, действительно, неловко всё было, непривычно: ступил — не

так, слово молыл — не так, высморкался в пальцы, скажем,— опять все смеются. Ну, да глаз у меня вострый, стал я помаленьку примечать всё, как и что там у них насчёт обхожденья, к языку приобик, как следует, кафтан это их короткий надел, чулки, шпагу,— и не скажешь, что москвитин!.. Ну, и они на меня глаза пялить полегоньку перестали, а бабы ихние меня эдак под свою руку взяли, чтобы совсем отделку произвести. Ты сам знаешь, дурацкой моды этой нашей, чтобы закутать рыло фатой да в терем запереть, там совсем и в помине нету. А у нас прячут. А отчего, спроси, прячут? Да оттого, что показать фефелу нельзя: ни ступить, ни слова молить, ничего не умеет, только бы ей глаза вниз держать да губки бантиком складывать. Только всего и обращения... Ну, помещение у меня было там хорошее, в самом лучшем квартале жил, где вся эта их знать проживает: *Marais* прозывается. Одевался я тоже, деньги были, из себя словно бы ничего себе, и стали меня потихоньку пущать везде. Конечно, и из любопытства тоже принимали: какие-де они там такие, эти русские бояре? Им всё мнится как-то, что мы словно и не люди, а так, что-то вроде телёнка об двух головах... И кого-кого только не перевидал я там, Господи ты Боже мой!.. И самые первые красавицы ихние, и острословы всякие, и книгослагатели знатные, за которыми все тогда бегали: и Корнель, и Расин, и Мольер. Все они комедийные действия составляли, и очень все это дело тогда одобряли, а в особенности Мольеровы действия: животики надорвёшь, смеямшись, вот до чего ловко всё складывал!.. А то, помню, приехала раз королева шведская, так для неё поставили тогда при дворе действие англичанина одного, *Шакеспэар* прозывается, а сложено действие про короля *Леара*... Да что, разве всё расскажешь!.. С самим *Лафонтеном* разговор раз имел, который насчёт зверей побаски всякие сочиняет, да ловко таково: написано вроде как про зверей, а разберёшь, это совсем того напротив, про тебя изображено... К *Паскалю* тоже раз заходил — ну, этот больше насчёт божественного и всякой там арифметики. Совсем молодой, а сурьёзной такой гос-

подин... Ну, и все ко мне ласковые такие: мессир Языкоф... мессир Языкоф... Но по совести сказать, ни у кого мне так гоже не было, как... да ты часом не спишь ли?

— Нет, нет...— глухо отозвался Ордын, которого вдруг жгучим вихрем охватила тоска по его Аннушке, по тихому ангелу с синими глазами: где-то она? что с ней? — Выспимся — ночь-то теперь с год...

— Да... ни у кого мне так тоже не было, как у Нинон де Ланкло...— продолжал Языков.— Тогда жила она — как сейчас вот всё помню — на улице Турнель... С молодых лет была она весёлой жёнкой — у них, у французов, на этот счёт очень даже свободно...— и в большую славу вошла. Было ей тогда уж за сорок, а поглядеть — ни за что не поверишь... Нашу какую-нибудь возьми — в сорок-то лет она поперек себя толще и только ей и дела, что на лежанке жариться да поклоны бить, а те в сорок-то лет голову кому хошь враз свернут. И любовников, любовников было у этой самой Нинон, и не сосчитаешь, и нисколько она того ни от кого не таила. Её так весь Париж и звал: нотр дам дез амур, а по-нашему...— улыбнулся в темноте Языков,— а по-нашему: унеси ты моё горе... И до чего на язык была она востра, так только удивлению подобно! Так, бывало, одним словом человека и срежет... И заметь, братец ты мой, какой с этой самой Нинон случай раз вышел,— ну, точно вот сам Шакеспээр сочинил, право слово!.. Зачертила она, надо тебе сказать, очень рано, годков так, должно, с шестнадцати, и на первых же порах ребёночка с каким-то хахалем прижила. Родивши мальчонку, отдала она его на воспитание в деревню какую-то — там это зачастую делают, чтобы не мешался. Отец за содержание мальчонки кому следует там платил, и парнишка рос себе и рос. И вот, братец ты мой, вырос он, прицепил это сбоку шпагу и в Париж... А про то, что Нинон мать ему, никто, кроме неё одной, не знал. И вот крутит он по Парижу туды и сюды и вдруг попадает в гости к Нинон. Заходит он это раз, другой, третий... Ты не спишь?

— Да нет...— глухо отозвался Ордын, который и рассказ Языкова слушал и никак не мог не тосковать об Аннушке: где она? что с ней?... Он вот лежит в покое и побаски всякие слушает, а она, может, страдает где, мучится, его зовет...— Ты рассказывай...

— И вдруг к матери он и полез...— продолжал Языков.— Не могу-де жить без тебя! Потому, говорю я тебе, что хошь ей и за сорок было, а дворяне это ихние за ней, и богачи, и знать — толпой... Чего тут!.. Сам герцог Ришелье старый, перед которым там все тряслись, подсылал как-то к ей верного человека: нельзя ли де, мадам, как герцогу к вам подсмолиться? А за расходами-де герцог не постоит уж... Ну, а та — капризная была, не дай Бог! — от ворот поворот: ни фиги-де ваш герцог от меня не получит... Вот какая дерзкая была!.. Ну, сын, значит, к ней, а она чуть не без памяти. Билась, билась и наконец открылась: я-де мать твоя... Ну, тот встал как полуумный, вышел это в сад, да своей же шпагой сердце себе и проткнул...

— Да что ты?!

— Вот истинный Бог!.. Прямо тебе говорю: и Корнель, и Расин, и сам Шакеспэар, все вместе, вот какой случай!.. Ну, она которое-то там время на люди не показывалась, а потом, известное дело,— за старое опять. Вот об эту пору и стал я к ней вхож. До меня она ласковая была и обо мне заботилась. Ежели не так, к примеру, поклонись ей, она заставит в переднюю выйти, а сама эдак усядется, платье своё по дивану золочёному распространит и сидит, а мне велит опять в двери входить: левая это рука чтобы при шпаге, а правой шляпу у груди держишь и согнешься эдак перед ней и шляпой вроде как по полу, а потом шляпу враз под мышку и вроде как к анхирею — к ручке... Как стать, как сесть, как за столом кушанье есть, как ширинку её, ежели, к примеру, уронит, подать, на всё у них свой манер есть, а как чтобы по-дурьи, этого у них ни Боже мой — не позволят, хошь ты там сам раскороль будь... А что до того, чтобы взять по-нашему плеть да эдак

промежду лопаток огреть, об этом и думать не могли! Обхождение не только промежду себя, но и с бабой кажней самое отменное, а не то чтобы как зря... И вот раз надумала она: вот, грит, тебя я нашей политес научила, а теперь ты меня своему московскому обычаю научи. Ну, так пристала, хоть что хошь!.. Достал это я наряд наш боярский весь, вырядилась она в него и хочет, зуб не покрывает. Да рай так можно, говорю. Ты должна ручки на животике уложить, а в руках чтобы ширинка была, глазки эдак долу опустить, а губки сердечком и чтобы ни-ни... А потом... Что там такое? — вдруг прислушался он. — Кабыть что-то приключилось...

Внизу на дворе слышался шум: подъехали какие-то всадники и что-то спрашивали. Оба слушали.

— Эй, что там? — начальнически крикнул Языков.

— От воеводы князя Долгорукого гонец... — ответил сразу несколько голосов вперебой.

— Ну? В чём дело? — опять крикнул Языков, которому очень не хотелось вылезать из-под жаркой медвежьей шубы на холод.

— Князь-воевода велел говорить тебе, чтобы ты взял немедля всех своих людей и поспешал в Арзамас... — ответил незнакомый голос.

— Зачем? — тянул Языков.

— Не ведаю.

— Немедля?

— Немедля.

Языков подумал.

— Ну, делать нечего... — сказал он сердито, сбрасывая с себя шубу и встал. — Уж и жизнь окаянная!.. Пойдём, Ордын...

Он стал первый спускаться по крутой лесенке, но оступился и крепко зашиб себе локоть. Раздражённый, подошёл он к группе рейтаров, чуть освещённой тусклым фонарем.

Рейтары подтянулись.

— Ну, в чём там ещё дело? — сердито повторил Языков.

Рейтар повторил приказ воеводы. Языков подумал.

— Седлай!..— сердито крикнул он.

Всё засуетилось. Андрейки, стремянного Ордына, никак найти не могли.

— Да он на посиделки к девкам отпросился...— сказал Ордын.

Рейтары усмехнулись.

— Какие там посиделки?.. Мужики и дышать-то опасаются...

Через какой-нибудь час по деревенской улице вытянулись чёрные тени всадников. Все были сонны и сердиты. Языков, поёживаясь, ехал впереди отряда. В лесу было холодно, сыро, чёрной и далекой сказкой казалось ему теперь всё, о чём он только что вспоминал: и отель Рамбулье, и уроки политеса у мадемуазель Нинон де Ланкло, и беседа с весёлым и учтивым Лафонтеном. У околицы вожи заспорили о дороге и, поспорив, решили идти напрямки: версты три так сократить можно. И, отойдя несколько вёрст, очутились в непроходимом болоте, и никто в чёрной тьме не знал, куда идти. Языков в бешенстве слез с коня.

— Ты куда это нас, сукин сын, завёл? А? — грозно обратился он к старшему вожу, раменскому старосте.— Это что, нарочно? А?

И прежде чем староста успел раскрыть рот, Языков размахнулся и со всего маху дал ему по уху. Староста слетел с ног.

— Сукины дети...— кричал Языков.— Всех по осинам сейчас развешаю!.. Веди на Арзамас, и чтобы живо: одна нога здесь, другая там...

Снова отряд ушёл в чёрный и холодный лес. Ветви царапали лицо, били по глазам, цеплялись за одежду. Снег с мохнатых елей засыпался всюду: за воротник, за рукава, в сапоги. Наконец выбрались на какую-то дорогу, поспорили, куда идти: вправо или влево? Пошли влево и через час вышли в Раменье. Языков был настолько вне себя, что даже и драться не мог.

— Нет, нет...— задыхался он.— Это не народ, а чёрт его знает что такое!.. Просто надо одного каналью повесить и вся недолга...

Вожи божились и клялись, что это просто леший попутал. Это было правдоподобно.

— Веди опять!

И, шатаясь от усталости, выбившиеся из сил вожи повели отряд уже без сокращений ездовой дорогой. Все люди были голодны, прозябли и злились на всё. И только на рассвете вышли на мижгороцкай большак и Языков отпустил вожей, погрозив им на прощанье плетью. Те, голодные, злые, вымотанные до последней степени, сели на обочине дороги и, кляня свою жизнь окаянную ели чёрствый хлеб.

— Вот погодите, черти, Степан Тимофеич опять маленько с делами послобонится, он вам пропишет...— злобно сказал щуплый, белобрысый полесовщик.— Ишь, волю-то, дьявола, взяли!..

Староста тяжело вздохнул: надоела ему вся эта пустяковина.

— Ишь, иней какой садится...— сказал он, оглядывая деревья.— К урожаю...

— А перед Миколой-то какой иней был...— заметил полесовщик.— Овсы хороши будут...

Из-за синих лесов поднялось солнце. Всё заискрилось и заиграло драгоценными камнями — и поля, и леса, и дорога. В какой-то деревне справа от дороги над занесёнными снегом кровлями курчавились золотые столбики дыма. Хотя и люди и лошади за ночь истомились, Языков поторапливал: он знал суровый нрав князя-воеводы.

Но вот и Арзамас — серый, прижавшийся к земле и тихий, как могила.

Языков невольно засвистал сквозь зубы.

— Гляди-ка!..— сказал он Нащокину, который, потупившись, хмуро ехал рядом с ним.

В отряде всё смолкло. Солдаты с вдруг побелевшими лицами осторожно косились по сторонам: весь городок был

заставлен виселицами и на каждой качалось человек по пятидесяти. Висели мужики, бабы, попы, стрельцы, ино-родцы. Ткнулись в слободу: везде по притоптанному и ок-ровавленному снегу валялись обезглавленные тела. Отруб-ленные головы тупо смотрели прикрытыми остекленевши-ми глазами. А на соборной площади десятки полураздетых людей изнывали в муках на окровавленных колах: кто был по-звериному, кто, уже затихнув, страшно свис на сторо-ну, кто молил о смерти и богохульствовал...

Поторапливая боязливо фыркающих лошадей, отряд проехал прямо к избе воеводы. Князь разнёс Языкова за опоздание и приказал кормить лошадей: надо идти на усмирение в другую сторону.

Ордын забежал к своему сверстнику молодому Че-годаеву, который стоял у какого-то купчины тут же, на соборной площади. Чегодаев был бледен и испуган.

— Беда, как лютует!.. — сказал он тихо. — И всех допрашивает сам. И все в один голос: хотели Москву взять и вас всех бояр и дворян да приказных людей перебить... Видел, что по городу-то делается? Прямо так толпами и казнит... Всего больше десяти тысяч на тот свет отправили. Некоторые, которые на кол посажены, живут по три дня... говорят... кричат... по ночам... Сегодня по-утру по ошибке двух слепых повесили, а вчера под городом усадьбу моего родича Ардаганова сожгли за то, что её воры пощадили: ты-де им, вора, мирволил!.. Так всё дымом и пустили... Чистый ад!..

Не успел Ордын и отогреться, как прибежал драгун и потребовал его скорым обычаем к воеводе князю Долгорукому.

В передней была толпа ратных людей и горожан. Все испуганно молчали, слушая раскаты княжого голоса из соседней горницы. Немой Стигнейч низко поклонился Ордыну и молча указал ему на дверь. Тот вошёл и остолбенел: под охраной двух рейтаров перед князем стоял Андрейка, его стремянный.

— Что? — сухо засмеялся князь. — Не ожидал? Это твой татарин?

— Мой стремянный, князь...— едва выговорил Ордын.— За что он взят?

— За что берём всех: за воровство, за измену...

— Прости меня, князь...— смело поднял на воеводу свои тёмные, лучистые глаза Ордын.— Нет ли ошибки тут? Такого слуги...

— Нет, бачка, бульна спасибо, никакой ошибкам нет...— вдруг заговорил татарин.— Я, верно, воровал, бачка... Твой отец, бачка, святой человек, и ты, бачка, хороший человек, против тебя я ничего дурной не делал, бачка. Всем довольна, бульна спасибо, бачка... Ну народ недовольна, бачка: и русски народ, и татарски народ, и всяки народ, бачка. Когда татар наш на Москва гулял, он русски вера не трогал: ты русски, я татарин — живи, как знашь. А пришла ваша на Казань, батка стал насильно крестить: ты поганый, Махмет... ты поганый, Иряшка... ты поганый, Казабайка,— гуляй вода, будь святой, русски рай айда!.. А сам поп пьяный, бачка, а наш мулла никогда не пьяный. И земля татарска отнимал у нас... А татарин на Москва земля не трогал: плати хану деньга, а земля твоя: паши, гуляй, ашай... И воевода сюда таскал, туда таскал, все коробчил, и стал татар совсем нищий. Нет, бачка, спасибо, бульна спасибо тебе, и отец твой бульна спасибо,— у, прямой человек, совсем святой, как мулла! — а только прямо говорю тебе, бачка: воровал... И все воровать будут...

— Ну вот, слышал? — усмехнулся князь.— А у твоего дяди, слышал я, вотчина на Закамской Черте хорошая есть?.. Я только для того тебя вызвал, чтобы удостоверить его. Его с воровскими письмами в ночь пымали — вон в углу валяются... Так и отцу отпиши. Вот тебе и верные слуги!.. Недаром он тогда вокруг шатра-то слонялся... Уведите его...— сказал он рейтарам.— И посадить на кол...

— Пойдём, айда...— возбуждённо и громко говорил Андрейка.— Куда хошь пойдём!.. Ничего... Все воровать будут... Прощай, казайин!.. Всегда маленький народ жалей-пожаливай... Бульна спасибо...

— Нет, а ты погоди...— сказал князь взволнованному Ордыну.

Ордын стоял, крепко сжав губы. Вся душа его поднималась дыбом. Но что же, что делать?

— Я вот ещё что хотел спросить тебя...— сказал князь, указывая брезгливо на какую-то старую книгу, которая лежала у него на столе в стороне, поодаль от других бумаг.

— Ты ведь смекаешь в книжном деле — что это за книга?

Ордын осторожно взял полуистлевшую тёмную книгу.

— Это латынская книга...— сказал он.— Про то, как земля устроена.

— А что это на первом листе написано?

— Тут написано *Orbis Terrarum*, что по-нашему значит земной шар.

— Латынская, говоришь?

— Латынская.

— И никакой вреды в ней нету?

— Нету. Если хочешь, возьми у моего отца: у него она есть на русском языке...

— А что же это тут цифирь-то эта везде понасована?

— Так что? Этой цифирью в иных странах все давно пишут...— отвечал Ордын.— А откуда у тебя, князь, эта книга?

— В Темникове у одной вещи жёнки протопоп отобрал...— сказал Долгорукий.— Сожгли её там за ведовство да за воровство...

У Ордына опять горло точно кто шнуром перехватил. Он опустил голову. Ему хотелось плакать, выть по-собачьи, сквозь землю провалиться. И зачем, зачем он вернулся из чужих краёв?.. И пронеслось в душе потрясённой: а там не жгли? Давно ли всю Европу окровавили из-за того, как причащаться?

— Ну, иди...— сказал воевода.— Да скажи там своим, чтобы поторапливались: дела много.

— Могу я взять себе эту книгу? — глухо сказал Ордын.

— Сделай милость, ослобони...

Ордын поклонился воеводе и вышел. Пробираясь протоптанной в обильном снегу тропинкой, он старался не смотреть в сторону собора, где на окровавленных кольях корчились люди. Там теперь и Андрейка... А они вместе выросли.

В воеводской избе уже слышались грозные раскаты княжого голоса.

XXXIV. ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ВАСЬКИ

Несмотря на победы воевод над плохо вооружёнными, недисциплинированными, с бору да с сосенки толпами повстанцев, всё среднее Поволжье кипело белым ключом. Если князь Данило Борятинский,— брат симбирского победителя,— расшвырял по лесам все шайки черемисов и чувашей, то огонь бунта уже бежал дальше на север, особенно ярко вспыхивая в сёлах дворцовых, владычных и частновладельческих. Поднялся Кузьмодемьянск, под предводительством соборной церкви попа Михайлы Фёдорова, поднялся Василь на Суре рыбной, поднялся весь Ядринский уезд, и берегами глухой Ветлуги огонь полз уже на север. Везде били приказных, дворян, воевод, везде грабили людей состоятельных, и с особенным наслаждением сжигали все бумаги до царских грамот включительно. Огонь обходил уже с севера Нижний, пробиваясь на Унжу, и перекинулся вдруг на Белое море, где и до того бунтовали осаждённые царскими войсками иноки Соловецкого монастыря, не желавшие подчиниться новшествам никоновским.

Нельзя сказать, чтобы всюду и везде народ подымался единодушно. Так, в большом и богатом селе Лыскове на Волге, почти под самым уже Нижним,— село это недавно выклянчил себе у царя Борис Иванович Морозов,— волнения начались по «прелестным письмам» ещё с осени, и в то время, как большая часть населения, со священниками во главе, радостно приветствовала крестным

ходом зарю новой, казацкой жизни, меньшая часть, не пожелавшая примкнуть к мятежу, ушла через Волгу в богатый Желтоводский Макарьев монастырь, исстари славный своей ярмаркой на всё Московское царство. Лысковцам показалось это обидным, и они потребовали от монастыря сдачи и перехода на сторону поднявшегося народа.

Переговоры о сдаче не привели ни к чему, и в начале октября вооружённые жители Лыскова, соседнего Мурашкина и много пришлых со стороны людей переправились через Волгу и осадили монастырь. Потом монахи показывали, что в осаждающей войске было не менее тридцати тысяч, но эта цифра говорит лишь о том, что в такие моменты людям обыкновенно не до счёта и за лишним нулём они не стоят. Воры нагромоздили вокруг стен святой обители вал из сухого леса и соломы, запалили его и, ударив из пушек, с криками «Нечай!.. нечай!..» бросились на приступ.

Игумен монастыря, старый, но оборотистый отец Пахомий, пользовался большой популярностью среди торговавшего «у Макария» купечества. Он не растерялся и сперва причастил всех живших в монастыре, а затем пошёл крестным ходом по стенам, умоляя милосердие Божие о прекращении междоусобной брани. Потом все обратились к защите. Кроме братии в монастыре было детёнышев и крестьян с разных сёл да богомольцев человек тысячи полторы. Все они, и старые, и молодые, и бабы, и мужики, встали против воров, били их чем Бог послал, обливали их варом, то есть смолой кипящей, и тушили загоравшиеся стены. Но силы их заметно оскудевали. Башни и ворота загорались всё чаще и чаще. Опять пошли все крестным ходом по стенам, но на этот раз понесли образ святого Макария, покровителя обители. Все воодушевились чрезвычайно: сам чудотворец пришёл к нам на помощь!.. С удвоенной силой обратились все на мятежников, отбили их и потушили пожары. Казаки отхлынули от стен, свезли своих битых на воловий загон и сожгли их там...

На другое утро повстанцы прислали в монастырь отца Максима Давыдова, священника села Мурашкина, для переговоров: пусть только монахи отпустят Тренку За-марая, Першку да Трошку Балалу, которые вели раньше с монахами переговоры о сдаче и которых монахи арестовали. Братия собралась на совет и решила заложников выдать: силы монахов убывали, а силы осаждающих прибывали, ибо окрестные крестьяне, издавна видевшие святую жизнь монахов, спешили со всех сторон принять участие в осаде батюшек. Заложников выдали, повстанцы переправились на тот берег, а иноки стали бахвалиться:

— Вот мы-де каковы!.. Вот какова-де наша крепость, мышление и дерзость!..

Но старцы мудро вразумляли их, глаголя:

— О люди, неискусные в божественных писаниях!.. Не ведаете вы словес, начертанных псалмопевцем: «...аще не Господь сохранит град, всеу бде стрегий, всеу вам есть утренивати...» Не себе славу приписывайте, а Богу единому подобает воссылати хвалу и благодарение... Придёт за вашу гордость гнев Божий на вас...

И, действительно, не успели повстанцы перебраться на тот берег, как в их села нахлынули новые толпы повстанцев. Они начисто засрамили лысковцев и мурашкинцев: «Монахов испугались!.. Казаки вы ай нет? Айда опять к отцу Пахомию в гости!..» Снова переправились повстанцы на луговой берег, ударили из пушек, затрубили в трубы, забили в барабаны, и на монастырь напал такой страх, что все убежали в леса, только игумен да братия остались. Один боярский конюх, крещёный еврей, сосланный в монастырь на послушание, перебежал к казакам и сообщил о бегстве доблестного гарнизона в лес. Но за это время убежал в лес и игумен с братией: остался только отец казначей да несколько стариков, которым было всё равно где помирать. Повстанцы уже без всякого сопротивления заняли монастырь и начался грабёж. Пограбить было что: не говоря о богатствах монастырских, в обители было

немало товаров всяких, которые торговые люди оставляли под защитой святого Макария от ярманки до ярманки.

Но тут вышел на берега Волги товарищ князя Ю. А. Долгорукого князь Шербатов. Он разбил воров под Мурашкиным и прибыл в Лысково. Конечно, его встретили с образами. У населения уже успел выработаться известный ритуал в деле восстания. Сперва все поднимались, били, грабили, жгли, потом подходила ратная сила и повстанцы звонили в колокола и выходили на встречу с образами, а затем, выдав зачинщиков, снова возвращались к мирным трудам своим — впредь до нового удобного момента, чтобы восстать, резать, грабить и звонить в колокола. На этот раз, в Лыскове, и крестный ход не особенно помог: воеводам эта волынка начинала определённо надоедать. И вот одни были повешены, другие засечены до смерти, третьи задраны крючьями железными, четвёртые на кол посажены, а несколько человек прибили гвоздями к скреплённым накрест доскам и спустили в Волгу, по которой уже шло «сало»: были заморозки.

А те, которым удалось от разгрома бежать, спасались куда глаза глядят, а больше всего за Волгу, в дремучие леса Ветлуги и Керженца, где и погибали они потихоньку от голода, холода да диких зверей. Некоторые попробовали к работе какой ни на есть пристроиться: на лесные разработки, на солеварни, на зверовья, на унженские железные заводы купца иноземного, но это удавалось только очень немногим: в делах был великий застой и везде «много было работных людишек и жёны их и дитишки нищетно скитались в миру...»

В чёрной яме, у огня, в глубине безбрежного леса, сидело несколько спасшихся от лысковского разгрома казаков. Тут был Тренка Замарай, который всё хвалился теперь, что он Москву сожёт, и отличался если не храбростью, то большой дерзостью и жесточью. И Васька-сокольник был тут, и Трошка Балала, и тяжёлый отец Смарагд с его голубым бельмом, — он был сильно

ранен в руку,— и Чикмаз, и Ягайка, тоже раненный в лопатку. Чёрная яма эта была брошенное жилище рабочих людей именитого гостя Василия Шорина, который года три тому назад рубил здесь для аглицких гостей мачтовый лес. Постелью казакам служили еловые лапы, уложенные на песчаном полу. Вход закрывался разбитой, щелястой дверью, обитой для тепла прелой рогожей. И лица казаков были черны от копоти, и от этого ярче сверкали белки глаз. Кормились они тем, что украдкой давали им мужики соседних деревень да что могли они выпросить у монахов недалёкого монастырька преподобного Саввы Нендинского. Таких маленьких монастырьков было немало раскидано по берегам рек этого глухого лесного края. Если монастырёк своё дело делал, то он получал от великого государя и земли, и грамоты тарханские, которые освобождали от налогов его промыслы, а ежели стоял он «без пения», то есть за царя и весь люд православный не молился, то эти земли и грамоты у него отбирались и он потихоньку пропадал: тогда и «богомольцы государевы» должны были своё молитвенное тягло отбывать ревностно. Таким вот тихо умирающим монастырьком и была обитель преподобного Саввы Нендинского.

— Отец игумен и хлеба давать не хотел было...— сказал Чикмаз.— Я постращал маленько старика красным петухом, он и сдобрился. У нас, мол, сидит в землянке сам Тренка Замарай, который Москву сожёт, так уж с вашим монастырём он справится...

И в улыбке зубы его засветились розовым от огня блеском.

— Нет, ребята, что ни говори, а дела наши хны!...— сказал отец Смарагд, морщась от боли в раненой руке.— Переловят нас всех тут, как куропаток. По снегу след-то не скроешь...

— Да...— вздохнул Трошка Балала.— Утекай моя Лохматка, пока Шарик не догнал... Я думаю на низ опять податься: теплее там да и девки з..... И казаки чай какое-нито коленце опять придумают...

— Я тоже на низ хочу двинуть...— сказал Васька-сокольник, пожимаясь: его что-то крепко знобило от сабельного удара князя Одоевского.— Там вольнее...

Он решил с казачеством развязаться начисто и жить на всей своей воле, как Бог на душу положит. Может, даже и хозяйство своё потихоньку завести можно будет где-нибудь в диком поле, где гуляющие люди селятся. А то и так жить можно: сегодня здесь, а завтра там...

— И я казаковать на Дон...— сказал Тренка.

— И я...— сказал Чикмаз.— Только не на Дон, а к Ваське Усу, в Астрахань. Там гоже. Опять можно будет и к тезикам за зипуном сходить, а то ишь как обносился.

И он с улыбкой оглядел свои пёстрые лохмотья и разбитые лапти.

— А я к своей чуваше паду...— сказал Ягайка.— Наша лес балшой: никто не найдёт...

— Ну, а мне с вами не по пути...— заметил отец Смарагд густым басом своим.— Я хочу на Бело-озеро податься, к отцу нашему, святейшему патриарху Никону, посмотреть да послушать, что круг него люди подумывают... Думается мне, не таковский он мних, чтобы смирно сидеть в Ферапонтовом...

— Тебе-то гоже, отче... Ты прокормишься...— сказал Трошка.— Спел где молебен какому-нито Симону-гулиману, лентяю преподобному, вот и сыт... А нам вот какво будет?

— Полно тебе слюни-то распускать...— засмеялся Чикмаз.— Ещё как мужики встречать-то будут!.. Конечно, маленько теперь полегче надо будет, без херукви и без звону колокольного...

— Самое лутчее и вам разойтитца розно...— сказал отец Смарагд.— Кучей не пройти, а врозь везде ход...

И у всех сжалось в сердце: ох, пройдёшь ли?

Рокотал, и шипел, и плясал огонь. Над головами снаружи лес шумел и звенел под ударами вьюги, и, шипя, тянула поземка, заноса всякий путь, всякий след...

— А какую песню Васька наладил, ай-ай!..— сказал Ягайка.— Длинный, длинный,— совсем как чувашски, только ещё лучше...

— Да, гожа песня...— согласился Чикмаз.— Давайте-ка, от нечего делать, споём...

— Знобит всё меня что-то...— нехотя сказал потухший Васька, блестя глазами.— Притка, что ли, какая прикинулась...

— Ну, знобит!.. Споём, вот и согреешься... Давай запевай...

И Васька, облокотившись на еловое изголовье своё, тихо и грустно, чистым тенорком своим завёл:

Ах, туманы вы, мои туманушки...

И загудели казаки унывно и задушевно:

Вы туманы мои непроглядные,
Вы туманы мои непроглядные,—

теплее повторили все и с тоской безбрежной бросили:

Как печаль-тоска, ненавистные!..

И снова горячее, задушевнее, звеня слезами невыплаканными, залился Васька:

Не подняться вам, туманушки,
Со синя моря долой,
Не отстать тебе, кручинушка,
От ретива сердца прочь...
Ты возмой, возмой, туча грозная,—

пели казаки в тоске неизбывной,—

Ты пролей, пролей част крупен дождик,
Ты пролей, пролей част крупен дождик,
Ты размой, размой земляну тюрьму.
Чтоб тюремнички разбежались,
Во тёмном бы лесу собиралися,
Во дубравушке, во зелёной...
Ночевали тут добры молодцы,
Под берёзенькой они становилися,
На восходе Богу молилися,

Красну солнышку поклонилися:
«Ты взойди, взойди, солнце красное,
Над горой взойди, над высокою,
Над дубравушкой, над зелёною,
Над урочищем добра молодца,
Что Степана свет Тимофеича,
По прозванью Стеньки Разина...
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людей бедных,
Добрых молодцев, людей беглых...

Всё стихло. Васька упал лицом в своё еловое изголо-
вье. Сердце тоска схватила клещами железными. Было
тихо в землянке — только огонь ворчал, да за дверью
щелястой вьюга билась. Отец Смарагд вышел до ветру
и, поёживаясь, вернулся и сказал:

— Ну и крутит!.. Ежели так всю ночь будет, бродна
дорога будет, и не пролезешь...

— Ещё день обождём...

— А жрать что будешь?

— Добудем... Мужики дадут...

— Мужики твои, бают, молебен Савве Нендинско-
му петь собираются об утишении брани междоусобной...

— Дык что? У них это не мешает: молебен — молеб-
ном, а дело — делом... Народ тонкий...

— Охо-хо-хо-хо... Давайте-ка лутче спать ложиться,
ребята... Утро вечера мудренее...

— И то правда... Гоже хошь тепло у нас в хороммах-то...

Все разобрались по своим логовищам. Плясал свою
тихую пляску огонь. Дым сизым пологом стоял под бре-
венчатым, вспотевшим потолком. Думы тянулись серые,
длинные, как осенний дождь. И один за другим казаки
засыпали.

Не спалось только Ваське. Его бросало то в озноб
колючий, то в жестокий жар, и голова болела нестер-
пимо. Вспоминалось ярко прошлое: крутой боярин его
князь Ю. А. Долгорукий, — как он теперь голоту-то чех-
востит!.. — Москва златоглавая да сытная, потеха соко-
линая любимая и его серый Батый... Как он тогда цар-
ского-то Буревоя обрезал — как пить дал!.. И он снова

ощутил на рукавице своей тяжёлую птицу, услышал злой, нетерпеливый крик её, и повеяло в жаркое лицо его ветром от сильных крыл. «Да будя тебе, погоди!..» И вдруг всё разломалось и провалилось, и море лазоревое раскинулось перед ним, и берега солнечные, зелёные Мазандарана с белыми минаретами, и затеплилось сердце: Гомартадж... И опять в неожиданном изломе преломилось всё, и увидел он Волгу, и полёт стругов, и торжественные встречи в городах попутных... И вот вдруг в конце всего землянка чёрная... А завтра все полезут опять по снегу незнамо куда... Ну, да ладно, — только вот испить бы... испить бы... испить бы... Точно огнём палит всё тело, и что-то давит и душит нестерпимо, и какие-то ураганы крутят вокруг... Испить бы... испить бы... испить бы...

— Васьк, а Васьк?..

Он слышал зов, но не мог ответить ничего, потому что самое главное было испить бы... испить бы... испить бы... У-у, какое это длинное, тоскливое, индо слёзы просятся...

— Ребят, а дело-то Васькино табак!.. — сказал отец Смарагд. — Не отзывается и горит весь, как в огне...

— Ну-к что ж теперь делать?.. — сказал Балала. — Пушай лежит, а нам всё одно идти надоть, потому ежели нагрянут сюда приказные, дык...

Чикмаз бешено посмотрел на него...

Стали думать и гадать: как быть? Выглянули: буря стихла. Было морозно и ясно. И по снегу видно было, что на зорьке подходила к землянке волчья стая...

— И нечего тут головы ломать... — решил Чикмаз. — Иди всякий, куды хочет... Всё одно пропадать...

Решили: правильно!.. И стали умом раскидывать: кому на Мамариху выходить, кому на Ремни, кому на Вошелово, порозь чтобы... Оставили Ваське хлеба, воды в разбитом горшке, дров принесли. Пожевали на дороге чего-то, постояли над Васькой и из нестерпимого смрада землянки вышли на волю. Было очень бродно. Душисто пахло свежим снегом и хвоей. Жить можно было бы,

пожалуй, и гоже — так, по крайней мере, говорило и солнце, и небо чистое, и лес тихий да пахучий...

Выбились выше чем по колена в снегу на глухую лесную дорогу. Пошли молча гусем. На каждой повёртке отставал то тот, то другой, кому куда надо было. Прощались до увидання на низу, на воле, у казаков. Чикмаз решил заглянуть к преподобному Савве Нендинскому, к дружку своему, игумену.

— Опять?..— зло воззрился на него старик игумен.

— Опять.

— Я старосту с мужиками позову...

Чикмаз быстро вынул откуда-то отточенный нож — обыкновенно нож русские люди того времени носили, как и другие мелкие предметы обихода, за голенищем, но у Чикмаза голенищ не было,— и значительно показал его игумену...

— Вот что, батя...— сказал он.— Я не люблю, которые зря языком лала разводят. Нас в лесу осталось только двое. Мы тоже скоро уйдём. У нас ничего нету, а у тебя в кладовых кое-что складено. Поделись. А ежели старосту, так я к тебе ближе старосты...

— Вот накачались вы на мою голову!..— зло проговорил игумен.— Ну, что ты тут будешь делать? А? Ну, что тебе еще надо?

Чикмаз получил хлеба ковригу, сушёного судака, луку, соли.

— Ну, спасибо тебе, отче...— сказал он.— Покедова прощай. И слушай: живу я на шоринской разработке, ты это знаешь. Так скажи всем, чтобы меня там не тревожили, а то я и осерчать могу. Понял? Ну, вот... Ещё пару деньков передохнём, а там и ходу. Так уж и быть, ослобожу тебя... Прощай покедова...

— Иди уж, разбойник эдакий!.. Накачались вы на мою голову...

Чикмаз своим следом полез опять в лес. Огонь у Васьки потух, и в землянке стояла стыдь. По снегу было видно: подходила к землянке лиса. Васька что-то мямлил про себя, горел и никак не отзывался. Чикмаз за-

жѣг огонь, почистил землянку и, так как делать всё равно было нечего, стал сушить портянки у огня. Чистое горе: совсем истлели!.. Надо будет у отца игумена холста попросить — ему, чай, бабы натаскали много. Потом стало ему скучно. Он позевал, позевал да и лёг опять спать...

Васька очнулся только к ночи. Он едва языком владел. Ни пить, ни есть он не мог и только всё смотрел в зверское лицо Чикмаза мокрыми, понимающими глазами. А потом сделал усилие и прошептал:

— Ты... иди... Я... все... одно... по... мру...

— Но... но... но...— строго сказал Чикмаз.— Что я тебе, мешаю, что ли? Ишь, боярин какой выискался!.. Не твоя, чай, землянка-то, а шоринская. Куды я пойду по такому снегу? Вот промнут дороги маненько, тогда и айда... А ты бы, может, рыбки солёненькой съел? Судак... Очень отец хандримандрит хвалил... А?..

Васька ничего не ответил,— только смотрел всё ему в глаза этими своими мокрыми, теперь всё наскрозь понимающими глазами, от которых было неловко. И Чикмаз стал внимательно подгрести угли. И слушал, как тяжело дышит Васька, точно в гору высокую лезет... А когда он, спустя некоторое время, осторожно покосился на больного, Васька был уже снова без сознания.

Но прежней тяготы Васька не чувствовал нисколько,— напротив, было светло и радостно в степи бескрайной, и цветы лазоревые цвели вокруг, и неизвестно куда убежала дороженька безвестная, а на краю её берёзка стояла одинокая, беленькая, что вот твоя невеста... Васька умилился и почувствовал, как в душе его привычно загрозила песня и слова нарядные, ласковые вот про эту самую берёзку в степи бескрайной, про эту вот дороженьку, про вольную волюшку сами собой складываться стали... шире, шире, звонче, чище — индо вот слеза прошибет... И всё как-то рассеялось — кончилось...

Чикмаз перекрестился и закрыл нежно-голубые глаза Васьки. И сел у огня... Рассвет был уже близок. И как

только появились в небе розовые отсветы зари далёкой, Чикмаз взял Васькины портянки, собрал свои пожитки и харчи в сумку холщовую и вынес их за дверь. По снегу разбегались во все стороны следы звериные. Чикмаз подумал и пошёл в лес, натаскал к землянке вершиннику, что остался тут после разработки. Затем он снова спустился в землянку — огонь догорал — и пошёл к Ваське, длинному и жёсткому, но с умильно-кротким выражением на молодом красивом лице. Посмотрел, посмотрел на него Чикмаз, перекрестился и вдруг поклонился Ваське в землю, — точно вот боярину какому или царю! И опять встал, перекрестился несколько раз, решительно вылез из землянки, завалил дверь вершинником от зверя и — исчез в лесу...

XXXV. КТО КОГО!..

Бегство поражённого под Симбирском Степана вниз по Волге было совершенно не похоже на его недавнее триумфальное шествие вверх. Слухи о том, что случилось под Симбирском, несмотря на всю поспешность казаков, опередили их, и — Самара заперлась и не пустила их к себе. Заперся Саратов. Люди мстили казакам за своё легковерие, за свое разочарование, за близкую расплату и за то, что казаки под Симбирском, спасая свою шкуру, предали почти безоружных крестьян войскам. И не было на стругах прежней крылатой веры, веселья прежнего, прежних неумолкающих песен... Казаки были смутны, тревожны и раздражительны. Степан не раз ловил на себе их угрюмые взгляды. И часто вспыхивали ссоры и драки по пустякам...

И когда Степан прибыл в верный ему, но тоже заметно разочаровавшийся и в нем, и в его деле Царицын, — у толпы всегда прав только тот, за кем успех, — любопытные густо толпились на берегу, но прежнего одушевления не было совсем. Казаки перед царицынцами ботвили, бахвалились и грозили вдругорядь тряхнуть Москвою

покрепче, но, когда страдающий от ран Степан рассказывал раздобревшему на покое Ивашке Черноморцу и другим царицынским старшинам о своем походе, его слушатели помалкивали, глаза их были точно чем застланы и это было Степану чрезвычайно противно.

А ночью, в жарко натопленной опочивальне воеводы, утонув рядом с ним в перинах и обвинив его мягкой, полной рукой, Пелагея Мироновна ворковала Ивашке:

— Ну что? Говорила я тебе!.. Все вы эдак-то: у бабы волос долог, а ум короток. Ну, а теперь что скажешь? Набили ему мурлетку-то воеводы в Синбирском, а сюда придут, и здесь то же будет. Ишь, тожа чего вздумал!.. А я тебе говорила и ещё раз скажу: давай-ка подобиру-поздорову уберёмся куда подальше... И будем там на спокойе жить за милую душу... На чёрный день хватит, слава Богу...

— Да, Фёкла, куды ты денешься-то, ну?! — в сердцах сказал Ивашка.— Вверху воеводы, внизу Васька Ус, за Волгой калмыки, на Дону казаки... Куды бросишься?.. Умна тоже больно стала!..

— Ну, ну, ну...— прижалась она к нему.— Развоевался, воевода!.. «Всех исподтиха выведу...» Ты мне только скажи, хочешь ты уехать али нет, а остальное уже не твоя забота... И не забывай: ежели сюда воеводы подойдут, тебе несдобровать да и мне не больно сладко будет. Нюжли не пожалеешь ты лапушки своей? А? Что молчишь-то?

Ивашка весь даже похолодел при мысли о её судьбе, если придут сюда воеводы. Он крепко обнял её.

— Ну, так что же ты придумала? Говори... И сам вижу, что дело табак. Степан хоть и ботвит, а и сам не знает толком, что делать...

— А-а, Степан!..— пренебрежительно повторила она.— Нашёл тоже сокровище... Наговорили, и пуля его не берёт, и против сабли слово знает, а его вон как обработали. Только бы поскорее развязаться с ним... Так ты не покинешь меня, а?

— Как я тебя покину, когда только в тебе весь и свет мой...— жарко прошептал он.— Ведунья ты... Точно вот опоила меня чем... Ну, говори: что ты там придумала?

— Человечка я такого нашла, который берётся нас до Литвы или там до ляхов отвезти...— прошептала она, ластясь к нему.— А там лети, куда хошь... Ты смотри не проговорись только. А завтра, если хошь, я сведу тебя с ним и все вместея дело и обговорим...

— Так что...

— Ах ты, сокол мой!.. Милый... Уж как я тебя там любить буду...

Утро выпало очень беспокойное. С Дона от Фролки явился вдруг к Степану гонец, весь обмерзший в степи холодной. Он принёс нерадостные вести. Фролка, освободившись от брата, возомнил себя всему делу головой и, собрав небольшой отряд голоты, поплыл Доном вверх и напал на Коротояк. А в соседнем Острогожске стоял с ратной силой воевода князь Ромодановский. Узнав о нападении на Коротояк, он поспешил на выручку и растрепал Фролку «почём здря». Казаки бросились на своих стругах и бударках опять Доном вниз. Но пока Ромодановский хлопотал в Коротояке, в Острогожске поднялся полковник Дз... Дз...

— А, нехай его бисы возьмуть!..— махнул рукой казак.

— Не выговоришь... Дз...

— А ну, чёрт, вези!..— вспыхнул сердитый Степан.— Дзинковский...

Он знал Дзинковского, потому что сносился с ним грамотами.

— Ен самый...— подтвердил казак.— Ну, поднял он в городе народ, утопил воеводу, но дальше дело не пошло: протопоп соборный да сотник один успокоили народ, связали того самого Дз... Дз...— а, хай ему бис! — да в тюрягу его и упрятали. А жинка его, этого самого, которого не выговоришь, гонца к нам, в Кагальник, послала, кузнеца одного острогожского: спешите-де, казаки, на выручку... Люди Ромодановского кузнеца того схватили и полковнику тому и его пани на плахе головы срубили. Зашумели было и слободские полки все, да полковник сумской Кондратьев их

всех успокоил, а потом и Острогожск утихомирил. Везде люди крестным ходом ходили и царю на верность опять крест целовали...

— Это-то беда небольшая! — зло засмеялся Степан. — Вчера царю целовали, а завтра мне целовать будут...

— Оно, може, и так... — сказал гонец осторожно. — Ну только в Черкасске Корнило Яковлев и все самостоятельные казаки очень после того случаю голову подняли и всё какие-то сговоры у них промежду собой идут и с Москвой все гонцами ссылаются. А тут пришло известие из-под Синбирского и...

— А, дурак!.. — оборвал Степан. — Рассуждают тоже.

— Что же лаяться-то? — довольно смело сказал казак. — Нешто то моя вина? Меня послали по делу, вот я и сказываю...

У Степана чесались руки. Но он чувствовал, что то, что можно было в Самаре, когда он шёл вверх, того уже никак нельзя в Царицыне. И он прогнал гонца. Первой мыслью его было скорее идти на Дон, чтобы поправлять там всё дело, но он ждал вестей из Астрахани, — там тоже было что-то неладно, — да и его рана в голову крепко мучила его. Он не выходил решительно никуда, был мрачен и груб и старался не смотреть на Ивашку, чтобы не видеть этих его новых, чем-то застланых глаз. Да Федька Шелудяк, проживавший теперь в Царицыне, — он бежал из Астрахани, где посадские хотели убить его за пограбленные животы, — был теперь совсем не тот. И все косились один на другого осторожно: кто кого предаст, и когда, и как? И Степан чаще, чем прежде, напивался пьян...

Когда вечером Ивашка, расстроенный, — надо бежать, и скорее... — поднялся к себе в воеводские хоромы, в сенях его встретила Пелагея Мироновна.

— Иди в опочивальню... — тихо сказала она. — Там сидит человек тот. Только как бы не подслушал кто...

Ивашка шагнул в опочивальню и в тусклом свете сальной свечи увидал тощую, тёмную фигуру, которая при его появлении торопливо поднялась с лавки.

— Всемиловитейший и ясновельможный пан воевода...— вкрадчиво пролепетала фигура, низко кланяясь.— Падам до ног...

Ивашка сморщился: в опочивальне стоял такой дух, что хошь топор вешай...

— Жид? — коротко спросил он.

— Жид, ясновельможный пан воевода, жид...

Это был Иосель, похудевший, оборванный и грязный невероятно и ставший из чёрного рыжим.

Помучив его тогда, в Самаре, в Пыточной башне, запорожцы, когда он потерял сознание, бросили его, «доки очухается бисов сын», а сами напились. А там вдруг атаман заторопил с отвалом. Запорожцы бросились в башню, чтобы хоть, по крайней мере, добить иуду, но иуды не было: уходя, они забыли запереть дверь, Иосель пришёл в себя и уполз. Они долго матюгали и так, и эдак, хотели даже остаться, но лихие песни казаков захватили их, и они бросились к стругам: этот ушёл, другие не уйдут. Иосель оправился от своих потрясений и ран, сумел заинтересовать нового городского атамана самарского своим предложением о переделке старой меди на новое серебро и, завоевав доверие, воспользовался этим и в одну прекрасную ночь на рыбацком челне бежал. Бежал он не один: брошенная Степаном дочка воеводы, Аннушка, последовала за ним; он обещал доставить её, сиротинку, зозуленьку сизую, к её дяде в Северскую область. Но если бы это не удалось, думал он про себя, то можно будет при случае хорошо сбыть её в Крым или в Дербент в гарем: что здесь ждёт её среди пьяных казаков? А там, по крайней мере, будет жить как пани, без всякой заботы... В первую же ночь Иосель, на воде очень неловкий, упустил одно весло, и челн, крутясь, поплыл вниз по Волге, куда приведёт Господь Авраама, Исаака и Иакова. От ночной сырости и холода Аннушка под Саратовом занемогла, и Иосель, почмокав губами, с сожалением покинул её в женском монастыре, а сам, насулив ярыжкам золотые горы и выгодно продав в Саратове чужой

челнок, устроился на одном насаде, который плыл на низ за рыбой и солью. Понюхав в Царицыне, Иосель решил пока побыть тут: наклеивались делишки. Сперва его казаки сгребли было, но он так красноречиво рассказывал о тех пытках, которым подвергли его царские воеводы в Казани за его горячее сочувствие казакам, что те решили: то добрый жид — нехай себе болтается!.. И оставили его в покое. И он всюду бегал, нюхал, покупал тряпье, гусей, табак, рыбу, перо, продавал фальшивые деньги, нитки, блестящие крестики, бусы какие-то и был вечно чрезвычайно занят. Приход в Царицын Степана чрезвычайно смутил его, но он сразу же подметил, что раненый атаман никуда не выходит, и продолжал свою тихую, озабоченную суету...

— Так вот...— взволнованно вздохнула Пелагея Мироновна.— Я уж говорила Иоселю, что нам с тобой в Царицыне понадоело — уж очень жизнь беспокойная,— и он говорит, что он бы мог переправить нас куды подальше...

— А что такое? А почему нет? — заметил Иосель очень рассудительно.— Ясновельможному пану воеводе стоит только одно слово сказать, и Иосель вдребезги расшибется, чтобы только угодить ясновельможному пану...

Ивашка приосанился: «ясновельможный пан воевода» ему очень понравилось.

Иосель знал уже решительно всё об Ивашке и Пелагее Мироновне, знал о их прошлом, о настоящем, о горячей любви их, догадывался о их возможных планах на будущее, и, когда Пелагея Мироновна издалика заговорила с ним о путях на Литву, он сразу прикинул, что из этого можно было бы извлечь. Было ясно: если он доставит их благополучно,— себе самому он за это никак не ручался,— то они хорошо ему заплатят, так как дело идёт о их головах, ну, а если представится случай как-нибудь иначе извлечь из них пользу,— хо-рош товар эта самая Пелагея Мироновна! — то там видно будет. Прикинул он выдачу Ивашки казакам, но

сразу же отбросил эту мысль: дадут какую полтину да шею ещё наkostenяют... Нет, это чепуха...

— Куда же можешь ты увезти нас? — проговорил Ивашка, садясь подальше от Иоселя.

— А куда ясновельможный пан прикажет...— почти-тельно сказал Иосель.— Можно, например, довести до Киева, а там уж ясновельможный пан воевода сам обдумает, куда лучше... А то и до польского рубежа можно...

— Так... А как же ты то дело устроишь?

— Э, ясновельможный пан воевода, когда хочешь дело делать, никогда не надо загадывать за год вперёд...— сказал Иосель чрезвычайно убедительно.— Всегда надо смотреть на то, что ближе: человек хочет, а Бог водит, как говорится по-русскому поговорка. Только бы нам до первых жидов на Слободской Украине добраться, а там — пхэ!..— мы будем, как караси в море... Только вот уж не знаю, как мне отсюда отлучиться: большие дела тут можно делать, а в особенности если на Астрахань съехать...

— Ну, в Астрахани жизнь теперь... того... можешь и без пейсов очень даже легко остаться...— заметил Ивашка.

— Пхэ!.. Что такое без пейсов? Зачем без пейсов? — вздернул Иосель плечи.— Они пусть там себе воют, а я буду торговать,— и с теми, и с другими, и со всеми... Кому нужен какой-то бедный жид? Нет, ясновельможный пан воевода, Астрахань для умного человека золотое дно!.. Мне давно пора домой, к Ривке, к детям, но я говорю себе: Иосель, не упускай себе такого золотого случая!.. Ривка подождёт, дети подождут, все подождет: не упускай случая... Но для ясновельможного пана воеводы я брошу не только Астрахань, я Ривку брошу, я детей брошу,— только бы ясновельможный пан воевода доволен был!.. О, это такой казак, ясновельможная пани!..— восторженно обратился он к Пелагее Мироновне.— Такой казак,— ай-ва-вай!.. И я понимаю, понимаю,— зашептал он доверчиво и очень убедительно,— что дела у ясновельможного пана Степана несколько пошатнулись и что умным людям пора из игры выходить: бе-

режённый, как говорится, и Бога сбережёт... Пусть только ясновельможный пан воевода и ясновельможная пани доверятся мне, а там все будет, как сыр в масле... Я слышал сторонкой, что ясновельможный пан атаман на Дон собирается,— вот он выедет, скажем, в понедельник, а мы за ним следом во вторник. Уж только пусть ясновельможный пан воевода положится на меня...

Ясновельможный пан воевода внимательно слушал, но полагаться на преданность Иоселя отнюдь не думал: он хотел полагаться только на самого себя.

— Ну, однако, как же ты всё же повезёшь нас?..— сказал он.— За год мы загадывать не будем, а всё же любопытно, как...

— А можно, например, два воза солью для Дона погрузить,— сказал Иосель.— А под солью будут лежать на мягких коврах, как у Христа под мышкой, ясновельможный пан воевода на одном возу и ясновельможная пани — на другом. Нам только бы Дон переехать, а там — фьююю... На Слободской Украине жида много, и там Иосель будет совсем как карась в море...

Сторговались. Иосель получил деньги, чтобы заблаговременно купить две пары коней и возы, и поздно ночью старая Степанида выпроводила Иоселя потайным ходом через сад на чёрную осеннюю улицу. Ясновельможный пан воевода ещё долго ходил у себя по опочивальне — дверь он оставил открытой, чтобы дух вышел маленько,— и всё что-то думал, и улыбался, и бормотал:

— Поглядим: кто еще кого... Да, да: кто кого!..

Но Пелагея Мироновна уже нетерпеливо звала его почивать.

На следующее утро атаман лютовал ещё больше: с Астрахани прибежал, наконец, давно жданный гонец. То был Петрушка Резанов, сиделец острожный, что стрельца зарезал государева. И он привёз вести нерадостные. Хотя власть казаков в Астрахани была сильна, но враги всё же и там начали подымать голову.

— Ну, как пошёл ты тады от нас вверх,— рассказывал Резанов, пощипывая свою редкую бородёнку и стараясь придать своему грубому лицу значительность,— всё осталось у нас в самом лутчем порядке. Затем вскорости Федька Шелудяк из-за животов пограбленных у посадских со всеми перегрызся и убежал сюда вот, а Иван Терский, помощник атаманов, на Дон пошёл: не полюбились ему настроения наши. Тогда на их место Ивана Красулю выбрали, что при воеводах головой стрелецким был, да Обоимку Андреева, сидельца тюремного, что за воровские деньги сидел. Недели две спустя, так после первого Спаса, поднялся народ резать тех, которые уцелели, из приказных да из торговых людей: и Ларке-кату работы по уши было, ну и сами все старались. Одного из таких митрополит, старый чёрт, у себя в хоромах прятал, и очень казаки за то на него осерчали. А он, старый чёрт, в народ слух пустил, что было-де ему видение: стоит-де палата вельми чудна и украшена, а в той-де палате сидит предоблий воевода наш, Прозоровский князь, а с ним и брат его, и сын старшой, Борис, что на стене тогда повесил ты. И вот сидят-де они все и пьют питье сладкое паче мёда, а над головами-де их сияют венцы, украшенные камением многоцветным. Велели-де они и ему, митрополиту, сесть, только не с ими вместе, а поодаль, и пития ему не дали. И слышит-де он, митрополит, что они промеж себя говорят: он-де, митрополит, не поспел ещё к нам... Ну а наши обломы, известно, уши развесили, слушают, головами качают, вздыхают... Да... И вдруг тут слух пришёл насчёт твоего синбирского дела. Тут они совсем ожили. Из степи подошёл к Волге с той стороны татарин Енмамет мурза Енаев с табунными головами своими и с сотниками и переслал через воду с рыбаками митрополиту царскую милостивую грамоту. А на другой день велел митрополит в большой колокол благовестить, чтобы собрать людей астраханских и ту грамоту им прочести. Народу, одначе, пришло совсем мало: одни нас поопасались, а другие на атаманов двор пришли,

где у нас завсегда круг собирается. И вот в соборе митрополит грамоту царскую народу вычитывает, чтобы принесли все свои вины Богу да великому государю и добились бы ему челом, а на кругу есаул твой Лебедев кричит, что грамоту ту сам митрополит со своими попами составил, чтобы опять народ в лапы воеводам да боярам отдать. Казаки в собор пошли, вырвали у того старого чёрта грамоту, и все хотели утопить его или с раскату бросить...

— Так чего же вы сопли-то распустили? — сказал Степан зло.— И утопили бы...

— Да вишь ты, народ после синбирского дела-то зашатался как-то...— пощипывая бородёнку, проговорил посол осторожно.— Не то совсем стало, что до того было...

— Синбирское дело, синбирское дело... А что синбирское дело, никто не понимает!..— рассердился Степан.— Ворочайся в Астрахань и скажи там Ваське и кругу, чтобы все к новому походу строились. Я еду на Дон, поуправлюсь там с делами и сейчас же скорым обычаем опять к вам. Митрополита, старого чёрта, изничтожьте, чтобы не баламутил, да и попов, которые очень уж в его руку тянут... Казаки вы там или бабы старые?

Ивашка внимательно слушал всё это со своими новыми застланными глазами, а потом прошёл в Приказную избу — там усердно скрипели перьями старые подьячие и уныло томились всякие просители,— и долго перебирал там какие-то грамоты. И всё улыбался в усы и с весёлыми глазами повторял: а ну, кто кого!.. А когда в обед пришёл он домой, Пелагея Мироновна со смехом потащила его к окну.

— Ты только погляди, что наш Иосель-то разделяет!..— смеялась она.— Это он нам своих новокупочек показывает.

В самом деле, Иосель уже раздобыл на торгу пару отчаянных кляч и, настрочив им за углом кнутом бока, раскатывал перед воеводским двором туда и сюда. Клячи, уставив хвосты пистолетом и задирая

головы, мотались как бешеные из стороны в сторону, холодная грязь со снегом летела из под колес густыми роями, а Иосель, натянув вожжи из всех сил жмуясь, делал вид, что никак не может удержать своих рысаков, и всё повторял им убедительно:

— Тпру... Тпру... Ишь ты какие... Тпру!..

И косился глазом на воеводские хоромы...

Ивашка с Пелагеей Мироновной со смеху помирали...

И всё повторял загадочно Ивашка со смеющимися глазами:

— А ну, посмотрим: кто кого... Посмотрим!..

XXXVI. ПОСЛЕДНИЕ СТАВКИ

Столица голытьбы всероссийской, Кагальник, жил в лихорадочном оживлении: скоро будет сам атаман!.. Правда, не так ждала его столица, а гордым победителем, правда, надо было уже некоторое усилие, чтобы верить и ликовать, но ободряла сладкая надежда: авось он ещё что придумает... Из Царицына прибежал слухок, что велел он астраханцам опять к походу готовиться... Веру в будущее особенно поддерживал Трошка Балала, который вдруг, как снег на голову, нагрянул в Кагальник. Все индо диву дались: все старые казаки до единого перебиты или без вести пропали, а этот вот явился.

— Слово ты, что ли, какое знаешь? — дивились казаки.

— Знамо дело... — сбrehнул Трошка. — А вы думали как?

И все стали смотреть на него с некоторой опаской: дурак, дурак, а гляди вот!..

И Трошка высоко носил свою поганую маленькую головёнку, врал за весь Кагальник, а под весёлую руку тешил сердца казацкие неимоверной похабщиной...

Очень втайне волновалась и жена атаманова, Мотря, которую теперь все из почёта величали Матвевной. У ловкой бабы было теперь много и шелков, и бархата, и парчи, и камней самоцветных, и золота, — любой

боярыне очень даже просто нос утереть можно было бы,— на окне стоял костяной город Царьград, что муж из Персии прислал, с церквами, и башнями, и домами всякими, в кладовке в скрынях лежали меха дорогие, но после провала мужа под Симбирском стало её бабье сердце тревожиться за будущее. Лутче бы теперь как-нито повиниться да и зажить как следоваит. Может, спихнуть бы как Корнилу с атаманства можно, стать на его место, к царю в Москву ездить и жить припеваючи, как только твоей душеньке угодно. Вон, сказывают, полегоньку Дорошенко с Москвой опять нюхаться стал, и будто большие вотчины царь обещается дать, ежели тот баламутить перестанет... Тревожило её и будущее ребят: растут в чёртовом Кагальнике этом, как волчата какие... И когда прибрёл в Кагальник дьячок беглый Панфил, пьяница горчайший, она всячески улещивала его, чтобы он ребят её в науку произвёл, и не только Иванко, но и Параску с её скорпионовой косичкой. Она кормила его до отвала и бараниной, и кулешом жирным, и варениками, поила и сливянкой, и запеканкой, густой, как смола, и горилкой забористой, дарила ему то на штаны, то шубу старую, то откуда-то завалившиеся очки. А подгулявший Панфил — так, серенький замухрышка какой-то с красненьким носиком,— важно садился к столу и строго спрашивал:

— А ну, Иванко, скажи-ка ты мне, что землю держит...

— Вода высока!..— быстро отвечал настроганный мальчонка: Панфил в деле воспитания был сторонником частого преломления жезла о хребет своих воспитанников.

— Так. А воду что держит? — строго спрашивал учитель.

— Камень плоск вельми!..— выстреливал Иванко.

— А что держит камень? — ещё строже говорил учитель.

— Четыле кита!..

— Молодчина. А ну теперь прочитай мне вирш про розгу, и чтобы единым духом...

Иванко набирал в себя духу и, уставив свои чёрные пуговицы в стену, без запинки валял:

Лозга ум остлит, память возбуждает
И волю злую к благу плелает,
Учить Господу Богу плисно молити
И лано в церковь на службу ходити...

— Премудрость Господня!..— степенно вздыхала мать, подпершись рукой.— Вот что значит ученье-то!.. Ну-тка, выкушайте, Панфил Ионыч...

И она с низким поклоном подавала дьячку чарку запеканки, от которой сладкий дух распространялся по всей хате, а Панфил долго потом с удовольствием обсасывал усы.

Казаки больше не приставали к заметно подросшему парнишке, хочет ли он в казаки, и не заставляли его казать язык,— он уже понял, что всё это на смех и не поддавался,— а если начинали они очень уж приставать к нему, то он, хмуря бровки и картавя, садил такой крутой матерщиной, что все просто за животики хватались: ну уж и дошлый же парнишка!..

И, наконец, раздался заветный крик: едут!

Весь Кагальник высыпал из хат и землянок к перевозу. Казаки возвращались верхами и пешком, а за ними шёл обоз. Но было казаков немного: одни с пути розно разбрелись, другие в Царицыне остались, третьи на Астрахань подались. Впереди станицы на царском аргамаке,— уцелел только один, а остальные без ухода настоящего подошли,— ехал атаман. Голова его была всё ещё перевязана, а левая нога густо обмотана тряпьем. Он заметно похудел, и глаза его горели мрачным огнём. Станичная старшина встретила его у перевоза хлебом-солью, слышались редкие голоса: «Батюшка, кормилец наш...», но восторга первых дней не было. Степан проделал всю обряду встречи, как полагается, до конца, перецеловался со старшиной, раскланялся с казаками и сразу же направился к себе погреться — было очень сиверко, и с неба сыпалась крупа — и отдохнуть.

Раскрасневшаяся Матвевна, прифрантившиеся детишки и самодовольный Фролка встретили его у ворот. Степан бросил было на Фролку сердитый взгляд за его самовольство, но тут же и осёкся: ведь и он возвращается битым... Но целая груда тайных грамот со всех концов России, которые тут же передал ему Фролка, и известие, что его давно уже поджидают гонцы от Серка, Дорошенка и из Москвы, сразу же сказали ему, что дело его не кончено. И он подбодрился...

Он, повеселев, шагнул в избу, поздоровался ещё раз со всеми добрым обычаем и всех оделил богатыми гостинцами. На столе под образами уже приготовлен был почестный пир для него и всей старшины. Посередине стола красовался костяной Царьград.

— Ну-ка, гости дорогие, милости просим нашего хлеба и соли откусать...— поклонился он старшинам.

— Атаману первое место и в бою, и за столом...— сказал кто-то.— Садись под образа, Степан Тимофеич, а мы за тобой...

Степан, садясь, задел раненой головой о лампадку и, с досадой сорвав её с тоненьких медных цепочек, швырнул жене:

— Нужно вот тебе эти цацы-то развешивать!..

Все тесно усаживались за стол, внимательно наблюдая украдкой, как бы не сесть выше, чем полагается. Не хватало только гонца от Серка: запорожец уже две недели пил мёртвую и никуда не годился. Первую чарку выпили с благополучным прибытием и с аппетитом принялись за еду: Матвевна в грязь лицом не ударила... За царя не пили, потому что теперь это, как все понимали, было уже не нужно: ежели идти уж, так напрямки, а то одна волынка получается...

— Ну, ребяташки...— проговорил Степан, налив по другой.— О беде нашей вы, знамо дело, уже слышали, и бобы нам разводить нечего... Всё дело в том, что мы на низу больно долго тогда проволынились и дали Москве время собрать силы. И на этом конец разговору. Не назад нам нужно смотреть, а вперёд, на предбудущее... Так ли я говорю?

— Так... Правильно!..— одушевленно загудела застолица.— Слюни распускать нечего. Дали промах, поправляться надо...

— Ну, вот...— сказал Степан.— Так вот и давайте думушку думать о том, что делать нам... И надо разбирать дело без страха, а глядеть правде в глаза прямо, по-казацки. Теперь Москва нас и здесь в покое не оставит, а пошлёт ратную силу и сюда промышлять над нами. Так заместо того, чтобы ожидать по-бараньи, пока нам ножом по горлу полоснут, нам лучше самим постараться, как бы их выпотрошить. Так ли?

— Так... Верно... Что правильно, то правильно...— подхватили дружно старшины.— Ишь, сколько грамото со всех концов тебе нанесли — дружков у нас везде довольно... Говори дальше...

— А ну, сперва ещё по чарочке... За вольное казачество наше!..

Все шумно и воодушевлённо выпили. Матвевна была недовольна: опять эта волынка затирается!.. Нет, надо будет разговорить Степана... она подала на стол жареного поросёнка. Были Филипповки, скоромиться ей было противно, но она скрепя сердце подчинялась новым порядкам, хотя сама скороми не ела и детям не давала.

— Так вот...— сказал Степан, крепко хрустя хрящиком.— А для того, чтобы боярам потроха выпустить, нужно нам допрежа всего видеть, как обстоят наши дела по другим местам. И прежде всего, знамо дело, на Дону, в Черкасском. Слышал я, что там наши кармазинники опять голову подняли...

— Еще как!..— заговорили злобно казаки.— И всё с Москвой грамотами ссылаются...

— Погоди. Рассказывай кто-нито один... Ну, хоть вот ты, дядя Ерофей...

Ерофей — краснорожий казачина с бородой на два посада и с наглыми, всегда точно пьяными глазами — расправил свою бороду и откашлялся.

— Ну, вот...— начал он.— Как ушли вы тогда на Волгу, стали домовитые наши что-то всё снюхиваться. По-

том собрали круг и выбрали станицу в Москву в двенадцать человек, чтобы царю челом ударить: будем-де служить тебе верой и правдой, как наши старики служили, по-старому, по-хорошему. Ну в Москве, иначе, им что-то веры не дали и заместо того, чтобы пожаловать, под Архангельский город, в Холмогоры, в ссылку всех угнали. А вслед за тем из Москвы в Черкасский вскоре грамота пришла: не приставайте-де к богоотступнику Стеньке, казаки, прямите великому государю, а то де и жалованья вам нашего не пошлём. Корнило, как грамоту на кругу вычитывал, так прослезился индо...

— Ах, старая лиса!..— стукнул по столу кулаком Степан.— Ну?

— Да. И говорит это Корнило: согрешили-де мы, братья казаки, перед Богом и великим государем, отступились от веры христовой и от святой соборной апостольской Церкви. Пора бы нам покаяться и свои дурости отложить, чтобы всё опять пришло в достоинство... А те и-и галдеть: правда твоя, атаман!.. Пошлём опять станицу к великому государю, принесём ему за весь Дон повинную... Ну, выбрали они это Родивона Калужника, и стали те собираться. Ну, тут мы встряли: никакой станицы не надобно — иль захотели донского дна отведавать? Так и не дали им послать станицу. Ну, только они своего лукавства никак не оставляют, и нам надо глаз на них держать день и ночь...

— Глазом тут многого не сделаешь...— сказал захмелевший Степан.— Вот оглядимся маленько да и в гости к ним грянем. Надо так ли, эдак ли развязку делать. Как можно нам на Москву идти, когда у нас на Дону полной власти нету? Мы на Москву, а они нам в затылок... Это надо кончать...

— Правильно...

— На том и порешим пока...— сказал Степан и обратился к молодому ещё, складному и красивому казаку с бойкими чёрными глазами, Мишке Шаповалу, который только что тайно в Москву ходил.— Ну, а как в белокаменной?.. Ждут ли нас там в гости?

— Ждут...— весело улыбнулся Мишка.— Чёрный народ крепко ждёт везде. А богатеи крепко опасаются. Бояре, которые незаметнее, да гости именитые вроде Шорина Васьки, те все своё добро, которое полутче, во дворы иноземных послов опять свозят — это там такую уж повадку взяли: как чуть что не так, так сейчас свои животы к иноземцам перевозить... Тревожатся... А царь, между прочим, только что оженился...

— Да что ты?!— захохотала застольица.— Ах, старый чёрт!.. У кого же взял?

— У Матвеева какая-то девка проживала, вот её и приспособил...— сказал Мишка, смеясь.— Ладная, говорит, такая... Гладкая...

— Ах он старый чёрт!..— заржал Алёшка Каторжный, маленький, но ловкий и какой-то бесшумный мужичонка с рваными ноздрями.— Ничем о спасении души думать, а он вон куды полез...

— Да ему, чай, с ей уж и не справиться...— встряли со смехом другие.— Ну, помощники там найдутся!.. Поди-ка, какие все кобели при дворе-то проживают... Глянешь, так что твоё меренё...

— И перед свадьбой, вишь, царь-то обрился, чтобы помоложе быть маленько... Тоже смекает.

Опять взрыв весёлых и крепко присоленных острот.

— Ну, только это самое бритьё в Москве многие которые не одобрили...— рассказывал Мишка.— А особенно Морозова боярыня взлютовала,— вот та, что всё с протопопом Аввакумом путалась. Ей по чину-то полагалось во время венчания титулу, что ли, там какую-то царскую говорить, так наотрез отказалась: все-де святые с бородами писаны, а которые-де рыло себе скоблят, те лик Божий искажают да псам, да котам уподобляются...

— Так и сказала?!— восхищённо повторяли уже запьяневшие казаки.— О то баба!.. Не баба, а казак... Нам бы вот таких сюда в бабы атаманы... А, Матвевна?

— Ну, и сами управимся...— поджимая губы, отвечала недовольная Матвевна.— Чего-чего, а баламутить-ся-то умеем...

Степан грозно посмотрел на неё через стол.

— Да ведь Морозихе-то можно так правду-матку резать...— говорили казаки.— Её враз не слопаешь... Бают, как выедет на своих конях-то, так сзади ней чуть не полк холопей бегом бежит... А золота да богатства всякого, самому царю нос утрёт... Не, коли что, так и с ей не постесняются. Таких-то вот и сожрать лестно, потому по закону все богатства-то на царя тогда отписывают...

— Вот бы тоже всех их там промежду себя эдак стравить, а потом отсюда бы и грянуть!..— сказал Алёшка.

— Отец Евдоким наш сказывал, что крепко на неё царь за эту титул самую опалился...— продолжал Мишка.— Только сразу-то, видно, опасается ударить и своё время выжидает... Да и Гриша-юродивый, бают, что-то ему негоднее в церкви при всех насчет скоблёного-то рыла молил... А этого-то никакой уж царь тронуть не мог... Божий человек называется...

— А что там наш отец Евдоким поделывает?..

— Из двора в двор слоняется да всё чему-то смеётся...— сказал Мишка.— А чему смеётся, не поймёшь... И диво: везде-то он вхож!.. У самых вышних бояр бывает, у Морозихи свой человек, да и царю, бают, сколько раз сказки по ночам сказывал...

— Ну? Чай, ему теперь, с молодой-то бабой, не до сказок...— опять взялась застоллица.— А что жа? Царю наш Евдоким побаски сказывают, а к царице-то, может, другой какой пристроился... Что им больше делать-то?

— Да к Софье-то, к средней царевне, и то уж буд-то Голицын князь Василей приладили, сказывают...— смеялся Мишка.— Ух, тоже бой-девка, говорят...

— А Пётр-то всё с Евдокимом?

— С ним...

— А он что?

— Этого не пойму я что-то...— сказал Мишка.— Точно все скорбит о чём и молчит. Не зачитался ли святых книг часом? Это тоже, сказывают, бывает...

Выпили ещё и ещё. Степан умышленно не хотел спрашивать при всех гонца от Дорошенки, худощавого

черкасца с висячими усами, длинным чубом и рысьими глазами. И тот понимал это и помалкивал... В хате стало жарко и душно. Глаза посоловели, и лица налились кровью. Широко распахнули дверь на солнечный морозный день. Кто-то к Иванку привязываться стал:

— Ну, Иванко, говори: в казаки хошь?

— А поди ты к...

Все загрохотало: ай-да и сын у тебя, атаман, растёт!.. Вот это так казак! Матвевна, подпершись рукой, с улыбкой смотрела на мальчонку. Параска всплескивала руками и закрывала лицо.

— Что ж ты лаешься-то? — приставали опять казаки.— Мы к тебе всей душой, а ты к нам ж...й. ...На-ко вот, хлебни запеканки-то!..

— Га-га-га-га.

И вдруг на пороге выросла сильная фигура Родивона Калужнина, богатого казака из Черкасска, с твёрдым лицом, серыми глазами навывкате и большой, уже седой бородой. За ним сзади стояло ещё два казака: маленький, чёрненький, с кривыми ногами, похожий на татарина, и высокий, с точно соломенными усами и каким-то скучным выражением худого лица.

— Честной компании!..— проговорил громко Калужнин.

— А-а, Родивон Петровичу!..— раздались немножко насмешливые голоса.— Жалуй... Садись, гость будешь...

Но все насторожились: это неспроста.

— Я не в гости пришёл...— твёрдо сказал Родивон, не сядясь.— А с наказом от нашего атамана и всего донского круга...

Степан поднялся, а за ним и все остальные: так полагалось по обычаю, когда кто говорил от имени Дона.

— Велел атаман и все казаки наши сказывать вам, чтобы воровство ваше вы оставили и били бы челом великому государю о винах ваших,— всё так же твёрдо продолжал Калужнин.— Желают казаки наши, чтобы все на Дону опять пришло в достоинство, как допрежь того было...

Степан весь побагровел.

— Взять его!..— крикнул он.

— Тимофеич...— попыталась было вмешаться Матвевна.

— Цыть! — рывкнул Степан.— Не твоего ума дело... Знай свои горшки. Вяжи его, казаки!..

Весь двор был уже полон голытьбы: посольство из Черкаска взбудоражило всех. Все были пьяны — по случаю возвращения атамана и казаков-товарищей. В одно мгновение Родивон был связан. Степана мутило от бешенства: рано ещё отходную ему читать стали!..

— Эй... затопить печь в пекарне!..— крикнул он.— Живо... И волоки его туда, собачьего сына...

— Ого-го-го-го...— как леший, заикался Алёшка Капторжный, который любил всегда идти как можно дальше, чтобы возврата никому не было.— Вот это пока-зацки!..

Весь Кагальник, задыхаясь от волнения, густо сдвинулся к пекарне у перевоза. В огромной печи уже полыхал огонь. Никто ещё толком не знал, что будет, но уже как-то все предвкушали сладость безмерного ужаса. «Братцы, ради Христа...— шелестел омертвевшими синими губами Родивон.— Пожалейте малых детей... Ведь я такой же казак... Велел круг ехать, так как же я могу упорствовать?... Братцы!..» Но никто его не слушал...

Степан налитыми кровью глазами — они всегда были у него в пьяном виде красные — поглядел в рыжие вихри огня в печи.

— Бросай его в огонь!..— чувствуя привычное в таких случаях кружение головы, крикнул он.— Живо!

Все ахнули. И жадно сгрудились к пекарне ближе.

— Братцы, ради Христа...

Напряжённая топотня ног по глиняному полу, суетливые переговоры низкими голосами, мольбы замирающие и вдруг душу раздирающий крик. Огонь, извиваясь и дымя, быстро раздел Родивона, веревки, перегорев, лопнули и, весь чёрный, уже безволосый, в тлеющих тряпках, он вдруг полез из огня назад.

— Не пускай, черти...— крикнул Алёшка.— Испугались? Пихай назад!..

Дрючками запихали горящего Родивона в огонь и чело печи забросали дровами. Печь заревела, и густая вонь разлилась по всему берегу.

— Видели? — торжественно обратился Степан к омертвевшим товарищам сгоравшего Родивона.— Ну, вот идите назад и скажите Корниле, что всех их так жечь буду, которые близко подойдут к Кагальнику. И ему то же будет,— не гляди, что крёстный... А теперь — гэтъ, и швыдче!..

И началась дикая, ревушая, блюющая и сквернословящая попойка по всему Кагальнику. Все славили храброго и тароватого атамана. Только одна Матвевна ходила с заплаканными глазами по своей хате. Все ее мечты рушились...

На другое утро началось похмелье, а там к ночи приискал из Царицына гонец и принёс странную весть, что Ивашка Черноярец вместе с любовницей своей скрылись неизвестно куда...

Степан только рукой махнул: все одно, дальше виселицы не уйдёт... Очухавшись после разгула, он всё читал со своими приближенными прибывшие к нему грамоты, долго и не раз говорил с глазу на глаз с гонцом Дорошенки, а так как гонец из Запорожья всё никак не мог прийти в себя, то он на морозе облил его несколько раз ледяной водой, пока тот не очухался совсем. И с ним была долгая беседа. Потом Степан получил какую-то грамоту от Корнилы Яковлева и один уехал в Черкасск.

Крестный отец, приняв его тайно, уговаривал его за угощением бросить воровство, но Степан угрюмо говорил, что теперь поздно и что он пойдёт до конца. И напился пьян, и валялся в шубе собольей где попало под лавкой, и, придя немного в себя, снова пил и ругал черкасских казаков:

— Сволочи... Когда мы в поход пошли, не вы ли деньгами нас поддержали? — облокотившись на стол, мрач-

но говорил он.— А теперь, чуть неудача, вы опять на колени: помилуй, великий государь!.. Да вы бы лучше нас-то поддержали... Сволочи вы, только и всего!..

Понимая хорошо, что «не смажешь, не поедешь», он одарил всю старшину черкасскую дорогими подарками — Корниле шуба рысья досталась, кому котел серебряный, кому что... — но всё же они за ним не потянули, и он, разругавшись, снова поехал в Кагальник. Задержать его не посмели: всё ещё за ним сила была... И он приехал сердитый в Кагальник и объявил:

— Поход — на Черкасск!..

Все шумно одобрили это разумное начало нового похода на Москву. Была большая надежда, что в Черкаске произойдёт раскол и с ним можно будет справиться легко. И закипел Кагальник военными приготовлениями...

И вдруг дозорные казаки, возвращаясь сверху, привели с собой в Кагальник какого-то полузамёрзшего рыжего жида: не лазутчик ли собачий сын? Но жид показал им свою истерзанную воеводами на дыбе спину, клялся им в своей любви к вольному казачеству, обещал им золотые горы...

— А, что там дурака валять?.. — решил кто-то нетерпеливо. — Идём к атаману! Он там разберёт...

— Ой, Боже мой... — вздёрнул тот плечи кверху. — К атаману... И станет такой ясновельможный, такой великий пан со всяким пархатым жидом разговаривать! Да я лучше сам скорее брошусь в Дон, чем осмелюсь беспокоить ясновельможного пана гетмана. Об нём и казаках его идет слава по всему свету, а мы будем отнимать его драгоценное время по пустякам... Нет, вы лучше сперва меня накормите, а потом я вам такое расскажу, что вы Иоселя на руках носить будете... Ну, идём, идём — чего там ещё стесняться?..

И он уверенно повел большую толпу казаков в ближайший кабак. Его накормили, напоили, и он залился таким соловьём, что действительно, все уши развесили. И, показывая настоящие деньги с Монетного двора, он говорил:

— Ну что? Плохо сделаны? Ага!.. Кузня у вас есть? Где кузня?.. Я вам каждому сейчас по мешку наделаю... Идём все в кузню!..

Но по городку уже перекликались, как петухи, медные рожки: поход, поход!

— Поход? Куда? Под Черкасск?..— говорил Иосель.— Вот: я всегда говорил, что с этого и начинать надо!.. И идите себе под Черкасск, а я тем временем каждому по мешку рублей московских приготовлю... Только чтобы всё у меня под рукой было!..

Но в голове у него была только одна думка: как бы ему на тот берег, подальше от ясновельможного пана атамана, перебраться... И ходу... Этот чёртов Ивашка подвёл его невероятно: как только перебрались они через Дон, Ивашка взял его за шиворот и совсем уже бросил было в реку, да баба его вмешалась:

— Да что ты?.. Да брось!.. Мало вы и без того кроушки человеческой пролили... Ну, милый!..

— А, ты не знаешь этих дьяволов...— говорил Ивашка, не выпуская воротник Иоселя из своей железной лапы.— Ты у запорожцев спроси, каковы они меды-то...

— Ну, и вы тоже хороши, говорить нечего...— говорила Пелагея Мироновна.— Плюнь на него и пусть идет, куда хочет... Ну, для меня!.. Ну, милый...

Ивашка повернул Иоселя к себе задом, дал ему коленкой здорового пинка под известное место, и Иосель распластался в холодной грязи. Ивашка ударил по лошадам.

— Что? — смеясь, крикнул он Иоселю.— Не говорил я: кто ещё кого?..

И теперь Иосель поторапливал казаков:

— Ну, что же тут возиться?.. В поход так в поход!.. А воротитесь, у меня всё уже будет готово...

И среди страстных весенних буранов, крутивших по степи то белыми косматыми метелями, то как плетью секшими косым дождём, голота, синяя, мокрая, пошла к Черкасску. Изредка налетали со степи табуны скачущей катун-травы, лошади фыркали и шарахались, а ка-

заки пугливо косились на эти штуки вражьей силы. И подошли к Черкасску. Ворота были наглухо заперты. По стенам неподвижно и молча стояли мокрые казаки. Пушки хмуро чернели своими круглыми дулами. И слышно было, как деловито стучали за стеной топоры: то новую церковь на месте сгоревшей плотники рубили.

— Эй, вы, там!.. Какого чёрта? — крикнул Степан на стены.— Чего заперлись?.. Не околевать нам тут... Впустите...

Молчали казаки на стенах.

— А то, смотрите, брать будем!..

— А бери, сынок...— отвечал со стены Корнило и сурово крикнул: — Пушкар и затыльник, к наряду!.. Все по местам!..

Степан со сдержанным бешенством оглядел свои сильно поредевшие ряды. Невелика была его сила. Люди, синие, рваные, горбились под косым холодным дождём, лошади жмурились, и бешеный ветер отдувал в сторону их хвосты и гривы... Нет, силы не чувствовалось.

— Негоже, крёстный!..— крикнул он.— Такие же казаки... Давай соберём круг, потолкуем, подумаем...

— Нет, сынок, толковать нам теперь с тобой не о чем...— отвечал Корнило.— Распускай голоту свою и носи на круг повинную голову...

Степан круто выругался и погрозил плетью. Казаки на стенах засмеялись обидно. Он разместил своих людей по хатам и сараям на берегу, за стенами. Безрезультатные переговоры шли день, два, три.

— Ну, погодите же, мать вашу растак!..— погрозил Степан кулаком на стену.— Вот придёт тепло, соберётся народ опять ко мне, и тогда мы с вами ещё потолкуем... Эй, ребята, на коней!..

И, оскользаясь в чуть оттаявшей грязи, голода, скукожившись на сёдлах, мокрая, злая, потянулась на Кагальник.

— Охо-хо-хо-хо...— вздохнул кто-то, шутя с горя.— Теперь вся наша надежда на жида только: много ли он нам денег наделал?..

Но когда пришли они в Кагальник, то там не оказалось ни денег, ни жида: он исчез в первую же ночь...

Матвеевна ходила с распухшим от слёз лицом...

XXXVII. КОНЕЦ КАГАЛЬНИКА

Черкасцы поняли, что враг ослаб. Поняли и многие из голытьбы, что какие-то концы близки. Но им всё равно ничего другого, как продолжать, не оставалось. Впрочем, некоторые скрылись из Кагальника неизвестно куда. На удивление всех особенно храбрился Трошка Балала. Когда развёдрилось, он сказал, что ему надо пойти в степь поискать каких-то корней, которые от ран помогают. И, действительно, проболтавшись довольно долгое время в степи, он вернулся в Кагальник с какими-то узловатыми, сочными корнями, которые и развесил сушить на солнце...

Черкасцы, тотчас по отходе Степана, послали в Москву гонца с подробным отчётом о донских событиях. И как ни боялись казаки вмешательства Москвы в донские дела, они впервые за все существование казачества обратились к Москве с просьбой прислать им на помощь ратную силу, чтобы поскорее покончить с голытьбой и всем этим шатанием. И вот истомлённый гонец вернулся: Посольский приказ, ведавший сношениями с Доном — во главе приказа всё стоял боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин, — отписывал казакам, чтобы они сами чинили над голотой промысел и доставили бы Степана в Москву на расправу. А на подмогу им велено князю Ромодановскому отправить стольника Косогова с тысячью отборных рейтаров и драгун...

Вместе с этим распоряжением привёз гонец Корниле грамотку от его дружка, молодого, но толкового и обделистого дьяка Шакловитого, который всегда общал ему о разных московских новостях, интересных для Дона.

Корнило сидел с гонцом,— бойким, смышлёным Авдейкой, племяшом своим,— в начисто выбеленной горнице и внимательно читал послание Шакловитого. Горница была убрана скромно. На стене, на персидском ковре, висело оружие дорогое, до которого Корнило был охотник. В переднем углу, под многочисленными образами, украшенными бумажными цветами и чудесно расшитыми полотенцами, лежала булава, знак атаманского достоинства. Корнило водил скотину, лошадами занимался, и рыбные тони имел, и деньжонки у старика были, но он был человеком политичным, «ести» своей не показывал и жил скромно.

«...Великий государь получил ваши вести,— медлительно читал Корнило затейливую московскую скоропись своего дружка,— и, обо всём проведав, велел позвать к себе патриарха Иосифа со святителями и сказал: «Ныне ведомо стало от донских казаков, которые пришли в Москву просить милости и отпущения вины своей, что, по многому долготерпению Божию, вор Стенька от злоб своих не престаёт и на святую церковь воюет, тайно и явно, и православных христиан тщится погубить пуще прежнего, и творит такое, чего и басурманы не чинят: православных людей жжёт вместо дров. И мы, великий государь, ревнуя поревновах по Господе Боге Вседержителе, имея попечение о святой Его церкви, за помощь того Бога, терпеть ему, вору, не изволяем. И вы бы, отец и богомолец и великий господин, святейший Иосиф, патриарх Московский и всея Руси, освященным собором совет свой предложили». И патриарх отвечал ему, великому государю: «По данной нам от Бога благодати, не терпя святой Божией церкви в поругании и православных христиан в погублении, мы, смиренные пастыри словесного стада Христова и блюстители Его закона, того вора Стеньку от стада Христова и от святой церкви, как гнилой уд от тела, отсекаем и проклинаяем». И все святители повторили то же и в тот же день, установленным церковью на поклонение святым иконам, на воспоминание прежде бывших благочестивых царей и князей и всех православных христиан, после литургии,

священный собор возгласил анафема вору и богоотступнику и обругателю святой церкви Степану Разину со всеми его единомышленниками... И был о ту пору в соборе попик какой-то непутный, который, рассказывают, туда и сюда шатается, и у вас на Дону, рассказывали, бывал, а зовут его отцом Евдокимом,— и вот как услышал он эту анафему, возьми да и засмейся. Его схватили, повели было в Земскую избу, но он забожился, что по простоте-де, он засмеялся, от радости, что разбойника такого прокляли. И понеже оказалась у него в Москве заручка большая, его, постегав маленько, для острастки, отпустили, но всё же в народе вышло смущение...»

Корнило опустил грамоту. Что-то было ему неприятно. Он нахмурил свои густые, седые брови и задумался. С одной стороны, московская гниль и приказный разбой, с другой, разбой и полное бессилие голоты. Толковой, правильной, хозяйственной жизни не жди ниоткуда, и пёс его знает, что теперь делать. О-хо-хо-хо-хо! Прав Степан, что пошёл крушить всё это, да вот сам-то ничего путного сделать не может... Только крик, да пьянство, да кровопролитие...

— Какой это еще там Евдоким с Дону объявился?...— спросил он Авдейку.

— Пёс его знает...— тряхнув своими остриженными в кружок густыми и золотистыми волосами, сказал Авдейка.— Правда, околачивался он тут и у нас одно время. Чудной старик... Я с им ходил в Москве шествие на осляти посмотреть. Ну, прошли мы с крестным ходом из Успенского собора через Спасские ворота к Лобному месту. Там народу вербы из писанных кадушек раздавали. Потом патриарх новый послал за ослом — конь это, белым суконным каптуром покрытый, у них ослом называется... Учеников Господа представляли протопоп один да ключарь. И вот пошли они по осла и отвязали его, а боярин патриарший и говорит: что отрешаете-де осля сие? И они ему говорят: Господь требует... И повели они коня под уздцы к Лобному месту, а патриаршие дырки несут за конём сукно красное да зелёное, да ковёр. Ну, уселся это патриарх на коня, и царь

сам конец повода взял, и обратно все пошли в Успенский собор. А подле царя несли жезл его, свечу, вербу и полотенце. Стрельцы это весь путь разноцветными сукнами устилали. А впереди всех на красных санях здоровенную вербу везут на шести конях серых в цветных бархатных покрывалах и с перьями на головах; на вербе яблоки, груши повешаны, инжир, стручки цареградские и орехи всякие... Ну, глядел, глядел мой Евдоким да и засмеялся: везде, грит, обман — какое же де это ося, коли это конь?.. А потом помолчал, помолчал, подумал да опять засмеялся: конь это али осёл, всё одно это,— иносказание сие так понимать надо, что ося сие это народ православный и едут на нём попы, а царь за повод ведёт... Такой дерзкий попишка, беда!.. — засмеялся Авдейка, и никак нельзя было понять, осуждает он или одобряет дерзкого попишку.

В сенях вдруг слышались мужские голоса. Корнило быстро спрятал грамотку Шакловитого и поднялся навстречу гостям. Вошло несколько казаков. Помолились на образа, поздоровались с атаманом.

— На круг выходи, атаман... — сказал один из них, высокий богатырь с вытекшим глазом и седой бородищей. — Так ли, эдак ли, а кончать надо. Потом, как дороги пообсохнут, опять к Стеньке со всех сторон гололта полезет,— надо дело доводить до конца теперь же...

— А наши-то казаки как? — спросил Корнило.

— Рвут и мечут... — вперебой отвечали казаки. — Покою, кричат, нету. Голодуха опять будет, коли припасу из Москвы не пришлют. И опять же ни пороху, ни свинцу, ёсе на исходе, а в Азове у турок опять многолюдство замечается. Так и беды наживёшь с чертями, да такой, что и не выгребешь!.. Тут от Степана письма кто-то по городу раскидал, так, не читавши, в клочья и рвут. Злобно берутся,— что-то выйдет?..

Атаман надел кафтан, сивую шапку, взял булаву, и все вышли. У вновь отстроенной церкви шумел круг. Но недолго шумел он: единогласно было решено обратиться от злоб своих на путь правильный и тут же чинить над ворами промысел. Те немногие, которые были иного

мнения, возражать уже не осмелились. И тут же атаман приказал готовить коней и бударки: конные степью пойдут, а пешие погребут Доном...

Уже через три дня, ясным солнечным утром, когда небо то всё закутывалось нежными облаками, то вдруг, точно играя, всё обнажалось, и смеялось, и ласкало отогревающуюся землю, черкасцы под предводительством самого атамана выступили в поход против голо-ты. Шли весело: задонский суховец хорошо прохватил степные дороги, грело солнышко, гомонила птица всякая вокруг, и так легко и вольно дышалось этим свежим, крепким и душистым степным ветром.

А сверху к Кагальнику торопился стольник Косогов с отборными рейтарами. Корнило знал это и своих маленько поторапливал: ему хотелось взять Кагальник своими силами. Старичок знал, что знал...

Дозорные прискакали в Кагальник:

— Черкасцы идут!..

Зашумела воровская станица тревожным шумом. Начальные лица хлопотливо расставляли своих воинов по валу и к пушкам. Голос Степана — он точно вырос опять на целый аршин — покрывал собою всё. Трошка Бала-ла неистовствовал не меньше Алёшки Каторжного, который непременно хотел всем богатеям собственноручно кишки повыпускать. Матвевна, плача злыми слезами, торопилась спрятать детей в хате. «Ах, дурак, дурак!..» — думала она, и злобные слёзы душили её.

Вражья конница показалась на правом берегу. Пушки остро сверкали на вешнем солнце. Бударки ровно шли к острову. И было торжественно тихо и на валу, и на челнах. И вот на носу головной бударки встала осанистая фигура Корнилы.

— Эй, Степан!..— позывисто крикнул он.

— Эй!..— вставая на валу во весь рост, отозвался зычно Степан.

— Сдавайся...

Степан зло захохотал.

— Вы меня в Черкасск не пустили, а я вас в Кагальник не пущу...

— Сдавайся, а то худо будет... Положись на милость государеву...

— Эй, молодцы...— точно в диком веселье раскатился Степан.— К наряду!.. Круши их, царских!..

Пушкари бросились к пушкам... Но жалко фыркнули затравки, и ни одна пушка не взяла...

— А-а, измена!..— заревел Степан.

— Пушки заговорили, черти...— тревожно побежало по валу.— Ну, теперь, братцы, беда!..

Трошка Балала иступлённо метался по валу, возбуждая казаков к бою, но тревога нарастала. Захлопали пищали. Корнило махнул своей сивой шапкой на берег. Пушки черкасские враз закутались круглыми белыми дымками, ахнули чутким эхом берега, и чёрные ядра тяжело запрыгали и покатались по валу и по городку. Челны затрещали выстрелами и в белом пахучем дыму дружно пошли к острову. Воры дрогнули...

— Вы, эй!..— загремел Степан к своим.— Который побежит первым, своими руками голову снесу... Бежать некуда — бейся до конца!.. Алёшка, стань со своими им в затылок...

На солнечном берегу шла суета черкасцев около своих пушек. И вот снова закутались они белым дымом, снова вздрогнули берега тихого Дона, и снова чёрные ядра запрыгали промежду голытьбы. Среди перекатной стрельбы пищалей и мушкетов черкасцы дружно и упорно шли на вал. Местами началась уже рукопашная. И вдруг всё дрогнуло: Алёшка со своими бросился к челнам.

Степан индо взвыл от ярости, но было поздно: Алёшка был уже в челнах, а черкасцы ворвались уже за вал. В дикой ярости Степан швырнул оземь свою саблю.

— Эх, зря мы конницу-то не разделили по обоим берегам! — с досадой сказал кто-то из старшин сзади Корнилы.— Уйдут те, сволоча...

— А тебе что, удержать их охота?..— бросил назад косой взгляд Корнило.— Уйдут — и скатерью дорога... Мы своё дело сделали, а воеводы пусть делают своё... Круши, ребята!..— громко крикнул он.— И ясыря не брать!

Степан вдруг снова схватил свою саблю.

— Ко мне, ребята!..— крикнул он.— Жили вместе и помирать будем вместе...

Небольшая кучка наиболее отчаянных бросилась под выстрелами и сабельными ударами к атаману.

Корнило поднял булаву.

— Стой!.. Все стой!..

Черкасцы остановились. Глаза их горели злобой: им было тяжело, что порыв их остановили.

— Степан, в последний раз говорю: повинись!..— сказал громко Корнило.— Не проливай зря крови христианской... Поедем вместе в Москву, к великому государю, и ты сам скажешь ему, какие обиды искусили тебя на воровство... Брось — всё равно твоё дело проиграно...

Наступило напряжённое молчание. Степан, опустив саблю, повесил голову. Многие из его окружения в отчаянии бросили оружие. Он хмуро, как затравленный волк, вышел вперёд и с искажённым лицом отдал свою дорожную турецкую саблю Корниле. Алёшка Каторжный, уже на том берегу, торопливо уходил со своими к Камышинке, на вольную волюшку... Корнило моргнул казакам, и веревки быстро и жёстко опутали всё тело Степана. Он не поднял глаз и тогда, когда подвели связанного Фролку.

Среди беспорядочной пищальной стрельбы по всему Кагальнику — казаки уже грабили городок — и хриплого крика встревоженных на своих гнездовьях чаек вдруг слышались женские крики.

— Ироды, черти!..— отбивалась от наседавшей на неё молодятины, Матвевна.— Я-то чему тут притчинна? Нешто это я всё затёрла?.. Мужняя жена я или нет?..

— Ишь, вырядилась, стерва!.. Боярыня Разина... Дай ей хорошего раза, Грицько, суке кагальницкой!..

Весело на весеннем солнце блеснула сабля, и Матвевна с глухим воем сперва точно недоуменно села на землю, пошарила что-то в воздухе толстыми руками и, вся в крови, завалилась набок. Дети с громким плачем бросились к ней.

— Бей и их, воровское отродь!..— крикнул, точно пьяный, молодой великан.— Куды их?..

Опять весело блеснула сабля, и, пискнув по-щенья-чьи, Параска сунулась носом в землю. Иванко весь ошетинился и, сжав кулачки и сверкая своими темными пуговками, вдруг махнул по казакам самой ядреной матерщиной. Сперва казаки даже оторопели, потом невольно расхохотались: уж очень чудно мальчонка картавил! А Иванко вязал и так, и эдак и весь от злобы трясся. Великан боязливо оглянулся назад — не идет ли кто из старшин? — и одним ударом чуть не надвое распластал Иванке голову, мигнул своим, и все через труп мальчонки скрылись в хате...

Грабёж шёл по всему городку. Кто сопротивлялся, убивали на месте. Безоружных уже пленных окружили цепью... И тут же на берегу, под лепет донской волны, открылся войсковой суд. Он был короток: всех, кроме Степана и Фролки, приговорили к смертной казни, а воровской Кагальник постановлено было сжечь...

Затюкали торопливо топоры, готовя виселицы. Со всех сторон казаки сносили добычу к одному месту, на берег, чтобы потом всё подуваниТЬ. Но с этой стороны их ждало большое разочарование: у рядовой голоты не нашли почти ничего, кроме оружия, а у других — сущие пустяки. Всё было своевременно пропито. Даже у атамана не нашли тех богатств, которых ожидали. И все решили: зарыл, стервец! Надо будет в Черкасске пытаться как следует, чтобы открыл, где эти богатства его.

— Все казакам роздал... — хмуро отвечал Степан на вопрос Корнилы об этом.

Это было похоже на правду, но верить не хотелось. Не такой это хлопец, чтобы так уж всё и раздать! Но Степан не отвечал на приставания ничего... Костяной Царьград Корнило приказал особенно беречь: можно будет переслать великому государю — он, сказывают, охотник до таких гостинцев, Трошка Балала что-то услужливо крутился вокруг Корнилы. Тот старался не глядеть на него...

И вот когда над бескрайной зазеленевшей степью, радостно засияла заря и загомонила вечерним, весенним, влюблённым шумом всякая птица на воде, в камышах,

в степи, в чистом небе чёткими, чёрными линиями проступили угловатые, тяжёлые, неуклюжие виселицы. И тихо качал душистый ветер степной заготовленные петли... Связанные пленные изнывали душой в смертной тоске и от ужаса мочились под себя. И недоумевали: ведь за волей пришли они на тихий Дон, как же это случилось, что вместо воли желанной нашли они тут только петлю поганую?..

— Ну...— с усилием вздохнув, строго проговорил Корнило.— Надо кончать... И первым делом надо, ребята, того колдуна ихнего извести, который пушки их заговорил...— окреп он голосом.— Степан, казаки, вот он, колдун этот!..— указал он вдруг на побелевшего Трошку Балалу.— И недорого взял, чтобы воды в затравки загодя налить... Но такие колдуны и нам, в Черкасске, не надобны. Эй, ребята!..— крикнул он молодятине.— Первая петля колдуну... Бери его!

Молодыня бросилась на Трошку. Его смяли и поволокли под ближайшую виселицу. Он мочил, визжал, кусался, но ничто не помогало, и со связанными назад руками его легко вздёрнули под перекладину. Несколькo судорог, сухая глупая головёнка его опустилась на грудь, и он стих...

И среди воплей, криков, проклятий — Богу, обманщику Степану, богатеям, жизни, всему,— слёз, визга — один за другим висли воры под высокими перекладинами над розово-золотой гладью тихого Дона. И были они длинные, черны, страшны и среди этой безбрежности степи и неба казались маленькими-маленькими, совсем как дети или мухи. Молодой месяц чётко выступил на светлом ещё небе и затеплилась лампадой кроткой серебряная Венера, звезда пастухов степных...

И когда повис последний,— их было до четырёхсот,— казаки прошли к готовой уже могиле для их товарищей, павших в бою с ворами. Их было совсем немного. И обнажили головы, и по суровым губам obeжала молитва невнятная, и глухо зашумела, скатываясь вниз, сырая земля. Казаки истово крестились...

— Ну...— опять вздохнув точно под тяжестью какой, проговорил Корнило.— А теперь запаливай со всех концов палаты ихние и айда до дому...

Часть казаков в серебристых сумерках догруживала добычу в челны, а молодёжь с одушевлением рассыпалась по городку. И закурились дымки, и забегали огоньки, и поднялись в тихое ночное небо золотые столпы пламени.

— Во, важно!..— любовались казаки огнём.— Ишь, разливается как... Потому он суховея, что хошь высушит... Ишь, как забирает!..

Вода, берега, небо, тихие трупы удушенных, челны, оружие, всё стало золотым и розовым, как в сказке какой волшебной... И быстро отваливали один за другим казачьи челны от берега, но долго ещё светило им пламя горевшего Кагальника... И точно вот было всем им чего-то тихонько, но глубоко жаль... Запели было в ночи вполголоса:

Зажурылась Украина, що нияк прожити:
Витоптала Орда киньми маленькие дити,—
Що малиих потоптала, старих вирубала,
А молодших, середульших у полон забрала...

Но бросили — не пелось... Сумно на душе было...

В Черкасске Фролку презрительно бросили в тюрьму, а Степана заковали в ручные и ножные кандалы. Кандалы эти были предварительно освящены батюшками и окроплены святой водой, дабы силою святыни уничтожить волшебство Степаново. И заперли его — опять-таки чтобы уничтожить ведовские чары его — в церковном притворе...

А через три дня прибыл со своими рейтарами в Черкасск стольник Косогов. Старшины встретили его с великим почётом, но в глазах Корнилы играли лукавые бесенята. Стольник Косогов был очень недоволен и всё выговаривал Корниле, что тот не подождал его. Корнило почтительно оправдывался.

— Мозговитый старик!..— говорили потихоньку промежду себя казаки.— Это он москвитину-то нос утёр, чтобы вся царская награда ему одному досталась...

— Ну, чай, и нам перепадёт чего?..— сказал кто-то.
— Вестимо...
— Видно, правду старики говорили: с богатым не судись, с сильным не борись... Москва-то она тебя везде достанет!.. Вот и пропал наш Степан ни за понюшку табаку... О-хо-хо-хо-хо...

XXXVIII. В КОЛОМЕНСКОМ

Лето стояло жаркое. Москва, несмотря на все предосторожности, загоралась несколько раз. Пылали и другие грады и веси российские, ибо дерево было дешёво и можно было выстроиться и ещё раз. В народе шла смута, но открытый мятеж был везде, кроме Астрахани и вообще низовой Волги, подавлен.

Но в Коломенском была тишь да гладь, Божья благодать. Обрившийся для свадьбы, помолодевший, но очень растолстевший царь чувствовал себя не совсем ладно. К врачу своему, немчину Коллинзу, сперва он обращаться не хотел было: может, Господь даст, и так пройдет, а немец всё немец, как там его ни верти. Правда, все лекари-иноземцы должны были приносить присягу не подмешивать в лекарства злого яда змеиного и всяких злых и нечистых составов, которые могут здоровье повредить или человека испоганить, но всё же лекарям доверяли так же мало, как и Обтекарскому приказу, который учреждён был на Москве ещё в 1629-м и который ведал единственной в Москве аптекой. Аптека эта — или, по-тогдашнему, обтека — обслуживала только царскую семью, а москвитяне должны были все снадобья покупать в зелейном ряду. Впрочем, если больной занимал видное место в государстве Московском, то иногда в случае болезни он решался обращаться к царю и тогда писал ему: «Болен я, великий государь, рукой не владаю. Пожалуй мне полфунта перцу дикого, четыре горсти крапивных семян, полфунта бобов масляничных да двенадцать золотников масла

кролова». И добрый царь милостиво разрешал отпустить всё, что требовалось. Но больше всего обтека ведала другими делами: одни «алхимики» и «хитрецы» чинили в ней часы, другие лудили посуду для царской кухни, третьи изготовляли смазку для пищалей, или мазь для царских колымаг, или для царевен «водки», то есть духи и всякие шмаровидла, четвёртые,— помясы или травники,— разъезжали по всей России и даже в Сибирь заглядывали за сбором нужных трав, которые не только собирали сами, но и мужикам собирать наказывали: и купальщицкий серебориный цвет, и питерилову траву, и дягильный корень... Сам царь снадобий обтекарьских не любил и в случае недомогания приказывал обтекарю пускать ему «жильную» кровь. Потом эту кровь царскую обтекарь в присутствии двух бояр зарывал в саду под окнами царской опочивальни. И боярам царь рекомендовал это прекрасное средство во всех их заболеваниях, и, когда раз Стрешнев заупрямился было, царь оттащил его за бороду:

— Ишь, кобенится!.. Что же твоя кровь-то дороже моей, что ли?..

Но на этот раз и кровопускание не помогло, и царь велел позвать Коллинза, который и вынужден был почтительно рекомендовать его царскому величеству пореже навещать свою молодую супругу.

«Врёт, чай, всё немец...» — подумал недовольный Алексей Михайлович, но все же стал маленько остерегаться, тем более что и сама великая государыня с своей стороны не очень настаивала на его посещениях. При дворе появился опять молодой князь Сергей Одоевский, раненый на Волге, бледный и страдающий, и Наталья Кирилловна долго плакала этими жаркими, летними ночами в опочивальне своей и уже не раз и не два задавала себе вопрос: стоит ли, в самом деле, великое царство Московское того, что обещали ей жгучие глаза молодого князя? И когда теплились звёзды в ласковом небе, и кружилась голова от сладкого духа черёмухи, и разливался над сонным прудом колдун-соловей, уже туманила молодую душу грешная мысль: а нельзя

ли как совместить высокое положение своё в царстве Московском с грешными сказками соловья? Ведь ходит же, говорят, под видом инока в опочивальню Софьи, врага её, молодой князь В. В. Голицын...

Царю маленько полутчало, но заседаний Боярской Думы ещё не было, и вообще, пока что царь многолюдством тяготился...

Было весёлое летнее утро. Из росистого сада упоительно пахло зеленью и солнцем. В сопровождении нескольких ближних бояр царь вышел разгуляться по саду немножко, как то советовал ему Коллинз. Милославского не было: Кощей Бессмертный, как под сердитую руку звал его царь, в последнее время всё хворал и почти не сходил со своей расписной лежанки. Не было и Морозова, которого царь отдалил от себя: незадолго до его свадьбы с Натальей Кирилловной в Грановитую палату было подброшено письмо на Матвеева. Алексей Михайлович сразу понял, что сделано это для того, чтобы расстроить его брак с Нарышкиной, и что исходит это от Морозова. Когда, ещё в молодости, задумал царь жениться на красавице Фиме Всеволожской, Морозову удалось каким-то способом довести невесту цареву в день свадьбы до обморока, обвинить её в падучей немочи и сослать её со всей семьёй в Тюмень. Но на этот раз проделка сорвалась: царь письмо велел сжечь, Морозов попал в опалу, а Матвееву сказано было, наконец, боярство. Теперь в саду разгуливался с царём старый Мих. Ал. Ртишев, приехавший бить челом за отпущенную Обтекарским приказом мазь: старик страдал прострелом. Князь Иван Алексеич Голицын, опираясь на высокий посох, величаво шёл за царём в великолепном становом кафтане, и на полном румянном лице его было благоволение ко всей вселенной: «Ничего-де, робята, живите, как хотите, а я, думный боярин, князь Иван Алексеич Голицын, никому ни в чём помехи не чиню». Рядом с ним, прихрамывая, шёл молодой Одоевский и иногда подымал в жирную спину царя, в его белую шею и затылок в складках взгляд, полный железной ненависти. И была тут не только злоба

к счастливому сопернику, но и безграничное презрение высокопородного Рюриковича к этому выскочке, человеку среднему, который игрою рока стал его повелителем. Сверху, из горницы, из-за притворенных ставень, за молодым витязем неотрывно следили чьи-то тёмные глаза... Языков — он был в отпуску из армии по болезни — держался чуточку в сторонке: он был всегда партии Милославских и Морозова и теперь в его сторону определённо потянуло холодком. Может быть, его и совсем отставили бы, если бы не был он нужен при дворе, среди неотёсанных москвичей, своей европейской политес.

— А вот и он!..— добродушно воскликнул Алексей Михайлович, увидав подходившего к нему от дворца Ордына, бледного, постаревшего, точно подстреленного.— А я уж думал, не приедешь сегодня. Али неможется?..

— И то неможется, великий государь...— низко поклонившись царю, отвечал Ордын.— Дела есть срочные государские да и своё одно дельце есть...

Он степенно раскланялся с боярами.

— Ну, так я сяду вот тут на солнышке, погреюсь...— проговорил царь, садясь на скамью на берегу сонного пруда.

— А вы идите себе, разгуляйтесь...— ласково сказал он боярам.— Ну, что у тебя там за дела?..

— Первое дело, что в Москву завтра Стеньку привезут, так, может, повелеть что изволишь?..

— Ничего, опричь прежнего...— сказал государь.— Сперва допрос с хорошим пристрастием, а там по ходу дела видно будет. Ну только чтобы везли его во всем парате, чтобы другим повадно не было...

— Слушаю, государь,— поклонился Ордын.— А другое дело это насчёт шведских курантов, о которых я тебе докладывал. Вот изволь послушать...— продолжал он, развёртывая уже помятые куранты.— «Из Риги пишут нам, что бывший патриарх Никон во главе целого войска идёт с Разиным на Москву и царь ищет случая с ним помириться, к чему и патриарх склоняется. А условия следующие: Разина делают царём казанским и

астраханским и выдают ему на жалованье войску двадцать бочек золота, а патриарх Никон возвращается на своё патриаршее место». И озаглавлено, как и прежде: «Московское действо»...

— Это негоже...— покраснел от досады царь.— Ты непременно сам отпиши правителям свейским, что разводить-де такие побаски про шабров не подобает. Вы-де одно про нас придумаете, а мы про вас другое, так что же это будет? Напиши, что всё-де в царстве нашем, благодарение Господу, тихо и стройно, чего-де и вам от Господа желаем, а чтобы за ложные куранты виновных наказали бы с жесточью, так-де велит великий государь...

— Слушаю, государь...— сказал Ордын.— Как я уже не раз докладывал твоему благородию, надо бы нам при иноземных дворах людей держать поскладнее, чтобы могли они беречь нашу честь государскую. Вот,— вынул он из кармана какую-то грамоту,— и в других местах пишут про нас негораздо. Тут латынью писано, так я тебе переложу. Вот: по-нашему выходит это, что царское-де правительство находится в последней крайности от той смуты... а по-нашему — вся-де Европа страхом поражена и не знает, чем всё это кончится...

— Четвертованием кончится, пусть не трясутся...— опять покраснев с досады, проговорил царь.— Так всем и напиши и всё начисто опровергни: и видом-де не видали, и слыхом-де не слыхали, что вы там про нас на все языки плетёте... Негораздо-де так...

— Слушаю, государь. А затем вот опять поступила грамота от Дорошенка через Малороссийский приказ... Почуяла кошка, чьё мясо съела. Пишет, что я-де и сам опять под высокую руку государеву приду, да и Стеньку наговорю. Этот только и ищет, что денег побольше да вотчин...

— Ништо!.. А ты его не отпугивай...— решил царь.— Денег дадим, только бы его от салтана турецкого отшатнуть... Всё?

— Нет, великий государь, ещё хотел я спросить тебя насчёт астраханских дел. Сказывал ли тебе Артамон Сергеич про письмо от посла персидского?

— Сказывал. А что?

— Да уж очень негораздо он об астраханских воеводах наших описывает...— сказал Ордын.— Пишет, что воров принимали-де они с честью, пили и ели с ними денно и нощно. Ну, князь Прозоровский уж Богу ответ даст,— Царство ему Небесное,— а на князе С. И. Львове надо будет сыскать настрою. Ежели все так дело государственное делать будут, то добра ждать нечего...

— Это не упустим...

— Слушаю... А теперь повели, государь, тебе насчёт своего дела челом бить... Отпусти меня на покой, государь. Принять чин ангельский восхотел я...

— Слышал я про то дело от Сергеича маленько, да всё уповал, переменишь ты думы свои...— сказал царь тепло.— На кого ж ты меня-то покинешь?

— Э, государь, на что нужен я тебе, облихованный и всем ненавистный человеченко?..— горько воскликнул Ордын, и губы его дрогнули.— Думным людям не нужны те великие дела государственные, которые я для родины и для тебя намечал,— ничего им не нужно, кроме чинов, да денег, да вотчин. Да чтобы никто не тревожил покой их... Устал я, великий государь!..

— А скажи ты мне, как на духу, Афанасий Лаврентьич: может, я чем тебя обидел? — проговорил царь.— Ты говори напрямки... Но только наперёд знай: ежели и обидел, то ненароком. Таких слуг у меня нету ещё... И ежели нужно что, говори: кому-кому, а для тебя ничего не пожалею.

— Нет, великий государь, премного я тобой доволен...— тепло отвечал Ордын.— И блага земные уже не нужны мне. Жена померла, сын на своих ногах, а я устал, сил больше нету, государь... Годы, знать, уж такие подошли. Отпусти меня, государь,— я уж Господу обет дал...

— Не могу я силой удерживать тебя, Афанасий Лаврентьевич...— сказал Государь.— Делай, как Господь указывает... Но одно скажу: жаль, очень жаль, что ты меня покинуть хочешь...

Но в душе он был отчасти доволен: серьёзный Ордын всегда несколько утомлял его.

— Челом бью, великий государь, по твоей милости...— низко поклонился Ордын.— Кому повелишь приказ мой сдать?

— Повремени маненько, подумаем...— сказал царь и вдруг просиял: — А, Сергеич!.. А я уж заждался тебя совсем...

Сияющий Матвеев, в тёмной ферязи, расшитом кафтане и высокой горлатной шапке боярской, бил челом великому государю, раскланялся с боярами и, обернувшись к следовавшему за ним жильцу с каким-то свёртком на руках, взял у него этот свёрток, снял с него шёлковый плат и подал государю три книги в кожаных переплётах с серебряными застёжками.

— Дозволь поднести тебе, государь...— сказал он.— Только что книги эти построили, тебе первому и подношу...

— А ну, ну, давай покажи...

То была, во-первых, «Ездная школа господина Плювинеля, королевского величества высшего конюшего» с гравюрами и портретом Людовика XIII, затем «Прохладный вертоград», в котором сообщалось о камнях драгих, ко многим делам угодных, и о силе их, и о том, как красоту сохранить, как истреблять домашних насекомых, как обезвредить всякого супостата, зверя, гада и нечистого духа, как пчелу сохранить, как предохранить поля от града, какие дни добрые, какие дурные, что в какой день лучше всего делать, как добыть счастья в людях и т. п. И, наконец, в особенно богато украшенном переплёте труд самого Матвеева: «Государственная Большая Книга: описание великих князей и царей российских, откуда корень их государский изыде и которые великие князья и цари с великие ж государи окрестными с христианскими и с мусульманскими были в ссылках и как великих государей именования и титулы писаны к ним, да в той же книге писаны великих князей и царей вселенских и московских патриархов и римских пап и окрестных государей всех персоны и гербы».

— Ну, исполать тебе, Сергеич!..— сказал царь ласково.— Совсем ты избаловал меня, право! Отнеси-ка книжицы эти государыне...— обратился он к жильцу.— Пушай там позабавится. А ты, Сергеич, насчёт комедийного действия хлопочи у меня. Патриарх разрешил, хоть и без большой охоты. А то наша Наталья Кирилловна заскучала что-то. Надо уж её потешить...

— Стараюсь, государь...— сказал Матвеев.— Во все страны написано. Я думаю здесь одне хоромы для действия поставить, а другие в Кремле. А потом надо будет училище устроить, чтобы нам своих лицедеёв иметь, а не бегать за ними по иноземным дворам...

— Вот, вот...— одобрял царь и вдруг просиял: — Вот ты, Афанасий Лаврентьич, спрашивал, кому приказ твой сдать. Чего же лутче: передам его Сергеичу... А тебе, Артамон Сергеич, приказываю я отныне всем посольским делом нашим ведать...

Матвеев бил челом.

— А Афанасий Лаврентьич покинуть нас вздумал...— сказал царь.

— Знаю, государь... Что ж, и о душе подумать неплохое дело...

И все трое направились к боярам, которые стояли у мостков над прудом, и число которых увеличилось.

— Ну, а кто сегодня опоздал? — весело спросил царь.

Оказалось, что опоздали два стольника: Семёнов и Раевский.

— Ну, делать нечего, расплачивайтесь...— засмеялся царь.— Долг, говорят, платежом красен...

Недавно Алексей Михайлович придумал всех, кто опаздывал явиться на дворцовую службу, купать во всем наряде в пруду. Потеха эта новая доставляла ему и всем приближённым много смеха.

— Ну, Семёнов, делать нечего...— сказал царь.— Расплачивайся...

Несколько жильцов подхватили будто бы испуганного Семёнова, потащили его на мостки, раскачали, и Семёнов полетел в воду. Сноп сверкающих на солнце брызг взорвался вверх, пошли по сонному пруду кру-

ги, а Семёнов барахтался в тёплой воде и притворно-испуганно кричал:

— Ой, батюшки, тону!.. Ой, родимые, тону!.. Ай, кормильцы...

И, сопя и отфыркиваясь, он побрёл среди водорослей к берегу, нарочно падал, вставал и охал. Великий государь любительно смеялся, и все бояре за ним. Из всех кустов осторожно высунулись смеющиеся рожи челяди, которая бросала всякое дело, только бы не упустить этой ежедневной потехи...

— Ф-фу!.. Вот уморился...— вылезая на берег, отфыркивался Семёнов.— Право слово, думал, и не видать уж мне больше белого свету...

Вода текла с него ручьями, сафьянные сапоги хлюпали при всяком движении, но подобострастно смотрели с мокрого, текущего лица глаза на повелителя.

— Ну, жалую тебя за труды твои великие к царскому столовому кушанию,— смеясь, сказал царь.

Стольник — пожилой уже человек с большой бородой — повалился в ноги и, всё хлюпая и струясь, снова поднялся. Мокрая борода была вся вывалена в песке.

— Ну, будешь еще опаздывать? — с притворной строгостью спросил царь.

— Буду, великий государь!..

— Как ты молил?!.

— Я молил: буду, великий государь...— повторил стольник.— Не велико дело летом в пруду выкупаться, а зато у царского стола есть буду...

Алексей Михайлович раскатился.

— Так жалую тебя на сегодня двумя обедами!..

Стольник опять повалился в ноги... А жильцы тащили уже в воду Раевского. Он, барахтаясь, зашиб ногой глаз одному из жильцов. Тот со злобой начал тузить его. А когда, раскачав, бросили его в воду, он успел ухватиться за своего врага и оба упали в пруд и продолжали драку в воде. На берегу все за животики хватались... Князь Иван Лексеич закашлялся от смеха, весь побагровел, махал руками, плевался и снова, держась обеими руками за живот, плакал и смеялся одновременно.

В горнице у окна покатывалась и вытирала слёзы Наталья Кирилловна. Только Языков один улыбался кончиками губ, да и то больше из политес. Он решительно не одобрял таких забав. Что сказала бы об этом мадемуазель Нинон де Ланкло? И мысленно ли думать, чтобы его величество король Людовик XIV купал так в Версале своих кавалеров?..

— Ну, а теперь время обедать...— вытирая слёзы, проговорил царь.— Погуляли, и довольно...

Оба столбника, мокрые, так пошли и к обеду.

— А ты подь-ка сюда на словечко...— проговорил царь, поманив Ртищева.— Что это, слышно, племянница-то твоя, Морозиха, всё бунтует, а? Сказывают, что больно что-то уж дерзко про нас говорить стала. А?

Старый боярин с поклоном развел руками.

— Что ж сделаешь с душой-бабой? — сказал он.— Я уж унимал её, всё Аввакум её своими грамотами настраивает... Всё к старой вере ревнуют...

— Кто её настраивает, мне всё одно, только чтобы дурусти свои кончила,— сказал царь.— Я не посмотрю, что она Морозова. И сестре её, дуре Урусовой, тоже скажи. Ишь, волю взяли!.. Она чересчур уж помнит честь и породу Морозовых, так я спесь-то враз собою. Ты им дядя, поезжай и всё скажи, а пока обедай иди...

Алексей Михайлович почувствовал, как в его груди точно разорвалось сердце и точно что стало душить его. Это бывало теперь всегда, когда он волновался. Он велел Матвееву и Ордыну обедать в его комнате с царницей, чтобы ей скучно не было,— дочери изводили молодую мачеху, и царь ничего не мог поделать с ними,— а сам, сославшись на усталость, тяжело прошёл в свою опочивальню и лёг. Он знал, что спать не будет и велел позвать к себе кого-нибудь из домрачеев или бахарей.

— Ну, хошь Афоню-астролома...

Думы в последнее время шли всё тяжёлые: о старости, о жене молодой, о скорой развязке. И такое во всём нестроение...

Скоро явился в опочивальню Афоня, предсказатель погоды. В руках у него была звонкая домра.

— Чем велишь потешить тебя, великий государь? — с сильным ударением на «о», по-владимирски, проговорил старичок, ласково сияя своими добрыми глазками.

— Да чем потешить? — скучливо отвечал царь. — Ты бы новенького чего придумал, а то всё одно да то же... Садись — чего стоишь?..

— Можно и новенького, коли велишь... — усевшись на полу, благодушно проговорил уютный Афоня. — Вот новые песни с Волги-матушки пошли, — ох, есть гожи которые!..

— Давай, послушаем...

Афоня пробежал пальцами по струнам. Нежно заплакали струны. И задумался старик на мгновение. Вокруг была полная тишина — только петухи звонко по дворам перекликались. И прошла ласково по сердцу тоска. И опять нежно прозвенели струны, и своим задушевым, тихим тенорком Афоня начал:

Как, бывало, мне, ясну соколу, да времячко:
Я летал, млад ясен сокол, по поднебесью,
Я бил-побивал гусей, лебедей,
Ещё бил-побивал мелку пташечку.
Как, бывало, мелкой пташечке пролёту нет.
А нонче мне, ясну соколу, время нет.
Сижу я, млад ясен сокол, во пойман,
Я во той ли, в золотой, во клеточке,
Во клеточке, на жестяной нашесточке,
У сокола ножки спутаны
На ноженьках пutoчки шелковые,
Занавесочки на глазыньках земчужные...

Опять нежно и грустно проплакали звонкие струны, и Афоня продолжал:

Как, бывало, мне, добру молодцу, да времячко:
Я ходил-гулял, добрый молодец, по синю морю,
Уж я бил-разбивал суда-корабли,
Я татарские, персидские, армянские,
Ещё бил-разбивал легки лодочки.
Как, бывало, лёгким лодочкам проходу нет.
А нонче мне, добру молодцу, время нет...
Сижу, я добрый молодец, во поимане,
Я во той ли во злодейке земляной тюрьме.
У добра молодца ножки скованы,

На ноженьках оковы немецкие
На рученьках у молодца замки затюремные,
А на шеюшке у молодца рогатка железная...

И, нежно плача, замерли струны...

Тихо. За прикрытыми ставнями резными чувствуется зной.
Перекликаются петухи звонко. Грустно и ласково...

— А в самом деле гожа песня...— тихо сказал царь.—
Откуда ты взял её?

— А заходил тут к нам, верховым старцам твоим,
попик один, отец Евдоким. Вот от него я и перенял...
Он на Волге был, там и слышал...

Афоня задумчиво перебирал струны домры.

— А кто это такие вот песни составляет? — дремотно
сказал царь.

— Эту-то, сказывал отец Евдоким, Васька-сокольник
составил какой-то...— отвечал уютный Афоня.— На
низу там с вольницей, сказывают, караводился... Холоп
беглый, что ли, какой...

— А где же он?

— А Господь его знает, батюшка царь... Может, твои
воеводы давно повесили его... Баюют, столько народу
хрещёного передушили, и не выговоришь! Известно,
дело такое...— спохватился вдруг Афоня.— Нешто это
мысленное дело такое воровство чинить?

И задумчиво он перебирал струны домры своей звонко-чуткой...

— Ну, спой мне ещё что-нито...— сказал дремотно
Алексей Михайлович.— Старинное что-нибудь...

Старик тихонько прокашлялся. Зазвенела домра. И
чистый, тихий тенорок спорым говорком начал:

Как во стольном то граде было во Киеве...

XXXIX. КАЗНЬ

Вся Москва взволновалась: казаки везут Стеньку!..
Пользуясь прекрасной летней погодой, особенно любопытные ушли из города ещё с вечера, чтобы видеть

страшного атамана на пути. И если многие самое имя его произносили с ненавистью, то немало было в этих пестрых, возбуждённых толпах и таких, которые от всей души желали смелому атаману совсем иного въезда в царскую столицу, где он похвалялся сжечь на верху у государя все дела... Тульская дорога вся была усеяна тысячами людей...

Наконец, вдали что-то запыхало.

— Везут, везут!.. — нетерпеливо заволновались москвитяне. — Это непременно он...

И действительно, это было он. В дорогом бархатном, шитом золотом, но запыхлённом кафтане он сидел, скованный по рукам и ногам, в простой телеге. Сзади его трясся исхудалый, испуганный Фролка. Степан не раз шутил в дороге над братом:

— Чего ты трусишься?.. Вот дура!.. Вот погоди, скоро Москва, и сам увидишь, как самые важные бояре выйдут нам почестно навстречу... А ты трясешься...

Перед телегой ехал сам атаман всего войска Донского Корнило Яковлев, а с ним рядом красовался крупный, с висячими седыми усами Михайло Самаренин. Нескольких казаков при оружии ехали вокруг телеги, а за нею сотня рейтаров. Легкое облачко пыли от поезда стелилось по зелёным полям.

Вдруг от Москвы подскочил озабоченно какой-то верховой и остановил поезд: до Москвы оставалось всего несколько вёрст и надо было сделать для въезда соответствующие приготовления. Казаки сняли со Степана и Фролки их хорошие кафтаны и надели на обоих кабацкие гуньки, а также переменяли и оковы, надев новые, с огорлием. Толпы народа, затаив дыхание, внимательно следили за всем этим, вполне уверенные, что всё это так и делается, как нужно. В это время из-под горки, от Москвы, показалась большая телега, а на ней стоймя виселица, похожая на огромное П или, по-тогдашнему, покой.

— Ишь, какой покой везут... — побежало по толпе.

— Этот покой кого хошь, брат, успокоит... — с видом знатока отвечал другой.

— Успокоит ли, гляди?...— усомнился третий тихо.

— Да ужли его так тут среди поля и вешать будут? Диковина!..

Степана перевели на телегу с виселицей и привязали цепью за шею к перекладине покоя, а руки и ноги приковали к телеге. Фролку привязали за шею к телеге и заставили бежать за братом, как собаку. Степан был спокоен, но не подымал глаз.

Сзади, пыля и задыхаясь от волнения, валом валили, всё увеличиваясь, толпы москвитян...

Вот и тульская застава. По улицам черным-черно от народа и все глаза — с самым разнообразным выражением — прикованы к страшному покою, под которым колыхается по неровной мостовой большой, весь опутанный цепями человек. Фролка, оступившись, зашиб себе ногу и ковылял, едва поспевая за телегой.

— Раздайся, пропусти!..— кричали объезжие головы, разгоняя плетями народ.— Берегись, черти... Разинули рты-то!.. Ну, раздайся, говорят!..

Телега остановилась у Земского приказа, и Степана с Фролкой увели. Толпа не расходилась, жадно ловя всякий звук из приказа. Но ничего не было слышно. Слуги Тайного приказа усердно ходили по народу, подслушивая, что люди говорят. Но все остерегались и говорили только то, что было можно: многих деревянный покой, действительно, уже успокоил.

Думный дьяк, да дьяк Разбойного приказа, да несколько подьячих, рассевшись вокруг дыбы, приготовились записывать показания страшного атамана, но — ничего особенного не услышали они от него: он рассказывал только то, что приказным известно было из донесений с мест. Только одно место его показаний взволновало ко всему привычных приказных.

— А правда ли, сказывают, что ты грамотами с бывшим патриархом Никоном ссылся? — спросил думный дьяк.

— От самого патриарха грамот я не получал...— отвечал Степан.— А в Царицын ещё приходил ко мне от

него старец один, отец Смарагд, и звал идти Волгой вверх поспешнее, а он-де, Никон, пойдёт мне насустречь, потому-де ему тошно от бояр: бояре-де переводят царские семена. И сказывал старец, что у Никона есть городских людей тысяч с пять человек, а те-де люди готовы у него на Бело-озере...

— А где же тот старец?

— Не ведаю. Был он со мной под Симбирском и на моих глазах своими руками какого-то боярского сына заколол. А куды он потом делся, того я не ведаю...

Но и этого было очень мало: от Степана ждали все необыкновенных разоблачений о тайных изменах, о зарытых кладах, о страшных заговорах. Но ничего такого он не говорил.

— А ну, подвесь!..

Палачи вздернули его вверх, изодрали всю его спину кнутами, выбились из сил — Степан не открывал своих тайн по той простой причине, что нечего ему открывать было. Сняв с дыбы, его стали жарить на углях — он мучительно стонал, скрипел зубами, но опять-таки не сказал ничего. Сняли его с огня и по истерзанному телу стали водить раскалённым добела железом — Степан не сказал ничего. Замучившиеся палачи, с которых прямо пот лил, бросили его в сторону и взялись за Фролку. Тот, едва сознавая себя от ужаса, сразу заверезжал.

— Экая ба... ба!..— через силу, с отвращением сказал Степан.— Вспомни про жизнь нашу: в славе жили, купались в золоте, тысячами повелевали, а теперь надо уметь перенести и лихо... Разве это больно? Вроде как баба иглой уколола...

И, закатив глаза, он опять заскрипел зубами...

Фролка плёл всякую околесицу, и, издрав его в ключья, дьяки велели бросить его и снова взялись за Степана. Ему стали брить макушку. Он шатался от слабости и боли, но из всех сил старался не дать торжествовать приказным.

— Во...— пошутил он, весь белый как снег.— Слышали мы, что учёных людей в попы постригают, а теперь вот и нас, простаков, постригать стали...

Ему стали капать на темя холодной водой,— пытка, которую не выдерживали и самые сильные люди,— Степан скрипел зубами, стонал иногда как-то всем телом словно, но молчал. Всё вокруг него качалось, земля уходила из-под него... палачи били его батогами по ногам, но ничего не открывал Степан.

И так продолжалось весь день. На ночь обоих братьев увели в тюрьму, а с утра взялись снова за Степана и опять не добились ничего. И так как была уже опасность замучить его, то пытку бросили и на утро была назначена казнь. И бирючи ездили по жаркой возбуждённой Москве, созывая на Красную площадь, к Лобному месту, где тогда снимали головы крупных преступников,— мелких казнили на Козьем болоте, за рекой.

Утро занялось погожее, тихое. На телеге Степана и Фролку везли по розовым от восхода улицам. Вся Красная площадь была залита народом. На Лобном месте уже стояли: палач — рослый, красивый мужик с чудесной бородой в мелких завитках, и его помощник, худой, серый, невзрачный, с бегающими глазами. Были уже тут и думный дяк, и дяк Разбойного приказа, и дяк Земской избы... Земской дяк, преодолевая ноющую боль в гнилом зубе, громко вычитывал народу неисчислимы вины приговоренного...

Степан не слушал его. Смотрел на ясное небо в золотых и румяных барашках, на ярко сияющие церковные кресты, на пёструю церковь Василия Блаженного, вокруг которой носились стаями голуби... И все — башни кремлевские нарядные, лица толпы, верховые бояре, которым и на лошадях трудно было пробраться ближе к Лобному месту, ларьки людей торговых, деревья к Москве-реке,— всё рдело в лучах восхода густо-розовыми, тёплыми огнями... Степан медленно поднял глаза на крест Василия Блаженного и — широко, истово перекрестился.

— Батюшки, хрестится!..— испуганно уронил кто-то из толпы.— А сказывали, он не верует...

Степан обвёл глазами эти тысячи лиц — и те, не отрываясь, точно в исступлении каком, смотрели на

него... Немало всякого лиха-разоренья причинил он многим из них. И вот еще несколько мгновений — и он уже... никогда!.. не увидит их больше. И стало жаль и себя, и их, спазм перехватил горло... и низко-низко склонился Степан истерзанным телом своим перед человеком многомелким...

— Простите, православные!

И обернулся к палачу.

Все затаили дыхание...

Затаили дыхание — и молчаливый, весь трепещущий Пётр, и отец Евдоким любопытный, взгромоздившийся на какой-то пустой ларёк... Затаил дыхание Корнило Яковлев, чувствуя, как что-то в носу у него шипит: этакий казачина погибает!.. Весь затаился отец Смагд, одноглазый и страшный, и рябой Чикмаз... Гриша-юродивый вытягивал из грязной рубахи свою тонкую шею, и на лице его была великая жалость. Хмуро сжался Унковский, издали с лошади наблюдавший гибель врага своего. И затаил дыхание Ивашка Чернырец, который стоял почти у самого Лобного места, разодетый, как богатый торговый человек. Разделавшись тогда на Дону с Иоселем, он вынул загодя заготовленные грамоты, которые нашёл в Приказной избе в Царицыне, — и покатиł себе уже «нижегородским торговым человеком Иваном Ивановым сыном Самоквасовым с законной супругой Матрёной Ильиничной». По дороге, на рогатках, у ворот городских, останавливали их дозорные: «Кто? Откуда? Куда?..» Но алтын-другой сменяли гнев на милость. Ярыжки земские привязывались: «Такого-то вот человека по приметам мы и ищем!» Ивашка опять платил — и весело катил к Москве. А здесь он успел уже войти в сношения с именитым гостем Василием Шориным, и тот очень оценил развёрстистого нижегородца: большие у них предстояли дела...

— Ну... — сказал почти весело палач.

У Степана закружилась голова. Но он справился.

Палач указал ему на широкую доску. Степан понял... и сам лёг на неё. Палачи прикрыли его такую же доской сверху и крепко перетянули доски верёвками. Го-

лова Степана, бледная и лохматая, страшно высовывалась между досок на народ. Фролка, весь бледный, огромными глазами смотрел, раскрыв рот, на все эти приготовления.

Палач поднял широкий топор. Сверкнуло железо, что-то хрястнуло, и правая рука Степана, по локоть отрубленная, отлетела на каменные плиты Лобного места. Как раз в это мгновение Степан встретился глазами с Ивашкой Черноярцем. Невольно он сделал движение, но в то же мгновение понял, что всё это теперь уже не важно. И в этот момент, сочно хряпнув, отскочила его левая нога, отрубленная по колено.

— А теперь голову...— еле дыша от волнения, проговорил форсистый молодец суконной сотни с видом знатока.

— Ан врешь, голову напоследях!..— отвечал ему его приятель, тоже хват, но гостиной сотни.— Потому и зовется четвертованием, что сперва руки и ноги обрубают.

— Ну, об заклад!..

— Давай!..

А в многотысячной толпе этой, никому незримая, происходила другая казнь, не менее страшная. Думный боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин, в смиренной, тёмной одежде, стоял неподалеку от Лобного места, и на его исхудавшем, бронзовом, с огромными лучистыми глазами лице, похожем на старинную икону тонкого письма, трепетало глубочайшее страдание. Не из праздного любопытства пришёл сюда Афанасий Лаврентьевич,— нет, он заставил себя прийти сюда, чтобы ощупать, так сказать, душой своей эту казнь, это заключение в цепи его давних, скорбных мыслей. Степан не был для него страшным разбойником-душегубом, Степан всё более и более страшно представлялся ему логически неизбежным следствием всей деятельности умного, просвещённого, доброго и религиозного Афанасия Лаврентьевича. В деятельности этой он не искал, как поверхностный Матвеев и тысячи других людей, источника славы, богатства,— нет,

перед престолом Божиим, в страшный день последнего ответа, с чистой душой может сказать он: я искал только блага России, только блага ближних моих. И вот тем не менее его деятельность,— с её войнами, разорением народным, непомерной для народа тяжестью этой сложной государственной машины,— именно эта-то его самоотверженная деятельность и привела Степана на эшафот. Виновен был он, Афанасий Лаврентьевич, отстаивавший от Польши старый русский Днепр, пробивавшийся к Балтийскому морю, посылавший посольства и в Персию, и в Китай, и в Индию, виноваты все эти воеводы-грабители, жадные приказные, жадные потому, что часто голодные,— виноват царь с его пышным двором, виновата, может быть, больше всех Церковь мёртвая, продажная, а казнили вот Степана, тёмного, нетерпеливого донского казака: он как бы принял на свои широкие плечи все грехи безбрежного мира русского и вот на глазах у всех, на Лобном месте, страшно испугал их...

— Он подъял на себя грехи мира...— повторил тихо Афанасий Лаврентьевич и ужаснулся: ведь это сказано о распятом Христе!..

Палач в третий раз поднял свой широкий окровавленный топор.

— Я знаю слово и дело государевы!..— вдруг завопил, весь зелёный, Фролка: это заветное слово могло быть если не спасением, то хотя отсрочкой.

— М-м-молчи, с-соб-бака!..— с усилием едва выговорил между досок окровавленный Степан, но в то же мгновение голова его, хряпнув, отскочила и, медленно и точно недоуменно моргая глазами, покатилась по гладким плитам...

Все облегчённо вздохнули: кончено!.. И почувствовали все, что того, что на их глазах случилось, никак, ни в коем случае не должно быть. Даже дьяк Земской избы, ковырявший щепкой в зубах, почувствовал это, почувствовал это Ивашка, и отец Евдоким, и бабы, и мужики, и стрельцы, а Гриша-юродивый, тот только в отчаянии мотал своей лохматой вшивой головой и плакал

навзрыд. И, глядя на него, тихо плакал Афанасий Лаврентьевич и все, кто только эти слёзы юродивого видел...

Серые толпы людей, жалких в бессилии любви своей, загипнотизированных ужасом свершившегося, тянулись на цыпочках, чтобы через головы передних видеть, как, весь в крови, палач вязал Фролку, чтобы отправить его обратно в приказ для дополнительных показаний по его крику о «слове и деле государевом», как повели Фролку на телегу, как потом палач отсёк у мёртвого Степана руки и ноги, как выпустил его внутренности и как сочно шлепнулись они о камни, брошенные собакам на съедение, как в заключение всего втыкал он на загодя заострённые колья вокруг Лобного места голову Степана и другие части его тела.

— Да... — тихо подвёл Афанасий Лаврентьевич. — Казнили жертву, а виновным волею рока отпущены все грехи их... Одному — плаха окровавленная, а другому шапка горлатная в аршин. И где выход, понять нельзя. Они не могли терпеть. Выносить тяготу государственную может только тот, кто необходимость её понимает, но издавна повелось в мире как-то так, что всю тяжесть понимающие возлагают всегда на плечи непонимающих, а сами берут себе только выгоды... И разве не прав был исступленный протопоп этот Аввакум, когда кричал он в муке сердца: «Чем ты лучше нас, что ты боярин? Одинаково небо над нами, и солнце одно, и месяц, и всё прозябающее служит мне не меньше, чем тебе...»

Потупив голову, Афанасий Лаврентьевич медленно пошёл домой...

Народ расходился. Гипноз ужаса рассеивался, начинался обычный, немножко теперь более возбуждённый галдёж стад человеческих. Иван Иванов сын Самоковцов торопился по своим торговым делам к именитому гостю Василию Шорину и в тайне сердца благодарил Господа и свою Пелагею Мироновну, что вовремя успел он выйти из всей этой каши дурацкой. Отец Смагд и Чикмаз вполголоса плановали, как им полоче пробраться на низ. Начальник Панафидного приказа, Унковский, был удовлетворён божественной

справедливостью, покаравшей его старого врага, но сердился на толпу, которая мешала ему проехать, и все обещал всем извести их исподтишка. Корнило Яковлев с казаками ехал к дому и тихонько угадывал, как пожалует его великий государь за поимку Степана,— потом ему, кроме обычного жалованья, было выдано сто червонцев,— Гриша-юродивый, путаясь в словах, говоря не то, что хотелось сказать, просил жалобно милостыньку ради Христа, торговые люди громко зазывали покупателей в свои лавки и ларьки, ссорились с ними, божились на иконы, били по рукам...

В кружалах в этот день было особенно полно и шумно, и люди пили больше, чем обыкновенно, больше кричали, больше ссорились. Соглядатаи Тайного приказа жадно делали своё дело и отправили не одного уже пьянчужку в страшный застеноч.

— Ну, что теперь скажешь ты, друг мой ситный? — широко осклабясь, говорил отец Евдоким, сидя в кружале за блюдом студня, своему неразлучному Петру.— Вот уж воистину все мятётся земнородный... Хотел Москвой тряхануть, а сам заместо того на корм собакам попал. А?

— Не тем путём пошёл он...— задумчиво проговорил Пётр.— Не через кровь человеческую идет путь к граду грядущему...

— А может, его и нет совсем, этого града грядущего?..— помолчав, тихо сказал отец Евдоким, и лицо его стало вдруг жалким.

Пётр испуганно посмотрел на него.

— Будет тебе!..— проговорил он печально. И какой-то пьянчужка в духовитом и шумном сумраке кружала завел:

Вы, дружья ли наши, братцы-товарищи,
Леса наши все порублены,
А кусты наши все поломаны,
Все станы наши разорены,
Все дружья наши товарищи переловлены,

Во крепкие тюрьмы наши товарищи посажены,
Резвы ноженьки в кандалы заклёпаны,
У ворот-то стоят грозные сторожи,
Грозные сторожи, brave солдатушки;
Никуда-то нам, добрым молодцам, ни ходу, ни выпуску,
Ни ходу, ни выпуску из крепкой тюрьмы!..

Кружало шумело пьяным, дымным, длинным шумом.
Кто-то пытался певцу подтягивать, кто-то блевал среди смеха соседей, кто-то буйно стучал кулаком по столу и хрипел ругательства.

— Нет, ты мне скажи, куды мы с тобой теперь пойдём-то, умная голова...— говорил захмелевший отец Евдоким.— Куда мы с тобой подадимся-то?..

— За Волгу надо пройти, посмотреть, что там в ски-тах делается...— отвечал Пётр.— Что-нито да думают же там люди.

Отец Евдоким опять ослабилсЯ:

— А я всё больше да больше утверждаюсь, что град грядущий — это кабак царский...— сказал он.— А? Чего лутче его найдёшь?..

А невидимый певец своим сильным и красивым голосом с тоской и одушевлением пел:

Уж мы, братцы, разойдёмтесь-ка,
Разойдёмся по диким местам...

— Во!..— кивнул отец Евдоким.— Это вот, пожалуй, в самый раз будет...

XL. БОЛЬШАЯ ПРАВДА

Прошло три месяца. Заливаемый обильно кровью, пожар утихал. Только на низу, в Астрахани, всё ещё шумела вольница, но Москва раскачивалась унять и её... Дикий зверь, раненный тяжело, или птица сразу же сдают в крепь, в неприступные места, и там и кончают, никем незримые, и свои страдания, и свою жизнь. И многие, многие люди, раненые в душу во

всероссийском смятении этом, усталые и печальные, потянулись в крепь — кто куда...

«Царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегатель», начальник Посольского приказа, близкий царю думный боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин был уже отцом Антонием, смиренным иноком Крыпецкого монастыря близ Пскова, который очень полюбился ему, когда, совсем молодой, жил он у себя в псковской вотчине своей, а потом, всего шесть лет назад, был псковским воеводой. Да и вообще, хотя народ «скопской» и был исстари озорным, Ордын любил свою озёрно-лесную красивую родину. И до него в старину многие бояре и работники государственные на склоне лет удалялись так в глушь, в тишину, в монастырь, с той только разницей, что для них эти обители были, действительно, крепью, надёжным пристанищем, а он выбрал это убежище для себя только потому, что иначе ему, важному вельможе государства Московского, некуда было деваться. О нем нельзя было сказать, что он на века опередил своё время — такие люди всегда и везде чужие, и, родись он триста лет спустя, он был бы так же безбрежно одинок. Как и его сына, точно ещё в колыбели какой-то чёрный ангел поцеловал его в это большое, думное чело, и поцелуй тот наложил на всю его судьбу навеки нерушимую печать страданий и одиночества.

Некуда деваться, как итог целой трудовой и самоотверженной жизни!..

И тем не менее это было так и не могло быть иначе: поцелуй чёрного ангела дает великие радости, но и великие печали и обязывает принять многое, о чём рядовой человек и понятия не имеет.

Отец Антоний в поисках полной тишины испросил у игумена благословения поселиться не в общежитии, а в скиту, в небольшой ветхой избёнке, где жил недавно представившийся отец Агафангел. Желание его сразу было исполнено: иноки видели собственноручные письма великого государя к отцу Антонию — царь часто просил у него советов в деле управления — и надеялись извлечь через него

великие и богатые милости для обители. И хотя иноку и не подобало предаваться суетным размышлениям и в книгах чести, ничего не сказал отец игумен, когда из Москвы были доставлены в келью отца Антония несколько ящиков с книгами. Отец Антоний не мог не сознавать, что он, отрѣкшись от мира, пользуется немного тем положением, которое он в этом мире занимал, но это совесть его не смущало: каждый идёт к Богу так, как может.

Он сидел один на берегу светлого лесного потока, который дремотно журчал и гулькал в привядшей уже траве. Вокруг золотое море осеннего леса и тишина такая, что биение своего сердца слышно. В побледневшем и точно печальном небе иногда пролетала стая гусей или грустно и нарядно трубили лебеди. Отец Антоний тихонько напевал какую-то молитву — церковные напевы нравились ему своей торжественностью и печалью, — и бродил душой среди развалин своей жизни, стараясь разгадать, что же это за сила была, которая произвела все эти разрушения, не виноват ли он сам в чём-нибудь. Но что он ни передумывал, что ни проверял, опять и опять упирался он в тот же тупик: он хотел добра, а в результате получились страдания и для людей, и для него самого, полное бездорожье и крик отчаяния...

В его душе, чувствовал он, жили всегда две правды: одна — маленькая, земная, нужная для повседневности, правда Марфы, а другая — большая, небесная, правда Марии, которою он хотел осветить и освятить правду земную. Иногда это как будто удавалось ему, но иногда, большею частью, правда небесная как-то точно не давалась примешивать себя к земной, свёртывалась, уходила, и он чувствовал, что она как будто немного даже враждебна правде земной, тем его заботам, которые все были направлены на благо людей. И это чрезвычайно смущало его и часто делало нерешительным...

Он любил Россию, дом предков своих, любил большой, проникновенной любовью и не покладая рук работал, чтобы сделать её сильной, богатой, довольной. Он видел, что, задавив в невероятном усилии целого ряда поколений дикую и злую азиатчину, которая душила её,

она сама этой азиатчиной точно заразилась и, как богатая урожаем нива в непогоду, гнила на корню. Он понимал, что ей надо выбиться к свободному морю,дохнуть свежим воздухом его, зажить одной жизнью с опередившими её народами. Да, но для этого прежде всего нужна была вооружённая борьба с этими самыми народами. Борьба эта истощала народ, подрывала его силы, повергала его в нищету и крайнее отчаяние, и он как бешеный бросался на то государство Московское, которое для него он, Афанасий Лаврентьевич, хотел сделать цветущим, великим, довольным!.. А во-вторых, и главное, невольно возникало сомнение в ценности и возможности самого этого единения с народами западными: раз не встречаются они Русь, младшего брата, столько столетий служившего им щитом против дикой и злой азиатчины, столько крови своей в борьбе этой пролившего, радостными объятиями, не сажают его с собой за почестный братский пир, а наоборот, всячески стараются повредить России, задержат её, отбросить назад, во мрак, как делает это усилившаяся после тридцатилетней войны Швеция, закрываящая России все выходы к морю, то действительно ли так ценна эта их образованность? Не та же ли это азиатчина по существу, только что почище одетая да покраше причёсанная?.. Он остро чувствовал этот вражий напор мира западного, и по необходимости, для защиты, думал он соединить всех славян в одну братскую семью, чтобы иметь возможность сопротивляться этим вражьи́м наскокам. И вот теперь без стыда он не мог вспомнить той своей горячей речи, которую произнёс он в Андрусове перед поляками, выясняя необходимость такого славянского единения... Единение славян!.. А он должен был от этих самых славян из всех сил отбивать коренные русские области, которые они, опираясь на силу, хотели у родственной им по крови России несправедливо оттянуть. Он хотел блага своему народу, но из этого его стремления вытекали войны с их бедствиями, разорением, страшными морами, а из войн — возмущения народные, ещё более страшные и опустошительные, чем войны... Воистину правы шведские куранты, говорившие о *tragoedia moscovitica!*..

Он хотел развить торговлю российскую, он посылал для этого посольства во все края, вплоть до далекой Индии, он хотел закрепить за Россией её пустынную и далёкую амурскую Украину, заселив её казаками и войдя через них в более тесную связь с Китаем, он первым учредил в России правильные почтовые сношения с Западом,— в результате появились и усилились всякие Шорины, которые на всём этом обогащались чрезмерно, а народ был по-прежнему нищ и убог и в бесчисленных восстаниях требовал головы этих самых Шоринных и смотрел на них всегда как на мироедов и кровопийц. Блага не получилось.

Он — и не один он,— изо всех сил стремился насадить в России побольше школ, напечатать побольше хороших книг, но тут прежде всего наткнулся он на яростное сопротивление отцов духовных, учительного сословия, которые и в школе, и в книге видели самых страшных врагов своих. Когда ещё Годунов задумал основать хорошо организованные школы с преподаванием нескольких языков, то духовенство воспротивилось, находя, что крепость земли Русской в единстве веры, нравов, языка, а от иноземцев пойдёт непременно смута. «В земле гишпанской,— аргументировали святители и просветители,— вера папезская, иначе лютерская, благочестие же иссякло, человецы же мудры и дохтуроваты делом и звездочетием». С тех пор прошло больше полвека, но и до сих пор твердят упорно эти просветители, что философия, астрология и другие науки бесполезны и что заниматься ими то же, что мерить аршином хвосты звёзд, что богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрию, что душевные греси учиться астрологии и еллинским книгам, что проклята прелесть тех, иже зрят на свод небесный. Своему разуму верующий — твердили они, святители и просветители,— удобь впадает в прелести различные...

А книги!.. С каким трудом удалось русским людям, наконец, наладить, чтобы книги строились на Москве. В результате выпущена масса заведомой лжи, как эта пресловутая история Гизеля, в которой повторяются жалкие

побаски о том, как русские цари преемственно приняли власть от императоров византийских, что слово славяне происходит от славы, а Москва от Мосоха, сына Иафетова, прапрадеда народа русского. А эти географии и космографии, в которых — двести лет спустя после Галилея и сто лет после Кеплера, с трудами которых он ознакомился за рубежом,— учат, что земля имеет четырёхугольную форму и подобна престолу в святая святых, устроенному Моисеем, что стоит она на самой себе, а края её, загибаясь переходят в небесный свод...

И что для него было важнее всего, так это то, что то просвещение, к которому он так тянул Россию, не делало людей лучшими ни на йоту,— в этом, увы, стародумы, были не неправы!..

И всего, может быть, для него, человека религиозного, страшнее был тот разгром, те развалины, которые какие-то странные силы жизни произвели в важнейшей для него области бытия, в области веры. Религиозен был он смолоду и смолоду верил, что та вера, в которой он вырос, есть единственная правая вера, есть подлинное откровение Божие человеку. Но судьба рано столкнула его с иноземцами. Большею частью это были честные, прямые, хорошие люди, которые жили жизнью несравненно более чистой, чем русские люди, и вот эти-то хорошие, честные люди в глазах русских были поганцами опасными, проклятыми навеки еретиками. Поездки за рубеж по делам государским окончательно подорвали его веру в избранность народа русского и в то, что «Москва это третий Рим, а четвёртому не бывать». Но, если православная вера не есть единственно правая вера, то какая же вера правая? Оказалось, что правых вер бесконечное количество: для евреев это Моисеев закон, для магометанина — Коран пророка, для Аввакума неистового и для боярыни Морозовой их вера права, для Нила Сорского и князя Вассиана Патрикеева — которым он не мог не отдать дани любви,— права их вера, а для стригольников, жидовствующих или Матвея Башкина, рушивших всё, правда Божия в том, за что шли они на всякие муки бестрепетно. И в стра-

дании открылось ему: все пути, при условии искренности и чистоты, ведут к Богу одинаково, ибо всякий вмещает только то, что он вместить может, что — это было следующей ступенью — разум в делах веры бессилен, что область вера — только чувство, только сердце, что в чувстве религиозном все люди одно и что только разум вносит в дела веры вражду, и кровь, и гибель...

Это не сделало его, конечно, равнодушным к религиозной жизни народа, и он тяжело болел тем нестроением, которым страдала исстари русская Церковь и которое Никон только увеличил.

Начал этот самоуверенный, грубый и злой поп с того, что, не считаясь с умственным уровнем своего народа, с его верованиями, стал исправлять не основы веры, а крошечные детали, опечатки, букву: старые книги оказались вдруг не правилами, а кривилами, оказалось, что по ним не хвалили Бога, но хулили Его, несмотря на то, что вера православная была и до Никона единственной правильной верой, единственно спасающей! И повёл свое дело этот ограниченный самодур так, что: «никто не смел с ним слова молвить: яко лев восхищая и рыкая, иным ноги ломает дубиною, а иным кожу сдирает и с кобелями теми грызется, как гончая с борзыми». И если он, пастырь душ бесчисленных, пасёт их кнутом и дубиной с великим проклинательством, то и они в долгу не остаются, и во имя Господа Аввакум честил его публично: «Носатый и брюхатый кобель, отступник и еретик, сын дьявол, отцу своему, сатане, работает», его звали предтечей антихриста и, чтобы спастись от него, шли на костры. И, обрушиваясь с яростью на старые книги, в то же самое время этот грубый, вечно пьяный поп ведёт такую же яростную борьбу с новыми иконами, на глазах народа бьёт их вдребезги об пол и у царя выхлопатывает указ, чтобы немцы не смели надевать русской одежды: раз он по ошибке благословил немцев в русской одежде и больше не хочет он ошибкой дать святыни благословения псам!.. И эта ненависть его к псам была так ве-

лика, что, когда Никита Иванович Романов одел холопов своих в немецкие кафтаны, он, великий государь, тайком выкрал эти кафтаны и изрубил их в куски. А когда князь Одоевский Никита Иваныч вздумал Положением своим окоротить несколько на всю Русь разгулявшихся попиков, то бешеный глава Церкви прозвал его Адоевским,— от ад,— врагом божественным, дневным разбойником и богоборцем. К чему же, в конце концов, свелась эта бурная деятельность во имя Господа? К тому, что тысячи и тысячи людей гниют по тюрьмам и в ссылке далёкой, терзают их на дыбах, сгорают они в огне в то время, как сам патриарх Никон уже к концу патриаршества своего совершенно охладел к своей реформе и даже в типографии своей печатал старые книги по-старому! А боярыню Морозову Феодосью Прокофьевну за эти самые старые книги только что бросили в тюрьму и рвали на дыбе!

И так было во всех областях жизни человеческой: слепота, злоба, ничтожество всего и в конце концов — развалины. Какая, в конце концов, разница между деятельностью его и Никона? Разве, понимая, отчего и как образуется казачество, не он содействовал кровавому усмирению волнений и гибели Разина?.. Войны, ничего, кроме бедствий, не дающие, мирные договоры, мира ни в малейшей степени не обеспечивающие, просвещение истинами, которые через десять лет оказываются жалкой и преступной ложью, вот всё, на что была потрачена вся его жизнь! А в конце всех этих дней, полных труда, забот и волнений, измученный человек, распятый на невидимом кресте жизни, поднимает к небу скорбные глаза и, плача в тишине осеннего леса, вопрошает робко: в чём же была моя ошибка, Господи? Где же путь?

И более, чем когда-либо, ясно теперь понимал он, что ошибка его была в том, что, искушаемый суетным желанием устроить жизнь людей, он подменял для них и для себя большую правду жизни, которая всегда жила в глубине его души, правдами малыми, временными, земнородными.

Но в чём же эта большая правда, как в одном слове выразить её?..

Сзади послышались шаги. Отец Антоний оглянулся: к нему подходили двое странников с подождками и котомочками, один вроде попика, с постным личиком и пронзительно-любопытными глазёнками, а другой смуглый, точно опалённый, с чёрными глазами, в которых горел огонь неуёмный и неугасимый. Завидев отца Антония, оба низко поклонились ему.

— К тебе, отец Антоний...— проговорил попик.— Побеседовать, коли милость будет...

— Ну, садитесь, отдыхайте...— ласково отвечал отец Антоний.— Откуда вы?

— Да по совести ежели, то ниоткуда, отец...— отвечал попик.— Перекати-поле мы, бродячий народ: сегодня здесь, а завтра где Бог приведёт.

— Чего же вы эдак ходите-то?

— Испытуем, где чем люди живут...— сказал попик.

— Града грядущего взыскаю...— тихо добавил чёрный.

— Вон вы какие!..— участливо посмотрел на них отец Антоний.— Ну, и что же проводали вы?

— Не нашёл я больших толков, отец...— проговорил попик задушевно.— Везде одно и то же: нестроение, нечистота и пёстрообразные неправды. Скажи мне одно, отец, молю тебя... ведь я знаю, что в миру ты большой боярин был, что всего у тебя вдосталь было, и вот всё ты бросил и ушёл в пустынь — стало быть, знаешь же ты что-то, что-то постиг!.. Так вот и скажи ты мне, ради Христа небесного: почему это я во всём одно паскудство вижу?

За стеной леса, в обители, ударили к вечерне, и звуки колокола, важные, чистые, святые, поплыли над лесной пустыней. Все трое перекрестились — как всегда, больше по привычке.

— Зайду, к примеру, я к обедне, поп проповедь говорит,— продолжал отец Евдоким,— а я слушаю и вижу, что ему пуще всего удивить меня охота учёностью своей или там красноглаголанием... Почему это я никому и ни в чём поверить не могу? Царю — не верю, патриарху — не верю, святым — не верю, себе и то не верю!.. Иной раз словно и

самому Господу Богу не верю. И вот во всей этой блевотине вселенской точно тону я, захлёбываюсь и посылает мне вся жизнь часто так, что хошь и на верёвку да на пере-мёт...— И вот диво дивное и чудо чудное: из блевотины этой самой взыскую всей душой, вот как Петруха сказал, града грядущего, града светлого, где была бы во всём чистота и лепота да аллилуиа бесконечная!..

— Не ты один зовёшь Бога из блевотины твоей...— отвечал отец Антоний.— Разве не читал ты псалмопевца: спаси мя, Боже, я погряз в болоте глубоком и не на чем остановиться, впал в глубину вод и стремление их увлекает меня. Я изнемог от вопля моего, засохла гортань моя, утомился глаз в ожидании Бога моего...

— Да что мне от того, что и другие изнемогают?!— с тоской воскликнул попик.— Я, я сам изнемогаю, сам утопаю, сам погибаю... И... и вот говорю, а сам себя слушаю, себе не верю и сам себе противен до изнеможения... Есть ли спасение мне, отче? Или я проклят от века? Ежели проклят, дык за что жа? И как, как войду я в град грядущий, я, пёс смердящий? Для брачного пира, писано, нужны и брачные одежды, а у меня всего только лохмотья кабацкие вонючие, и вонью этой вот я ещё словно и похваляюсь...

— Слабый я человек, и не вижу я ясно путей Господних...— сказал тихо отец Антоний.— Но мню, что аллилуиа с гноища звучнее для Господа всех кимвалов и тимпанов и органов доброгласных...

— И я войду в град грядущий?!

Наступило молчание — только колокол пел за лесом. И трепетала душа отца Антония близостью Господа. И он поднял глаза на странников и отвечал уже не им столько, сколько себе, уловляя словом ту большую правду небесную, которая всю жизнь жила в нём:

— Войти в град грядущий не можно потому, отец, что мы все всегда в нём...

— Как ты то мыслишь, отче? — воскликнули оба странника, жадно на него глядя.— Как в нём?!

— Мы все в нём, в небесном Иерусалиме, с рождения нашего, но только ослеплены очи наши, и, не-

достойные, не видим мы его...— с волнением проговорил отец Антоний, вставая.— Вот он — град небесных радостей...— широко раскинул он руки, точно обнимая всю эту пылающую в огнях осени землю, и это тихое небо, и всё, что в них.— Нет иного града, как тот, который уже дарован нам, но который скверним мы всяким шагом нашим, всякою думою, всяким мечтанием! Отоприте золотым ключом любви вход в него и вместе со всяким дыханием возрадуйтесь и восхвалите Господа...

В свете тихом, в свете вечернем пел за лесом колокол. И отец Антоний почувствовал с несомненностью, что говорить больше нельзя, что нет на языке человеческого слова более высокого и более святого, чем то, что он сказал, и что подобает теперь только одно: молитва. Отец Антоний молча низко поклонился обоим и тихо ушёл в свою хижинку.

Постояли они, помолчали и лесной тропой медленно пошли к обители. В душе Петра было строго и торжественно, но отец Евдоким уже потух. И вдруг он остановился.

— А помнишь, как мы с тобой на Керженце были? — сказал он.— Помнишь, пустил нас к себе ночевать этот старовёр сердитый?

— Ну? — невнимательно спросил Пётр.

— И было у него в избе полно девок грудастых в беленьких убрусах скитских...

— Ну?...— внимательнее повторил Пётр.

— И спросил я его о всех жёнках этих, и он сказал, что нет в них греха никакого, что всё то поповские выдумки, что сам Господь заповедал человеку любовь... И все от Писания... тоже...

И он широко осклабился всеми своими жёлтыми, изъеденными зубами.

— А ты помнишь, что сказал только что отец Антоний? — тихо сказал Пётр.— Он сказал, что с гноища аллилуиа Господу всего сладостнее...

И, окинув восхищённым взором сияющую в свете вечернем землю, оборванный, в липовых лапотках,

истомлённых путями, он истово перекрестился и сказал тепло:

— Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже... Молча шли — каждый в себе.

— А ты отсюда куда думаешь? — спросил отец Евдоким.

— Никуда...— отвечал Пётр.— Сичас пойду к игумену и попрошу благословения остаться при отце Антонии. Он уже дряхл, буду носить воду ему, дрова, ходить за ним. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже...

Отец Евдоким подумал.

— А что же, пожалуй, и верно...— раздумчиво и печально сказал он и, в тоске, прибавил: — Что, в самом деле, лапти-то зря трепать?..

В звёздную ночь, когда все спали, отец Евдоким повесился на вожжах в конюшне монастырской, над навозом...

XLІ. КРЕСТНЫЙ ХОД

Бежавший во время взятия Кагальника на Волгу Алёшка Каторжный сразу бросился со своими на Астрахань. Федька Шелудяк, царствовавший вместо бежавшего Ивашки Черноярца в Царицыне, наказывал ему во что бы то ни стало поднять астраханцев на новый поход на Москву.

— Только шевельнись чуть, опять всё враз подымет...— бешено сверкая глазами, говорил он.— И главное, только время там никак терять не моги. Васька Ус, слышно, хворает всё, так ты на него не гляди...

Алёшка пригрёб со своими к Астрахани. Там митрополит с попами развёл в народе большую смуту. В конце апреля, в Страстную пятницу, по городу распространился слух, что юртовские татары опять привезли от царя милостивую грамоту к астраханцам, но в город показаться с ней боятся. После долгих криков и споров старшины казацкие разрешили грамоту взять и прочитывать её народу, но когда её прочитали, казаки стали

кричать, что грамота составлена митрополитом да попами, потому что, если бы была она настоящая, то была бы она за красной печатью. И кричали:

— На раскат митрополита, старого чёрта!..

Плохие вести для них шли отовсюду, и потому митрополит очень осмелел: он обличал, уговаривал и на дерзких даже замахивался, трясая седой головой своей, посохом. Более политичный Иосель — он вынырнул в Астрахани — ласково и убедительно звал казаков удалыми добрыми молодцами, презрительно говорил о Москве и высоко держал знамя казацких вольностей, втихомолку бойко приторговывал рыбой, шёлком, старинным оружием, пухом, драгоценными камнями, мукой и всем, что попадалось под руку. Большинство казаков были уже должны ему — впредь до лучших времён...

А против митрополита озлобление нарастало всё более и более. Но покончить с ним ещё не решались: уж очень сан велик! Федька Шелудяк прислал из Царицына посольство, настаивая, чтобы покончить с упрямым попом. И долго, обсуждая это дело, гудел взволнованный круг.

— Он ссылается грамотами и с Тереком, и с Доном, и с боярами...— кричали казаки.— От него вся и смута идёт... И по какому такому случаю он на круг с хрестом вышел?.. Что мы, нехрещёные какие нешто? Такие же православные хрестьяне... На раскат старого чёрта!..

Митрополита сперва тут же, на кругу, раздели священники, а потом на Зелейном дворе палач Ларка стал жарить старика на огне, пытая, с кем он грамотами ссылался и, главное, где его животы и казна. Потом Алёшка Грузинов сбросил измученного старика с раската... Тут же кстати отрубили голову и приятелю Степана, князю С. И. Львову, который до сего времени содержался в тюрьме. После этого составили торжественный круг и на том кругу все, старшины, казаки — донские, астраханские, терские и гребенские — и пушкари с затинщиками, и посадские люди, и гостиные торговые люди, которые

уцелели, написали между собой приговор, чтобы жить им всем здесь, в Астрахани, в любви и в совете, и никого в Астрахани не побивать, и стоять друг за друга еди-нодушно, и идти вверх побивать изменников-бояр.

— Эй, попы!.. Прикладывай руку за себя и за своих чад духовных...— крикнул Васька Ус, весь покрытый какими-то язвами, в которых, говорили, были черви.— Живо!.. А то всех перебьём...

Приговор был подписан, казаки торжественно отнесли его в Троицкий монастырь, положили на хранение в ризницу и тотчас же бросились снаряжать струги для похода на Москву. Васька уже не мог из Астрахани двинуться, и место походного атамана с Царицына должен был занять Фёдка Шелудяк. И казаки разом взяли Саратов, Самару и в июне осадили Симбирск, где воеводой был Пётр Васильевич Шереметев. Переговоры с ним не привели ни к чему, и казаки бросились на приступ, но трижды были отбиты. Шереметев, осмелев, сделал вылазку и наголову разбил воров. Побросав все, даже часть своих товарищей, казаки бросились к Самаре, а оттуда разошлись, кто куда хотел,— только астраханцы с Фёдкой во главе решили возвратиться в Астрахань.

Москва окончательно потеряла терпение, и бывший симбирский воевода Иван Богданович Милославский с ратною силой выступил водой на низ. Царь дал ему право передать мятежникам его царское прощение: великий государь великие и страшные вины их отпускает не иначе чего ради, а токмо ища погибших душ к покаянию и обращению. И получил воевода на дорогу от царя в помощь икону Пресвятыя Богородицы, именуемая «Живоносный Источник в чудесех».

В отряде Милославского был и молодой Воин Афанасьевич Ордын-Нащокин, исхудавший и горький. Жил он только одной думой: где она, что с ней? Куда занесла ее страшная буря? Поверить, что она каким-то чудом уцелела, было невозможно, и бессонными ночами ему такие мысли приходили о судьбе Аннушки, что он стонал, и не знал, что делать. В Самаре — конечно, она встретила царские войска крестным ходом — во время

передышки войск ему удалось напасть на след её: была при Степане, а потом бежала с каким-то жидовином ночью, неизвестно куда. В Саратове — город, конечно, встретил их крестным ходом — тоже была днёвка, но Воин Афанасьевич не нашёл никаких следов ни пропавшей девушки, ни таинственного жидовина и, разбитый, с заглодевшей душой, возвращался к себе на берег, как вдруг его остановила какая-то пожилая монахиня.

— Ты, сынок, не из Москвы ли будешь? — спросила она.

— Из Москвы...— отвечал он.

— Ах, родимый, у нас в скудельнице монастырской девица из Москвы лежит, одна-одинёшенька, никого из сродственников нету...— сказала монахиня.— Нельзя ли как объявить в войске, поспросать, может, есть кто из её близких...

— Как зовут её? — спросил Воин Афанасьевич, чувствуя, как его сердце замерло и остановилось.

— Аннушкой зовут её, родимый, Аннушкой, покойного самарского воеводы Алфимова дочка...— сказала монахиня.— Да что ты, Господь с тобой?!

— Веди меня к ней скорее, мать!..— едва выговорил он.— Скорее!..

Монахиня широко перекрестилась.

— Господи Иисусе Христе!.. Да уж я не знаю как...

— Веди скорее!..

— Да ведь, родимый мой, плоха она очень... Уж и не бает совсем...

— Да не терзай ты меня, мать!..— воскликнул Ордын страстно.— Веди же...

Сводчатый полутёмный коридор. Торжественно пахнет ладаном и воском. Чёрные монахини низко кланяются молодому воину... Отворяется дверь. На низкой, широкой скамье лежит что-то плоское и прозрачное. И — синие бездны...

Он зашатался.

Аннушка строго нахмурила свои тонкие брови, с усилием всматриваясь в его смуглое, перекошенное страданием лицо. И вдруг синие бездны начали проясняться,

теплеть и в углах, у белого, точёного носика налились две огромные капли. Монахиня тихо отёрла слёзы, — они налились опять и опять. И, не отрываясь, смотрели в его лицо синие глаза, и разрывалась душа на части болями острыми, нестерпимыми, нечеловеческими.

— Аннушка...— едва выговорил он.

Тень улыбки скользнула по бледным губам. Говорить она не могла. Говорили только её глаза...

Рыдая, он упал к её одру, приник на мгновение лбом к её прозрачной руке и снова, оторвавшись, стал смотреть в глаза, и снова прижался лицом к ней... Страшный, как ночной набат, кашель потряс её пустую, гулкую грудь, из угла рта протекла на подушку струйка крови, и синие глаза, не отрываясь от его лица, стали стыть, заволакиваться, уходить... И по прелестному личику тихо разливалось выражение какого-то неземного покоя и нежности...

Вдоль берега, у стругов, уже пели настойчиво, повелительно медные рожки, призывая в поход...

Ордын не помнил, как очутился он на своём струге. Он не видел ни Волги солнечной, ни зелёных берегов, ни бегущей на низ флотилии, — для него весь мир был одной сплошной чёрной дырой, полной боли и рыданий. С ним заговаривали — он смотрел сумасшедшими глазами и ничего не понимал. На него дивились, перешёптывались, покачивали головами. Он сидел на носу один, смотрел в играющие волны, а сзади него солдаты тихонько напевали новую московскую, такую унывную песню:

Схороните меня, братцы, между трёх дорог,
Меж московской, астраханской, славной киевской,
В головах моих поставьте животворный крест,
А в ногах мне положите саблю вострую...
Кто пройдёт или проедет, остановится,
Моему животворному кресту помолится,
Моей сабли, моей вострой испугается:
Что лежит тут вор удалый, добрый молодец,
Степан, Разин по прозванью, Тимофеевич....

В Царицыне, конечно, встретили московскую рать крестным ходом. А в последних числах августа Милославский обложил Астрахань. В городе начался голод.

Появились перебежчики. Их кормили, поили, ласкали. Поэтому число их увеличилось. Казаки хотели было перерезать в Астрахани вдов и сирот всех ими казненных, но — это было уже невозможно. И всего больше помещал этому Иосель.

Иосель бойко торговал мукой, пухом, драгоценными вещами, старьём, птицей, давал деньги займы и уже строгонько покрикивал на казаков.

— Пхэ!.. И что они из-под себя думают?.. Захватили какую-то паршивую Астрахань и думают, что завоевали всё царство Московское...— говорил он страшно убедительно.— И что вы хотите: чтобы в Астрахани были свои порядки, в Царицыне свои, в Казани свои, а в Москве опять свои? В государстве должен быть порядок, чтобы можно было торговать, всюду ездить, делать дела... А эти добры молодцы думают, что они Бог знает каких делов накрутили, а на самом деле одна глупость и необразованность... Конечно, вольности казацкие, я не говорю, но надо же и торговать...

— Вот проклятый!..— смущённо бурчали казаки.— И туды крутит, и сюды, и никак в толк не возьмёшь, чего он хотит...

А другие, потолковее, предостерегали:

— Опасайся, ребята: что-то наш Иосель переменился...

С Дона прибыло тайно посольство. И там дела были невеселы. Всего хуже было то, что атаман Корнило Яковлев и Михайло Самаренин возвратились на Дон не одни, а со стольником Косоговым, который вёз казакам милостивую грамоту, хлебный и пушечный запас и денежное жалованье. Казаки крепко запасу обрадовались: на Дону благодаря всей этой смуте было голодно. Косогова сопровождали рейтары. И чтобы почтить Москву, казаки встретили царского посла за пять вёрст от Черкаска, в степи.

По обычаю, собрался круг. Косогов — чистяк и краснобай, державшийся очень уверенно,— сообщил казакам, что Корнило Яковлев и Михайло Самаренин дали в Москве за всё казачество обещание принять присягу

на верность великому государю. Старики и вообще домовитые казаки с большой охотой согласились, но молодежь и беднота подняли шум.

— Мы рады служить великому государю и без крестного целования...— кричали они.— А крест целовать незачем...

Три раза собирался круг, а столковаться всё никак не могли. Наконец, старики постановили: кто на крестное целование не пойдёт, того казнить смертью по воинскому праву казацкому и пограбить его животы, а пока не дадут все крестного целования, положить крепко заказ во всех куренях не продавать ни вина, ни другого питья, а кто будет продавать, того казнить со всей жесточью.

Этого казаки уж не выдержали, и 29-го августа попы привели к присяге атамана и всех казаков перед стольником царским и его дьяком.

— А теперь, казаки,— крикнул довольный Косогов,— сослужите великому государю службу: идите под Астрахань чинить над ворами промысел...

— Радостным сердцем пойдём!..— закричали казаки посмыслёнее.— Будем всей душой служить великому государю...

Но через некоторое время к стольнику явились старшины: они только что прослышали, что крымский хан готовится со сто тысячной ордой напасть на Азов, и потому им никак невозможно покинуть Дон без защиты. Стольник вынужден был принять это к сведению и руководству...

Замутился астраханский круг, когда донские послы закончили свою печальную новость...

— Сволочи!..— сплюнул кто-то.

— Вольному Дону аминь...— подвёл итог другой.

— Ну и москвитяне, чтобы им...

— Всё кончал!..— сказал Ягайка.

Он снова был в Астрахани. «Наша совсем заболталась...— объяснял он.— Не хочет псом сидеть — туды-сюды гулять хочет...»

И Федька Шелудяк прямо с круга пошёл в Троицкий монастырь, где хранился приговор астраханцев о взаимной поддержке, о вольностях казацких, о походе на Москву, и с перекошенным лицом на глазах всех изорвал его и бросил в грязь...

Астраханцы совсем пали духом. В кружалах шло мрачное пьянство. Иосель был чрезвычайно озабочен и строго покрикивал на казаков: самые несообразные люди — пхэ!.. — и придумали какие-то там дурацкие вольности... Вот Москва — это да, с Москвой всякий порядочный человек торговать может...

Приказные, несмотря ни на что, писали себе и писали...

26-го ноября к воеводе Ивану Богдановичу Милославскому явилась депутация: Астрахань сдаётся...

Торжествующий Милославский тотчас же приказал строить через проток мост для торжественного входа в Астрахань царских войск, и через сутки мост был готов.

В строгом порядке выстроились войска. Все ратные люди были пешем, в самых лучших одеждах и без шапок. Воевода поднял шестопёр. Стукнула пушка, заиграли трубы, забили барабаны и тулумбасы, зазвонили в Астрахани красным звоном колокола, и многоцветная река силы московской устремилась через мост в город. Впереди войска попы шли с пением молебным, а за ними воевода с иконою Пресвятыя Богородицы «Живоносный Источник в чудесех». А навстречу москвитянам, в предшествии сверкающего ризами и хоругвями крестного хода, шли астраханцы, все до единого. И когда подошли горожане поближе, все они шархнулись на колени и завопили о пощаде.

— По милости великого государя, — торжественно и громко сказал воевода, — вам всем, всяких чинов людям, кто был в воровстве, вины отданы и вы государственной милостью уволены...

В ликующем колокольном звоне, при радостных кликах счастливых астраханцев, при пении молебном непрестающем, войска снова двинулись в город. Воевода

прежде всего вошёл в собор и поставил там икону свою. Потом принял он печать царства Астраханского, Приказную избу и, осмотрев все укрепления, расставил по стенам караулы. Никто не был не только казнён, но даже задержан. Даже Федька Шелудяк и тот остался на свободе и жил на воеводском дворе.

По обычаю доброго старого времени, вся старшина казачья должна была, конечно, поднести новому начальству любительные поминки. Так, Иван Красуля, раньше начальник стрельцов астраханских, а потом один из воровских атаманов, поднёс воеводе ту драгоценную шубу, которую получил от Степана во время пьянства князь С. И. Львов, и саблю, тоже принадлежавшую Львову. Другие поднесли воеводе кто шапку горлатную лисью, кто перстень с камнем драгоценным, кто панцирь цареградский, кто пищаль турецкую, а Алёшка Грузинов, тот, что митрополита под раскат пустил, тот ловко отделался тем, что раздал кафтаны да шапки приказным и получил отпуск на все четыре стороны. Монахи за своё шатание и сношения с ворами платились сажеными осетрами и прямо божественной икрой. Казаков одолевала нищета: добытое всё было давно пропито и заложено у Иоселя, а остатки пошли начальству на поминки. Многим беглым, кроме того, не хотелось возвращаться к прежним господам, где их ждали только нещадные батоги. И потому казаки, чтобы устроиться в жизни посолиднее, посытее, потеплее, отдавались в холопы воеводе, дьякам, подьячим и стрелецким головам...

Иосель получил большой подряд на поставку для государевой армии всякого продовольствия и уже сносился грамотами с московским торговым человеком, Иваном, сыном Ивановым, Самоквасовым о закупке для Самоквасова всего улова по учугам. Писал Иоселю и сам именитый гость Василий Шорин о больших делах. Иосель метался как неприкаянный по городу, недосыпал, недоедал и убедительно говорил, что для великого государя он и жизни не пожалеет...

Раз, чтобы закупить для войска рыбу, отправился Иосель на учуги. Там, пока он осматривал товар и упорно торговался, гребцы его перепились чуть не до потери сознания: скучал простой народ эти дни крепко. А Иоселю нужно было проехать и на соседние острова. Делать нечего, взял он на учуге маленький челночок и поехал по промыслам один,— Иосель был парень смелый. И вдруг он почувствовал, что он в камышах заблудился. Он тревожно завертелся туда и сюда, но, кроме неба и камышей, вокруг ничего не было... Он причалил к небольшому плоскому островку и только хотел было вылезти на берег, чтобы осмотреться, как увидел на отмели у самой воды — человеческий череп. Он подошёл ближе: то был труп какой-то богатой, судя по истлевшим одеждам, женщины, который прибило сюда волнами. И вокруг черепа по песку легло — точно слёзы застывшие — ожерелье жемчужное, а пониже, на груди, искрилась большая бриллиантовая звезда с огромным сапфиром посередине. Иосель так и обомлел и дрожащими руками, боязливо оглядываясь по сторонам, схватил и звезду, и ожерелье, а потом, спрятав их, стал осторожно перебирать истлевшие ткани: нет ли еще чего... И нашёл он ещё несколько перстней драгоценных и тяжёлое запястье, всё индийскими сапфирами — да какими, чуть не в орех!..— усыпанное...

И, убедившись, что больше на трупе ничего нет, Иосель торопливо поплыл протоками дальше. Он не помнит, как он и на учуги опять выплыл...

И с той поездки стал он покрикивать на казаков ещё строже....

Ранней весной московская армия пошла обратно, а казаки на Дон, и, когда шли струги московские по Волге вверх, казаки, и солдаты, и стрельцы, замороженные тихим весенним вечером, унывно, с душой напевали новую, неизвестно кем сложенную песню:

Замутился тихий славный Дон
От Черкасска до Чёрна моря,
Помешался весь казачий круг:
Атамана боле нет у нас...

— Гожа песня...— с убеждением тряхнул головой князь Иван Пронский, который вёл войска вместо Милославского, оставшегося в Астрахани воеводой.— Пра, гожа...

Нет Степана Тимофеича,—

продолжали казаки, стрельцы и солдаты унывно, с душой:

По прозванью Стеньки Разина...
Поймали добра молодца,
Завязали руки белые,
Повезли во каменну Москву
И на славной Красной площади ...
Отрубили буйну голову...

ЭПИЛОГ

Через несколько месяцев, уже летом, прибыл в Астрахань князь Яков Одоевский, и начались аресты, пытки, казни. Ларка работал в Пыточной башне не покладая рук. И. Б. Милославский, ссылаясь на царскую грамоту, запротестовал было, но ему великим государем в новые дела вступать было не велено. Федька Шелудяк, Алёшка Грузинов, Иван Красуля и многие другие были повешены. Один был сожжён живым за то, что у него нашли тетрадку заговорного письма. Менее виноватые были отправлены с Милославским на службу в верховые города. Воеводу, его дьяков и подьячих за поборы и взятки не наказывали: что же, пить-есть всякому надо, дело житейское... Батюшки, собравшись, долго решали, помавая главами, не причислить ли митрополита Иосифа к лику святых, и по зрелому обсуждению решили: не причислять...

Иосель прямо из сил выбился на службе великому государю московскому и решил, наконец, отдохнуть. Забрав в Белой Церкви всю свою бесчисленную семью,

он отбыл в Голландию, и там, в Амстердаме, скоро возникло большое банкирское дело: «Иосель Диамантенпрахт с сыновьями». Банк вёл дела исключительно во всей Европе. Поэтому когда великому государю московскому понадобились деньги на введение войск иностранного строя, то его постельничий, человек великой остроты, глубокий московских прежде площадных, потом же дворских обхождений проникатель И. М. Языков, посоветовал ему попросить денег у голландских жидов,— хотя бы у достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта. Было решено: попросить, но как бы между прочим, по пути. И снаряжено было посольство в Англию, которое и должно было заехать в Амстердам, чтобы узнать, как взглянут там на это дело. Во главе посольства был И. М. Языков, а советником при нём по торговым делам был именитый московский гость Иван Иванов сын Самоквасов.

Почтительный, но строгий клерк впустил их в поместительный, но тёмный кабинет достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта. И. М. Языков вежливо осведомился, на каком диалекте желает с ними беседовать достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт.

— Да ведь вы, кажется, москвитяне? — вежливо приподнявшись им навстречу и глядя на них поверх очков, проговорил банкир.— Тогда будем говорить по-русскому...

И вдруг он раскрыл рот и онемел.

— Иоська, да ведь это ты?!.— воскликнул вдруг Иван Иванов сын Самоквасов, тоже во все глаза глядя на еврея.— Ну оказия!..

— Ясновельможный пан воевода...— любезно осклабился Иосель.— Ну, могу вам сказать: встреча!.. А как драгоценное здорovie глубокочтимой Пелагеи Мироновны?

— Гм...— откашлялся Иван Самоквасов.— Супружницу мою — разве ты забыл? — зовут не Пелагеей Мироновной, а Матрёной Ильинишной... Эх, память-то у тебя коротка!

— А да, да, да, да...— шлёпнул себя ладонью по лбу Иосель.— В самом деле! Ну конечно... Матрёна Мионовна... Здравствует она?

— Ничего, живём себе поманенечку...

— Садитесь, садитесь, гости дорогие...— проговорил достопочтенный Иосиф Диамантенпрахт, указывая гостям на глубокие бархатные кресла.— А помните, ясновельможный пан... гм... гм... как вы, бывало, всё посмеивались да приговаривали: кто кого?.. Ну: кто же кого?..

И он весёлыми, умными глазками вежливо посмотрел на Ивана Иванова сына Самоквасова.

— Ты обскакал...— махнул рукой именитый гость.

— Хе-хе-хе-хе...— тихонько засмеялся достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт.— Хе-хе-хе-хе... Но, как видится, и вам жаловаться не приходится...

— Нет, Бога гневить нечего... И мы ничего, живём, хлеб жуём...— сказал Иван Самоквасов.— Ну, иначе, мы к тебе по делу мимоездом заехали, посоветоваться. Только ты уж вот что: старое не поминай — может, у нас там и не всё ладно было, но...

— Ну, зачем?.. Кто старое помянет, тому глаз надо выковыривать, как по-русски говорится...— сказал господин Иосиф Диамантенпрахт.— Чем могу служить?

И. М. Языков обстоятельно и очень дипломатично изложил дело. Еврей вытянул губы, как бы нюхая свои седые усы. Глаза его были скорее печальны.

— Видите ли, достопочтенный и сиятельный князь...— проговорил он медлительно.— Фирма немножко... ненадёжна...

— Как? Россия-то?

— Что ж что Россия?..— сказал задумчиво господин Иосиф Диамантенпрахт.— Возьмите первое: великий государь уже в годах, а наследник Феодор слабоват, а там ещё сыновья, да от двух разных матерей. И бояре крутят туда и сюда: то Нарышкины, то Милославские, то кто, то что... А внизу — казаки... Взять деньги, конечно, нетрудное дело, а вот кто платить-то будет, если — чего,

конечно, упаси Боже...— великий государь... ну, что-нибудь с ним случится?.. Впрочем, раз вы едете в Англию, то, может быть, на обратном пути вы понаведаетесь, а я тем временем посоветуюсь с сыновьями. О, они у меня такие головы, такие головы — ай-вай, дай Бог всякому министру таких детей иметь! И Иосиф, и Янкель, и Симхе, и Мойша, и Рувим, и Арончик, и Лейба, все...

Но когда на обратном пути российское посольство заехало договорить о делах в Амстердам, то достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт, к великому прискорбию своему, в деньгах должен был отказать решительно и окончательно: фирма ненадёжна...

И действительно, дела на Москве как будто всё не клеились, *tragoedia moscovitica* всё продолжалась. Сперва при дворе чрезвычайно усилился думный боярин Артамон Сергеевич Матвеев, и, всё более и более входя во вкус власти и богатства, пользуясь своим влиянием на царя, первым выхлопотал у него незаконный указ 13 октября 1675 года о продаже крестьян без земли и тем окончательно свёл русского крестьянина на положение скота. Тут вскоре внезапно скончался великий государь Алексей Михайлович, и при дворе начались бешеные интриги и борьба за власть Милославских и Нарышкиных. На престол российский вступил больной царь Феодор, а именитый боярин Матвеев, обвинённый в ведовстве, ушёл в далекую ссылку в Пустозёрск, где и жил в великой нищете. Его верного слугу Орлика за то, что не донёс он своевременно о черно книжных занятиях своего господина, сожгли. Потом, после скорой смерти Феодора, подняла великую смуту на Москве разбитная царевна Софья, о которой историки говорят, что она «даже занималась сочинением комедий для придворного театра». Она начала свою деятельность стрелецким бунтом, во время которого погибло много бояр, а между ними престарелый князь Юрий Алексеевич Долгорукий, усмиритель казаков, и только что вернувшийся из ссылки боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Избранный криком народным у

Красного крыльца царём московским маленький царевич Пётр был в тени...

И если беспокойно было наверху, то ещё более беспокойно было на низу, в безбрежном море крестьянском. Везде разбойничали неуловимые шайки лихих людей, из которых наибольшие заботы причиняла шайка атамана Тренки Замарая, промышлявшая то в муромских, то в брянских лесах. Делались попытки использовать в смутах и царское имя: уже в 1674-м году в Малороссии изловили самозванца Воробьёва. Шумела, как всегда, и Волга: в 1693-м году воровская ватага, прибежав сверху, осадила там Чёрный Яр. И если в тихом Коломенском мальчик Пётр пускал деревянные кораблики по сонному пруду, в котором некогда его батюшка Алексей Михайлович всемилостивейше купал своих стольников и любительно смеялся над их проказами, и если во главе своих потешных мальчик штурмовал воображаемые крепости, то по граням безбрежных и тоскливых степей заволжских, среди которых человек так унизительно мал, по-прежнему бродили не помнящие родства волки степные и только и ждали, что удобного случая... Так что мудрая осторожность достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта в переговорах с постельничим И. М. Языковым имела, пожалуй, под собой некоторые основания...

И только победные громы Полтавы заставили Торговый дом «Наследники Иосифа Диамантенпрахта» задуматься и понять, что достопочтенный основатель фирмы несколько ошибся на этот раз в своих расчётах. Достопочтенный Иосиф Диамантенпрахт Младший был немедленно командирован фирмой в Санкт-Петербург, очень быстро нашёл нужные ходы и предложил правительству российскому свои услуги.

— Деньги мне нужны...— коротко сказал Пётр.— Кондиции?

Достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт Младший вкрадчиво и очень убедительно изложил свои условия.

Великан обернул к нему своё вдруг страшно налившееся кровью лицо и грянул:

— Да ты с кем говоришь, об-бразина? Привык го-лоштаных немецких-то дуксов обдирать... Закладывать тебе России я не собираюсь...

Достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт сжался в комочек.

— Маэстэт...

Огромный, весь в мозолях и не очень опрятный кулачище ахнул по еловому, ничем не покрытому, заваленному всякими планами и чертежами столу:

— Вон!..

В дверях мелькнули пятки...

Но всё это было ещё скрыто в сумрачных далях грядущего. А пока Москва, несмотря на все смуты свои, сладко пила и ела, от полден до вечерен отдыхала, а с темнотой опять разбредалась по своим опочивальням тёплым. И по-прежнему тихи были ночи московские, ночи кремлёвские,— только куранты играли нарядно, отмечая тихие часы, да стучали колотушки сторожей, а по стенам зубчатым и по башням, в звёздной высоте, восхваляя великое царство Московское, по-прежнему пели сторожевые стрельцы:

— Славен город Москва-а-а-а-а!..— пел один у башни Тайнинской.

— Славен город Володими-е-е-е-ер!..— отзывался другой у Кутафы.

— Славен город Астраха-а-а-а-ань!..

1928 г., Париж

Содержание

I. НА ВЕРХУ У ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ	3
II. У СЕБЯ	15
III. СОКОЛИНАЯ ПОТЕХА	26
IV. У КНЯЗЯ ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО	36
V. ДВА ДРУГА	50
VI. ВОЛЬНИЦА	61
VII. «САРЫНЬ НА КИЧКУ!..»	73
VIII. В ЦАРИЦЫНЕ	83
IX. ВОЛЬНОДУМЦЫ	93
X. ВАСЬКИНА ПЕСНЯ	102
XI. ПЕРВЫЕ ШАГИ	111
XII. ОТЕЦ И СЫН	121
XIII. КРОВАВЫЙ СМЕРЧ	133
XIV. НА РАДОСТЯХ	137
XV. НОВАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ИЗ ЦАРИЦЫНА	147
XVI. ВЕЩАЯ ЖЁНКА	156
XVII. У НИКОЛЫ НА СТОЛПАХ	167
XVIII. ХРИСТОИМЕНITOE ТИШАЙШЕЕ ЦАРСТВО МОСКОВСКОЕ	178
XIX. В ВОРОВСКОЙ СТОЛИЦЕ	187
XX. ПОХОД	199
XXI. «ЗА ЗДРАВIE ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ!»	208
XXII. НОВАЯ ВЛАСТЬ	218
XXIII. НА МОСКВУ	226
XXIV. В УСОЛЬЕ	237
XXV. ИОСЕЛЬ	250
XXVI. ТРЕВОГА В МОСКВЕ	261
XXVII. СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ	271

XXVIII. МОРЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ	280
XXIX. ПОД СИМБИРСКОМ	292
XXX. СЛОВО МОСКВЫ	302
XXXI. ПОД ГРОЗОЙ	312
XXXII. «ГЛУПОДЕРЗИЕ И ЛЮДОДЕРСТВО»	321
XXXIII. В СТАВКЕ	325
XXXIV. ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ВАСЬКИ	337
XXXV. КТО КОГО!..	348
XXXVI. ПОСЛЕДНИЕ СТАВКИ	358
XXXVII. КОНЕЦ КАГАЛЬНИКА	372
XXXVIII. В КОЛОМЕНСКОМ	382
XXXIX. КАЗНЬ	393
XL. БОЛЬШАЯ ПРАВДА	403
XLI. КРЕСТНЫЙ ХОД	414
ЭПИЛОГ	424

Иван Фёдорович Наживин

**Степан Разин
(Казачи)**

Исторический роман

Библиотека исторического романа

Редактор *В. С. Хелемeндик*

Корректор *Т. Н. Реброва*

Компьютерная верстка, изготовление оригинал-макета

В. Ю. Ахапкин

ЛР № 05976 от 03.10.2001.

Подписано в печать 01.06.2004.

Формат 84 х 108/32. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Бумага типографская № 2.

Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 16,20.

Тираж 5000 экз.

ИТРК

123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Тел./факс: 205-36-96

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета

в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97